Николай Рыжих

Красивое море

Николай Рыжих

Красивое море

РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ

«Современник»
Москва • 1984

Рецензент *А. Кондратович*

Р $\frac{4702010200 - 254}{М106(03) - 84}$ 136—84

ББК84Р7
Р2

О ПРОЗЕ НИКОЛАЯ РЫЖИХ

Есть, на первый взгляд, странное явление: людей порой тянет туда, где труднее всего. Говорят же: «заболел Севером (Арктикой)», «заболел морем», словно Арктика что-то вроде райских кущ, а море — сплошные пляжи. Да и само слово «заболел» приобретает в таком контексте вовсе не свойственный обычному житейскому смысл — «занедужить», или, куда более приятное, — «пристраститься». Нет, тут другое — дойти до той точки, когда жизни нет без предмета твоей любви. Тянет и тянет, даже от столь же любимого дела тянет — мочи никакой нет!

Когда я собирался писать это предисловие, то разговорился с автором, Николаем Прокофьевичем Рыжих, а он мне: «Зовут в плаванье к Антарктиде, не бывал там ни разу». Я ему: «Да помилуйте, где вы только не плавали уже — и в Атлантике, и в Тихом, и в Северном Ледовитом океанах, а морей, так тех и не счесть. А вы ведь тридцать четвертого года рождения, под пятьдесят, значит, и уже зарекомендовали себя талантливым писателем. Вам сейчас писать и писать, ведь то, что вы уже видели, на несколько писательских судеб может хватить». Соглашается: «Да, видел, много видел», — но как-то вяло соглашается. И я не уверен, что пока эта книга будет печататься, Николай Прокофьевич все-таки не махнет к антарктическим льдам.

Когда это началось? Когда он в своем родном селе Хлевище, под Острогожском, впивался в географические карты? Слаще любой книги были они для него, и тогда он уже знал названия самых малых островов в том же Тихом океане. А пятнадцатилетним юношей поступил в Нахимовское училище.

Есть в наших степях что-то от застывшего моря-океана, такой же простор, тающий в летнем мареве горизонт, за которым мнятся новые неизвестные дали... Случайно ли самый известный советский писатель-маринист, Новиков-Прибой, тоже из Подстепья, тамбовский? Может, случайно, а может, и нет; судя по воспоминаниям его друзей, он тоже с детства бредил морем.

Так или иначе, наш автор заканчивает Нахимовское училище, вслед за ним Высшее военно-морское училище, после этого плавает и на подводной лодке, и на теплоходе, и на сейнерах: офицером, штурманом, старпомом, капитаном. А на самой суше постепенно обозначается одно место, которое станет как бы второй его родиной: Камчатка. Причем не Камчатка городская — там ведь тоже есть свои города, и среди них немаленький, Петропавловск-на-Камчатке, — а Камчатка рыболовецкая, охотничья, Камчатка небольших селений, маленьких портов, Камчатка глухоманная, где на сто километров порой и человека живого не встретишь.

Именно она вместе с ее людьми, беспредельно преданными морю, — проще и грубее говоря, нелегкому рыбачьему промыслу, — станет главной темой всей писательской работы Николая Рыжих. Он начнет писать как бы параллельно самому труду в море, который, к слову говоря, он и по сей день не оставляет. Пожалуй, он единственный из прозаиков — членов Союза писателей, который может сказать, что он еще и колхозник. Да-да, полноправный член камчатского колхоза им. Бекерева, где летом — то в море, то на суше: рыбаком, плотником, сенокосчиком, кочегаром. А пишет преимущественно зимой, в свободное от путины время, когда море закрыто льдами.

Это нетрудно почувствовать по его небольшим рассказикам, составившим повесть «Красивое море». О море там, правда, совсем немного, а больше о Степанычевой избушке, где автор приютился, чтобы всласть посидеть над повестью. По типу это что-то вроде солоухинских «камешков на ладони»: страничка, полстранички, есть и пять, и семь, но это когда память всколыхнула воспоминания о детстве, о немецкой оккупации... А так все вроде мелочи, наблюдения, лишенные какой-либо тягучей назидательности размышления о природе, охоте, о том, как скудеет с нашей безрассудной человечьей «помощью» живность. Здесь виден и образ жизни автора, и самое главное — склад, направление его мыслей. «Защищайте, оберегайте природу», — как бы взывает он к нам, читателям. Дойдет ли? Если и не до всех, а хоть до некоторых — и то благодарение слову.

В этих вовсе не морских рассказиках, скорее даже зарисовках, виден зоркий, приметливый глаз автора. Удивительно зоркий. На редкость приметливый. Он великолепно знает повадки самых разных животных и пишет о них с юмором, с улыбкой, а то и с уважением, чуть ли не с трепетом. Таков, например, рассказ «Про орла». Много я читал об орлах, но такого, как в этом рассказе, еще не видывал: «Наши взгляды встретились, я не выдержал его взгляда, отвел глаза — неумолимая, не знающая никаких пределов злоба и гордость вместе с презрением и отвращением ко всему, что не он сам, пронизала меня. И достоинство тоже беспредельное, вплоть до кладбищенского равнодушия, будто он знает самую великую тайну на земле и эта тайна доступна ему одному», — все это передано сильно и своеобразно. Всего на полутора страничках.

Этих зарисовок вы прочтете по крайней мере несколько десятков на небольшой книжной площади. В своей совокупности они создают панораму живого камчатского мира — и сколько еще людей появится перед нами в этой панораме! Иногда, как в кинематографических кадрах, они мелькнут и уйдут, и больше мы их не увидим. Учтите, временами это будет неважный народец, пусть и с положением или с ученым званием, но непременно добытчики, хищники, стремящиеся урвать от природы, а не насладиться ее красотой. Зато другие, как старик Сте-

паныч, в избушке которого зимует автор со своей подвигающейся вперед рукописью — о ней тот же Степаныч без обиняков всю правду выложит и притом малоприятную, — пройдут через весь цикл и будут написаны с явной любовью. Поскольку врать не хотят и не умеют, живность на земле обожают. У Степаныча это кончится даже тем, что он сожжет свою избушку: уж больно повадились ее посещать всякие двуногие хапуги, враги живого.

И все же главное для Н. Рыжих — море, точнее, рыбный промысел. Это его стихия. Знает он здесь, кажется, все, что можно знать. Духоподъемный пафос артельной дружной работы, когда на каком-нибудь небольшом сейнере всего восемь человек, включая главного — капитана, а рыба пошла, да еще надо шестым чувством угадать, вышли на косяк или мимо него, — ох, как многое тут зависит от опытного капитана, считай все!.. Этот трудовой пафос автор передает с истинным вдохновением. Вот когда тяжелейшая, чуть ли не адская работа, требующая отдачи всех сил — о времени и говорить нечего: ни дня, ни ночи, — становится азартной, и даже не работой, а своего рода наслаждением. А уж когда трюм полон «под завязку» и корабль оседает в волнах от собственной тяжести и пора обратно, в порт, к родному причалу, — тут радости и гордости за успех и предела нету.

Труд как радость. Труд как мастерство. Темы важнейшие для нашей литературы. И их Н. Рыжих умеет показать не декларативно, а во всей своей убедительной, жизненной конкретности. Его письмо размашисто. Он влюблен в своих героев, ни на йоту не идеализируя их. На берегу они могут оказаться всякими. Но зато уж в море... И чуть ли не каждый, особенно капитаны, высшего класса мастера своего дела, — колоритнейшие фигуры.

Таким предстает перед нами Макук. Ничего загадочного в его фамилии нет. Михаил Александрович Макуков — вот его имя, отчество и фамилия. А это уже прозвище — Макук да Макук. Списан за бездипломность, образованьице и в самом деле так себе. И что-то поделывает на берегу, так что и имя его, да и его самого образованная молодежь забывать стала; славится еще по камчатской земле старикашка, сам себя уже не принимающий в расчет. Но случилось так, что «загулял» на сейнере «Онгудай» опытный капитан Петрович. Знаменитый. Вся команда, как богу, ему верила. Но загулял. А тут неожиданный дополнительный рейс за минтаем. Петрович — впрочем, как и вся команда — ни в какую. Но приказ. Надо. И вот, когда «Онгудай» все-таки готовится к отплытию, на пирсе появился старик. Никто на него и внимания не обратил.

«— Тебе чего, дед? — спросил его боцман. — Рыбки на уху?

— Старпома. — Старик несмело, как-то скромно улыбнулся.

Я подошел.

Он протянул направление из отдела кадров: «...Назначается капи-

таном «Онгудая». И управленческая печать с подписью начальства.

Я растерялся. Это получилось неловко; старик заметил мою растерянность и смутился еще больше. Но делать нечего, представил команде. Кстати, почти все на палубе были.

После моих слов: «Это наш новый капитан, Михаил Александрович Макуков», — на лицах ребят так и мелькнуло: «Вот это капитан!»

Но он оказался капитаном, каких еще поискать. В картах, в приборах — ни бум-бум, зато любое течение, любую отмель или банку во всем Охотском знает. Ничем и никем не станет командовать этот необычный для молодых ребят капитан. Только изумлять их своим опытом и знаниями да растущим не по дням, а по часам авторитетом.

Небольшая повесть. Но в ней многое происходит. Вплоть до смертельной опасности, которую придется пережить морякам и избавлением от которой они опять же будут обязаны всезнающему старику. Самые распоследние скептики и недоброжелатели Макука начнут диву даваться, а один из них, Андрей, на банкете по случаю благополучного возвращения расплачется. Это мужик-то, молодой и форсистый! Расплачется то ли оттого, что нервы под конец зашалили, то ли потому что ни черта, как выяснилось, не понимал он в людях. А другой — тот закричал:«Ребята, ребята! — голос Бориса дрожал. Лицо пылало. Как будто он хотел обнять весь мир или взлететь. — Ребята! Знаете что, ребята, — продолжал он. — Я вас всех люблю!» Нет в этом ни малейшей натяжки, потому что и Борису, и всем остальным столько пришлось пережить за несколько дней, что на всю жизнь останется вспоминать, как и о тишайшем и великом старике Макуке, ум, опыт и спокойствие которого спасут, в сущности, всю команду.

Морские, рыболовецкие произведения Н. Рыжих остросюжетны. Иными, наверно, они и не могут быть; в них романтика повседневного подвига, точнее, труда, равного подвигу. Но это романтика ненаигранная, непридуманная, это, если угодно, романтика самой профессии, архитяжелого спорта и борьбы горстки людей с мощной стихией моря, поиски секретов, таящихся в том же море. Именно у Н. Рыжих я впервые увидел, что такое настоящее соревнование, рыбацкое трудовое честолюбие. И еще многое другое, чисто познавательное, узнал, причем не навязчиво-познавательное, а словно бы высвеченное характерами редких, самобытнейших людей. И понял, почему нашего автора словно примагнитила камчатская земля с ее людьми: ничего игрушечного, все всамделишное, все реальное и все полно высочайшей романтики борьбы.

Что греха таить: и Север, и Дальний Восток, отчасти и Сибирь — особенно таежная, непролазная — влекут к себе не одних чистых душой романтиков, но и тех, кому в первую очередь люб длинный рубль. Все это края осваиваемые, нелегкие, куда мы постоянно зовем людей. Увы, попадает туда среди отличных девчат и ребят всякая шушера,

хотя именно там, как нигде, нужны люди прочные и основательные, могущие и умеющие поднять дело, умело и смело идущие на риск, преданные новым местам и обживающие их.

Один из лейтмотивов всего написанного Н. Рыжих именно этот. Чаще всего этот мотив выражается в том, что человек приезжает по набору на год-другой, чтобы на хатенку скопить деньжат, да так и остается в новых краях. Или в другом, но тоже повторяющемся: уже поживший, повидавший на своем веку все прелести рыбачьи и дальневосточные мужик уходит на пенсию или тянется за женой, которая устала каждогодно ждать мужа по шесть месяцев, а то и больше, едет в свои родные расейские, а то и вовсе сказочные черноморские места — да вот беда, не приживается там. И возвращается, иногда и без жены. Секрета же тут никакого. Именно в тех краях он полностью раскрывается, со всей силушкой и смекалкой, мастеровитостью и ощущением прямой необходимости, что, как известно, тоже не последнее дело.

Этот мотив становится ведущим в повести «Ванька Проскурин». Приехал Ванька на Камчатку по вербовке, ну, а вербовка ясно, по какой причине — в его деревне Куприяновке жизнь вовсе не сладкая: и хата ремонта требует, и мать каждую копейку считает, сестренка Аришка в девятый класс пошла, а пальтишка доброго нет, куплено было на вырост, а все равно ходить уже нельзя — рукава коротки и на груди пуговки не сходятся. И нет у Ваньки другой мечты, как заработать деньжат — и домой. «Приехать это летом, под лето подгадать. Подарков привезти. Самому приодеться... выйтить на улицу в новом костюме. Бостоновом, например. По деревне пройтись... В сапогах, конечно. Сапоги чтоб тоже новенькие». Вот и вся мечта Ванькина. Не больно высокая. Но реальная, вполне соответствующая Ванькиному образу мыслей. И погнавшая его на самый край света. Вынужденно, а вовсе не по охотке или по какой другой причине.

Край новый, чудной. Со своими нравами, обычаями людей. И люди сами по себе иные, не похожие на куприяновцев. Если бы не попавшийся на пути разбитной кореш Мишка, наверно бы растерялся Ванька. А так начал понемногу привыкать. Ну, а за честностью, работящестью дело не станет: Ванька еще и в колхозе вкалывал за пустые трудодни так, что никто не обижался.

История Мишки и Ваньки, их «вживания» в край — органичного, не искусственного, а очень реального — серьезна и одновременно увлекательна. Ванька Проскурин на глазах растет, превращается из «деревенщины», ничего не видевшего, кроме своей Куприяновки, в настоящего человека. Он и любовь находит здесь. Одним словом, становится старожилом. И все это достоверно, нигде никакого умиления.

Как ни хороша и своеобразна камчатская природа, нелегки и переживания Ваньки. Не раз его посещает желание «смотать удочки»,

податься в родные, с детства дорогие палестины, тем более что кое-какие деньги накоплены. Но автор упрямо и умело ведет героя по его пути, и мы видим, что это совсем не «приподнятый» путь к успеху, а путь трудного обретения себя как человека труда.

«Ему нравилось просто работать. Работай, живи, чего там...» — такова философия Ваньки, если ее можно назвать философией. А почему, собственно, и не назвать? Видеть смысл жизни в работе, в труде — немалое дело. И когда в День рыбака на собрании председатель колхоза произносит: «Нашему лучшему колхознику, добросовестному труженику и очень симпатичному парню...» — «Кого же он это так расписывает...», — подумал Ванька, а сердце вдруг захолонуло. «...Ивану Евсеевичу Проскурину...» — «Ничего себе!»

Действительно, ничего себе! Теперь, считай, Иван Евсеевич Проскурин, а не прежний Ванька, навсегда останется камчадалом. И одно это — история Ваньки — Ивана Евсеевича Проскурина — дорога нам и в чисто воспитательном смысле, и с деловой точки зрения, как художественное решение поистине государственной проблемы: привлечения нашей молодежи к осваиваемым или вовсе еще не освоенным краям, где люди позарез нужны. И все без каких-либо литературных красивостей, тем более зазывных, рекламных, фальш-мажорных «прелестей». Все реально. Нигде и следов упрощенчества, смазывания трудностей камчатской жизни.

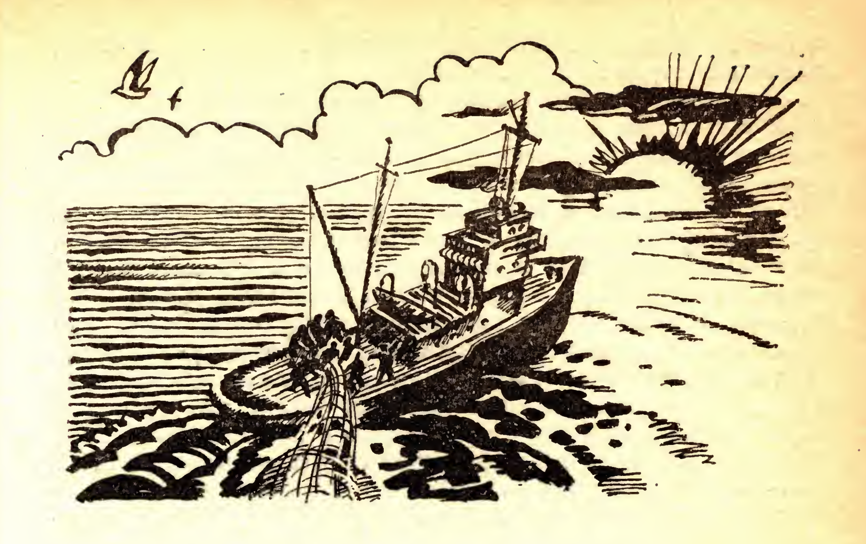
В повести Н. Рыжих немало других отлично выписанных фигур — это и дядя Саша, мудрейший старик, чем-то напоминающий нам Степаныча и Макука, и карьеристского, чиновно-начальственного склада с примесью откровенного махинаторства Геннадий, и колоритнейший Магомедыч со своей не менее красочной супругой, — одним словом, это Камчатка со своей природой и со своим когда-то пришлым, а теперь осевшим здесь народом. И в этом смысле перед нами еще и художественное открытие такого огромного и такого, по сути, малоизвестного края, где, по словам автора, три любые области могли бы поместиться.

Конечно, книга не лишена и недостатков, в первую очередь, очень опасной для автора беды самоповторения, кружения в череде одних и тех же образов, варьируемых разумеется, но вариации хороши лишь в музыке, и то...

Однако не в этом суть того, что я добивался сказать в предисловии. Больше всего мне хотелось бы, чтобы читатель книги запомнил: наша «периферия» — когда-то ее называли «провинцией», потом помягче, «глубинкой», а как назвать Камчатку, я даже и сам не решаюсь сказать, раньше, это был просто край света — дарит нам все новые и новые серьезные для литературы имена.

В ряд их достойно встает имя Николая Рыжих.

А. Кондратович.



«НУ! ВПЕРЕД, ХРОМОНОГИЕ!»

В детстве у меня была мечта — стать капитаном маленькой парусной шхуны, экипаж которой был бы, ну, человека четыре, чтобы эта шхуна — чистенькая, беленькая, с белоснежными парусами и маленькой каютой — ходила в самые дальние плаванья, возила бы, например, чай из Индии в Европу вокруг Африки или бродила между айсбергов Южного полюса, а лучше занималась благородной контрабандой, оружие доставляла бы восставшим революционерам. И чтобы эти четверо моих помощников были крепкие, загорелые, бесстрашные парни... и чтобы однажды выдался необыкновенно героический рейс.

Потом как-то я увидел в кино такую вот шхуну, с такими же мускулистыми парнями. Они занимались контрабандой. В этом кино рассказывалось об одном рискованном рейсе, где главную роль играла красивая женщина... уходя

к себе в каюту, она достала изящный пистолет и сказала, чтобы без стука к ней не входили.

В детстве я любил книжки о морских плаваньях.

А вот сейчас я капитан тоже маленького суденышка, малого рыболовного сейнера, с экипажем семь человек, без меня. Мой сейнер ни в какие дальние плаванья по южным морям не плавает и никакой контрабандой не занимается, он ловит рыбу в одном море — Беринговом. Парни одеты не в белые форменки и белые клеши, а в тяжелые сапоги из воловьей кожи, в ватные штаны и свитера, обросли бородами. Физически они поздоровее матросов из моей мечты, особенно двое моих ближайших помощников, стармех Дед и старпом Козя Базя — Дед еле пролазит в машинный люк, а Козя Базя никогда не знает усталости и может съесть ведро горохового супа (за один раз, конечно). Да и матросы... Женя — бывший мастер спорта по штанге в полутяжелом весе, Есенин — вообще-то его зовут Валентин — бывший сплавщик леса с Ангары, кок Бес-Толик Салымов — почти двухметрового роста и физически очень сильный, второй механик Маркович — тоже ничего, тридцать лет рыбу ловит...

Сам сейнер хоть и без белоснежных парусов и совсем не изящный и чистенький — он поцарапан и помят весенними льдами, потрепан штормами, с кучами всяких веревок, брезентов, досок, сачков, зюзьг на палубе, пропах рыбой до последнего гвоздя,— но к морю приспособлен вполне, из всех переделок выходил победителем.

В работе романтика есть, и большая романтика. Это не мечтательные прогулки по тропикам под благоухающим мерцаньем Южного Креста и Канопуса, а трепещущая на палубе рыба... много рыбы... много всякой, которую мы каждый день поднимаем неводом с морского дна. Романтически сладкое настроение вспыхивает, когда из пучины всплывает невод, похожий на шар величиной с дом, набитый серебристой треской, и с него вода — фр-р-р! — так и течет или когда он у самого борта, уходя вглубь, покачивается, набитый золотистобрюхой камбалой.

Что же касается приключений, нервных встрясок и всяких аварий, то они как норма, собственно, без них нельзя: такова работа. Физические перегрузки тоже как норма.

Надо еще добавить, что сейнер наш запланирован правлением колхоза к постановке в капитальный ремонт сразу же после путины — он хорошо поработал в последние годы. Особенно в нынешнюю путину. Мы держали первое

место не только по колхозу и району, но и по всей Камчатке среди судов нашего типа, о нас постоянно писала газета, трещало радио. А Женя, когда ездил в Петропавловск выдергивать зуб, то рассказывал, что врачи, узнав, с какого он судна, потихоньку между собой шептались:

— Это ж матрос с «Сорок три ноль четыре»!

Даже когда он шел из больницы по главной улице, то прохожие останавливались и, глядя ему вслед, говорили:

— Это же матрос с «четверки»!

— Ну?

— Да.

Столь космическими достижениями в работе мы, конечно же, были обязаны нашему капитану, Вовке Джеламану, с которым проработали несколько лет.

Ну, о нем. Вовка Джеламан, наш бывший кеп, человек необыкновенный. Это, прежде всего, рыбак, влюбленный в море и рыбу каждой своей жилочкой, рыбу он видит во сне и наяву, Берингово море изучил до последнего камешка на дне его — этой зимой с Наташкой, шестилетней дочкой, вылепливали из пластилина рельеф морского дна, — тралы, кошельки и снюрневоды знает так, что преподаватели по промвооружению в мореходке, где он сдавал заочные экзамены, консультировались с ним. При всем при этом это умница, хитрец и упрямец до предела всякого предела. Доброты, щедрости и душевной широты у него без края, как само море. Как-то его жена Светка не дала парням на гулянку премиальный аккордеон, мол, инструмент новый, подарочный, дорогой к тому же. Узнав об этом, Вовка растоптал аккордеон. Словом, о таких людях писал Горький: «Нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было... и коли крикнет: «В ножи, товарищи!» — то и пошли бы все в ножи, с кем указал бы».

Командиром этого сейнера я не хотел становиться ни с амбиционно-карьеристской стороны — капитанил я и на более современных рыболовных судах, ни с моральной — я знал, что первое место не удержу, значит, не сделаю добра ни колхозу, ни своим парням, — не будут говорить:

— Это же матрос с «четверки»!

— Ну?

— Да!..

Что же касается мечты детства, то я ее давным-давно перерос, давным-давно...

Но у Вовки серьезно заболела Наташка, ее надо было везти на материк... и сам он не был в отпуске уже четыре года. Передавая сейнер, Джеламан говорил:

— Знаю, не удержать первое место на этой развалине, я ведь ее не жалел... Начнется с эхолота, ремонтировать его умею только я.

— Знаю, — сказал я.

— Но никто другой не согласится, да парни другого и не захотят.

— Тоже знаю.

— И еще знай: «Став капитаном, не сбейся с курса и никого не слушайся, кроме самого себя».

— И это знаю.

— Извини, я знал, что ты это знаешь.

Первый месяц работы я удерживал первое место, но вот, как и предвидел Джеламан, полетел эхолот, я остался без глаз и ушей. Как мы в море ни бились, как ни помогали мне мои парни, не смогли отремонтировать, пришлось гнать сейнер на базу, потеряли пять дней. Нас поджал Сигай, эта рыбацкая знаменитость, герой и по документам и фактически — впервые за последние годы Джеламан обошел его в соревновании.

Только выскочили в море — хватанули на винт (черт меня дернул рыбачить в штормовую погоду!), опять на базу, опять потеряли пять дней. Сигай обошел, и приблизился Серега Николаев.

А потом целый месяц был заколдованный круг — истинно говорю, бывают в рыбацкой судьбе полосы, когда неудачи приходят не по очереди и ровно, а сразу, компанией. Началось с того — как в этом году у Лехи Григорьева или в том году у Андрея Пака, — что плохо стала идти рыба: мечу рядом с другими, прямо след в след, борт о борт, они поднимают кутец, я половинку. Или зацеплюсь за скалы на грунте и располосую невод напрочь, а это пустой работы, в лучшем случае, на день. Потом летела пружина заднего хода, из-за нее дня три потеряли, еще раз ломался эхолот. Парни пригорюнились, и Женя уже не рассказывал о поездке в город.

Венцом же этих неудач была катастрофа: я потерял снюрневод вместе с ваерами, это все стоит очень больших денег, и все они легли на наши карманы... Для меня это еще был и полный моральный крах.

А получилось вот как. Сигай неподалеку от острова Верхотурова в скалах нашел треску. По обыкновению крик-

нул по рации, весь флот ринулся к острову. Ее оказалось там тьма, целое поле, но участок небольшой, и начался «вихрь сабель» — не поймешь, кто каким курсом мечет, куда тянет, абсолютно не разберешь, где чей буй. В этой рубке я накинул свой ваер на клячовку невода МРС-1525-го, нечаянно, разумеется. Капитан 25-го, видя, что я иду в опасный замет, крикнул мне по рации:

— Остановись, пересыпешь мой невод.

— Поздно, уже выходит, — ответил я. — Если не нормально — рублю.

Получилось «не нормально», и команда 25-го обрубила наш ваер. Стали выбирать за один ваер, чтобы хоть невод спасти, но рыбы, видимо, попалось столько, что ваер не выдержал, оборвался — мы остались без невода и без ваеров, то есть не работоспособны.

Со стороны 25-го жест этот равносилен пиратскому, подобное, кажется, впервые случилось. Бывало, что и по три невода сцепливались, и все кончалось распутыванием, растаскиванием, а тут... 25-й, конечно, не предполагал, что это кончится потерей всего... впрочем, он предупреждал.

Я не стал кричать об этом в эфир, не доложил ни начальнику экспедиции, ни в колхоз. Не то чтобы я пожалел команду и капитана 25-го или думал о предупреждении — «если не нормально, рублю», — я все оставил на их совесть. Да и юридических доказательств у меня не было, они в любое время могли отказаться. И моя команда обиделась на меня, особенно Дед, он перестал со мной разговаривать.

Когда прибыли в колхоз за новым неводом и ваерами, парни пошли в правление и рассказали обо всем. Председатель вызвал меня, я сказал, что ваер обрублен. Но доказательств нет, 25-й может сказать, что ничего не видел, ничего не знает, и ничем не докажешь. Председатель отозвал с моря 25-й.

И вот мы, две команды, на правлении колхоза. Они расселись вдоль одной стены, мы вдоль другой. Команда 25-го в один голос кричит, что нас вообще не видели, все дело случилось уже ночью, мои машут концом ваера, где видны следы топора. Председатель все понимал и спросил капитана 25-го прямо: рубил или не рубил он чужой ваер? Капитан 25-го сказал: не рубил, — моя команда чуть не кинулась на него с кулаками. Тогда председатель спросил меня. Я сказал, что если 25-й не рубил, то, значит, ваер зацепился за острую скалу. Я думал, меня растерзает моя

команда. А мне страшно хотелось спать, последние двое суток я не спал.

Все убытки, а они очень большие, легли на меня и на моих парней.

Что я простил команду 25-го, даже не стал по эфиру их позорить, а наказал самого себя и свою команду, что пошел против своей собственной команды, явилось самым главным в моей моральной катастрофе. Когда получили новый невод и новые ваера, половина команды не пришла на борт — и какие только причины не нашлись! — к назначенному часу, я просрочил полную воду и задержался на базе еще на сутки впустую.

Вышли в море. Трудно сказать, что со мною творилось, какие чувства обуревали меня. За эти два месяца, особенно за последние дни, я столько передумал, перезлился, перенервничал, что устал от всего. На переходе парни не вылазили из кубрика, шлепали разбухшими картами в покер и, не стесняясь, говорили, что «у нашего кепа мамино сердце», «скоро будем на последнем месте...», «скоро без штанов останемся». Меня это не трогало. Впрочем, они правы: рыбу ищу я, сейнер веду я, проверяю оснастку невода я, мечу невод я, они пашут на палубе. И пашут под моим руководством впустую, да еще такая большая сумма денег легла на судно... я, кстати, думал, что 25-й возьмет хотя бы часть убытков.

Весь переход я находился в рубке и смотрел на море, а оно, как провинившийся ребенок, искало ласки и прощения: тихое, улыбчивое и хорошее весь день. Я любовался им и думал, как же выскочить из прогара хоть немного, хоть немного подбодрить парней и поправить финансовые дела. Присоединиться к общей армаде флота, рыбачить со всем стадом? Весь флот рыбачил на севере, возле острова Карагинского, понемногу брали камбалу-каменуху. Работа эта самая нудная, на каменухе: ее почти невозможно выгружать, она слипается, как склеивается — никуда не выскочишь, ничего не выиграешь и никого не обгонишь. Под конец путины все научились рыбачить. Что-то, конечно, можно сделать и в общей толпе, если заставить работать парней и днем и ночью, сверх всякой нормы, но при теперешнем моем авторитете это исключается.

Я торчал в рубке, рассматривал промысловые карты и журналы за последние три года работы с Джеламаном, вспоминал работу за десять — пятнадцать лет здесь вообще. Все сводилось к Северо-Западному, в это время года

иногда там бывает очень большая рыба, и не каменуха, а настоящая, промысловая камбала. В позапрошлом году Джеламан сделал там бизнес, с восьмого места выскочил на четвертое за каких-то десять дней. Проложил курс к Северо-Западному.

— Что, командир, хочешь сделать бросок на тысячу миль вперед? — спросил Козя Базя.

— Примерно.

— Это хорошо... в толпе делов не будет.

Но у Северо-Западного не оказалось ни одного хвоста — два дня я метал невод на всяких глубинах и во всех, где когда-то мы брали по два кутца, местах. Парни скептически улыбались.

Погнал сейнер противозаконно на север, в Корфский залив на навагу. Я знал, что она там есть, знал уже несколько лет, еще с времен селедки мы не раз на нее натыкались, а в позапрошлом году с Джеламаном нашли ее, в прошлом году проверили и не стали рыбачить лишь потому, что не было мелкоячейного наважного снюрневода. Сейчас этот мелкоячейный невод был у меня — зимой, собираясь испытать счастье на наваге, сшили в неурочное время его с Джеламаном. Но я рисковал, меня могли снять с капитанов за одиночный уход в другой район. Сейчас осень, тяжелый период навигации; «пастух», аварийный спасатель, только один, и он возле всего флота. И снимут, конечно, если узнают, но терять мне было нечего.

Когда парни узнали, что я кинулся в очередную авантюру, в открытую завздыхали о своей горемычной доле и о моих беспомощных потугах. Дед желчно сказал:

— Ну-ну.

Дня через полтора прихожу в Корф, нахожу место, где навага должна быть, делаю замет — всплывает шар рыбы величиной с одноэтажный дом, заливки на две. Загрузились ею так, что одна мачта из воды торчала, парни оживились, стали острить и посмеиваться над всем флотом: они, дескать, в три дня груз берут, а мы за один замет — два груза. Дед весь переход торчал в рубке и угощал меня папиросами.

...Когда пришли на сдачу в Корфский комбинат, оказалось, что вся наша удача впустую: комбинат в этом году уже всю емкость использовал, девать рыбу ему некуда, да еще технологи придрались, что рыба после нереста, не пищевая. Везти же ее на плавбазу — это два дня, из нее каша получится. Еле сдали. На всей этой авантюре потеряли

пять дней, весь же флот потихоньку брал и брал каменуху, хоть в два-три дня, да надежный груз. По графику мест мы летели и летели, успешно приближаясь к последнему месту. Парни вздыхали...

— Командир, надо кончать эти авантюры, — сказал Козя Базя как-то. — Парни на пределе. Нервы ведь не железные.

— Знаю.

Мне было грустно. Несколько дней назад, когда из моря всплывал исполинский шар наваги и мы думали, что мы герои, все было по-другому, а вот теперь... впрочем, все правильно.

Кончались продукты, у Беса остались одни макароны, и тех на два варева, подошла к концу и пресная вода, и топливо расходовали уже из неприкосновенных запасов, надо было бежать на базу. Перед нашим колхозом есть еще одна речка, Дранка. Эта полноводная река славится живописными берегами и обилием дичи. Когда проходили мимо нее, Козя Базя поднялся ко мне в рубку.

— Ты хорошо знаешь фарватер этой речки в верховьях?

— Работал здесь.

— Столько времени потеряли зря, да и вообще все лето, весну и осень не вылазили из моря...

— Ближе к ветру.

— У парней есть желание вылезти на лоно, черт с ним, потеряем еще денек, расслабимся.

Терять еще день... как мне не хотелось! Но и парням надо дать передышку, да и на пустяшном деле нет смысла идти наперекор всем.

— Добро.

— А на капчасе доложим, что находимся в поиске.

Забрались в верховья речки, стали на якорь. Все ребята забрали ружья, попрыгали в шлюпку. Я не пошел на охоту, один остался на сейнере, все рассматривал карты и промысловые журналы последних лет — ну где она, эта большая рыба?

Вечером, когда выходили из устья, а выходили по неполной воде, Козя Базя, он выводил сейнер — надо же было додуматься! — погнался за стаей молодых уток и сел на мель. Вперед, назад — никак. Надо ждать следующего дня, полную воду, но ночью дунул шторм — осенью они вспыхивают сразу, — и нас выкинуло на берег. Выкинуло почти при полной воде. Когда шторм стих и вода спала,

лежит мой сейнер боком на песочке в нескольких метрах от кромки воды. Это было уже по-настоящему серьезное дело.

Двое суток мы бились... Выкинули с сейнера на берег все, что можно было выкинуть, даже якоря отклепали. В первый день отвезли якорь на тот берег на плоту, который сколотил Есенин, завели туда ваер и лебедкой пытались — никак, якорь ползет, и все. Пришлось на том берегу сооружать мертвяк и ждать полную воду на третий день. Это хорошо, что мы спасли сейнер, лично мне серьезно бы не повезло. По рации на капчасах докладывали, разумеется, что находимся в поиске.

Когда пришли в колхоз, вызвал к себе капитан флота. Он сказал, что с большим удовольствием отобрал бы у меня сейнер, но некому передать, рыбачить осталось две недели. Это за самовольный уход в Корф. А если бы он узнал про «охоту»? Он запретил всякие уходы, приказал рыбачить с общей группой судов. Мне было безразлично, не трогало никакое унижение.

II

Уходя в море, я взял всех припасов до конца путины, чтобы ни часа не терять из-за снабжения. Бес даже мукой запасся, чтобы хлеб самому печь, а не бегать от одной плавбазы до другой за ним.

До общей группы судов переход двое суток... и я решил опять спуститься на юг, к Северо-Западному — должна же там быть наконец рыба! Во все прошлые годы она была, и хорошая. Козя Базя, принимая вахту, глянул на курс, сморщился и отвернулся.

— Очередная авантюра?

— Как видишь.

— Мы потеряем еще двое суток.

— Все так.

— Командир, ведь ничего не выйдет из этой затеи, нету рыбы у Северо-Западного. Мы проуродуемся впустую.

И ее действительно не оказалось. Парни ждали конца путины как причастия.

Что же творилось со мною?

Я перестал разговаривать, почти не выходил из рубки, вздрагивал от всякого шума — нервы прямо прыгали, —

почти не спал. И готов был хоть на амбразуру. Место по флоту вот-вот станет последним.

Идем от Северо-Западного к общей толчее судов. Парни после суточной непрерывной работы — работы впустую, это ведь самое неприятное для рыбака — спали как убитые, я один в рубке. Ночь, погода нормальная. Что же делать? Эти оставшиеся десять дней рыбачить вместе со всеми — делов не будет, никуда не выскочишь из прогара. Команда повинуется с трудом, даже не верится, что были времена, когда по взгляду или движению угадывали желание и кидались исполнять его.

А делать что-то надо. Все три месяца неудачи... особенно в последний месяц так успешно летели к последнему месту. Это с первого-то места, с самого первого по всей Советской Камчатке! Архиконгениально, как говорит Бес.

Есть еще на севере, на самом севере Берингова моря — десять лет назад я там селедку ловил, — верное местечко, мне его показал мой тогдашний капитан Страх: «Смотри, чиф, и запоминай, ее тут как грязи... если бы ее принимали, плевал бы я на эту селедку...» Мы тогда сделали один пробный замет, поймалось полный невод. Выпустили. «Ее тут никто никогда ловить не будет, побоятся, она за камнями, — продолжал тогда хриплым баском Страх. — Если бы разрешили... Я ведь камбальник». Это самый север, Олюторский залив, переход туда почти двое суток. За такую авантюру не только сейнер отберут, но и диплом года на два. Да и есть ли она там? Прошло более десяти лет, может, выбрали уже? Но в последние годы, после того как кончилась селедка, в Олюторке промысла нету. Что же делать?

В рубку поднялся Маркович, в руках он держал кружку дымящегося чая.

— Колдуешь? Тебе налить? Только заварил.

— Налей, Иосиф Маркович.

— Да-а-а... рыба. Представляю, что сейчас с тобою творится.

— Плохие у нас дела, Иосиф Маркович.

— Дальше некуда, — равнодушно согласился он.

— Вот есть у меня местечко на севере... будто надежное. Да вот не знаю, кидаться в этот рейс или присоединиться ко всему флоту?

— Как не знаешь?

— А вот не знаю...

— Капитан не может не знать. Не имеет права.

— Ну, а что бы ты посоветовал, ты ведь всякого насмотрелся в нашей работе.

— Советов не даю... А за уход на север у тебя отберут сейнер, если узнают, конечно.

— Его и так отберут... за все хорошее.

— Пожалуй, такие прогары не прощаются.

Что же делать? Рискнуть в последний раз? Но... но мне уже никто не верит. Да и надежное ли это дело? А если опять неудача?

Поднялся в рубку Козя Базя, он пришел подменять меня на вахте.

— Ну, а ты что думаешь?

— Очередная авантюра?

— Примерно.

— Думаю, что нам хватит муру водить. Скоро будем на последнем месте, давай пахать вместе со всеми.

— Мы на предпоследнем.

— Ведь ты посмотри, командир, все время мы только и занимаемся рисковыми рейсами, мотаемся по всему морю. Везде идем ва-банк и везде горим: Северо-Западный, Озерная, Корф, наважная «экспедиция», поход на юг... и один прогар страшнее другого... У парней ведь нервы не слоновьи?

— Все так.

— Да, с судьбою спорить не моги, — вздохнул Маркович, — никогда ничего у нее не выиграешь и никогда ее не победишь.

— Братцы, ни с кем я не играю, никакое свое «я» не доказываю, никого не собираюсь побеждать. Я просто уверен, что здесь есть рыба. Вы слышали о Страхе что-нибудь?

— Легендарная личность была, не хуже теперешнего Сигая.

— Так вот... — и я рассказал все, что знал об олюторской камбале.

— Так то когда было?

— У камбалы прописка постоянная.

— Могли раздербанить.

— Никто там не ловит... и не ловил.

— Все равно я не верю, — сказал Козя Базя, — и никто из ребят тебе не верит.

— А ты, Маркович?

— Я молчу. Это рыба, — Маркович развел руками.

Мы стояли в рубке, молчали. Сейнер тихо шел вдоль

Карагинского острова, мерцали звезды. Из приоткрытого окна тянуло осенним холодом. Если уж Маркович развел руками, значит, дело действительно табак, значит, надо бросать поиск своего сомнительного счастья. Присоединиться ко всему флоту и потихоньку шкрябать каменуху. А свое ли я счастье ищу? Может, я действительно похож на того зэка? Может, свое «я» хочу доказать? Часа через три будем проходить мыс Ойкямкан, право на борт — и через полутора суток Олюторка, а там через несколько часов и мыс Крещенный Огнем, подводная гряда камней. «...Ее тут как грязи», — опять прозвучал басок Страха.

— Машина у нас никуда не годится, — вздохнул Маркович, — второй ресурс добиваем.

— А рация? — сказал Козя Базя.

— Чиф, подойдешь к Ойкямкану, толкни.

— Есть!

III

Спустился в кубрик, не глядя на парней — они резались в покер, — пробрался к своей койке. Стащил сапоги и повалился поверх одеяла, натянув шубу на голову. Хотелось уйти в небытие. Болела голова, болела душа, что же делать? Это все так, с судьбою спорить не моги, у нее никогда не выиграешь, это я сам как-то испытывал да и от старых рыбаков слышал: если стал невод барахлить, уходи с этого места.

Впрочем, это все мистика и чешуя, от этих размышлений делов не будет. К утру подойдем к общей армаде, начнем пахать вместе со всеми. Десять дней, два груза, если погода подержится, ну что это? А если через три часа крутануть право на борт и через полутора суток Олюторка? Жест, разумеется, пиратский, капитан флота предупреждал. Машина... рация... осенние тайфуны. Но там есть рыба, не может ее там не быть! «Смотри, чиф, и запоминай...» Пеленг от Крещенного Огнем градусов восемьдесят, может, сто, траления можно попробовать на разных глубинах, присмотреться, но... но может получиться так, что после первых пустырей парни откажутся выходить на палубу, как это случилось у Лехи Григорьева или... ох! Знаю, как это бывает! В полста седьмом году, когда я только начал рыбачить, случилось тогда у нас такое, капитан тогда ящик спирта за борт выкинул. Или в Атлантике, когда капитан хотел задержать еще на месяц судно в море,

Парни тогда, синие от усталости и изможденные от штормов, колотили кулаками по столам и старались перекричать друг друга...

Опять поднялся в рубку, достал карту Олюторского залива. Вот он, Крещенный Огнем, вот полстаметровая изобата, вот речушка, она, видимо, и наносит корма... Здесь вот можно невод выложить, а само траление вот по этому румбу... Только не увалиться к камням...

— Ох, и авантюрист же ты, — вздохнул Козя Базя. Он, привалившись к переборке, лениво двигал рулевую баранку. — Свернешь шею.

— Это не комплимент.

— Курс от мыса?

— Возле мыса скажу.

Опять спустился в кубрик, опять, избегая встречаться взглядом с парнями, пробрался к своей койке, опять шубу на голову. Уснуть? Куда там... Потянулся к полке с книгами, решил: может, читая, успокоюсь и задремлю, ведь не спал почти двое суток.

Вот они, оракулы веков: Толстой, Пушкин, Горький... Джек Лондон. Взял Джека Лондона, открыл наугад, страница начиналась словами:

«— Ну! Вперед, хромоногие!»

Черт возьми! Перелистал к началу рассказа, рассказ начинался диалогом:

«— Кармен и двух дней не протянет... сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились... они чахнут и в конце концов издыхают под таким бременем. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума? Он... Ну! вперед хромоногие!»

...Не заметил, как уснул.

— Какой курс? — Козя Базя стоял передо мной.

Я смотрел на него и никак не мог прийти в себя.

— Прохожу Ойкямкан, какой курс?

— Олюторка.

— Есть!

IV

Козя Базя разбудил меня через сутки, входили в Олюторский залив, все это время я спал, и никто меня не тре-

вожил: такой закон у нас — без причины не будить. Сон главное, поесть можно и на ходу. Поднялся в рубку, Козя Базя в той же позе стоял перед компасом.

— Что нового? Доброе утро!

— Доброе... на капчасе доложил, что порвались, чинимся.

— По судну небось ходят анекдоты о кругосветных плаваньях?

— Я серьезно говорю: машина изношена, рация барахлит. Дунет тайфун — отправляйся к рыбам, сейчас ведь не лето, сам знаешь, как это бывает, ведь не только «пастуха», живой души кругом нету. Ну, я пойду...

Сдав вахту, Козя Базя ушел спать. Я остался в рубке один. Сейнер входил в залив вдоль западного берега, милях в двухстах. Море было пустынно, ни одной фигурки судов. Утро начиналось светлое и тихое, доброй печалью дышало над осенним, синевато-искристым и холодным морем. Ночью был мороз, на бортах сейнера блестели пленки льда, сопки, освещенные встававшим солнышком, горели заснеженными уже вершинами, а подножья их, то желтые, то ярко-зеленые — это заросли кедрача, — будто поеживались, согреваясь. Глянул в другую сторону — там бесконечное море, пустынное и молчаливое. И меня прознобил ужас: один на все море со своей сомнительно-реальной мечтой!

Все так: и машина изношена, и рация ни к черту, и тайфуны, и смерчи, и одиночество... Скоро парни проснутся — куда завел нас, Сусанин?

Ну что ж, вперед, хромоногие! Достал карту Олюторского залива, стал рассматривать ее... Вот он, весь передо мной, когда-то я здесь рыбачил. Вот Пахача, вот Апука, вот Лаврова, вот Лиман... Здесь вот со Страхом чуть не «гробанулись», как говорил он, с Шайморданом «погорели капитально», с Егоровичем «было не утонули»... Где они, капитаны моей юности? Шаймордан ушел на большой флот, Страх пропал от водки, Егорович на пенсии, где-то в Алма-Ате «козла» долбит...

Еще раз глянул на море, оно было печально и в то же время безучастно... «очей очарованье». Мне стало спокойно и необыкновенно хорошо, будто помолиться захотелось, но не так, как Джеламан молился: «...господи ...твою мать...», и не так, как это делают богомольцы. Они ведь молятся в двух случаях: когда что-то просят у бога и когда благодарят его за что-нибудь. Мне же ни у бога, ни у судьбы

выпрашивать ничего не надо и благодарить их вроде не за что. Тогда в чем же дело?

Может, я что делал не так, ну, обижал кого — обижать, конечно, обижал, хоть и ненамеренно, так жизнь устроена, — или искал выгоду для себя? Или кому-то что-то хотел доказать, или кого-то победить? Может, хотел славы или денег? Это, конечно, исключается, славу заработал Джеламан, она не моя, а денег... сколько их уходило и сколько приходило, а еда, одежда, работа оставались одни и те же.

Парней замучил... Для них сейчас я банкрот, проигравшийся в пух и прах игрок, освистанный актер... Один Козя Базя не предаст, для него, кроме слова, ничего не существует, его ничем не удивишь и ничем не прошибешь. Дед отвернется, это реалист до последней кровинки, романтика и мечты не для него, ему надо дело... Самолюбие у него, конечно, чудовищное. Остальные молчат... до поры до времени... Так... С какой же изобаты начинать? С любой можно.

Стоп! Под берегом, кажется, судно. И будто сейнер. Взял бинокль — точно, сейнер. И на якоре. Позвать по рации — услышат, узнают, где нахожусь. Подойду.

Наверное, тоже кто-то в поисках счастья. Тогда зачем на якоре? Погода рабочая, день рыбацкий давно начался.

Подхожу ближе — МРС-1561. Володя Фаттахов, из колхоза Горького.

Я давно знаю Володю и люблю его, пожалуй, больше чем Сигая. У Володи, кстати, тоже орденок за труды, правда, не желтенький, но все равно, а еще у Володи есть что-то от гриновского Бит-Боя, бескорыстие, светлость и легкость души.

Только дал задний ход, чтобы привалиться к его борту, как из рубки вылез сам Володя, в новеньком костюме, белой сорочке, лакированных туфлях, будто на танцы собрался. Обычно я его встречал в море в побелевшей от морской соли телогреечке, перетянутой куском дели. Из рубки вышли двое матросов, стали настраивать брашпиль к подъему якоря. Я дал задний ход, сейнера плавно закачались, приваливаясь друг к другу.

— Привет, братка! — Володя протянул руку и улыбнулся — как всегда меня покорила его улыбка.

— Здравствуй, Володя! Ты что здесь делаешь? — я, конечно, догадался, зачем он здесь и почему на якоре, но

хотелось оттянуть момент разочарованья хоть на миг.

— Ведь за рыбой пришел? — спросил Володя.

Я ничего не сказал, только пытался улыбнуться, но моя улыбка вышла беспомощной, поэтому выражение лица у него изменилось, и он продолжал, будто оправдываясь:

— Два дня лазил по заливу, и ни одной рыбины. Куда она делась? Ведь в прошлом году я здесь в это время за две последние недели взял половину квартального.

— Это был, конечно, бизнес.

— Еще какой. Я тогда тоже убежал от общей толпы и один бродяжничал.

— Тоже контрабандой?

— Как же еще? — развел он руками.

— А власти?

— Узнали после, но победителя судить рука не поднялась. Ну, а в этом году капитан флота... официально предупредил.

— Меня тоже.

— Так что бежим, братка, пока не погорели?

— Значит, в этом году делов здесь нет?

— Глухо, братка. Совершенно глухо. Куда она делась?

— Ты где лазил?

— Везде: Красный, Серый, Апука, Лиман, Грозный, Сомнение... везде. Вчера уже в полночь закончили и попадали.

— Ночью не пошел?

— А куда спешить? — вздохнул Володя. — На каменухе много не возьмешь, да и путина через неделю кончится... как-нибудь муру провожу последние дни. Не хочу команду мучить. Медведей погоняем где-нибудь.

— А возле Крещенного Огнем?

— Там не стал, там грунты ненадежные.

— А я туда и иду. Раньше ее там много было, и в последние годы там никто не рыбачил.

— Да нет, братка, — опять вздохнул Володя, — если бы она была, то понемногу она бы везде была.

— Но ведь камбала постоянная рыба... на одном месте живет. Она же далеко не может уйти.

— Думаю, пустое дело ты задумал.

Еще один шанс — а их у меня ведь совсем немного — надежды выбил у меня Володя, еще сомнительней стала моя затея. Мне стало тяжко. Скоро парни встанут... что же делать? Идти с Володей ко всему флоту? Тогда зачем

потратил почти двое суток на переход, жег солярку, бил машину?

— Идем, идем назад, пока не влетело нам.

— Да нет, Володя, буду до конца. — Мне было тяжко до невозможности, прямо не по себе. — Ну! вперед, хромоногие!

— Что ты сказал? — спросил Володя. — А? Ну, если что найдешь, свистни.

— Ясное дело.

— Пока.

— Пока.

Дал полный ход и положил сейнер курсом на Крещенный Огнем. Вперед, хромоногие! А вообще-то хотелось забыться.

Вот и мыс Крещенный Огнем, уже полстаметровая изобата, скоро будет гряда донных скал. Море тихое и молчаливое. Сам же мыс — с обломанной, выщербленной вершиной. В какие-то времена здесь произошел страшный бой между карякскими племенами — потому мыс и называется так. Любопытно, из-за чего же они протыкали копьями или простреливали из винчестеров друг друга? Из-за денег, разумеется, точнее, из-за собственности — мехов, пастбищ, оленьих стад, — как и все, впрочем, войны. Возможно, шаманы или вожди не поладили, а из-за чего можно не поладить? Тоже из-за этого, наверное.

Ну, что ж!

— Вперед, хромоногие! — Я нажал кнопку аврала.

Долго парни не поднимаются из кубрика... слишком долго. Но второй раз нажимать не стал, возвратил судно в точку замета, застопорил ход, жду. Да, совсем не так, как раньше, когда чумные от бессонницы, на ходу разлепливая глаза и таща в руках сапоги, выскакивали кидать буй. Тогда одевались на ходу, во время замета, пока ваера выходили.

Первым вылез Козя Базя.

— Жека, так твою... — загремел он, свесившись в кубрик. — Чего мух ловишь? А ну, на буй!

— Сапог ищу.

— А ты в портянке.

— Разматывается.

Совсем не те пироги.

Наконец поднялись первые четверо, те, кто кидает и ловит буй. Даю ход, командую на буй, веду судно в замет. Последним вылез Дед. Поздновато.

Сделал замет, положил сейнер на курс траления, теперь двадцатиминутная передышка. В эти минуты обычно парни доодеваются, успевают проглотить по кружке кофе или сжевать жареной рыбы, закурить, толпятся у двери Бесового заведения. Сейчас же никто не одевается, никто не идет к двери камбуза, да и самого Беса там не видно. На прогулку вышли, сбились в кучу, смеются, зевают.

Берем невод. Он совершенно пустой, только штуки три большущих, похожих на гитары, промысловых камбалин с низов крыльев бухнулись на палубу — прав Фаттахов, глухо здесь. И Маркович прав: «С судьбою спорить не моги».

— Ух, ха-ха! На жарево есть! — крикнул Бес и подобрал двух рыбин.

— Ну, кто в покер? — весело крикнул Дед.

— Еще впереди пару суток перехода... наиграемся.

— Не жизнь, а малина!

Впрочем, чего я ждал, во что верил? В свою мечту? Что найду много рыбы? С таким же успехом я мог бы ждать и искать парусную шхуну, что возит чай из Индии вокруг Африки. А лучше бы оделся в картонные рыцарские доспехи и пошел бы сражаться с ветряными мельницами. Впрочем, и ветряных мельниц сейчас нету, наверно.

Подошел к борту, смотрю, как Козя Базя расстрапливает и затаскивает на площадку совершенно пустой кутец невода.

— Во, это уловище! — швыркнул ногой Дед оставленную Бесом на палубе рыбину. — Куда ж мы ее девать будем?

— Квартальный план...

— Командир, — сказал Козя Базя, расправляя кутец по площадке, — кутец вышел на крыле, его при замете закинуло. Значит, ты ошибся течением.

— Значит, я ошибся течением, — повторил я, но от этого не блеснуло никакой надежды. — Значит, я ошибся течением.

— Если бы она здесь была, — услышав наш разговор, подошел Дед, — то пусть что угодно с кутцом, пусть он завернулся или перевернулся, но она бы все равно была на крыльях.

— Так это же не промысловая, — заспорил с ним Козя Базя, — она же в крыльях не застревает.

— Правильно. В крыльях промысловая не застревает, она проходит в горловину.

— Так невод-то по грунту жваком, бабой-ягой шел...
— Попробуем еще раз! Готовь, чиф, невод к замету.
— Да что пробовать! — вскипел Дед и подошел ко мне. — Ведь и признаков нету. А эти три рыбины... кидай в море штаны — поймаешь больше.
— Готовь, чиф, невод к замету!
— Есть!
— Я невод выбирать не буду, — сказал Дед. — Говорю серьезно. Иду играть в покер.
— Иди! — надуваясь гневом, сказал Козя Базя. — Иди! И не просто иди, а иди, иди и иди!
— Ты что хочешь сказать? — остановился против него Дед.
— Я сказал все: иди и иди! — и к Женьке, который тоже направлялся в кубрик: — А ты куда... жизни... душу... а ну, тащи буй на место! А где Есенин? Мухобои.
Я был благодарен своему помощнику и дал себе слово делать ему только добро.
Дед, проходя мимо двери камбуза, закричал на Беса:
— А у тебя что? Тоже пустыри? Или не думаешь варить?
— Сейчас, Виктор Александрович,— бубнил Бес,— есть вчерашний борщ, макароны, сейчас рыбки поджарю.
Я развернул сейнер, вывел на нужную глубину и пеленг, выложил невод и потащил его обратным курсом, здесь только два течения. Это уже последняя, самая последняя, самая, самая... Ну, что ж! Вперед, хромоногие!
Уселся на штурманский столик, привалился к рации, выключил эхолот. Все! Через двадцать минут, когда начнем брать невод, придет мой полнейший крах. Все! Точка. Заканчиваю путину...
С миской дымящихся макарон ввалился в рубку Дед. Он стал напротив, привалившись к тумбе компаса. Спокойный до равнодушия.
— Я тебе должен сказать пару слов, командир.
— Слушаю.
— Тебе нравится та мура, что водим мы вот уже месяца три?
— Нет, конечно.
— И мне она не нравится. На море мы работаем не один год, объясняться нам нечего... работай мы со всем флотом, не сделали бы этот переход с первого места на последнее.
— Возможно.

— Так вот, я сказал серьезно: невод брать не буду. И своего помощника не подпущу к лебедке.

— Верю.

— А за невыполнение твоих приказаний буду отчитываться на совете капитанов.

— Это меня не тревожит.

— Это еще не все.

— Говори все.

— Я с тобой работать не буду. Амба.

— Как только выберем невод, прокладываю курс в колхоз, ставлю судно в ремонт и ухожу в отпуск.

— Добро, что мы с тобой поняли друг друга, — он так же грузно вывалился из рубки. На его место вместился Козя Базя.

— Я, командир, говорил тебе: не ходи ва-банк, не ищи приключений.

— Я, чиф, не играл ни в какой ва-банк.

— С тобой разговаривать бесполезно. — Козя Базя кипел. Он был похож на коня, который, готовясь к прыжку, еле удерживает себя.

Улыбаясь во всю свою широченную улыбку, с миской макарон вошел Бес, миску протянул мне.

— Поешь?

— Спасибо. После.

— Есть надо во всех обстоятельствах.

— Замолчи! — цыкнул на него Козя Базя.

— Тебе добавочки? У меня ведро супа есть. Горохового и с мослами.

— Брысь!

— Не буду дразнить гусей, — Бес галантно раскланялся и ушел из рубки.

Невод начали брать без механиков. Я сам встал на стропку, Козя Базя вместо Деда на лебедку. Наскоро переодевшись, на подмогу Женьке и Есенину выскочил Бес. Я переодеваться не стал, только накинул прорезиненную куртку.

С невода летела ледяная вода, она попадала мне за воротник, и это мне нравилось.

— Ну! вперед, хромоногие!

Сейчас выберем невод, проложу курс в колхоз, распределю вахты на весь переход и спать. И забуду про все на свете... меня, видимо, уже сняли с капитанов без моего, разумеется, желания.

Я равнодушно стропил невод, холодная вода, которой

было уже много под рубашкой, жгучими струйками стекала между лопаток. И, пожалуй, хорошо, очень даже хорошо, что столько приключений и неудач за одну путину. Как замечательно, что мотали на винт, горели с навагой, ломался эхолот и ломалась машина. Очень замечательно, что 25-й обрубил ваера... что с первого места до последнего летели метеорами. Теперь надо спокойно поставить точку.

— Командир, лебедка еле тащит, — доложил Козя Базя. — Камней нагребли... Попробуй, что за тяжесть?

— А если тяжесть эта живая? — язвил Бес. — Га-га-га!

— Живая?!

Допустим, хотя допустить вряд ли возможно, что он идет с большой рыбой. Нужна ли мне сейчас та рыба? Нет, не нужна. И будет замечательно, если невод нагреб булыжников, да еще разодран в клочья, это будет еще замечательнее.

— Командир, да попробуй же! — опять не вытерпел Козя Базя. — Еле тащу.

— А как рыба? — крикнул с площадки Бес, бросил крыло, которое он укладывал, и подскочил ко мне, стал колотить кулаком по неводу под стропом. — Рыба! Это, братцы, рыба! Га-га! Клянусь бородой Нептуна, рыба. Это рыба.

— Командир, попробуй сам, чего его слушать, ведь это Бес.

— Если это не рыба, я не Бес.

Я попробовал набивку невода под стропом, груз был «живой», это, конечно, рыба, ошибки или недоразумения исключаются до абсолютности. Это рыба... и много... много рыбы — но ничего в моей душе не дрогнуло и не шевельнулось, я так же равнодушно стропил невод.

— Га-га-га!

— Да цыц!

Впрочем, почему же это меня не радует? Ведь это космическая удача, сенсация, победа. Сегодня в Пахачу — туда бежать-то всего пару часов — я привезу полный сейнер рыбы, рыбонасос откачает ее в полчаса, и еще успею заловиться, да тут ее, кажется, не один груз, только вози... Весь флот берет за три дня один груз, мы — в один день, а может, за один замет три груза. Три дня — и квартальный план. Ведь это гром по флоту, гром с молниями... Ну почему я равнодушен?

— Га-га-га!

— А ну еще пару жваков возьмем! — орал Козя Базя. — Подтащим невод к борту, посмотрим. Шевелись, мухобои!

Через пару перехватов невод подошел к борту, рыба из него вываливалась ленивыми лепехами — промысловая, конечно! — величиной со стиральную доску, уходила через верх сквера: не только кутец и горловина были набиты ею, но самая верхняя часть невода.

— На четыре груза! — орал Бес. — Га-га-га!

Козя Базя кинулся в рубку, чуть толкнул сейнер назад, невод потащился за сейнером — у борта качнулась исполинская колбаса, уходящая вглубь и перетянутая пожилинами.

— Половина квартального плана! — надрывался Бес.— Га-га-га!

А меня ничего не трогало. В душе было то настроение, что появилось перед неминуемо ожидаемым крахом... Я бросил строп и присел на борт.

— А ну, шевелись, мухобои! — распоряжался не без морских вариаций Козя Базя. — Жека, готовь трюм! Быстрее! Есенин и Бесяра, тащите каплер и буй. Трюм и палубу зальем, остальная пусть в неводе. Отколем невод и поставим на буй! А ну, мухобои!

— Перевозкой займемся! Га-га-га! Сигай будет локти кусать. Га-га-га!

— Да сколько же ее там?

Меня ничего не трогало...

V

Через какое-то время, залитые рыбой — огромнейшие, золотистобрюхие лепехи — до самого брашпиля, мы двигались на сдачу в Пахачу, которая уже виднелась на горизонте. Невод же с рыбой — в нем осталось больше чем на два груза — оставили в море на буе. Парни как духи носились по судну, будто в поспешной драке, когда надо быстро сделать свое дело и поскорее сматываться. Я все так же сидел на борту, курил. Настроение было все то же, иногда звучал хриповатый басок Страха: «Ее здесь как грязи... смотри и запоминай».

Подошел Козя Базя, молча толкнул в плечо — мне показалось, что кувалдой меня двинули или я наткнулся на буфер медленно движущегося вагона.

— Ты Фаттахову позвонил?

— Бесяру послал, он это умеет делать, натемнит так, что сам черт ничего не поймет и не догадается, где мы, а Фаттахов догадается.

Подошел Дед, остановился напротив меня, разминая папиросу.

— Командир, как ты думаешь, мы с тобой моряки?

— Нет сомнения, Дед.

— Ты примешь мои извинения?

— С большим удовольствием, Виктор Александрович.

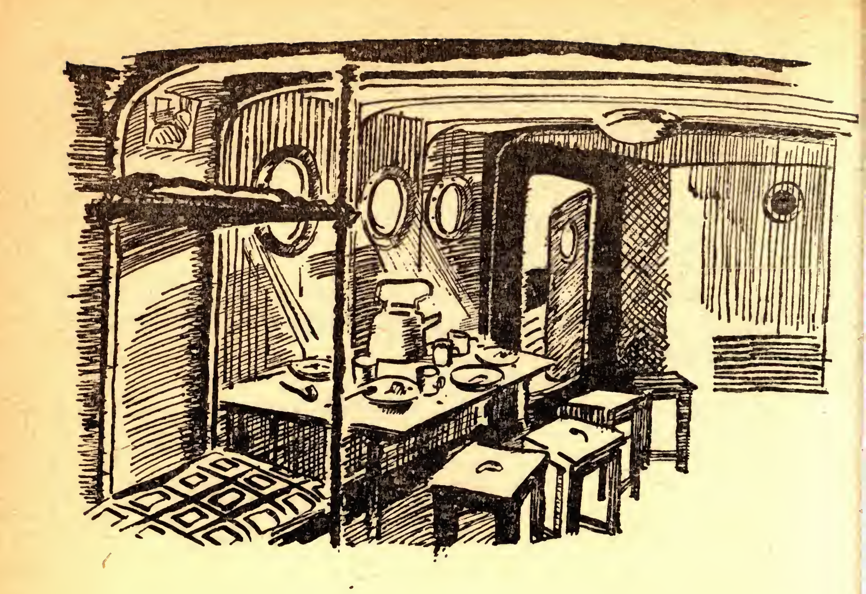
Дед хорошо пожал мне руку. Закурили. Немного погодя он спросил:

— А о чем ты все думаешь?

— Так... случай из детства вспомнил.

— Именно?

— ...пустяк.



БЕРЕГ И МОРЕ

I

Дрейфуем вместе со льдами, весь караван сейнеров зажало в проливе, ни туда ни сюда.

Настроение нервное — раздавит или нет? Если поднимется ветер, то раздавит. Лед тронется, полезет торосами, и судам несдобровать. Самое неприятное — это высадка на лед, никто не знает, как это делается, хотя все обдумано и передумано, приготовления все давно закончены и страхи вроде улеглись. Еще у каждого мысль: не было бы шторма, ледокол подойдет только через два дня. А впрочем, все нормально.

Насколько хватает глаз — безбрежное пространство, ледяные поля, днем белые до рези в глазах от жгучего майского солнца, ночью голубым светом искрящиеся под луной. Чисто вокруг, особенно ночью, когда морозец и воздух хрустит.

Днями и ночами бездельничаем. Домино, шахматы, книги — все уже приелось, уже ничего не хочется. Днем спим, а ночью разговариваем, рассказываем всякие истории и происшествия из своей жизни.

Петрович, шестидесятилетний механик сейнера, лежит, облокотившись на подушку и подперев рукой коротко остриженную седую голову. Он высокого роста, сутулый, длиннорукий, лицо узкое, с длинноватым носом, подбородок безвольный. Глаза добрые и насмешливые, иногда по-детски озорные и вместе с челкой и добрыми нотками в голосе придают лицу всепонимающее и всенипочемное выражение. Глядя на него, невольно думаешь, что жизнь прекрасна и что бы в ней ни происходило — не унывай.

Петрович талантливый рассказчик, хотя и любит всякие преувеличения. Вот уже девятую ночь он угощает нас историями из своей морской жизни.

— Да-а... — задумчиво говорит он. — Освободили мы Севастополь, стали в ремонт, наш катеришко весь в дырках был, как только дотянули до причала?..

— Здорово потрепало? — спрашивает капитан.

— Говорю же, одни дырки. Он на бреющем как прошьет крупнокалиберным! А если еще рядом фугасненькая? Двумя колоннами врывались, то один ковырнется, то другой. На мину кто напорется — полетели щепки... Ну, ладно. Стали в ремонт. А учетчицей работала молодая девчонка, на год старше меня.

— А тебе сколько было?

— Семнадцать. Только из юнгов в мотористы перевели.

— Орел, — засмеялся Юра, помощник Петровича.

— По тем временам — орел, — продолжает Петрович. — А красивая — спасу нет. Не девчонка, а черт знает что. Хоть лицом, хоть фигурой. Хоть по работе.

— Как же вы с нею работали?

— Она материал замеряла, следила за ремонтом. Запчасти у нее. В тылу-то тогда одни бабы работали. Ну, вот... и врезался я... Глаза ее меня с ума сводили. Ни жить, ни работать не мог.

— Вояка, — усмехнулся капитан.

— Ты слушай, после будешь дополнения вносить. Глаза ее, говорю, жгли меня, есть такие глаза у женщин, смотреть в них невозможно, пропадешь. Провожал я ее после работы, она под сопкой жила, что за Домом офицеров. Уйдем с нею в сопку и бродим до утра. Или сидим, на бухту смотрим. Она все время плакала... ни с того ни с

сего. Спрашиваю — не отвечает, — Петрович задумался, перевалился на спину, уставился в потолок. Потом потянулся под подушку, достал папиросы. — Бывало, поцелует меня — и я умираю, как чумной хожу.

— Говоришь, сладкая была? — спросил Юра. Он тоже лежал на спине, а на его животе лежала гитара.

— Дурак, — усмехнулся Петрович. — Про эти дела, что ты сейчас спросил, мы и не думали.

— Зато воевать умели, — вставил капитан.

— Ну вот, — продолжает Петрович, — жениться я хотел, просил ее, чтобы она за меня замуж вышла. А она — ни в какую. Нет, и все. Уткнется мне в плечо и плачет.

— Чокнутая, что ли? — предположил Юра.

— Говорит, нельзя мне замуж, — продолжает Петрович. — И вообще, говорит, ничего нельзя, а сама плачет. А я сознание теряю, когда обнимает.

— Интересно... — задумчиво сказал Юра. — Значит, ты, Петрович, мордой не подошел. Говоришь, красивая была? А ты? Ты ведь на поршень похож.

— В этих делах, Юра, морда не имеет значения, — заметил капитан.

— Ну вот, — продолжает Петрович, — я уже стал пропадать, семнадцать лет же, в первый раз девчонку поцеловал... Потом узнал: немцы ее поуродовали.

В кубрике наступает молчание. От неплотно закрытой дверцы печки дрожит на палубе лучик. Слышно, как кто-то чиркает спичкой.

— И как же ты?

— Пошел к комбригу с рапортом, чтобы в морскую пехоту перевели.

II

— Петрович, а в атаки ходить страшно? — спрашивает Юра.

— Страшно.

— Чего только не бывает на белом свете, — говорит капитан и достает папиросы. — На одних все несчастья, другие от жиру бесятся...

— Особенно наши моря́чки,— смеется Юра.— Хотите анекдот? — И, не дожидаясь ответа, продолжает: — Это один моряк возвратился с рейса, подходит к дому. С ко-

решем идут. Он говорит корешу: «Ты тут стой, считать будешь, я буду из квартиры «бобров» выкидывать». Кореш ждет, слышит шум, кто-то летит: «Не считай, это я!»

Над Юриным анекдотом никто не смеется. Юра возится на койке, откладывает гитару.

— Что ж, бывает, — помолчав, замечает капитан.

— Это же предательство, — оживляется Юра, обрадовавшись, что на его анекдот обратили наконец внимание.— Мы тут в волнах кувыркаемся, а они там... Ну, береговые— ладно, он на сторону похаживает, она хвостом покручивает. Равноправие. А у нас? Кроме моря да неба ничего не видишь.

— Все одинаковые, хоть береговые, хоть морские, — говорит капитан. — И не хочешь быть предателем, да станешь.

— Вот у нас сволочь была в Поти, — засмеялся Петрович. — Бухгалтершей работала... Ну, ладно. Сначала про кладовщика. Кладовщиком работал один контуженый, мы тогда в Поти стояли, я еще юнгой был. Их, этих контуженых или там раненых, на берегу оставляли работать. И его кладовщиком поставили. Согнутый весь, и как только ходил... А я, как самый младший на торпедном катере, продукты у него получал. Пошел один раз за хлебом к нему на склад. Прихожу — его нету, склад открыт. Зашел, жду. Хлеб лежит на верхних полках. Думаю: как же он оттуда достает, палкой, что ли? Присел на стуле за дверью, где у него стол с бумагами. Заходит он, меня, конечно, не замечает, разгибается — и как начал хлеб с полок шуровать, как начал... Потом увидел меня и аж побелел. Прихожу на катер, рассказал ребятам. Пошли проверить — его как ветром сдуло.

— Ты смотри...

— Дезертировал, значит.

— Да он-то ладно, — продолжает Петрович. — Бухгалтерша с ним сбежала. А ведь никто из наших ничего не знал. Муж у нее на фронте, лейтенант, получала от него по лейтенантскому аттестату... Уважали ее.

— А ты говоришь, Юра, что морда имеет значение, — замечает капитан.

— Так он же разогнутым оказался.

— Петрович, а твоя Лизка из таких же была?

— Может, и из таких. Не думаю про нее.

Лизка — это Петровичева жена, про нее мы все слышали. Впрочем, мы всё знаем друг про друга: живем в одном

кубрике, едим из общей сковороды, чай пьем из одного чайника, невод из-за борта тащим все вместе... Заботы общие, а потому дела личные и разговоры про жизнь — значит, и про себя — тоже общие. Лизка ушла от Петровича, когда дети выросли, старший поступил в мореходку, а младший— в профессиональное училище. Жизнь у них была почти комедийная, или, как называет Петрович эту жизнь, «на параллельных курсах».

— Не встречал ее? — спросил капитан.

— Года два назад столкнулись на автобусной остановке. «Все в моря ходишь?» — спрашивает. «Хожу». — «Все из-за твоих морей и получилось. Работал бы на берегу, жили бы как все люди». Я молчу. «А мы машину купили,— говорит, — по грибы, по ягоды ездим». — «Да вы и раньше ездили, — отвечаю, — когда я в морях был». — «Сам виноват». Психанула, пошла. Я стою, курю.

— На душе-то нелегко стало, защекотало небось?

— Раньше переносилось тяжело. Как вспомню... А сейчас спокойно курю. И сам удивляюсь, зачем бесился!

— Петрович, — вмешался Юра, — а ты знал, что она погуливает? Разговоры всякие небось доходили, сплетни...

— В этих делах, Юра, все узнается без разговоров и без сплетен, — сказал капитан.

— Знать, конечно, знал, — согласился Петрович, — да ведь дети маленькие были, от детей ведь не уйдешь. Вот и тянул лямку. Море надо было бросить.

— Не бросил?

— Не бросил.

— Будь она неладна, наша жизнь, — вздохнул капитан. — И жены как вдовы, мужей не видят, и дети без отцов вырастают. Вон я со своею за десять лет хорошо если два года побыл.

— Все так, — согласился Петрович.

— Особенно когда молодые.

— Хоть какие...

— Степановна еще не бросила тебя? — спросил капитан. — Что-то последнее время замечал, она бочку на тебя катила.

— Наверное, бросила, — сказал Петрович. — Ультиматум уже был. И письма прекратились. То все про виноградник писала да про всякие грядки, а сейчас и к праздникам не поздравляет.

Степановна — последняя жена Петровича. Поженились они лет семь назад, здесь же, на Камчатке. Мы все

ее хорошо знаем, в столовой она работала. Сначала она ждала, когда Петрович уйдет на пенсию и уедет с нею в Краснодарский край, где они купили домик с виноградником, кустами всякими. Потом, уже после ухода Петровича на пенсию, ждала, когда он «завяжет» с морями, все верила, что этому будет конец. Но этому конца не было. Придет с путины: «Надо отремонтировать машину, за путину исколотил, что ж я, ребятам развалину оставлю?» Она ждет. Проходит зима, наступает весна, флот собирается в море. «Ну как же? Всю зиму ремонтировал, каждую гайку подгонял — и без меня ребята будут. Уж еще одну путину». Проходит весна, проходит лето, проходит осень, флот возвращается с моря: «Надо ребятам помочь на ремонте, хоть немного подготовить их к путине». Эдак продолжалось четыре года. Степановна не выдержала, уехала. После путины и он уехал туда. К весне вернулся: «С этими доминошниками стариком становишься... Тут я хоть молодой». И вот сейчас она поставила четкие условия: «Или — или». Или море, или грядки.

— Лизка тоже ультиматумы предъявляла?

— И не один.

— Долго терпела?

— Всю жизнь.

— Вот и Степановна...— капитан стеснялся сказать, что «вот и Степановна бросит тебя».

— Да, и Степановна, — согласился Петрович, — тоже развод предъявляет.

— Не поедешь?

— Не поеду.

Вообще говоря, на всем малом флоте нашего восточного побережья Камчатки двое их, «могикан», осталось. Петрович да Михаил Григорьевич Кубекин, тот капитаном работает в соседнем колхозе. Тому шестьдесят один год. На малых сейнерах парни работают до тридцати лет, ну, есть капитаны, которые до сорока выдерживают. Физически очень тяжело: невод укладывать на площадку вручную, он мокрый, большой и тяжелый, рыбу опять же обрабатывать, грузить в трюм, а ее тонны проходят через руки. Да и сама продолжительность рабочего дня. Когда рыба идет, спать приходится на ходу, ведь круглые сутки заметы, выборка, погрузка, сдача...

И Петрович у нас, и Григорьевич делают умно. У Петровича помощники всегда молодые. Они плохо разбираются в механизмах, зато хорошо притирают поршни, невод

тянут хорошо, вот Юра у нас специалист по этой части. Порядок в машине — тоже дело его рук, все промыто солярочкой и протерто чистой ветошью. И у Михаила Григорьевича Кубекина все парни молодые, пахать бы смогли, если бы понадобилось. Григорьевич обычно в шубе, в валеночках сидит на штурманском столе — ему не надо возиться с картой, делать расчеты курсов и пеленгов, каждый камешек, хоть на дне морском, хоть на берегу, знает — и принимает доклады, советы дает...

Петрович особенно забавен, когда выпьет немного. Берет гитару... Слух у него и голос похуже, чем у Лемешева, конечно, но все равно хорошо получается. Поет он старые песни, бывшие в моде лет сорок назад: «Синий платочек», «Огонек», «Бескозырку». Глядя на него в эти моменты, никак не веришь, что ему за шестьдесят, и даже седая челка не старит его. И морщины не имеют значения.

— Петрович, а ведь Степановна правильно сделала, что ультиматум прислала, — сказал Юра. — Ну, что она там? Ведь разницы нету никакой, замужем она или не замужем.

— Никакой, — согласился капитан. — Моей, например, надо орден дать.

— А моя Валюха хочет, чтобы я на берегу устраивался, — сказал Юра. — Уже второй год пилит. Заела.

— Привыкнет, — засмеялся капитан.

— Не хочу я на берег... Да и диплом надо отработать. В пароходстве еще хочется поплавать, загранку посмотреть.

— Все загранки одинаковые, — вздохнул Петрович.

— Не понравилась загранка? — спросил капитан.

— Не понравилась... Хватательные способности там слишком развиты. Да и жрать нечего. На деньгах помешаны.

— Зато заграничное барахло небось привозил, — заметил Юра. — Ковры, гупюры...

— Будто от ковра или гупюра ты будешь счастливее, — засмеялся капитан. — Или красивее.

— Женам.

— Хорошую жену тряпьем не купишь.

— Все-таки... Да и другие страны посмотришь, туземцев разных.

— Лет тридцать назад работал я в пароходстве, на «Аскольде», — начал вспоминать Петрович. — Рейс был

свой, каботажный, корм песцам на Командорские острова везли. И этот груз сопровождала алеутка.

— На Командорах алеуты живут? — спросил Юра.

— Ну. И я женился на ней,— сказал Петрович.

— Прямо так сразу? — удивился Юра. — За один рейс?

— Киношники виноваты. Артистов на Командоры везли, они кино там снимали. И режиссеру понадобилось, чтобы я танцевал с этой алеуткой. Ее переодели в туземку, точнее, раздели, в одной набедренной повязке оставили, а меня в англичанина нарядили: шорты, пробковый шлем, очки. И чтобы я с нею целовался.

— Доцеловался, значит,— засмеялся капитан.

— Доцеловался, — улыбнулся и сам Петрович. — Пришли на остров, высадили киношников, сдали груз...

— И кончилось кино,— вмешался Юра.

— ...а расставаться не хочется. Она говорит: «Оставайся у меня на базе, механиком будешь работать». Я списался с парохода, год прожили... Целый год на берегу работал.

— В моря потянуло? — спросил капитан.

— Потянуло.

— Больше не видел ее?

— Видел, да что толку... Вышла замуж. За хорошего человека.

— Какая она штука! — засмеялся капитан. — Я ведь тоже с год на берегу работал. Лет семь назад моя говорит: «Поедем на материк, чего нам надо? Квартира есть, и все остальное есть. Хоть поживем в теплом климате». Поехали к моему отцу, в Донбасс. Он на шахте работает, орден Трудового Красного Знамени у него, человек уважаемый. Устроил меня на хорошую работу, оклад хороший... Хожу я по шахте, проверяю содержание кислорода, а сам вспоминаю, как с Григорьевичем неводами зацепились или как навагу нашел у Ложных Вестей... Так ничего и не получилось из береговой жизни, опять вернулись сюда.

— Все правильно, — согласился Петрович. — С алеуткой точно такая же у меня история. Да и первая моя женитьба такая же, из-за моря все...

— Вот скоро наступит лето, — начал мечтательно Юра и потихоньку стал пощипывать струны гитары. — На выходные дни, кто на берегу работает, будут делать вылазку в тундру, на лоно. Магнитофончик там, палаточку, ружьишко, удочки... Уха, костерок. Или по гостям ходить в вы-

ходные, в кино хоть каждый день. А нашим что делать? Одни. Тоска...

— Как не хозяин сам себе,— продолжал капитан свою мысль.— Наступает весна — потянуло в море. Зиму еще как-то держишься, в отпуск съездишь, еще куда-нибудь, а как весна...

— И до осени,— подхватил Юра.— А что тут хорошего? Ничего: море, рыба, рыба, море, заметы, сортировка рыбы, сдача, выгрузка... штормы, дожди, туманы. Ну вот, что тут хорошего?

— Если бы дело в этом, если бы человек выбирал или прикидывал, торговался, что ли, хорошо это или плохо. Лучше это вылазок на лоно, костерков с ухою или хуже? Тут что-то другое...

Юра забренчал на гитаре, потихоньку запел:

Эх! Проклятая жизнь ты морская,
Вспомнишь берег, так сердце болит.
Слышен звон телеграфа в машине,
Это значит — машину готовь...

Юра пел, пощипывая струны гитары. В кубрике разговоры притихли. Только чирканье спичек доносилось иногда.

...И механик кричит кочегару:
«Пошуруй и забудь про любовь».

III

— Вообще говоря, из-за женщины наш брат все может сделать, — сказал капитан. Помолчав, добавил: — Горы может свернуть из-за женщины. И море бросить.

— Это смотря какая женщина, — вмешался Юра. — Есть такие, что убежишь от нее.

— Всякие есть, — согласился Петрович. — И моря бросают из-за них, и в моря убегают от них.

— У меня друг, вместе мореходку заканчивали,— продолжал капитан, — ушел с моря. Лет десять отплавал, был неплохим капитаном и ушел на берег. Каждый день теперь дома, телевизор каждый вечер смотрят с женой. Каждый отпуск ездят куда-нибудь или с рюкзаками путешествуют в турпоходах. На выходные на рыбалку ходят вместе. Все время вместе. Собаку завели.

— Моя первая жена тоже собаку заводила, когда я в

моря уходил, — сказал Петрович. — В китобойке работал.

— По девять месяцев рейсы?

— По девять. Ох, как же она плакала, когда провожала в рейсы... Потом меньше стала плакать, потом совсем перестала.

— Привыкла, — догадался Юра.

— А потом сказала, что не война ведь, надоело вдовой быть при живом муже. И разошлись. А плакала первые годы... Просила, чтобы я на берег перешел.

— «Это значит — машину готовь...» — начал Юра уже без аккомпанемента.

— Ну, а я-то? — продолжал Петрович. — Романтик, двадцать шесть лет было, ветер в голове...

— Не мог море бросить?

— Не мог.

— Значит, Петрович, не та женщина попала́сь, — заметил капитан. — Вон мой же друг бросил.

— Или я сам не тот.

— Петрович, — Юра откинул гитару, полез за папиросами, — а на войне вы небось женщин только на открытках и видели? Не до любви было.

— Какая там любовь... — вздохнул капитан. — Сегодня жив, завтра нет.

— Ну почему? — Петрович достал папиросы, стал возиться со спичками, выкидывая горелые. — И на войне все было. Не люди, что ли?

— В книгах про это дело не пишут...

— Значит, не написали еще.

— Понимаешь, — Юра даже приподнялся с койки, — чтобы по-настоящему... чтоб любовь была.

— Все было, Юрочка. — Петрович наконец прикурил. — Кенигсберг мы брали, я в третьем эшелоне был...

— Как это — «в третьем»?

— Первые две атаки захлебнулись. Там же было понатыкано ствол на стволе... солдаты никак не могли взять. Наши войска уже под Берлином, а Кенигсберг еще не взяли. Вызвали нас, морскую пехоту. «Ну, что? Возьмем?» — говорит командующий. Мы стоим, молчим. «Надо взять».— «Возьмем», — говорим.

И пошли... Первый вал пошел — полегли. Вторая атака — тоже. Тогда мы, уже остатки морского полка...

— Взяли! — не выдержал Юра.

— Взяли, — вздохнул Петрович. — Ворвались в город... Наткнулись на женский монастырь.

— Ничего себе! — опять не выдержал Юра.

— Врываемся со старшиной в келью, там две монашки. Молодая и старая. Старшина кричит: «На абордаж беру старуху! А ты молодую!» И смеется. И старуха смеется.

— Ты смотри...

— А молодая плачет. Дрожит вся.

— Ты бы сказал молодой, чтобы она не ревела.

— Подожди, Юра.

— Я ничего не сказал, — продолжал Петрович. — Я повалился спать, суток трое не спал. Только гранаты отцепил да автомат бросил. И сразу уснул...

— Плохой жених.

— Проснулся, — не обращает внимания на реплики своего помощника Петрович, — в кровати лежу, раздетый. Тельняшечка, портяночки постираны, сохнут. Бескозырочка, бушлатик почищены. Она сидит, что-то зашивает, улыбается...

— Ты смотри... Ну и дальше?

— А что дальше? Любила она меня... Вот тогда-то мне захотелось войну бросить.

— Даже войну... — задумчиво произносит капитан.

В кубрике воцарилось молчание. Юра опять тихонько забренчал на гитаре.

— Не встречал ее после? — спросил капитан. — Не искал?

— Искал после войны. Да как найдешь? В том монастыре музей организовали.

— Она по-русски не умела говорить? — спросил Юра.

— Нет, конечно.

— А национальности какой?

— Не спрашивал, — Петрович чиркает спичкой.

— Петрович, какую тебе песню исполнить? — спросил Юра. Петрович не ответил. — Ну, тогда я твою любимую:

Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет больше встречи, где же тот вечер,
Милый, желанный, родной?

Я поднялся на палубу. Над сейнером, в очень голубом и далеком небе, висели звезды. И горели бесконечные искристые дали...



СОБАЧКИ, СОБАЧКИ...

I

Вечер уже наступил, когда младший сын Яшки Гугорова, Генка, в расклешенных штанах с широким ремнем в бляшках, в ушитой цветастой нейлоновой рубашке — он собрался во Дворец культуры на танцы, — выскочил на мороз с большим куском нерпичьего жира, стал рубить жир и кидать собачкам. Они прямо поводки рвали в ожидании, а схватив кусок, зажимали его лапами и яростно грызли, повизгивали, жмурились, откидывали головы. Генка посмотрел на это обжорство, подпрыгнул и, утопая лакированными туфлями в снегу, заскакал в дом.

Жена Яшки, Ирина, худая, морщинистая, сидела на кровати, чинила старые Яшкины кунаи. Эти кунаи она шила лет двадцать назад. Мех на них кое-где выбился, но швы и сейчас воду не пропускали, так она умела встык сшивать оленьи шкуры, мастерица была на всю тундру. Рядом, на другой кровати, спал свояк Николай, он сегод-

ня с Караги приехал, вместе с Яшкой поедут добывать медведя.

Николай хороший охотник, на всю Карагу один остался, кто самостоятельно добывает медведя, один только собачек держит. Все охотники перешли в госпромхоз, там вертолет, «Бураны», вездеходы. Николай ехал весь день, снег днем был мягкий, нарта утопала по самые копылья, и собачки вязли по брюхо. Впереди упряжки шел, устал, выпил с дороги и уснул сразу, прямо в кухлянке и торбасах повалился на кровать.

Да, хорошо умела Ирина выделывать оленьи шкуры и хорошо умела шить торбаса, кухлянки, кунаи. Сейчас коряки не носят эту простую, удобную и теплую одежду, в магазинах пальто покупают, ботинки да куртки с молниями, костюмы всякие. А что он, костюм, для тундры? Смех.

И колхоз теперь олешек не держит, передали стадо оленеводческому совхозу. Жаль, что нету олешек. Теперь корякам только рыбу ловить осталось да охота... Охоты тоже почти нету, зверя мало стало, хорошо как за зиму двадцать соболей охотник добудет. Даже лисички и зайчика мало стало, «Буранами» вывели зверя. А раньше сколько лисички было! В тундре мышей много — и лисички много. Зайчика за зверя не считали. Правда, Яшка и сейчас неплохо добывает и зайчика, и лисичку, да разве сравнить с тем, что было. Раньше Яшка за день по два десятка зайчика добывал, а теперь... плохие времена настали. Медведя пока добывает, мясо на птицеферму сдает, курочкам. Да разве добудешь больше госпромхозовцев? Зачем «Бураны», зачем вертолеты? И дичи стало мало, только лебеди развелись, их никто не трогает.

Осмотрев кунаи, ощупав зубами каждый шов, Ирина бросила их на табуретку, вздохнула. Новые бы надо, и кухлянку бы новую надо, и торбаса. Когда олешки были, было все: одежда была, мясо было. А теперь мясо надо в магазине покупать, одежду тоже надо в магазине покупать, деньги надо. А раньше деньги не надо было, в тундре все было. Едешь по тундре на собачках, остановился, поставил чум, убил олешка или медведя, поймал рыбу — чаюй... С осени только муки с парохода мешка два-три достать и пороха с дробью, и то без денег, под пушнину. Как быстро все изменилось! Раньше все, кто жил в поселке, держали собачек, без них никак нельзя было: дрова из леса возили на собачках, сено на них возили, навагу с вентерей вывозили опять на собачках, медведя из тундры при-

возили, в район ездили, в гости в Уку или Карагу тоже на собачках. А теперь в район самолет летает, дрова и сено трактор возит, медведя из тундры вездеход или вертолет тащит. Собачек сейчас не надо... Вон Генка за зиму ни разу не надел ни кунаи, ни торбаса, ни кухлянку, все костюмы да куртки с молниями да транзистор... А на костюмы да на транзистор деньги надо. Много денег надо, хоть Генка и хорошо зарабатывает на пилораме, ударник, но все равно. Молодец, но все равно, вот за собачками никогда не посмотрит, никогда их не накормит, если отец не скажет. Не любит Генка собачек, не любит Генка тундру, разве что с ребятами да девчонками выедут погулять. Наберут еды, вина, возьмут транзистор, палят костры, отдыхают, веселятся... А разве тундра для веселья, разве надо туда возить еду? Из тундры надо привозить еду. Ружье завел, а на охоту только осенью да весной ездит, когда дичь перелетает... Для забавы стреляет.

Ирина тяжело поднялась, прошла в другую половину дома, принесла два шерстяных стареньких одеяла, меховые рукавицы.

Вошел с улицы, впустив клубы холодного пара, сам Яшка.

— Не проснулся?

— Устал, однако.

Яшка подошел к вешалке, с верхней полки достал коробку, внутри она была перегорожена на отдельные ящички, где лежали пистоны, дробь разных размеров, порох, пыжи, мерки, барклай. Принес из сенцев распущенное голенище валенка с вырубленными под пыжи дырками. Подскочил Генка, проворно стал расставлять в ряд пустые гильзы, рубить пыжи из голенища, вставлять пистоны. Потом набивал в них пыжи, заливал свечкой. Порох и дробь Яшка сам отмеривал разными мерками и сам засыпал.

Пришла с улицы Ирина, она несла несколько соленых больших рыбин, уже отвисевших и сухих от тузлука, завернула их в целлофан и положила на лавку. Рядом стала складывать, принося из кухни, днем еще закупленные в магазине сахар, масло, чай, печенье, хлеб. Затем принесла два чистых мешка, все стала укладывать в мешки.

— Доканчивай, — сказал Яшка сыну и вышел в сенцы.

Сени были просторные, в полдома, возле стен стояли бочки с рыбой, с нерпичьим жиром и мясом, с капустой. Нерпичьего жира в бочке было только наполовину, и хоть она была прикрыта черным прорезиненным фартуком, от-

туда тянуло вонью. «Мало нерпы стало, — подумал Яшка, — а собачкам без нерпичьего жира нельзя, особенно в дальнюю дорогу. Жир к мясу добавлять хорошо: кусок мяса, кусок жира, кусок мяса, кусок жира. Запах, правда... Никто не любит запах нерпичьего жира».

По стенам были развешаны собачья сбруя, петли для медведей, большой капкан на медведя и несколько маленьких, лисьих и росомашьих. Они были из нержавеющего железа и блестели. Тут же висели и стояли на полу закопченные до черных корок кастрюли и чайники. Яшка подставил лестницу, полез на чердак, оттуда вылетели увязанные в тугие комы палатка и кукуль, потом спустился сам. В руках он держал что-то аккуратно замотанное в мешок и затянутое капроновым шнуром. Завернутое в мешок поставил к стене, взял большой, побелевший уже брезент, отнес к нарте. Затем перенес туда же чайники, кастрюли, ведро, два топора — один совсем маленький, туристский — и лопату. Взял завернутое в мешок, прошел в дом. Генка выхватил это завернутое, быстро распустил ножом шнур, развернул. Это был короткий, каких теперь не выпускают, охотничий карабин, жирно смазанный. Яшка взял ветошь, но Генка выхватил у него ветошь; ерш, привинченный к шомполу, был у него уже в руке.

Яшка пошел к нарте, расстелил на ней брезент — собачки так и заизвивались на поводках, радостно визжа, — стал размещать поклажу. Утопая лакированными ботинками в снегу, подскочил Генка, карабин принес и широкие, с двумя желобами, лыжи. Яшка сунул карабин под брезент, к двум ружьям, прикладами лежавшим к самому сиденью, лыжи тоже сунул под брезент. Потом они вместе стали затягивать веревками закутанную в брезент поклажу.

— А патроны? — крикнул Генка.

Яшка молча брякнул по карману.

— Дядю Колю будить?

— Сам встанет.

Когда они вошли в дом, Николай лежал с открытыми глазами, курил «беломорину».

— Готовисся? — спросил он Яшку.

— Все готово.

— И у меня все готово, — Николай бросил папиросу, перевернулся на грудь.

— Не спится?

— Долго ждать, однако?
— Часа три.
— Долго...

II

Небо над ледяными вершинами гор засветлело и побелела тундра — в поселке, между домами особенно, было еще темно, — когда Яшка вышел из дома. Собачки заволновались. Яшка был в кухлянке, торбасах, кунаях, в малахае, ушами завязанном на затылке. Поверх малахая он надел большие темные очки. Низко, почти по самым бедрам, перехвачен тонким ремнем из лахтачьей кожи. На ремне висел большой нож в деревянных ножнах, два маленьких, пороховница и тавлинка. Через плечо свисал патронташ, на шее — бинокль в чехле. Точно так же снаряженный, с папиросой в зубах, вышел Николай. Оба несли собачью сбрую. Яшка подошел к собачкам, они были привязаны к длинному стальному тросу, закрепленному между низкими столбами. Яшка по одной отвязывал собачек — они радостно визжали, стараясь лизнуть Яшку в лицо, — и кидал Николаю.

— Передовичок... Левая коренная... Правая коренная...

Николай надевал на них нагрудные ремни, застегивал.

Точно такую же операцию они проделали и с Николаевой нартой, только теперь Николай кидал собачек, а Яшка надевал сбрую.

Нарты стояли, пригвожденные остовами в снег, и бичи от остовов были привязаны к дугам нарт. Собачки рвались, пересучивали и скребли по твердому, взявшемуся за ночь насту, визжали на всякие голоса.

Николай принес нерпичьего жира, ножом отхватывал небольшие куски, кидал собачкам. Яшка обходил нарту, щупая и тыкая кулаком в поклажу, трогая тугую веревку. Постукал ногой по копыльям нарты, затем привычным движением, будто неловко, повалился, подняв ноги, на сиденье. Собачки прямо взялись визгом, крошки обледенелого снега так и летели из-под буксующих ног. Яшка развязал бич с дуги, выдернул остов:

— Ат-та-та-та!

Собачки так рванули, что, казалось, они хотят обогнать собственный лай, спины их заходили быстрыми волнами. Полозья резали льдистую корочку наста и пронзительно

шипели, как горящие в печке очень сырые дрова. От нарты Николая тоже летело:

— Ат-та-та-та-та...

За нартами вилась снежная пыль; от остова, когда охотники, объезжая ручьи, втыкали его на ходу в снег, чтобы придержать нарту и дать упряжке нужное направление, она взметывалась веером. Корму нарты заносило, часто она какое-то время ехала на одном полозе. Ручьи издали были почти незаметны, узкая щель уходила метра на три или четыре в сугроб, там чернела полоска воды, а берега этих ручьев сливались белизной.

Низко над тундрой, прямо по носу упряжки, прошли пять лебедей. Они не отличались от снега, крылья их плавно и тихо выгибались волнами, будто без косточек, шеи были вытянуты струнами, бледно-желтые лапки прижаты к коротким хвостам.

— Стихи, — крикнул Яшка, оглянувшись на Николая.

— Стихи, однако.

Солнышко еще не показалось, но тундра уже сияла, будто радовалась, а небо над пиками гор нежно расцветало. Самым же необыкновенным был морозный, пронзительный, чем-то похожий на искристый снег воздух. Яшка всегда, вдохнув этого воздуха, оживлялся. Воздух переводил его в другой мир. Позади оставались разговоры и ссоры — все равно всем не угодишь, не можешь быть для всех хорошим; магазин, куда надо деньги нести — но там продается и вино, оно делает человека веселым, человек забывает про все плохое; хлопоты по дому — двери ремонтировать, за огородом ухаживать, крышу чинить, дрова готовить, помойку чистить, уборную откапывать из сугроба... Оставались позади склады и колхозный двор, который он сторожил, Дворец культуры, куда дочки и сыновья каждый выходной ходят танцевать и каждый день ходят в кино. Яшка кино не любил: когда идешь туда, надо надевать нейлоновое пальто, которое Ирина купила, ботинки и шапку, бриться надо и умываться. Спать дома, на кровати, где почти всегда жаркий воздух, Яшка тоже не любил. В комнате, куда ни повернешься, везде стены, никогда не замолкает ящичек радио, а тут еще дети телевизор включат. Ну зачем это все, зачем в такой тесноте люди живут, как они там могут? Простора нету там, воздуха нету...

Объехали огромный овраг, берега и склоны его, заросшие кедрачом и тальником, были под сугробами. Сугробы сверху свешивались извилистой исполинской волной, буд-

то водяной гребень, заворачивающийся на песчаной косе при большом шторме. Замерзшая волна оранжево светилась.

Дорога шла по долине, между заросших лесом, в беспорядке расположенных сопок. Вершины сопок были разной формы, на склонах они заросли кедрачом, рябиной, шиповником, а ближе к верхушкам — березами. Березы не все были под снегом, стволы их, причудливо раздутые, изогнутые по-всякому, обломанные буранами, тоже были оранжевыми.

Солнышко показалось, и снег так загорелся и заискрился белизной, что смотреть на него стало больно. Яшка и Николай надвинули очки. Под встречными кустиками — торчащими из сугробов верхушками деревьев — все чаще стали попадаться зайчики. Они собачек не боялись, но стоило спрыгнуть с нарты, как зайчик убегал.

— Стрелять? — крикнул Николай.

— А-ах, — отмахнулся рукой Яшка.

— На шурпу!

— Уточек добудем.

А вот частые царапины на снегу. Это росомаха, след ее похож на след молодого медведя, но шаг короче. Она прошла в сторону гор, там будет воровать маленьких баранов и только что родившихся олешек и даже медвежат. В тундре ей сейчас делать нечего, дичь не прилетела, гнезд не наделала. А вот и мишины следы. Большие, но вдавлены в снег слабо — худой миша. Шатун. Старый, с осени жира не набрал, вот и поднялся так рано. Следы вели в сторону озера Камеры, оно зимой не замерзает, по выходящим из него ручьям туда заходит рыба нереститься, после нереста рыбины погибают, так и остаются в озере. Миша сейчас будет собирать оставшееся от рыбин: головы, скелеты, уцелевшие шкурки. Мишу можно выследить, если поехать по следу, но худой он, сдавать на птицеферму нечего будет.

Утро горело. Воздух потеплел, и полозья нарты перестали петь однообразную песню. Утопая в рыхлом снегу, они глухо шуршали. Собачки уже не изгибали волнами спины, чуть прикасаясь лапками к корке снега, а вязли в снегу. Они высунули языки, вытянули шеи и шли шагом. Мышцы на ляжках задних ног напряглись заметно. Скоро они по грудь утопать начнут, и нарта станет тонуть в снегу. Тогда надо останавливаться и чаевать до самого вечера, до появления наста. Сейчас надо дотянуть до Голубого

озера, всегдашнее чаевание у Яшки возле этого озера, возле толстой, в два обхвата, разлапистой, с обломанными ветками березы. Солнышко-то жжет, надо поторапливаться.

Яшка уже на пенсии, но он может по тундре на лыжах ходить и день и два, кушает один раз в сутки, остальное — чаевание. Спать на снегу может и без кукуля, только чтобы лапник был. Стреляет без промаха в любую летящую дичь, еще ни разу рука не подводила, но вот глаз уже не тот, буквы в газете не различает и на тридцать шагов заячий горошек не видит, поэтому из карабина в него попасть не может. А если бы видел, попал бы. Тундру Яшка знает километров на пятьсот хоть на север, хоть на юг, каждую сопку помнит, знает каждую долину и каждый распадок. Помнит все ручьи и реки, озера и овраги. До Петропавловска, правда, дорогу не знает, куда больше тысячи километров, туда знал нартовую дорогу только один человек из поселка, Бекерев, первый комиссар, тот, что колхоз организовывал, первым председателем поселкового Совета был. А вот в Палану знает, даже в Пенжину знает, хоть ездил туда всего один раз, в тридцать третьем году.

Знает, в какой долине, под каким вулканом водится какой зверь: где соболя много, где медведя, где лисички живут, где снежные бараны. Трудно баранов добывать, на самых горах живут, под облаками.

Знает, какая погода будет на ближайшие дни и даже на месяц вперед. В тундре Яшка как дома, тут даже лучше.

Только вот в последнее время стал замечать, что с каждым годом сил меньше становится. Года три назад зашел к свояку Елизару — его дети поднимают двухпудовую гирю, и Яшка поднял, несколько раз. А в этом году зашел, увидел эту гирю — и ни разу не поднял.

Да, тридцать лет назад сутки мог идти по такому снегу впереди нарты на лыжах, прокладывая собачкам дорогу, а сейчас столько не может пройти. В ногах силы мало стало. Тридцать лет назад разве у него такие собачки были! Звери, а не собачки были. Да это понятно, каждый день в работе, худые, из одних мышц состояли — а тяжелые какие! Еле поднимешь, когда нарту закладываешь. А этих кидаешь, как подушки. Генку вот сколько не заставлял, чтобы в тундру поездил, только на гулянье и ездил. Да, собачки были... Смотришь на их задние ноги — и видишь, как под шерстью мышцы играют; надеваешь сбрую — под рукою твердые веревки да узлы, перекатываются под тонкой шкуркой; а тут рука вязнет... И какой

передовичок был! От Цыганки. Сам черный, а грудь, краешки лап и кончики торчащих ушей белые. И белые пятна над глазами, будто брови. Все понимал с полуслова. И никогда не уставал. А эти скоро на снег лягут и завизжат, бичом поднимать надо.

Солнце уже палило, душно стало в воздухе, и снег был не только рыхлый, но и немного водянистый. У собачек языки вывалились, с трудом тащат нарту. Яшка все чаще соскакивает с нарты, особенно когда она «пузом» ляжет и собачки на месте месят снег.

Вот и показалась разлапистая береза с обломанными бурей ветками, там Голубое озеро.

— Еще далеко, свояк? — крикнул, задыхаясь, Николай. Он подрывал нарту остовом, собачки лежали на снегу.

Яшка показал на видневшуюся березу.

— Ат-та-тат... — закричал сердито Николай, и его бич засвистел по собачьим спинам.

— Ат-та-та-та! — Яшка тоже не выдержал и пустил бич по своей упряжке.

А солнышко жгло. Уже и Яшка снял кухлянку. Николай давно был в одном зеленом свитере и уши малахая поднял на затылок. На нарты они почти не присаживались, утопая по пояс в снегу и держась за дугу, трудно шли вместе с собачками. Потом остановились, надели лыжи, пошли вперед нарт.

Когда дотянули до Голубого озера, солнышко уже стало высоко над сопками. Под великанской березой остановились, собачки легли, положили морды на передние вытянутые лапы и только щурились на снег — ни визга, ни писка. Яшка и Николай распаковали нарты, вытоптав снег, поставили палатку. Воткнули длинный сук в снег, на него повесили чайник. Николай, утопая в сугробе, с маленьким топориком пошел к кустам за сучьями, Яшка надрал коры с березы. Затем разостлал одеяло, на нем разложил еду. И ружье положил рядом. Николай вторым разом принес кедрачиных зеленых лап, раскидал в палатке, возле костра набросал две кучки для сиденья. Принес с нарты кукуль, кинул в палатку.

— Тебе кукуль надо?

— Не надо, — сказал Яшка. — На лапнике.

— Смотри...

Березовая кора под чайником занялась быстро, Николай уже сучья с треском ломал.

— Может, похмелимся, свояк? — спросил он Яшку.

Яшка посмотрел на солнце.

— Да можно... До вечера далеко.

Николай принес бутылку и кружки. Налил в кружку, выпил, кружку с бутылкой передал Яшке. Ни тот ни другой закусывать не стали. Чайник уже урчал, Яшка потянулся к одеялу, взял пачку чая.

Только начал засыпать заварку в чайник, как со свистом пронеслись три утки: два селезня гнались за самкой, сделали круг над озером и опять пошли над ними, чуть стороной. Не переставая трясти заварку в чайник, Яшка потянулся к ружью, не целясь, навскид, ткнул ружьем два раза в сторону уток, две утки закувыркались. Одна, пробив снег и вся войдя в него, бухнулась возле собачьих морд, на что собаки не обратили внимания, другая, завихляв, боком пошла к озеру, упала в воду. Трепыхая одним крылом, стала описывать круги по воде.

Николай вытащил утку из снега. Это был кряковый селезень. Ярко горело сине-зеленое кольцо на шее, такая же полоса по хвосту и вдоль крыльев. Увесистый был селезень, Николай подкинул его на руке, ощущая тяжесть.

— Хорошая шурпа будет, — и кинул утку к нарте.

Выпили еще по одной. Бутылка опустела, кинули ее в снег. Налили по кружке чая. Николай закурил. Он пил без сахара, а Яшка откусывал от кусочка. Оба пили маленькими редкими глотками и кружки держали в обхват.

— Духота какая, — сказал Николай и двинул малахай еще дальше к затылку.

— Миша должен уже подняться, — сказал Яшка.

— Если сегодня миша не поднялся, то завтра поднимется. Пора.

Налили еще по кружке чая. Чай был почти черный, в кружки падал глухо, аромат так и шибал в ноздри.

— Ветра совсем нет, — сказал Николай.

— Вот миша и поднимется.

— А вот почему в помещении чай плохой?

— Да, чай плохой в помещении, — согласился Яшка.

Николай еще подкинул сучьев в костер, глянул на озеро. Утка, наплававшись кругами, лежала неподвижно вверх брюшком на середине озера.

— Лисичке достанется, — сказал Николай.

— Или ястребу.

— Или росомахе.

Оба еще налили по кружке чая. После третьей кружки Николай закурил, Яшка достал из целлофана большую

рыбину, на прикладе ружья стал резать ее тонкими широкими кусками. Нарезал хлеба. Вытер о колено нож, сунул его в ножны. Стали есть.

Ели долго и много. Косточки обсасывали, крошки от хлеба ссыпали в рот. Съели всю рыбину. Ни к маслу, ни к печенью, ни к консервным банкам не притронулись. Яшка сложил остатки еды в мешок — складывал аккуратно и бережно — и отнес мешок к нарте. Николай развязал кукуль, разостлал его в палатке и привалился грудью. Из палатки торчали его торбаса.

Вскоре и Яшкины торбаса устроились рядом. Солнышко жгло все больше.

III

Солнышко еще не подошло к верхушкам деревьев, но Яшка уже вылез из палатки, поправил малахай и ремень на кунаях, взял с нарты — собачки так и завизжали, так и запрыгали — маленький топорик и пошел за сучьями. Пока Яшка стучал топором по веткам, Николай достал из нарты мешок, вытащил из него еще один мешок, целлофановый, развязал его — пахнуло нерпичьим жиром. Стал доставать куски жира, резать их на равные доли и кидать собачкам. Те ловили куски на лету, зажимали лапами, щурясь, рвали. Снег хрустел, и воздух стал резким.

Яшка принес сучьев опять надрал с березы бересты, выплеснул из чайника старый чай — черный след остался от него на снегу. Николай направился к нарте.

— Похмеляться, свояк, не будем?

— Не будем.

Николай вернулся от нарты, присел на лапник возле костра. Закурил, стал вместе с Яшкой ломать и подкидывать ветки под чайник. Береста и сухие кедрачиные сучья пылали с треском.

Оба молчали. Собачки, отоспавшись за день, опять радостно суетились.

На этот раз чаевали долго — наста хорошего еще нет, спешить некуда. Николай опять пил без сахара, папиросы прикуривал одну от другой, Яшка крошечными дольками откусывал от кусочка сахара.

Наконец пошли к нартам — собачки прямо взвились,— начали укладывать на место палатку, кукуль, мешки с

едою и нерпичьим жиром. Проверили ружья, подсунули их под брезент, прикладами к сиденьям.

— Ну, свояк, теперь до зимовья,— сказал Яшка.

— Быстро доедем?

— Ночью доедем.

Опять привычными движениями повалились в нарты, выдернули остовы:

— Ат-та-та-та!

— Ат-та-та-та!

Собачки рванули еще яростнее, чем утром. Они, как и люди, любили тундру, у них тоже было хорошее настроение. Мимо нарт проносились торчавшие из сугробов ветки, уродливые березовые стволы, проплывали сопки. Солнышка на горизонте уже не было, но было еще светло. В верхушках деревьев всплывала белая луна, зажигала снег искристыми блестками.

— Ат-та-та-та!

— Ат-та-та-та!

Пылинки снега вихрились за нартами.

IV

На развилке — тут сходились три долины, несколько ручьев сливались в речку, — возле орлиного гнезда Яшка затормозил нарту. Собачки, в беспомощности повытягивав шеи и побуксовав ногами, легли на снег. Подъехал Николай.

— Далеко еще?

— Пятнадцать,— сказал Яшка.— Или двадцать.

— Близко,— Николай стал закуривать.

Орлиное гнездо было на одиноком великанском тополе. Большое, с бочку, из березовых сучьев и с крышей наподобие сорочиного. Сучья от времени посерели. Когда-то здесь жили орлы. Потом по одной долине проложили дорогу на Ключи, но орлы еще жили, только при появлении на дороге машин или мотоциклов взмывали к облакам. А года три назад началось строительство промышленного предприятия, над гнездом стали летать большие вертолеты, они перевозили строительный материал, разные трубы, целые стены домов с проемами окон. И орлы ушли. Теперь гнездо пустует, служит вехой, чтобы найти ту долину, которая ведет к горячим Ключам.

— Покупаться бы в горячих Ключах, — сказал Николай.

— Нету времени, — сказал Яшка, — скоро тундра потечет.

— Да, не успеем, — Николай выкинул окурок. — Ну, поедем, свояк.

— Поедем, свояк.

Яшка выдернул остов из снега, собачки рванулись.

Дорога шла по ровному распадку между сопок. Луна уже поднялась, и все заискрилось чуть синеватым светом, лишь деревья и кусты чернели да под ними лежали черные тени. Собачки, набив оскомину на первых километрах, бежали рысцой, потряхивали желтыми, черными и белыми спинами. Тихо шипели полозья.

Яшка любил этот участок дороги, любил по нему ездить ночью. Тишина и раздолье. И красота, особенно в лунные ночи. В начале мая они всегда лунные, правда, в прошлом году на праздник Победы была пурга и три дня пришлось отсиживаться в яме. Не доехал до зимовья. Обязательно надо завести пургового передовичка.

Впереди по склону сопки бежала лиса. Она бежала с остановками, поднимала остроносую морду. Собачки, почувствовав ее, рванулись с визгом в ее сторону, Яшка вонзил остов в снег, за нартой завихрился снежный хвост.

— Ках-ках-ках! — Яшка яростно огрел их бичом.

Собачки опять свернули в ложбину. Лиса продолжала стоять на склоне сопки. Ушки ее торчали. Позади послышался лай, визг и хлопанье бича: Николай удерживал своих. Нарты опять пошли ровно.

Да, в этом году хороший май стоит, еще ни одной пурги не было. Теперь так и будет до самого конца, пока снег потоками не сбежит в ручьи и речки. Надо бы съездить к горам, добыть снежного барашка. Очень вкусное мясо. А рога какие! Каждый по пуду. Генка их приспособил под гири, поднимает по утрам, тренируется. Но дня три потеряешь, на горы надо карабкаться, высоко барашки живут. В прошлом году он возле Ключей видел стадо голов в двадцать... Нет, в этом году не выйдет, раньше бы выехать, да вот Николая ждал. Да и собачки слабоваты, мясо бы медвежье хоть перевезти, а то горпромхозовцев впору просить... Надо было Генку зимой чаще посылать в тундру на собачках, зажирели собачки.

Луна выше поднялась, снег заискрился еще веселее, зато в березовых рощах и тальниковых зарослях совсем по-

чернело. Оглянулся назад: Николай бежал за нартой. Разминается, надоело сидеть.

Вот и знакомые сопки, березовая роща. Здесь должно быть зимовье. Но Яшка его не видел. Неужели ошибся? Он остановил нарту, сошел. Ноги после долгого сидения плохо слушались. Стал прохаживаться, осматриваясь. Неужели перепутал сопки? Не может быть. Подъехал Николай.

— Ну что, свояк?

— А ну, пройдись до того вон склона... — Яшка показал рукой на заросший тальником склон сопки.

— Или не туда приехали?

— Туда приехали, — Яшка в тундре еще ни разу не ошибался, разве что в пургу. И в пургу один раз Яшка не ошибся. Ехали они из Паланы, со слета передовиков: он, Кирша Косыгин, Ульян Потапин, Степан Попов, Кешка Смирнов. Застала пурга, короткая, однодневная. Едут. Должно уже быть Макарьевское. Яшка говорит: «Здесь должно быть Макарьевское». Ребята заспорили, не доехали, мол. Они поехали дальше, а Яшка выпил спирта, залез в кукуль и улегся в нарте. Собачки свернулись калачиками, он не стал их распрягать, им пурга не страшна. Проснулся утром, скинул снег с себя — возле колхозного склада находится, а ребята плутают где-то...

Николай сошел с нарты, тундровой, охотничьей походкой — ноги расставлены чуть шире обычного, носки внутрь, чтобы нагрузка тела приходилась на внешнюю сторону стопы, так ноги меньше устают и шаг широкий — пошагал к чернеющему склону сопки. Яшка смотрел на искрящуюся долину, на луну.

— Здесь, — донесся голос Николая, он расшвыривал ногами снег. Яшка повалился в нарту, выдернул остов...

Зимовье было занесено снегом по крышу, и только с одной стороны, той, что приходилась к сопке, крыша была без снега. Достали лопату, Николай стал вырезать нишу в сугробе к двери, Яшка взял лыжу, стал откидывать лыжей снег от окна.

В зимовье было сухо и темно. Зажгли свечу, возле камина в углу лежали сухие дрова, куча бересты. На полке стояла посуда, с потолка свисали сумки, мешок с продуктами — от мышей были подвешены.

Камин загудел быстро, осветил угол с дровами. Яшка на нарах начал распаковывать мешок с продуктами, Николай взял чайник, вышел из зимовья. Через минуту он

вернулся, неся крыгу снега, чайник тоже был набит снегом. Яшка зажег еще одну свечу, пристроил посредине брезента, на котором лежала еда.

— Давай свежины сделаем? — сказал Николай и вышел из избы. Яшка резал хлеб и рыбу. Затем добавил снегу в чайник.

Через какое-то время Николай вернулся, принес ощипанную утку, держа ее за кончики крыльев, на которых оставил перья, стал палить ее в камине.

— Хорошая шурпа будет, — он щурился от пламени, смотрел, как с почерневшего брюшка стекает жир. Чайник уже бурлил.

В зимовье стало жарко. Приоткрыли дверь, подставив чурку. Разделись до рубашек, разулись и торбаса с кунаями развесили перед камином. Утка, порубленная на маленькие кусочки, бурлила в кастрюле, чайник стоял на нарах посредине брезента, от его носика шел ароматный пар. Николай стал наливать в кружку чай.

Тихо было в зимовье, лишь гудел камин, туда положили две большие чурки, чтобы огонь не переводился. Кастрюля с дымящейся шурпой стояла уже на нарах рядом с чайником, там же и миски с ложками. Николай и Яшка к шурпе не притрагивались, хоть с самого утра не ели. Маленькими глотками прихлебывали чай, держа кружки двумя руками, будто руки грели.

— Неплохо бы барашка добыть, — сказал Николай. — Очень вкусное мясо у снежного барашка.

— Поздно выехали, не успеем, — сказал Яшка.

— Надо было мне до праздника выезжать.

— Надо было.

Опять замолчали.

— Я, видно, не усну, — сказал Николай.

— Я тоже целый день спал.

— Часа через три поедем.

— Поедем.

В нижний угол окна падал лунный свет, он полосой пролег к дровам, на дровах играли отсветы от дверцы камина, то больше, то меньше освещая их. Поставили еще один чайник. Николай боком привалился на нарах, подложил руку под голову, достал папиросы. Яшка сидел с пустой кружкой. Оба молчали.

Вдруг собачки всполошились, заливисто с визгом залаяли.

— Лиса, — сказал Николай.

— Росомаха, — сказал Яшка. — Лиса близко не подходит.

— Росомаха хитрый зверь, — добавил Николай.

Оба опять замолчали. Чайник с шумом забулькал. Николай поднялся, взял заварку, пошел к камину.

— Хороший у тебя передовичок, — сказал он, всыпая заварку.

— Пурговых надо, — сказал Яшка.

— Пурговых надо, — согласился Николай. — Я своих последний год держу, последний раз выехал на мишу.

— Ты в прошлом году пять добыл?

— Пять. Все секачи.

— Я тоже матух не брал.

— Ты шесть добыл?

— Шесть.

— У меня один шестерик попался, в расщелину между скал завалился. В две упряжки с Елизаром тащили.

— Шестерик — самый большой.

— А как было, — засмеялся Николай, ставя чайник и пододвигая кружки. — Мы с Елизаром Поповым охотились. На Лепнинских увалах. Выследили, засели на тропе возле самых скал. Сидим, однако, ждем. Под вечер бредет матуха с двумя малышами, они с сапог величиной, кидает их перед собой. Что ты будешь делать? Мы опустили карабины. И вот по тропе валит секач. Большой. Она испугалась, лезет на скалы, малышей кидает. Заревела. Мы в него начали палить, он на нас внимания не обращает, а к ней. Она встала на задние лапы, передние развела, защищает малышей. Мы в него по обойме выпустили, он хоть бы что. Малыш выкатился из-под нее, он его сожрал сразу. Она на него. Мы подскочили, и я в затылок ему. Он покатился со скал, в расщелину прямо. Она схватила малыша и убегать. В горы. Ревет.

— По лопаткам не попали, — сказал Яшка.

— Когда свежевали, — сказал Николай, — семь дырок нашли. Но их было больше. А по лопаткам не попали. Спешили, такое дело было. А она одного увела... А этот нежеваный был у него в пузе. Здоровый секач, двумя нартами тащили.

— Один раз я три дня смотрел, как они из-за матухи дрались, — Яшка наливает себе чай, тянется за сахаром. — Страшно они дерутся, ревут.

— Мне сколько раз миши попадались или со сломан-

ным клыком, или со шрамом на морде. Один раз попался без глаза.

— Это от драки.

— Шел я по распадку, слышу, рев доносится из оврага. Подошел, а там два секача рвут друг друга, бьют лапами, смотреть страшно. Она тут же ходит, пасется, ждет. Они уморятся, лягут друг перед другом, отдыхают. Отдохнут, опять колошматить друг друга начинают. Я смотрел, смотрел, ушел. Не стал стрелять. Интересно.

— Да, — Николай тоже наливает себе чай. — Интересно.

— На другой день прихожу, они опять дерутся. Уже все в крови, хрипло ревут. И уже у обоих сил мало. Она ягоды щиплет. Посмотрел, посмотрел, ушел.

— И на второй день никто никого не одолел?

— Только на третий, — продолжает Яшка. — Прихожу — куча хвороста, кочек, целых деревьев с корнями навалено.

— Закопали?

— Закопали.

— Как оно устроено...

— Интересно устроено.

Оба молчат, маленькими глотками отхлебывают чай.

— И из-за участка тоже дерутся.

— Там живые остаются. Один другого прогоняет.

— Хозяева.

— Как у нас в этом году охота пойдет?.. — задумчиво сказал Николай. — Миша должен быть на склонах гор.

— Должен. Госпромхозу не разрешили в этом году стрелять мишу.

— Мало миши стало, — сказал Николай.

— Однако, надо дровишек запасти. — Яшка поднялся, вышел из избушки.

Луна сияла, и все сияло вокруг. Яшка направился к березовой роще. Снег висел на сучьях, кедрачиных лапах, кусты в снежной одежде изображали самые причудливые фигуры. А еще причудливее были их тени на искристом насте. Яшка вздохнул, пробормотал что-то и медленно побрел между кустов. «Го-го-го», — послышалось рядом: стадо куропаток ночует. Он знал, что не увидит их, но все-таки пошел на гогот. Через мгновение с другой стороны послышалось: «Го-го-го». Перебежали. Яшка улыбнулся, стал выбирать ветки на дрова.

Когда он нес охапку, прямо на зимовье, к нартам вы-

неслась заячья стайка. Собачки завизжали, стали рвать поводки. Зайцы повернули на Яшку, чуть не налетели на него и, увидев, заскользили по-смешному на задницах, перевертываясь, судорожно работая задними лапками. Унеслись. Яшка стал рубить сучья на короткие поленья, улыбался.

Когда он с охапкой дров зашел в зимовье, Николай снимал с камина бурлящий чайник.

— Зайчики?

— Свадьба. — Яшка бросил дрова. — На меня налетели. От собачек шарахнулись — и на меня.

— Слепые они на свадьбе. Много?

— Штук семь.

— Дела у них сейчас.

Оба расположились на нарах, налили чай.

— А у тебя передовичок хороший, — сказал Николай. — У меня тоже хороший был. Застрелили.

— Поссовет?

— Весною бродячих отстрел делали, и мой попал.

— Надо было на привязи держать. Я своих не отпускаю.

— В последний раз выехал. Хватит.

— В госпромхоз пойдешь?

— В шкурный цех. Куда собачек девать?

— Да... Отпустить — постреляют.

— Постреляют.

— Жалко.

— Жалко.

Оба на какое-то время замолкают. Сидят друг перед другом, держат кружки с дымящимся чаем. Время от времени отхлебывают маленькими глотками.

Луна выкатилась больше, теперь уже во все окно смотрит, дрова в камине перестают разговаривать.

— А хороший у меня передовичок был, — начинает Николай. — Пурговой. Сам дорогу до поселка знал. Ехали мы из леса, дрова везли. Пурга пошла, трехдневная. Заблудились. Семь нарт нас было. Бросили дрова, бросили половину нарт, по две упряжки заложили. На второй день ребята говорят: «Давай яму рыть, отсидимся». А я говорю: «Пойдем». Ребята кто хочет, кто не хочет идти. А если бы она была семидневная? В яме бы остались.

— Остались бы в яме.

— Остались бы... Продуктов не брали, кукулей нет. Я

говорю: «Пойдем». Заложил своего передовичка, к заставе вывел.

— У меня пурговой передовичок был, — вспоминает Яшка. — Поехали мы за товаром для рыбкоопа, тоже нарты четыре. Нас семидневная застала. Тоже яму рыть хотели, хотели ждать. А с нами бухгалтерша была, Нина Павловна. Ну что, думаю, пропадет, не выдержит она в яме. Товар бросили, прикрыли брезентом, Нину Павловну в кукуль закутали, в нарту положили. Все побросали. Только деньги взяли, она мешок везла. Заложил я своего передовичка в головную нарту и пошли. Пришли, прямо в колхоз приехали.

Оба наливают еще по кружке чая, Николай закуривает. Луна смотрит в окно.

— Опоздали, — вздохнул Николай, — не добудем снежного барашка.

— Три дня надо.

— Три дня... С вертолета хорошо добывать барашка: подлетел, застрелил, опустился, взял. Никуда барашек не убежит.

— И мишу с вертолета хорошо.

— Миша с вертолета далеко виден.

— Да-а-а... — грустно, будто самому себе, говорит Яшка. — Тоже никуда не убежит, упадет на спину, отмахивается лапами от пуль.

Оба опять замолкают. Маленькими глотками прихлебывают чай.

— На тот год обязательно пургового передовичка заведу, — говорит Яшка.

Лунный свет льется от окна, и сама луна смотрит в окно. Такая белая и будто смеется...



МАКУК

I

Наш «Онгудай» стоит у причала. Вид у него потрепанный: борта, побитые морем, пестрят ржавчиной, из-под остатков черной краски проглядывает сурик. Кормовая стрела, погнутая при швартовке к плавбазе в зыбь, понуро склонилась. Одно из окон на ходовом мостике зияет черной дырой: в последний шторм дурная волна навалилась на «Онгудай», выдавила стекло, свернула тумбу локатора и отбросила рулевого к штурманскому столу.

На руле тогда стоял Брюсов. После он рассказывал:

— Она ка-а-ак шуранет! Не успел я очухаться, а шлепанцев нету... Так и остались мои шлепанцы в Охотском море.

Всем своим видом сейнер говорит об усталости, о минувшей борьбе с ветром и морем и о крайне необходимом ремонте.

Вчера мы пришли с моря.

Весной ловили нерестовую селедку на Сахалине, летом камбалу в Охотском море возле Большерецка и Озерной,

потом — жировую сельдь в Беринговом и, наконец, сайру у острова Шикотан. Соскучились по берегу страшно. После долгих ночных вахт, когда небо затянуто мглистыми тучами, ветер тоскливо свистит в снастях, а море бросает сейнер в самые непредвиденные стороны, берег кажется необыкновенно желанным. Вспоминаются высокие береговые окна, непринайтовленные к полу столы и стулья, некачающиеся потолки. А огни вечерних улиц, запах травы или снега, девичьи взгляды мутят голову. И не раз в прыгающих волнах какого-нибудь моря мерещилось что-нибудь береговое.

Но скоро в отпуск. Поставим «Онгудай» в ремонт — и в отпуск. Можно будет месяца три валяться на диване и листать книжки или ходить в кино или еще куда-нибудь и не думать о вахте. Не думать и об ахтерпике[1], что там дырка — через сальник баллера руля просачивается вода — и что он постоянно затопляется.

— Нет, не могу я, — прервал мои размышления Борис.

— Ты это о чем?

— Ну разве об этом мечтал я, когда учился в мореходке? — тоскливо продолжает он. Потом приваливается на одно плечо и вытягивает ногу. Его серые глаза, в обычное время суетливые, потускнели, веснушчатое лицо грустно. А густые белые волосы, которые всегда кокетливо выглядывают из-под щегольской мичманки, спрятаны, и сама мичманка надвинута на самые уши. — Что здесь хорошего? — морщится он. — Тоска, грязь, бич на биче.

Мы с ним сидим на сопке. Вышли прогуляться, походить по твердой земле — каюта надоела до чертиков. Внизу под нами бухта. Ее обступили сопки. У их подножий расположен рыбацкий поселок, склады, причалы. Совсем недавно здесь был только один причал, возле которого толпились деревянные кунгасы и кавасаки, а теперь — траулеры, океанские сейнеры, громадины мастерских... Только больших домов пока не видно.

— Просто мы устали от моря, — говорю я, — в отпуск надо.

— А после отпуска что? — встрепенулся Борис. — Ну разве это пароходы? — он кивает в сторону сейнеров, вид которых похлеще, чем у нашего «Онгудая». — Когда закончил мореходку, мечтал попасть на большой шип, уйти в кругосветное плавание, полазить за кордоном, посмот-

---

[1] Ахтерпик — крайний кормовой отсек на судах.

реть южные моря с коралловыми рифами, экватор... а попал в рыбкину контору. Что здесь хорошего? Что мы видим? Рыба да море, море да рыба. А если еще семейством в этой дыре обзавестись... прямой путь к идиотизму.

Вообще прав Борька. Дыра здесь. На весь поселок всего один магазин, где вместе с рыбацкими сапогами и проолифленными куртками, телогрейками и ватными штанами продают каменную колбасу, консервы и шампанское. В другом углу магазина куча соли. Тут же продают керосин в разлив и спички. На прилавке рядом — часы, пуговицы, топоры, нитки и огнетушитель. Огнетушитель, конечно, не продается.

Есть еще клуб. Это большой деревянный сарай, заштукатуренный и побеленный; раньше здесь рыбачки неводы шили, а теперь вот клуб — через день кино и танцы. Танцуют одетые, лихо топают сапогами.

— Куда деть сегодняшний вечер? — вздыхает Борис. — В клуб я не пойду... — Помолчав, добавляет: — И это первый день на берегу.

— Пойдем гуся есть.

— Гуся? Где?

— Не знаю еще.

— Посмотри! — приподнялся он. — Кажется, мережи идут? Уж не за нами ли?

На сопку поднимаются двое ребят. Одинакового примерно роста, краснощекие, быстроглазые, хитрые насквозь. У одного лицо круглое, у другого—продолговатое, у одного нос пуговкой, у другого — вытянутый. Один говорит редко, с раздумьями, другой строчит скороговоркой. Это Мишка с Васькой, наши матросы, неразлучные друзья. Они из одной деревни. А «мережами» их прозвал боцман: как-то Васька рассказывал, как у них под Рязанью карасей ловят мережами. С тех пор и пошло — мережи.

Друзья загребают широченными штанами снег, коверкотовые пальто с каракулевыми воротниками волочатся по снегу. Каракулевые шапки сдвинуты набекрень.

— Слышали новость? — говорит Васька, отдуваясь.

— В чем дело?

— В море идем, — говорит Мишка.

— Как в море? — удивился Борис.

— А так: на две недели выгоняют минтай ловить. Мы с Мишкой уже домой собрались...

— Уже и пóльта покупили, — перебивает своего друга Мишка, любуясь рукавом своего пальто.

— ...а в конторе расчета не дают, — продолжает Василий, — говорят, приходите через две недели после рейса.

— Только щас из конторы, — добавил Мишка.

— Какой минтай, какое море? — вспыхивает Борис. — Мы ведь в ремонт становимся.

— Начальству виднее,— вздохнул Васька, — им план давай, а тут хучь пропади.

— В этом-то году с селедочкой-то прогар, план-то не взяли, — опять перебивает своего дружка Михаил, — вот на минтае и хотят выехать. Во как!

— У нас же течь в ахтерпике, сальниковую набивку срочнейше менять надо...

Спускаемся с сопки. Настроение — хуже некуда. Море сейчас плохое: штормы, снегопады, обледенения. Когда задует «северняк», или, как говорят моряки, «норд», ванты и борта обрастают толстой коркой льда, брашпиль превращается в сплошную глыбу, а шпигаты закупориваются и задерживают сток воды с палубы. Лед надо скалывать, занятие не из приятных. У «Онгудая» к тому же течь — механики последние недели в рейсе не вылазили из ахтерпика, все подбивали сальник.

— С ума они там посходили? — не утихает Борис.

Подошли к «Онгудаю». На палубе толпятся ребята. Никого не узнаешь: притихшие, угрюмые, в галстуках, начищенных ботинках, длинных пальто. Пассажиры да и только. А несколько дней назад, когда подходили к порту, — радостные флибустьеры: в высоких по бедро сапогах, куртках с наплечниками, бородатые, обветренные. Вот как портит людей нежелательная новость! Да еще тонкие, безвольные подбородки вместо шотландских бород...

— Слышали? — спрашивает боцман. Он сидит на борту, задумчиво стряхивает пепел с папиросы.

— Да, — буркнул Борис.

— А про нового капитана?

— Какого там еще нового? Петрович куда же делся?

— Заболел, — со вздохом сказал боцман.

— «Заболел», — влез второй механик. — Сам заболел, жена заболела. На курорт уезжает, лечиться. — Слово «лечиться» механик произносит желчно, с иронией. — Когда на сайре пятаки гребли, никаких болезней не было, а тут — разболелся... Минтай не сайра и даже не камбала.

— Знает, почем соль, — замечает радист.

— А вместо него кто?

— Заместо него назначили какого-то куркуля, — про-

должает боцман. — Лет десять назад он на кунгасах да кавасонах рыбачил, а сейчас дырки в шлюпках заколачивает, шлюпки конопатит.

— Какие дырки, какие шлюпки? — Все эти новости прямо ошарашили Бориса, он даже фуражку сдвинул на затылок, что бывает у него в моменты крайней озадаченности. — Шутишь, боцман?

— Зачем шутить? Минут двадцать назад тут был главный капитан флота. Говорит, ваш новый капитан хоть и не очень грамотный и без нашивок, но в рыбацких делах собаку съел.

— Говорит, Японское море знает, как собственные карманы, — опять влез механик.

— Вот он, может, шутит, — вставил радист.

— Оля-ля-ля! — присвистнул Борис.

Одна новость лучше другой. Петрович что-то схитрил, конечно. Правда, в последние дни на сайре, когда полмесяца лежали носом на волну, он чувствовал себя очень плохо. Но тогда все мы выглядели не лучше: идет человек по коридорам, держась за стенки, и не поймешь, от чего он шатается: от качки или от болезни.

— Ну, собирайтесь, — тихо сказал боцман, — пойдем гуся, что ли, попробуем. Приход-то отметить надо.

Идем с Борькой в каюту. В коридоре из шестиместки вывалилась странная фигура: растрепанная, всклокоченная, один глаз спрятался в кровоподтеке. Из кармана торчит пук денег, в руках бутылка коньяка. Это Андрей.

— Чиф! — схватил он меня за рукав. — Поздравляю с очердным свинством нашего капитана. Выпьем?

— Иди спать.

— Нет, сначала выпьем... — Он пошатнулся и, если бы не Борис, упал бы. Бутылка покатилась под трап, деньги посыпались веером. — Вы с-с-симпатичные парни, выпьем...

— Андрюха, ты это че? — подлетел Васька, они с Мишкой шли за нами. — Ну-ка, милок, айда в кубрик, там выступать будешь, Миш, поддержи!

Они взяли Андрея под руки, повели в кубрик. В море это незаменимый работник, нет дела — найдет, а вот на берегу... На берегу, если бы ребята не следили за ним, он за один день спустил бы месячную, например, зарплату.

— Вот что нас ждет в этой дыре, — говорит Борька, входя в каюту, — пить, тупеть и превращаться в скотов.

Открываем рундуки, достаем парадные тужурки, сорочки, ботинки, которые не надевали уже несколько меся-

цев. Борька налаживает бритву, хотя брить ему будто бы и нечего.

Стук в дверь. Входят Мишка с Василием.

— Андрюху уложили спать, деньги отобрали, — докладывает Васька.

— Молодцы.

— И, товарищ старпом и товарищ второй, гусь ждет. Ребята нервируются.

— Сейчас, сейчас! — смеется Борис.

Друзья потолкались у зеркала, поправили шапки и торжественно вышли. А шапки на них сидят лихо, края у шапок острые — на ночь они их напяливают на солдатские котелки. Котелки, кстати, они из армии прихватили при демобилизации.

— Ведь специально не придумаешь, — говорит Борис, — нервируются... — Он чистит щегольскую тужурку, выбирает галстуки, носки. Любуется на черные, в золотой оправе, запонки.

На судне его считают стильным парнем. Нарукавные нашивки у него шире положенных, мичманка с большущим сияющим козырьком лихо сбита назад — эдакая видавшая виды. И краб у нее с глобусом, как у капитана дальнего плавания. Когда четыре месяца назад он пришел на «Онгудай», ребята морщились — рыбаки ведь не любят внешних эффектов, даже в одежде: сапоги, свитер, простенькая мичманка с почерневшим от морской соли крабом. Даже капитаны так ходят. А Борька сиял регалиями. Он тоже морщился: «Разве это пароходы? При первой возможности сбегу в торговый флот».

— Кстати, в чем смысл этого гуся? — спрашивает он, небрежно осаживая фуражку назад.

— Увидишь.

— Ну что ж, — он сдунул соринку с раззолоченного рукава, — посмотрим, что это за птица. We well see, we well see, как говорят наши друзья англичане.

II

Есть гуся — рыбацкая традиция, местная по крайней мере. Возвратившись с путины, парни целыми экипажами, во главе с капитанами и стармехами, идут к местным жителям, куркулям (хоть они не такие уж и куркули, но так принято: каждый местный — куркуль), выбирают гуся и...

съедают его. Чтобы не ходить лишний раз за гусем, едят его почти всегда у хозяина, ибо за первым гусем следует второй...

Мы ели гуся у Сергея, у себя дома, так сказать: Сергей наш матрос, а не из местных. «Гусь» получился шумный: к радости возвращения прибавился нежелательный выход в море и, самое главное, пока мы шатались по морям, у Сергея родился Сергей Сергеич или, как он зовет его, «крохотулька».

Жена Сергея с нашей поварихой Артемовной отлично сервировали стол; у парней глаза разбегались от разных вилок и тарелочек: ведь на маленьком рыболовном судне посуда не роскошная — миска да ложка. Здесь же сам гусь в дружной компании всяких закусок...

— Выпьем за «Онгудай»! — рявкал боцман, расплескивая вино. — Чтобы «Онгудай» всегда был порядочным пароходом, даже без всяких капитанов.

«Онгудай» боцман величал «пароходом», хотя это всего лишь рыболовный сейнер, похожий на современный пароход примерно как котенок на льва. Зато уж и ухаживал за ним боцман, мыл да подкрашивал! По этой вот причине он и считался лучшим боцманом в управлении.

— Сережа! — приставал он к Сергею. — За «Онгудай»! Муха не пролетит!

Сергей возился с «крохотулькой». Боцман поднес к носу малыша свою огромнейшую, потресканную, в царапинах клешню, ногти на которой были в обрамлении несмываемых траурных дужек, и стал изображать «козу».

— Ну-ну, малец, ам-ам! — Он чмокал губами и таращил глаза.

Но малыш оставался безучастным. Он смотрел бутылочными глазками мимо «козы», покачивал головой и часто-часто дышал. Убедившись, что «Онгудай» не интересует отца, а «коза» — сына, боцман направился к поварихе.

— Артемовна! Где наше не пропадало! Вир-р-ра!

— Да хватит же! — сердито сказала повариха.

Говорили, конечно, все сразу и обо всем. Каждый считал, что он толкует самые дельные вещи, а слушать соседа не обязательно. Говорили об отпуске, новом капитане и прошедших плаваниях. Что за народ: как выпьют, так про моря. Некоторые, правда, грезили береговой жизнью.

— Как только поставим «Онгудай» в ремонт, — мечтательно, с придыхом говорил Васька второму механику, маленькому ехидному парню, который тоже собирался с мо-

ря уходить и ждал только квартиру — плавсоставу жилье давали быстрее, — как поставим, берем с Мишкой расчет — и к себе. В колхоз. Дома купим. Мне брательник уже присмотрел, недорого. А рыбу пусть ловит тот, кто ее пускал. На берегу лучше.

— Что ты! Конечно, — соглашался второй механик. — Я тоже уйду. Вот квартиру бы!

— А ты дом купи, — советовал Василий, — деньгу, чай, заколотили.

— Жена не хочет... услуг нету.

— Подумаешь — услуг! Что она у тебя, на улицу не сбегает?

— А ванная? Газ, паровое отопление? А если свой дом, то с дровами замучаешься.

— Это точно.

— Да и деньги останутся.

— Ну?

К ним подошел боцман. Потянулся было чокнуться, но вдруг отстранил руку и насупился: до него дошел смысл разговора.

— На берег, медузы? — Он закачал из стороны в сторону пальцем перед Васькиным носом. — И ближе чем на тысячу миль к морю ни-ни...

— Да отстань, Егорович, — поморщился Васька, — дай хоть здесь дыхнуть. — И опять ко второму механику: — Ты знаешь, как у нас в Рязанской области? О-о-о!.. Лес... речка... природа всякая. А тут что? Вода и вода.

— Эх, мережи! — вздохнул боцман. — И-эх! — еще раз вздохнул он и добавил: — Чтоб вас клопы съели!

Не любил боцман ни второго механика, ни Мишку с Васькой. Не нравилось ему, что они, как говорит Васька, «временные», в море пошли за длинным рублем и все время расхваливают береговую жизнь. Во время выборки невода он обычно рычал на них: «Как тянешь, медуза? Быстрее! На море все делается быстро и точно». Те говорили «есть», а сами и не думали исправляться. Они все делали по-крестьянски медленно. Правда, основательно. Боцман, конечно, ценил их старания, но не утихал: «Мережи, Алехи! Навязались на мою шею, узурпаторы...» Впрочем, они на это мало обращали внимания, поняв, что других слов для них у боцмана нет.

— Ты знаешь, чиф, — вздохнул Борис, любуясь ногтями, — скука. Не вынесу я этой жизни... — Борька совсем раскис, даже больше, чем днем. — Посмотри на боц-

мана... (Боцман между тем вразвалку, как перегруженная баржа в зыбь, колесил по комнате.) Так пьют только крокодилы, и то, я думаю, под настроение. А этих частников, — Борис кивнул в сторону Мишки с Васькой, — я терпеть не могу. Бежать из этой рыбкиной конторы, иначе ждет участь Андрюхи.

К нам подсел стармех.

— Как ты думаешь, дед, — обратился к нему Борис,— «Онгудай» дотянет до ремонта? Не развалится?

— Не должен.

— Все побито, изношено... в море с таким сальником...

— В принципе я против рейса, — продолжал стармех, пуская колечки дыма, — в море проторчим зря. Какая сейчас рыба!

— Да еще с новым капитаном. Ты что-нибудь о нем слышал? Кто он?

— Обыкновенный рыбак. Из местных. В прошлом, говорят, на кунгасах хорошо рыбачил.

— Кунгас — это не океанский сейнер. Впрочем, если так, то почему сейчас на берегу шлюпки конопатит?

— Нужного диплома нет. Раньше им, всем местным, с малыми дипломами разрешали на сейнерах работать, а теперь кончилась лавочка. Что-то в этом роде толковал мне капитан флота.

— Короче — с куркулем в море идем.

— Начальству виднее, — невозмутимо продолжал стармех, — оно, как говорится, газеты читает.

— Просто вместо Петровича заткнули дырку.

— Возможно, и так.

К концу вечера, когда вдоволь наговорились и в тарелках вместо закусок лежали окурки, ребята разбрелись по квартире и занялись делами, кому что подходило по характеру. Мишка с Василием и второй механик размечтались о береговой жизни, Новокощенов, заочник мореходки, копался в книжном шкафу, человека три топтались возле радиста — он радиолу настраивал, а Брюсов, записной остряк, развлекал Артемовну и жену Сергея, рассказывал, видимо, им что-то уж очень смешное, потому что Артемовна уже отмахивалась от него.И вдруг боцман:

— Р-р-разойдись, узурпаторы! Веселиться хочу! — Он вывалился на середину. — «Бар-р-рыню»!

Ему поставили «барыню». Он старательно взмахивал руками, еще старательнее топал исполинскими ножищами

и... никак не мог попасть в такт музыки. Однако это «выступление» захмелевшего боцмана всем понравилось: все дружно хлопали и смеялись.

После боцманского танца вечеринка, как говорят механики, пошла вразнос. Мишка с Василием загорланили какую-то песню — я ее никогда не слышал:

И где мы ни будем,
Мы не забудем
Песню, что с нами шла...

Боцман укладывался на кушетку, а кто-то на ней издавал уже звуки закипающего чайника. Тогда Артемовна вытолкала всех нас в спины и пожелала нам спокойной ночи.

Возвращались на «Онгудай» нестройной толпой. Боцман кому-то что-то доказывал и оседал назад — его Брюсов с Борисом держали, — Мишка с Васькой отрывали «и где мы ни будем, мы не забудем...»

Ночь была лунная, с морозным сухим воздухом. Искрился снег. Такой снег у нас сейчас в Московской области. Там сейчас еще день не кончился, а здесь глухая ночь. Мои младшие братья, наверно, пришли из школы и зашнуровывают коньки. На озере их ждут такие же огольцы с ключиками. Старший пришел с завода, моет руки и рассказывает бабке веселые истории. Она накрывает на стол и ворчит на малышей. Кончится рейс — и в отпуск... в отпуск!

Над бухтой белело зимнее небо. Большая Медведица изогнутой ручкой свесилась над «Онгудаем». Серебрились вершины сопок вдали. Тишина. Только скрипнули сходни под грузным боцманом и послышалось в последний раз его «муха не пролетит».

«Онгудай» ждал нового дня и нового капитана.

III

На следующий день, утром, на пирсе появился старик. Мы готовили «Онгудай» к выходу в море: расхаживали блоки, меняли снасти, грузили промысловое оборудование. Борька на штурманской рубке подкрашивал комсомольский значок. Мишка с Васькой сращивали концы.

— Как работаете, Алехи! — ворчал на них боцман. — Так лапти плетут в вашей Рязани!

— Егорович, мы же делаем, как ты учил: кабалку пущаем по ходу, но что-то ня так...

— Ня так, ня так, као, чао... — передразнивал он их.— Чтоб вас клопы съели! Тьфу! — У боцмана было плохое самочувствие после вчерашнего «гуся», но это мало трогало друзей: один шмыгал носом, стараясь придать своей мордочке скорбный вид, физиономия другого — себе на уме — хитренько улыбалась. — Нагородили тут, узурпаторы! — не утихал боцман. Он начал переделывать Васькину работу.

Старик внимательно смотрел на нас. Молчал. Потом отвернул полу полушубка, достал кисет и бумагу, стал мастерить самокрутку.

— Тебе чего, дед? — спросил его боцман. — Рыбки на уху?

— Старпома. — Старик несмело, как-то скромно улыбнулся.

Я подошел.

Он протянул направление из отдела кадров: «...Назначается капитаном «Онгудая»... И управленческая печать с подписью начальства.

Я растерялся. Это получилось неловко; старик заметил мою растерянность и смутился еще больше. Но делать нечего, представил команде. Кстати, почти все на палубе были.

После моих слов: «Это наш новый капитан, Михаил Александрович Макуков», — на лицах ребят так и мелькнуло: «Вот это капитан!»

Действительно, гофрированный морщинами лоб, нависший над губами горбатый сухой нос, спокойный взгляд усталых, с чуть опущенными по краям веками глаз делали его похожим скорее на ночного сторожа, нежели на небрежного кепа. Стоптанные валенки, старенький полушубок и шапка с отвислым ухом довершали это сходство. Одним словом, полная противоположность элегантному Петровичу.

Мишка с Васькой открыли рты и конечно же ничего не понимали. Борька уронил банку с краской, а подвижное лицо Брюсова вопросительно вытянулось — он не нашелся даже, что бы сострить. Боцман рассматривал свой сапог. Может, это шутка?

Однако дед не смеялся. Он спросил у меня ключ от капитанской каюты и, попыхивая сладковатым дымом махорки, протопал кривыми валенками среди притихших ре-

бят — только Васькино «гы» послышалось за нашими спинами.

На рыболовном флоте мне приходилось видеть всяких капитанов: и крикливых самодуров, и лихих мореходцев, и обветренных до трещин на скулах, с охрипшими голосами камчатских шкиперов, и капитанов-аристократов, которые, отчитывая помощника или боцмана, не повышают голоса, — впрочем, от этого спокойствия боцмана потеют, — и капитанов-щеголей, каким был наш Петрович. У всех одно: властный взгляд и уверенность в каждом жесте. А этот...

Когда передавали судно, на сдаточных актах его узловатые, с въевшейся в трещины смолою пальцы нацарапали клинописью: «Судно принял... Макук...» Да, он будто полюбовался на свое «Макук» — откинул голову назад и с полминуты двигал бровями, не выпуская ручку из рук. Глядя на него, Борька закашлялся, а у стармеха дрогнули уголки рта.

Потом новый капитан аккуратно — уж очень аккуратно! — собрал все документы и потопал кривыми валенками в контору улаживать формальности по приемке судна.

За обедом боцман возмущался:

— Двадцать лет рыбачу, на каких пароходах только не молотил, но такого не видел...

— Ты много чего не видел, Егорович, — подковыривал его Брюсов, — только зря ракушкой оброс.

— Черт знает что творится, — не утихал боцман. — Скоро Артемовну на мостик поставят!

— Вась, а Вась, это не из ваших Васюков?

— Говорят, он на кунгасах здорово рыбачил.

— Ну-ну... возле бухты, за сопкой...

— А куда на кунгасе уйдешь? Только возле берега лазить.

— Братцы-ы! А нос-то крючком!

— Но это еще не всякий орел, у кого нос крючком, — заключил боцман.

— Борис Игнатьевич, — обратился Брюсов к Борису, — а хоть зовут-то его как?

— Макук, — сказал Борька и поднял палец вверх.

— Вот Макук так Макук, — шмыгнул носом Васька.

В салон вошел новый капитан — он возвратился из конторы. Шум стих. Все украдкой, но с большим любопытством следили за ним. Он как-то неловко, смущаясь,

прошел в уголок, присел на диване. Артемовна пригласила его на капитанское место, где она уже накрыла. Он сел, долго искал место, где положить шапку, стал есть.

Бросились в глаза его руки. Черные от въевшейся смолы, с надавленными работой пальцами, узловатые в суставах, тонкие в запястьях. Как лопаты. Они даже ложку коряво держали. А съезжающий рукав свитера он то и дело подворачивал. Причем подворачивал, когда в ложке был суп, который выплескивался капельками.

Вспомнились руки Петровича... А как Петрович ел! Схлебывал с кончика ложки, тарелку отклонял от себя. Много говорил за обедом. Иногда отодвигал тарелку и рассказывал, как юнгой ходил на паруснике, как однажды на камни выбросило. Часто делился похождениями на берегу или обсуждал новые романы... Этот ел молча. Медленно и аккуратно. Упал кусок хлеба. Он поднял его, сдунул мнимые соринки и продолжал есть. Петрович такой кусок отодвинул бы или кинул в мусорное ведро. Пообедав, новый капитан достал кисет и бумагу, стал мастерить самокрутку.

Брюсов попытался втянуть его в разговор. Дипломатично закидывал удочки в разные рыбацкие истории, стал рассказывать о сказочных уловах, штормах, авариях и редкостных рыбах. Макук, как уже окрестила его команда, молчал. Тогда Брюсов рассказал о прошлогоднем урагане, который выбросил девять траулеров в Курильском проливе. Дед рассеянно заметил:

— Бывают случáи. Наверно, в море не успели выгтить.

— А вы в ураган попадали?

— Бывали случаи.

Больше Брюсову ничего добиться не удалось. После обеда ребята вывалили на палубу продолжать работу. Макук подошел ко мне:

— Как у вас лебедка?

— Нормально.

— А сетевыборочные машинки?

— Да тоже вроде нормально.

— Оттяжки на стрелах надо заменить, никуда не годятся, — как-то озабоченно продолжал он, — и блок на правой стреле заменить бы.

— Хорошо, Михаил Александрович!

Черт возьми! Как он заметил, что у блока правой стрелы шкив погнут? Утром мы с боцманом рассматривали

этот блок и решили не менять. Две недели, мол, срок небольшой, поработает.

Остаток дня я бегал по складам, выписывая снабжение, и ругался в конторе с упрямыми бухгалтерами, а Борька гонял «Онгудай» от одного причала к другому, грузил снабжение, принимал воду, топливо. Макук в наши дела не вмешивался. Он таскал боцмана по палубе — они промысловое вооружение рассматривали. Трогая узловатым пальцем какой-нибудь блочок, Макук говорил тихо:

— Ведь заедает трос. Заменить бы.

— Рейсу конец, отработал.

— Все одно.

Или, щурясь на оснащение стрелы, постукивал узловатым пальцем:

— Все менять надо, соль поизъедала.

— И без них работы много.

— На переходе сделаем.

Боцман помалкивал. А иногда улыбался — рыбак рыбака видит издалека. Настоящий рыбак прежде всего позаботится о промысловом вооружении. Прежде всего.

Борька психовал:

— Этот дед меня с ума сведет. Говорю ему: «Промысловой карты нету, пеленгатор барахлит», а он: «Обойдемся». Я не понимаю, как без карты работать? А без пеленгатора? Как будем без пеленгатора определяться, ведь горизонта почти не бывает. Да и светил. Не капитан, а приложение к капитанскому мостику...

За ужином произошла неприятная история. Брюсов опять пытался втянуть нового капитана в разговор, но тщетно. Тогда Брюсов, обращаясь в основном к Макуку, загнул историю о «вот таком» палтусе, которого мы чуть не поймали в Охотском море. Будто бы палтус, уходя с палубы, кричал в голос и Ваську так хлобыстнул хвостом, что у того несколько дней бок болел... От этого палтуса у боцмана запершило в горле, Мишка, сдерживая смех, покраснел, а Василий, как главный в этой истории, расхохотался в открытую. Это было уже слишком...

Дед растерялся. Он озадаченно и виновато посмотрел на нас — не знал, как быть: принять за шутку и смеяться вместе со всеми или обидеться — и опустил глаза.

Водворилось неловкое молчание. Только Артемовна загремела кастрюлями на камбузе и со словами «бесстыдники» задвинула с грохотом раздаточное окно. С плохим настроением расходились из кают-компании.

Я мысленно поклялся сделать Брюсова гальюнщиком на весь рейс, но меня опередил боцман: отведя Брюсова в сторону, боцман поднес кулак к его носу и раздельно спросил:

— Ну что? Сам умнеть будешь или помогать тебе надо?

— А зачем же кулак, Егорович?

— Это мое такое сердечное желание. Ну?

— Сам.

— Посмотрим. А после работы отправляйся в гальюн, и чтобы гальюн блестел, как...

— Это тоже твое такое сердечное желание?

— Нет, это служебное дело. А еще какие вопросы имеются?

— Все ясно: наливай да пей.

— Ну и добре. — Боцман опустил кулак.

Этим методом убеждения он пользовался очень редко, когда затрагивали его какие-то исключительные сердечные струны. Никто из матросов, правда, этого метода убеждения не испытал, прения обычно прекращались — уж очень кулак большой: а вдруг опустится?

Вечером я зашел в каюту к Макуку, принес на подпись расписание вахт, акты, приказы. Среди них был приказ и о наказании Брюсова.

— А это зачем? — спросил он, не отрываясь от работы. Он строгал из бамбуковой чурки игличку для ремонта трала.

— Как зачем? Порядок-то на судне должен быть?

— Чи его нету? Ведь работаем?

— Брюсова, я считаю, надо наказать.

— Зачем?

— Но если он на вас будет плевать, то что же будет со мною или со вторым штурманом?

— Ничего не будет. — Он отложил работу, стал закуривать. — Молодо-зелено, подрастет — поймет.

— Вряд ли.

— Давай лучше потолкуем вот о чем. Садись.

Я сел. Он окутался дымом, с минуту молчал. Глаза смотрели задумчиво и серьезно. Я тоже закурил из его кисета.

— Так вот что, — он сунул мне потрескивающую жаром самокрутку прикурить, — на переходе приготовь частую траловую рубашку. Получал такую?

— Да, выдали на складе. Для минтая она не годится.

Смотрели, смотрели, что с нею делать, и пихнули пока в ахтерпик.

— Это я у Михина выпросил. Мы ее дополнительно вставим.

— Да что же ею ловить? Чилимов?

— Не суетись. Это на Камчатке вы камбалу да палтуса тралили. А у нас тут победнее, и навагой, и корюшкой брезговать не будем. Все в дело пойдет. А второй трал по верхам пускать будем: поуменьшим грузилов, поприбавим балберов. Треску попробоваем.

— Треску бы неплохо.

— Ничего. Попробоваем. — Лицо его оживилось, в морщинах заиграли мечтательные лучики. — Давай так и делай...

— Значит, завтра в море?

— Угу.

— А с Брюсовым как же все-таки?

— А-аах... — Он махнул рукой.

— Спокойной ночи.

— Угу.

Я вышел. Чудной дед. Как он ими будет командовать? «Подрастет—поймет». Вряд ли его поймут. Брюсов боится только боцмана; второй механик наврет сто коробов, вывернется из любого положения — все виновные будут, а он прав останется, — Андрею скажи, что завтра потоп или землетрясение, он и бровью не поведет. Мишка же с Васькой будут подобострастно смотреть в глаза, кричать «есть», но сами все сделают по-своему или вообще ничего не сделают. Тут надо глотку боцмана или опыт и волю Петровича.

Занятый этими вот размышлениями, я направился в матросские кубрики предупредить команду, что анархии не получится, буду, мол, за насмешки над капитаном прихватывать почем зря. В конце концов, на судне должен быть хоть какой-то порядок.

Но мой боевой дух упал до нуля, как только я спустился в шестиместку. Там собралась почти вся команда, творилось что-то невероятное. Брюсов облачился в старый полушубок — и где только откопал такой! — отвернул ухо шапки и с большущей самокруткой в руках давал представление. Сначала он, подражая Борьке, спрашивал скороговоркой:

— Товарищ капитан, когда в море? — И, в точности копируя голос нового капитана — ну и способности! —

раздельно отвечал: — Завтра. Нынче пущай ребята погуляють. — При этом он окутывался дымом, собирал в морщины лоб и колупался в носу.

— И много мы поймаем, товарищ капитан?

— Тыщу.

— Тысячу центнеров?

— Тыщу штук...

— А куда пойдем?

— Туды. — Брюсов делал неопределенный взмах рукавом. — А опосля суды.

Кубрик разрывался от хохота — полторы дюжины здоровенных глоток старались вовсю.

Как он ими будет командовать?..

IV

Наконец «Онгудай» был готов к выходу в море: снабжение получено, промысловое вооружение приведено в относительный порядок, формальности с берегом покончены. Мы лихо отшвартовались, дали несколько прощальных гудков и вот уже качаемся в открытом море.

Погода была свежая — маленькие волночки лениво постукивали «Онгудай» по левой скуле, отлетая веером брызг, да ветер ровно трепал флаг, срывая шапки дыма с трубы. Пасмурно. Солнце блуждало где-то среди быстро бегущих облаков и, показываясь на короткие моменты в голубоватых полыньях, освещало мутный горизонт.

На мостике был Борис, второй механик, радист. На руле стоял Брюсов. Борька выверял секстаны. Поймав солнышко в окуляр прибора, он говорил:

— Подозревает ли наш Макук, для чего служат эти штуки?

— Ха! «Подозревает»! — хмыкнул второй механик. Механик стоял рядом, согласовывал телеграфы. — Он свою фамилию без ошибок написать не может, а ты—секстаны.

— Странные вкусы у нашего начальства, — продолжал Борис.

— Вкусы? — еще желчнее хмыкнул второй механик. — Вот сунули деда, и...

— Погорим мы, братцы, с этим дедом, — перебил его Брюсов.

— А Петрович, парни, великий комбинатор, — вмешался радист, — больше я с ним в море не пойду.

— Я тоже, — добавил Брюсов.

— Он там на курортах прохлаждается, а тут с моря не вылазь! — Механик вытер руки ветошью и бросил ее в ящик с ключами. — Да еще за бесценок...

— Эх, братцы-ы, — потянулся Брюсов, — как по берегу соскучился! Сейчас бы в отпуск рванул... У нас там снега сейчас, ели в сугробе... в хате маленький теленочек, наверно. Мать, наверно, сует ему соску... В лесу заячьи следы...

— А у нас в Ленинграде пасмурно, — сказал Борис. — Исаакий в тумане, Адмиралтейская игла тоже.

На мостик поднялся новый капитан. Застегивая полушубок, протопал кривыми валенками к окну.

— Ну что, ребята? — улыбнулся он. Улыбнулся наивно и будто чуть заискивающе; ему никто ничего не ответил. Он потоптался на месте, повернулся к окну, стал мастерить самокрутку. В наши дела не вмешивался.

Моя вахта подходила к концу, следующая — его. Нетактично и неудобно было подзывать капитана к штурманскому столу и объяснять ему все расчеты, и в то же время я боялся — а вдруг не разберется?

Пересилив себя, я подозвал все-таки, стал объяснять прокладку. Подробно, с учетом всех поправок. Он почесал затылок. Шапка съехала на один глаз, выражение лица стало комически глубокомысленным.

— Погоди, — остановил он меня, — все одно это не понимаю.

— А как же вы будете? — я смутился.

— А я эти места так знаю... без разных девиаций, не один год здеся рыбачил...

— Это все хорошо, но где сейчас находимся, куда идем и когда придем...

— А вот гли-ка: от скалистого до Онгольда курс будить 273 градусов, ходу при десяти узлах — семь часов. А ежели утром итить, при отливном течении, то и все восемь протопаешь. Опять жа итить лучше здеся, но лучше здеся, потому как конец месяца, течение маленькое. А ежели здеся, то, не ровен час, можно и на камушки присесть. На эти вот. В 33-м году меня на них полоскало, муку из Владивостока вез... — И он на память, не пользуясь лоцией, рассказал про каждый камешек и про каждый сколько-нибудь опасный в навигационном отношении клочок моря. Курсы и течения говорил на память. Все это сопровождал движением узловатого пальца по карте.

Вспомнились слова главного капитана флота про собственные карманы.

А с Борькой произошло еще забавнее: принимая в полночь вахту, он не увидел на карте никаких расчетов. Только в вахтенном журнале стояло несколько лаконичных, но безграмотных до смешного фраз. Сам же Макук тыкал в карту пальцем и говорил: «Вот тута», отвечая на Борькин вопрос: «Где идем?»

Борис возмутился: прокладка для штурмана — юридическое дело, — спросил, в машине не меняли ли ход, схватил таблицы, лоцию, логарифмическую линейку и, двигая ее хомутик, деловито шевеля губами, рассчитал и нанес место «Онгудая» на карту. Скрюченный палец оказался в стороне от Борькиных вычислений. Тогда Борис взял секстан и стал ловить свои любимые звезды. Макук с мостика не уходил. Минут через сорок — Борис астрономические задачки щелкал как орехи, лучше самого Петровича — Борька определил обсервованное место. Обсервация легла точно под скрюченный палец. Борькины щеки вспыхнули райскими яблоками.

— Ну вот, — улыбнулся Макук своей наивной улыбкой, — а ты прыгал.

— Простите, — выдавил из себя Борис.

— Чего там... — отмахнулся Макук. — Бывают случáи.

Утром, сдавая мне вахту, Борис захлебывался от восторга:

— Ты знаешь, чиф, наш старикан, оказывается, дока. Ночью два раза брал место по светилам, второй раз уже когда он ушел с мостика, для проверки — и он прав. Вот это интуиция!.. Удивительно прямо-таки...

Весть о том, что Макук — эта кличка прилипла, кажется, навечно к нему — посадил второго штурмана в галошу, облетела кубрики и каюты моментально, а тут еще сам Борис поторопился стать популярным. Особенно восторгался Васька. За год работы на «Онгудае» он так и не научился магнитные курсы отличать от компасных, хотя Борька втолковывал ему это перед каждым заступлением на руль.

— Ребят, а ребят, — шмыгнул он носом,— вот Макук дак Макук! Колдун!

— Точно, Вася, колдун, — язвил Брюсов, — морской колдун.

— А что? В старое время же бывали колдуны.

— Ну ты даешь, — вмешался его дружок, Мишка, — все одно как моя бабка. Может, перекрестисси?

— Эх, мережи, — вздохнул боцман, — тьфу!

Подходили к месту промысла, к Пяти Братьям — пяти торчащим из моря скалам, расставленным друг от друга на сто — двести метров. На заштилевшей поверхности моря маячили сейнеры. Вечерело. Красное зимнее солнце садилось за скалы, обливая их красными лучами.

— Знаете, парни, — говорил Борис, щурясь на Братьев, — эти штуки напоминают мне растопыренные пальцы сказочного дракона, который высунул лапу из-за моря и сейчас схватит солнце. Как здорово!

— Как у Айвазовского, — добавил второй механик.

— Да. А вот если бы вместо грязных сейнеров стройные бригантины... Паруса бы у них горели. Эх, черт возьми... Какие времена были: Роджерс, Шарки, Флинт...

— Понеслась душа в рай, — засмеялся Брюсов, — теперь не удержишь.

— Не смейся, Брюсов. Когда я смотрю на восход солнца или закат или по ночам ловлю звезду секстаном — мир для меня тесен. Так и ушел бы в тропические моря, к стеклянным айсбергам Южного полюса...

— Иди в торговый флот, — посоветовал Брюсов, — они везде лазят.

— Уйду. Клянусь головой акулы, уйду! Вот солнце сейчас сядет, и у меня в душе что-то пропадет... — Борисом нельзя было не залюбоваться: глаза светились, жадно поглощая окружающее, щегольская фуражка на затылке, на губах тихая улыбка. И его курносый нос стал симпатичным, и веснушечки — милыми. — Хотите стих?—предложил он и, не дождавшись ответа, начал:

Плывет наш корабль по морям, океанам
И часто стоит у чужих берегов,
Где в рощах чужих золотятся бананы,
Где плещется зелень цветущих садов.
И, стройные пальмы вокруг озирая
На вахте ночной и в полуденный зной,
Я вижу сиянье отцовского края,
Рябину в снегу на опушке лесной.
На что мне, скажите, красоты чужбины?
Отчизна мне видится издалека.
Рябинушка! Русская наша рябина.
Горькая ягода. Как ты сладка!

Мы молчали. С сейнеров доносились приглушенные голоса, поскрипывание блоков. Мы смотрели на горизонт...

— Ну что? Притопали? — проскрипел боцман за нашими спинами. — Можно начинать?

Борька вздрогнул от этой прозы и пошел к штурманскому столу:

— Готовь трал.

— Ребятам я уже сказал, — продолжал боцман, — за ночь должны выхватить груз. Погодка деловая.

На палубу выходили ребята. После суточного валяния на койках они потягивались, ежились от вечерней свежести. Сергей с Васькой устроили возню: обхватившись накрест, они ставили подножки, пытались повалить друг друга. Мишка, Андрей, Новокощенов стояли у трала. Закуривали.

— Отлично! — крикнул Борис. — Через десять минут выйдем на промысловую изобату, или, как говорит наш самый главный, «вот суды», и начнем рыбачить.

— А как ты без него начнешь? — сказал второй механик. — А если «не суды» пришел?

— Суды, — засмеялся Борис, — вот наш старикан бросит невод в море и вытащит золотую рыбку, а золотая рыбка и скажет...

— Идите, ребята, домой, — влез Брюсов.

— Нет, она скажет...

Что скажет золотая рыбка, Борис не договорил — на мостике появился Макук. Он стал у окна, взял бинокль, начал настраивать его.

— Правда, красиво? — подошел к нему второй механик. — Тут вот наш второй штурман сожалеет, что он не Айвазовский.

— А кто этот Айвазовский? — спросил Макук, не отрывая бинокль от глаз.

— Вы не знаете, кто такой Айвазовский? — удивился Борис.

— Не слышал ничего об нем. Не наш человек, видно?

— Михаил Александрович!.. — Борис подошел к Макуку поближе, а второй механик разъехался в какой-то подмигивающей улыбке, так и говорило его лицо: «Вот это козочка!» — Это же поэт моря, — продолжал Борис, — он рисовал штормы, штили, закаты, восходы... Разве вы не видели его «Девятый вал»?

— Не приходилось.

— Да у нас в столовой висит, — брякнул боцман. — Эту, что ли?

— Да.

— А-а-а, ну эту я видел, — сказал Макук, — здорово разрисовано.

— А у него еще, Михаил Александрович, есть «Шторм в Мраморном море». О! Я это полотно считаю...

— Вот и нам, кажись, — перебил Бориса Макук, — будет Айвазовский к ночи. — Он выглянул в окно. — А уж к утру наверняка. — Он повесил бинокль, повернулся к нам, полез за куревом, предварительно вытерев руки об коленки. — Надо бежать в Славянку, ребята.

— Как в Славянку? — не понял его боцман.

— Работать, значит, не будем? — спросил второй механик.

— Вы думаете, будет шторм? — удивился Борис.

— Да разыграется, — спокойно продолжал Макук, мастеря цигарку. — В Славянке отстоимся, бухта тама хорошая, будем как у Христа за пазухой.

— При такой погоде-то? — спросил боцман.

— Михаил Александрович, посмотрите на горизонт. «Солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего». Это же всем ясно. Это же...

— А облака? — повернулся к нему Макук. Потом подскочил к окну: — Гляди, как стелются. Тайфун идеть. И нас крылом заденеть. Он же каждые три года здеся бывает. Ну?

— При всяких тайфунах приходилось... — поморщился боцман.

— В Японском не то было... и работали.

— Шторм... ха...

— Да, ребята, да какая же работа, если оно дунет? Ведь это не шуточки! — до болезненных ноток в голосе расстроился Макук. Весь его вид так и говорил: «Что за народ? Ничего не понимают». — Все поломаить и попорветь. Ну?

— Пока до этого дойдет, — подступил к нему боцман, — мы выхватим груз и можем идти хоть за Славянку.

— В непогоду-то? — повернулся к боцману Макук. — Да ты трал не успеешь наладить. Трал-то наладить надо, да еще все приготовить.

— Это мы делаем на «раз», — сказал боцман.

— Да что ты сделаешь? — Макук даже присел от расстройства. — Не получится же, ребята... ведь это такое дело... Ну? — Он растерянно смотрел на ребят.

Черт возьми! Комедия! Самая настоящая. Петрович бы так турнул всех горлопанов, что до конца рейса дорогу на

мостик забыли. А этот митингует. Или действительно он не представляет, кто он?

— Боцман, «Онгудай» пойдет в Славянку.

— Значит, не начнем работать? — повернулся ко мне боцман.

— У нас не колхозное собрание, а мостик судна.

— Это мы уже слышали от одного, да он на курорты сбежал, — подковырнул меня второй механик.

— И ты против нас? — удивился Борис.

— Кому что не ясно? И лишних попрошу с мостика.

— В гробу я видел такую работу, — брякнул боцман и, чертыхаясь, повернулся уходить.

— Боцман!

— Ну! — Он стоял вполоборота ко мне. Набычась.

— Если человек не хочет работать, он несет заявление.

— А я что говорю? Я и говорю, что работать надо, а не фестивалить.

— Да пойдем, Егорович, — взял его под руку второй механик. — Они ж тут друг за дружку. Еще выговорок влепят. А в Славянке мы в кинишко сбегаем, на танцы, «барыню» с тобой оторвем...

— Да брысь ты! — цыкнул на него боцман и с мостика пошел, ворча и плюясь.

Я подошел к окну. Было видно, как второй механик подскочил к ребятам, что-то объясняя им. Кое-кто глянул на мостик — улыбки кривые. Боцман прошел мимо всех, сутулясь. Они поплелись за ним. Кому это нужно? Может, начальство действительно подшутило над нами...

— Слышь? — обратился ко мне Макук. Он подошел к соседнему окну. Курил. — Это ты зря на них так. Они ребята ничего... только ершистые, а так ничего... — Он благодарно улыбнулся мне.

— Принимайте вахту, Михаил Александрович, я пойду спать. — Я ему совсем не улыбнулся.

— Иди, иди... чего тут... добежим быстро, недалеко тут. Вон и другие налаживаются в Славянку.

Когда же кончатся эти «планы», «грузы», «вира», «майна»?.. Четвертый месяц не снимаем свитеров и сапог. Черт возьми, а как хорошо сидеть в самолете возле окна, смотреть на города, деревни, ленты рек, ползущие поезда, машины по шоссейным дорогам. Потихоньку, чтобы не видела стюардесса, потягивать мускат или шампанское. Да можно и коньяк... Вспоминать штормы, штили, туманы, бессонные ночи с грохотом моря и воем ветра, уста-

лость, нервные встряски, которых за рейс ой сколько бывает! Впереди Москва, шелест шин такси, озабоченная и деловитая сутолока в метро. А потом вокзальное, никакими словами не передаваемое настроение. А когда подъезжаешь к дому, к своей станции! Я этот момент считаю самым счастливым во всей дороге: стоишь у окна и смотришь на знакомые дома, сараи, огороды... Встреча, ахи, охи, слезы, вечеринки — не то. А вот когда из окна увидишь знакомый забор...

Утром просыпаешься с беспечным, каким-то воздушным настроением. Даже не веришь, что потолок не качается, море не шумит за переборкой и не слышно стука поршней машины. А впереди целый день такой...

Позади на много миль
И шторма и полный штиль...

Эх! Прямо закричать хочется.

Спустился в каюту. Там Борис с Новокощеновым занимаются астрономией, уткнулись в учебники.

— Ну как там наш Макук? — поднял голову Борис.

— На мостике.

— В Славянку идет?

— Не знаю.

— Ты почему с нами разговаривать не хочешь?

— Вы же заняты.

— Верно. — Борис задумался. — Ну ладно, Сын, давай рисуй звездное небо. Северное полушарие.

Сегодня очередь Бориса натаскивать Новокощенова. Он учится в мореходке заочно, уже второй курс заканчивает. Мы помогаем ему, помогаем и удивляемся: откуда человек берет столько энергии? После работы, когда ребята, усталые насмерть, забыв даже помыться, валятся в койки, он ухитряется решить задачу по астрономии или вызубрить несколько английских слов. За переборкой шумит море, валяет кубрик с бока на бок, а он, упершись ногами в рундук, шевелит и шевелит толстыми губами. Как ни в чем не бывало. Да и поступал оригинально, чтобы не наделать ошибок в сочинении, предложения составлял из двух слов — подлежащего и сказуемого. Преподаватели удивлялись: не сочинение, а радиограмма. Но тройку поставили. Астрономию и навигацию сейчас он знает, пожалуй, за всю мореходку, а вот с грамматикой плохо: в простом диктанте делает по тридцать одной ошибке. Однако это не мешает ему в неделю сочинять по два боль-

шущих письма в Холмск. Там у него девушка — она рыб разводит, ихтиологом работает. Она ему тоже сочиняет по два, а может, и побольше. Однажды мы в порт не заходили два месяца — на камбале были, сдавали на базу — и когда пришли в Северо-Курильск, он получил двадцать толстых конвертов. Из скольких слов там предложения, он никому не показывает. Про девушку Брюсов поет:

Она, бедная, страдает
И как свечка тает, тает,
На день сорок писем так и шлет...

Новокощенов только улыбается. Этот девятнадцатилетний юноша, прозванный боцманом Сынок, рост имеет метр девяносто и поднимает стодвадцатикилограммовую бочку, как подушку. Он на редкость спокойный и добродушный. И брезгливый: грязную сорочку или плохо вымытую миску терпеть не может. А однажды Васька за обедом, расхваливая свою Рязань, сказал, что, кроме рыбы, в озерах еще и лягвы навалом, Новокощенова стало тошнить.

Стук в дверь. Входят радист и Сергей, потом Брюсов. Радист любит копаться в книжном шкафу — надо сказать, что почти вся судовая библиотека собралась в нашей с Борисом каюте, — Сергей последние дни бредит «крохотулей» и одному ему скучно, а Брюсов — этот вообще без компании не может. Собственно, это вот и есть основные кадры из компании «полуночников», как прозвала нас Артемовна. По ночам мы читаем книжки, спорим, помогаем Новокощенову разобраться в премудростях астрономии и грамматики. Или выслушиваем длинные-длинные опусы Бориса, которыми он нас вообще-то мучает.

Завтрак, конечно — если у кого нет вахты, — просыпаем. Артемовна ворчит, но всегда на ночь приготовляет нам «какаву», пирожков или еще что-нибудь в этом роде.

— Ну что, Сынку, — обращается Брюсов к Новокощенову, — про ведмедя сочиняешь? (В сочинении Новокощенов написал однажды «ведьметь».)

— Не болтай,— сердится Борис.— Не видишь...

— А я, Борис Игнатьевич, и пришел поболтать.

— Выгоним.

— А зря мы на него так напустились, — говорит радист, — мне кажется, он замечательный старик.

— Ты про Макука?

— Конечно.

— Вы, парни, как хотите, — говорит Сергей, — а он мне нравится.

— Симпатичный старикаша.

— Вы про себя можете, в конце концов? — сердится Борис.

— Борис Игнатьевич, — робко останавливает его Новокощенов, — не едет что-то ничего в башку.

— Да брось ты его мучить! — морщится Брюсов, обращаясь к Борису. — Ему в Холмск надо собираться. — Потом к Новокощенову: — Сколько, Сынку, писем получил?

— А у меня уже все готово, — говорит Сергей. — Только приткнемся к причалу, беру чемоданы—и на аэродром. Поедем на родину жены, в Калининскую область.

— В Калининскую! — удивляется Брюсов. — Так там же моя деревня. Вот это да! Три года молотим на одном пароходе и не знали, что земляки. А район какой? Хотя стоп! Это же родина твоей жены...

Начинается обычная морская травля, которая, между прочим, не имеет конца и удивительна сама по себе. Удивительна она тем, что всегда с юмором, и игра фантазии здесь на первом месте. Есть и мастера в этом виде искусства. У нас — Брюсов. Однажды он нам целый вечер рассказывал о медведе, который был у них на судне, когда Брюсов еще в пароходстве работал. Мы верили, что медведь может бочки катать, палубу драить, воду носить... и даже тому, что он пьяного боцмана с берега приводил; но когда Брюсов сказал, что мишка нянчил маленьких котят — это было уже слишком: кошки на судах не уживаются. А один раз загнул, что встретили в море холодное течение с температурой —31 градус, и клялся, что сам измерял эту температуру, сам термометр за борт кидал. Замечательная же черта Брюсова как мастера в этом деле — он никогда не повторяется и может болтать бесконечно. На втором месте — Василий. У этого травля носит философский, практический характер. И еще он любит частушки; как-то раз за вахту — стоя на руле — за четыре часа он спел мне сто тридцать пять частушек. И все интересные, только не для печати.

Без таких вот мастеров, без морской травли и вообще без этого вот потока жизни, без того потока, который идет параллельно с работой, вахтой и всеми официальными делами, невозможно бы было просто жить. Ведь в море мы не день и даже не месяц, а... Всегда говорим о береге, о

доме, о тех маленьких клочках жизни, которые мелькнули на берегу. А попав на берег, хлопочем о море. Вот, например, в отпуске. Ну, первая неделя или даже месяц заполнены хождением по гостям, знакомым и т. д. И вдруг, смотришь, один, другой толкаются в конторе, в море хотят. Нет, если человек хоть один раз побывал в дальнем плавании, изведал бесконечную, иногда невыносимую тоску океана и сумасшедшую радость возвращения, на берегу он не жилец. А если он еще побегал темной, как сама темнота, осенней ночью за белым фосфористым пятном — косяком рыбы, — увидел, как шарахаются серебристые массы сельди в неводе или кипит под люстрой в ловушке длинноносая сайра, на берегу его не удержишь.

Вот Сергей. После армии пошел годик-другой порыбачить, собрать денег на одежду, мебель и уехать. И уехал. Но через полгода начальнику отдела кадров прислал радиограмму — в море просился. «Не мог, парни, — говорил он про береговую жизнь, — ходишь по одной и той же дорожке, делаешь одно и то же дело. Скука навалилась. Как вспомнил, что вы где-то в океане носом на волну или в Беринговом за камбалой гоняетесь, — не мог. Прихожу один раз с работы, по телевизору рыбаков показывают. Говорю жене: «Собирай манатки, едем на моря!» И теперь он даже не думает о другой жизни. Да разве один Сергей! Начальник отдела кадров документы уезжающих даже не прячет в архив, знает — возвратятся. Как-то Борис читал прекрасные стихи:

Приедается все,
Лишь тебе не дано примелькаться...

Это вот «не дано примелькаться», видимо, и удерживает людей. Некоторые за это платят семьей — не все женщины могут быть женами моряков, — размеренной, тихой «правильной» жизнью. Уютом, само собой. Андрей вот... ведь он, имея образование механика, мог бы работать и конструктором, и инженером, но Андрей — моряк. Боцман лет десять назад, вернувшись с рейса, застал дома, как он говорит, «бобра». Боцман не возмущался, не шумел. Он выпил со своим соперником и ушел из дома. И больше не возвращался. Жена просила прощения, осаждала письмами. Он не читал их. Наконец приехала сама, пришла на судно. «Брысь, брысь...» — коротко отвечал боцман на ее просьбу разобраться во всем. Брюсов тоже

из настоящих моряков или, точнее, из морских бродяг. На каких пароходах и в каких морях он не плавал! «Онгудай» для всех нас дом...

Может, и для Васьки с Мишкой море станет кормилицей, а «Онгудай» домом... Как знать?

Утро было сырое, серое, холодное. Мы стояли в Славянке. Ураганный ветер свистел в антеннах, срывая пелены брызг и пены с поверхности бухты и бросая их на причалы, прибрежные камни. Флаг «Онгудая» выпрямился в одну линию, швартовые концы набились и скрипели. Пришлось завести двойные. Пожарные шланги, оставленные боцманом на мачте для просушки — он их назло новому капитану оставил, — захлопали выстрелами, оборвались и причудливыми змеями полетели за борт. Кстати, это были последние шланги. Чайки играли с ветром. Они парили у самой воды, потом резко с криком взмывали вверх. Кувыркаясь, как белые листы бумаги, у самого выхода из бухты, где за скалами бесилось зимнее море, они падали к воде и опять неслись навстречу ветру.

Один за другим, кто вчера не захотел, возвращались сейнера с моря. У кого была на палубе рыба — посмывало. Один сейнер не смог выбрать трал и обрубил его, двое других привезли лохмотья от тралов. Из бухты уходил аварийный спасатель — кто-то намотал трал на винт и теперь посылал в эфир аварийные вопли. Кто-то — кажется, японец — давал SOS. Тайфун делал свое привычное дело.

В это утро за завтраком ребята молчали. Ни острот, ни смеха.

— Ну, узурпаторы, — сказал, вставая, боцман, — сегодня заменим оттяжки на стрелах и приготовим трал. Я думаю, Михаил Александрович, — повернулся он к Макуку, — до обеда закончить.

— Да смотри как лучше, — сказал Макук, закуривая, — работы-то не много, можно и на переходе сделать. Думается, рыбаку сподручнее в море работать. Какая на берегу работа? — Он встал, спину разогнул с трудом — морщинистое лицо так и задергали судороги. — Проклятая спина, будь ты неладна... — добродушно заругался он, виновато улыбаясь. — Как непогода — так начинаить, так и начинаить... ни согнуться, ни разогнуться... — и ушел к себе в каюту.

— Да, парни... — сказал Сергей.

— Да, да... — вздохнул Брюсов.

— У кого, братцы, есть чистая сорочка?

— Боцман, дай бритву!

— А у кого мой парадный костюм? Кто брал?

Борька подошел к иллюминатору. Там летели брызги со снегом.

— The old man is right, this is real Ajvasovsky[1].

V

Работать начали на Борькиной вахте. Макук поднялся на мостик, сунул узловатый палец в карту и сказал:

— Придешь суды, лягешь в дреф. Здеся попробоваем. — И ушел на палубу, где ребята под верховодством боцмана налаживали трал.

— Не так это делается, — сказал он, обходя трал, — это ж не так надо. Минтай сейчас идеть на нерест, скосяковался, над грунтом гуляить. Трал надо пускать повыше. Опять же течение... — И он сам стал промерять голые концы, разметку ваеров. — Балберов еще навяжем, пущай раскрытие побольше будет.

Все помогали ему. Молчали. Даже не слышно было боцманского «как работаете, медузы?». А Мишка с Васькой так и вертелись возле нового капитана. Очень быстро они приспособились к нему. Стоило боцману подойти к ним, как у Васьки уже был готов ответ: «Так Александрыч велел». Поразительно прямо-таки.

Когда трал приготовили, Макук опять появился на мостике.

— Ну, начинай, — сказал он Борису. — Или не умеешь?

— Не совсем, так сказать. Теоретически только, так сказать, я ведь на «Онгудае» всего четвертый месяц.

— Ничего сложного нету. Ваера стравишь на 200 метров, курс 270 градусов. Валяй!

— Есть!

Макук вышел на крыло мостика, задумчиво, будто дело и не касалось его, осматривался. А Борька метался по мостику, суетливо передергивая ручку телеграфа, высунувшись наполовину из окна, кричал на палубу:

— Быстрее поворачивайтесь, мухобои! — Правда, слово «мухобои» произносил тихо, чтоб не расслышали на

---

[1] Старик прав, это настоящий Айвазовский (*англ.*).

палубе. — Майна! Майна кормовую! Пошел обе! Боцман, громче докладывай выход ваеров!

Голос Бориса звенел, иногда срывался. Дышал Борька часто, брови «властно» супились. Еще бы! Ему доверили делать замет, да еще первый замет в рейсе. Петрович в свое время нам не разрешал делать заметы — мы делали только выборку трала. А вот заметы он делал сам. Особенно когда рыба шла хорошо. Он по суткам торчал на мостике, бросая на палубу отрывистые и точные команды. Мы только помогали ему. Однажды в Охотском море он недели две нормально не спал, днями и ночами просиживал на штурманском столе, завернувшись в шубу. Чистил ногти. Насвистывал что-нибудь. Артемовна на мостик приносила ему кофе и бутерброды. Борис тогда восторгался капитаном, хотя это было, думается, свойственное Петровичу пижонство: чашку кофе он мог выпить и в кают-компании.

«Онгудай» шел на выметку: скрипели блоки, мелькая марками, бежали со свистом за борт ваера.

— Боцман... черт возьми! — кричал Борис.

— Полста... сто... сто пятьдесят... — доносился спокойный боцманский голос с палубы.

А Борис судорожно вертел и дергал рулевое колесо, выводя «Онгудай» на циркуляцию, то и дело выскакивал на крыло — чтобы глянуть на корму, — дзинькал телеграфом и впивался в компас. Фуражка на затылке, ворот кителя расстегнут, лицо пылает. На верхней губе, покрытой реденькой мягкой порослью, искрятся капельки пота.

— Стоп травить! Наложить стопора!

«Онгудай» на циркуляции бросил трал, вышел на курс траления, убавил ход и, мирно постукивая поршнями дизелей, потащил трал. Ловись рыбка маленькая и большая!

Борька подошел к Макуку. Тот равнодушно смотрел на палубу.

— Ну как, Михаил Александрович?

— Сойдеть.

— Волнуюсь только: а вдруг не рассчитаю, передержу на циркуляции...

— Бывают случаи.

Управившись на палубе, ребята поднялись в рулевую рубку. Трал тащить целый час. Целый час огромнейшая авоська, растягиваемая по краям досками, снизу — грузилами, сверху — балберами, будет ползти над грунтом и собирать рыбу. Рыба входит в широченную ее пасть и,

проходя через узкую горловину, собирается на дно, в куток.

Ребята устроились кому где удобнее. В своих проолифленных плащах-мешках, под которыми поддеты полушубки и ватники, они уж очень неуклюжи. Но это только так кажется. Несколько минут назад, когда метали трал, они как духи носились по палубе, громыхая пудовыми сапогами. Даже не верится, что такая вот кукла, перетянутая каким-нибудь старым кончиком, может так быстро вертеться. Вообще на море, как говорит боцман, «бабочек ловить не моги». Чуть растерялся — и авария. Ну если не авария, то уж неприятность какая-нибудь наверняка.

Сергей втиснулся между телеграфом и переборкой, на мое любимое место, Сынок подпер косяк двери, Брюсов облокотился о подоконник. Борис тоже стоит возле окна, поглядывая на ваера. Васька растянулся прямо на палубе. Он вытащил из кармана пачку халвы, стал распечатывать. Мишка привалился рядом, голову положил ему на живот. Поднялся из машины Андрей.

— Интересно, каков же будет «первый блин», — сказал он, открывая окно.

— Если за этот рейс возьмем пару тыщ, — сказал Васька, набивая рот халвой, — деньги неплохие будут, хучь минтай и дешевый.

— Ты все о том же... — вздохнул Андрей.

— Куда он их девает? Ведь, кроме халвы, ничего не покупает.

— Солит.

— Солю — не сорю, а деньги — это неплохо, — продолжал Василий. — Живем пока при социализме.

— И ты, мережа, собираешься в коммунизм? — удивился боцман.

— Не! Мне при социализме неплохо. Деньги везде заработать можно, а чужого мне и даром не надо.

— Правильно, Вася, — вмешался Брюсов, — главное — халва. Жми на халву и ни о чем не думай.

— При деньгах можно не только халву. Можно что хошь.

— Ну и философ!

— Вон кончится рейс, — оживился философ, — поеду к себе на родину. Куплю матери дом, сестре—шубу... лохматую. Брату — коньки, а себе — кресло, которое качается. Ох и здорово же у нас! Ребята, приезжайте ко мне, а? В гости, а? Все сразу, а?

— Вась, а Вась, — обратился к нему Брюсов, — а что,

если бы тебе, например, миллион? Или бы полмиллиона? Вот бы здорово, да?

— Тоже сказал: миллион! Да зачем он мне? Мне только дом купить, сестре — шубу лохматую, брату — коньки. И можно жить. Особенно в сельской местности: картошка своя, помидоры, огурцы, капуста — тоже свои. С огорода. Можно еще поросенка держать, стал быть, и мясо свое. А на хлеб везде заработаешь, где б ни работал. А если в колхозе работать, то и хлеб на трудодни получишь.

— Тогда зачем же ты пошел рыбу ловить, раз тебе деньги не нужны?

— Тоже сказал — не нужны! А телевизор? А одёжа? А тут год половил рыбу — и на десять лет оделся.

— Эх, медуза... — вздохнул боцман.

— А еще, братцы, — оживился Васька, — кресло, которое качается. Эдак пришел с работы, умылся, поужинал, сел — и качайся. Смотри телевизер. Как ристократ.

— А халву?

— Можно и халву. Чего ж нельзя?

— Эх, Вася, — вздохнул Андрей, — хороший ты парень, да жаль мне тебя.

— Шой-то?

— Да так...

Васька встал, отодвинул своего дружка, завернул недоеденную халву и спрятал в карман.

— Хух, аж у роте тошно... Больше не буду.

— Ну вот, — разочарованно сказал Брюсов, — уже и халву не ешь.

— Это когда ее много, дак не хочется, — продолжал Васька, возвратясь на свое место. (Мишка опять положил голову ему на живот.) А когда ее нету, так знаешь как хочется! Вот когда сразу после армии мы на стройку пошли с Мишкой, дак там не больно разойдешься...

— Почему?

— А грошей мало платят.

— Врешь, медуза, — сказал боцман. — Хоть я на берегу и никогда не работал, но знаю, что врешь.

— Егорович, истинный хрест, только на жратву да на одежу кое-какую и выжимали...

— А как же другие?

— Да как же... Если телевизер покупать или пальто, к примеру, то только в рассрочку. А за один раз никак. Правда, кто на кране или те же шофера — хорошо заколачивают.

— Так учились бы на крановщиков.

— Да, братцы же мои, мы же временными были. Мы хотели опосля армии приодеться — и домой. Да не получилось.

— А что же вы там делали?

— А все: стекло грузили, мусор закапывали. Что прораб скажет, то и делали.

— Что-то ты, Вася, сочиняешь, — усомнился Брюсов. — На берегу люди живут, и машины имеют, и дачи...

— Ну ты даешь! Ха! Да-а-ачи?! Это начальники машины да дачи имеют...

— Ну выбивался б в начальники!

— Зачем? — зевнул Васька. — Мне и так неплохо.

— Я тоже в начальники не пойду, — отозвался Мишка, — простым работягой лучше: работай да работай. А так... если захотеть-то, и на собраниях выступать научиться можно и звонить по телефону. Да хоть генералом стать можно.

— Миша! — Удивился Брюсов.

— Михаил Александрович, — обратился второй механик к Макуку, — вот вы на берегу работали и на море. Где лучше?

— А черт-те знает, — отозвался Макук, — кому где. Но на море вроде интересней. А так везде одинаково.

— Ну не скажите! Одинаково! — возмутился Васька. — Да разве береговую работу сравнить с морской?!

— На берегу, конешно, неправильностей много, — вмешался Мишка.

— Вот при коммунизме все будет правильно, Миша, — отозвался второй механик. — Машин сколько хочешь. И работа: нажал кнопку — и все готово. Верно я говорю, Михаил Александрович?

— Это как же! — уже по-настоящему возмутился Васька. Он даже приподнялся и отстранил Мишкину голову. — А хлеб как? Хлеб-то кому-то надо выращивать? Да и зерно к делу привести надо да испечь. Машина тебе будет делать, да? А рыбу ловить? Тоже сказал... — Он опять лег, и Мишка положил свою голову на прежнее место.

— А вы как думаете, Михаил Александрович? — не отставал от Макука механик.

— Не знаю, ребята, — сказал Макук. — Всякое, видно, будет.

— Вот я ж и толкую, — не утихал Васька. — Хоть при

коммунизме, хоть за коммунизмом — всякое будет. Только вот когда он настанет?

— Он тогда настанет, мережа, — вмешался боцман, — когда у некоторых личностей руки станут как у кротов лапы. А пока руки у этих личностей не похожие на кротовы лапы, никакого коммунизма не будет.

— Не пойму что-то, — повернулся к боцману Васька. — А как они у него устроены?

Стали выяснять, какие у крота лапы. Оказалось, что они у него обыкновенные, но устроены так, что гребут не к себе, а от себя. Первым об этом догадался Мишка. Он толкнул своего дружка и раздельно, как он и всегда делал, удивляясь чему-либо, сказал:

— Вась, а Вась, это ж боцман про нас загнул.

Мостик дрогнул. Брюсов схватился за живот. Похохатывал боцман, хихикал второй механик. Смеялся и сам Мишка.

— Михаил Александрович! — раздался голос Бориса. — Время вышло, разрешите начинать!

— Да, давай, — сказал Макук и потушил цигарку.

Ребята повалили на палубу. На ходу натягивая перчатки, бросали недокуренные папиросы. Брюсов хлопал Мишку по плечу: «Ну и Миша, ну и чудак, вот отмочил так отмочил...»

— Отдать стопор! — командовал Борис. — Живее поворачивайтесь! Мух-х-хобои!

Лязгнула скоба стопора, натянутой струной отлетел ваер от борта. Борис поставил телеграф на «стоп», потом немножко отработал назад. «Онгудай» замер на месте, окутав корму пеной.

Все подошли к борту. По напряженным позам и безмолвию, нарушаемому только потрескиванием ваеров в блоках, было видно, что трал ждут с нетерпением. Кстати, первую рыбу всегда ждут с нетерпением. По ней пытаются угадать, удачливой будет путина или нет. И первая рыба никогда не забывается. Пусть после будут всякие заметы: богатые и сверхбогатые, когда от одного траления полностью заливается трюм, аварийные, когда вместо рыбы на палубу поднимаешь изодранный в клочья трал, — а бывает, что и вообще трал останется на грунте, зацепившись за скалу на морском дне, — но первая рыбка, затрепетавшая на палубе, сколько бы ее ни было, всегда останется в памяти.

Наконец загрохотали по борту кованые доски, скрип-

нула в последний раз и замерла лебедка. Борька повел «Онгудай» на циркуляцию, чтобы застрявшую в горловине рыбу загнать в куток и поднять куток на поверхность моря.

И вот куток всплыл.

Он был раздут от рыбы. Минтай высовывал синеглазые мордочки из клеток кутка. Торчали хвосты, виднелись темные спины. А сам куток был похож на огромнейший мяч. Покачиваясь в светло-синей воде, он медленно и как-то важно приваливался к борту.

— Вот это да!

— А рыбы-то!..

— I like this! Мне это нравится! — Борька уже слетел с мостика и тоже толкался со всеми.

— Отлично сыграто! — подвел черту боцман.

В этот день работали с особым азартом. Радостно — какой же рыбак не радуется, когда в неводе рыбка трепещется!

Макук все время был на палубе, показывал ребятам, как настраивать трал: какой длины оставлять голые концы, под каким углом ставить клячовки, как и сколько навязывать балбер и грузил, чтобы у трала было хорошее раскрытие. Только перед заметом поднимался на мостик, прищуренно осматривался по сторонам — мы работали в видимости берега, — потом подходил к штурманскому столу и тыкал узловатым пальцем в карту: «Пойдешь вот суды» или: «Попробуй вот тута». Других указаний не делал. Мостик принадлежал нам.

Подошло время заступать ему на вахту. Мы с Борисом решили поделить его вахту между собой. Но Борис — как всегда, впрочем, — внес предложение:

— Слушай, чиф, а не приспособить ли для этого дела Сына? Хоть на переходе подменит.

Сказали об этом Макуку, он уже поднимался на мостик.

— Да, давай, — сказал он, вытирая руки о коленки и отворачивая полы шубы — курево доставал, — пущай обвыкается, раз такое дело.

Сын, конечно, обрадовался.

К вечеру «Онгудай» был залит рыбой. Он тяжело сидел в воде. Выхлопнув несколько шапок дыма и дрогнув всем корпусом, он важно тронулся на сдачу.

— Ну и денек, — говорил Брюсов, околачивая о колено чешую с шапки.

— Побольше бы таких, — радовался Васька.

Через неделю Борька нарисовал еще одну звезду на штурманской рубке — каждую тысячу центнеров добытой рыбы мы отмечали звездой. Раньше их было одиннадцать, теперь двенадцать. Но самой яркой была последняя.

Всю неделю погода была промысловая, и мы в Славянку сдали четыре груза. Другие по два, по одному. А «Онгудай» четыре раза, сияя поцарапанными и побитыми бортами, деловито швартовался к причалам рыбозавода. Борька сдавал рыбу — это была его обязанность как второго штурмана. Пуговицы парадной тужурки горели, а фуражка имела самый бравый вид. Девчонки-обработчицы хитренько поглядывали на раззолоченные рукава Борькиной тужурки и кокетливо спрашивали:

— Товарищ штурман! Где же это вы столько рыбы берете?

— В море, в море, — небрежно отвечал Борис.

Вскоре о наших уловах узнал весь флот: болтливый репортер в газете «Приморский рыбак» на целую страницу расписал нашу работу. «Парни с «Онгудая» — называлась статья. В ней много говорилось о Мишке, Ваське, Андрее, Борисе, Новокощенове, но больше всего о боцмане — целый столбец с портретом. Брюсов советовал боцману брать газету с собой на берег; если придется объясняться с милицией или комсомольскими патрулями — поможет. Впрочем, у боцмана был период стеклянной трезвости.

В конце рейса погода испортилась, подул южный ветер от берегов Японии и Кореи. Он дует недолго, но бывает сильный, баллов до девяти, и почти всегда с дождем или снегом.

В свежую погоду работать опасно: при замете или выборке корму может набросить на трал, и — авария, намотка на винт. Жди тогда аварийного спасателя, чтобы оттащил тебя в базу.

На этот раз погоду решили переждать в море, сэкономить время. Легли носом на волну, убавили ход и ждем. Ветер свистит в снастях, срывает верхушки волн и бьет ими по иллюминаторам и окнам ходовой рубки. Волны иногда заскакивают на палубу, мечутся по ней, прополаскивая все, клокочуще толпятся в корме, возле площадки. Туда носа не высунешь. А «Онгудай» карабкается с волны на волну, задирает нос, как норовистый конь, съезжает на

корме по гребню или вдруг воткнется во встречную волну: корма тогда оголится и винт рвет воздух. А то вдруг как плюхнется в яму между волн — им нравится расступаться сразу, без предупреждения, — окутается пеной, заскрипят переборки.

Рядом с нами штормуют еще два сейнера. То выскакивают на волны, то прячутся в них. Иногда мелькнут красные днища. Даже не верится, что и нас так мотает.

В такие дни скучно. Ребята, словно неприкаянные, слоняются по судну, заглядывают в каюты и кубрики. Чаще торчат в кают-компании и хлещут костяшками домино о стол или болтают, морской травлей занимаются.

Скучно одному в каюте. Борька на вахте. Попробовал читать Куприна — никак. Бросил и пошел в кают-компанию. Там боцман, Макук, Брюсов и второй механик сражаются в домино, радист листает старые журналы. Сын, растянувшись на диване во весь свой исполинский рост и закинув руки за голову, мечтает. А Васька жмет на кофе и философствует:

— Ну что это море? Вода и вода. А на берегу сейчас благода-а-аать... Проснешься это, братцы мои, утречком: крыша не качается, окошки большие, и солнышко светит в них, а жена молча прижимается к тебе. Ни тебе штормов, елки-палки, ни буранов, елки-моталки... Никогда больше в море не пойду!

— Давно бы за борт тебя пора, — вставляет боцман, перемешивая костяшки домино, — вместе с приловом.

— Или вечером, когда коров гонят, — ни малейшего внимания не обратив на реплику боцмана, продолжает Васька. — Солнышко это, братцы мои, село, но еще светло... тихо... А если у маю, к примеру, то жуки летают...

— А я на берегу не могу все время жить, — вставляет Сергей, — пробовал. Чуть с тоски не удавился.

— Да, Сережа, да что хорошего в этой болтанке? Ну?— спрашивает Васька и показывает кружкой на иллюминатор, мимо которого летят брызги с пеной. — Ну что?

— Не знаю, Вася, не думал. — Сергей, не глянув на иллюминатор, потянулся за газетой.

— И что здесь думать? — удивленным тоном продолжает Васька. — По несколько месяцев иногда дома не бываешь. Какая же жена выдержит? Придешь это с моря, а у жены «бобер». Да «бобер» ладно, прогнать можно, а то еще хуже: ключик у соседки, вещичек, конешно, тю-тю, а

на столе записочка: «Покедова... Ждать не согласная..» Как у Андрюхи.

— Да Андрюху не из-за этого жена бросила, — перебивает его Мишка, — она его бросила потому, что он из ахвицерóв ушел. Понял? Он нам сам говорил...

— Ну вы, друзья, Андрея не трогайте, — останавливает их радист, — а то он вот придет, даст вам по шапке.

— Да ты че? — удивился Васька. — Чтобы Андрей? Меня?.. Да я и не про него говорю. Я говорю, что придешь домой, а на столе записочка...

— Ерунду ты мелешь, Вася, — говорит Сергей. — После рейса я со своей женой, как с невестой, встречаюсь, как в первый раз ее вижу.

— Не трать калорий, Сережа, — вставляет радист, — сейчас он скажет: «Опять же питание».

— А что? — вспыхивает Васька. — И питание. Целое лето в морях проторчишь, ни тебе яблока, ни помидоры, ни еще какой свежести... А на берегу... вон Мишкин отец, он конюхом работает в колхозе, дак прямо в огороде похмеляется: сядет это на грядку, пропустит стакашек и тут же свеженьким огурчиком... хрум... хрум... или лук об сапог обколотит...

— Чем не ресторант? — подхватил Мишка.

А за соседним столом «козел» идет полным ходом.

— Ну, медузы, держитесь, — ставит кость боцман, — сейчас мы с Александрычем врежем вам сухого.

— На пузырек? — предлагает Брюсов. — Тройка.

— Не пьем, — ставит кость боцман.

— А если потянет? По четыре.

— Тогда и потолкуем, — говорит боцман и ставит четверошный дупль. — Так и будет.

— Пятерка идет, — смеется второй механик, — вот только до первой пивнушки, правда, боцман?

— Это тебя, мотыль, не касается...

Макук играет молча. Спокойно смотрит на ухарские прихлопывания боцмана, не обращает внимания на брюсовскую болтовню. Внимательно смотрит в фишки.

— Все равно, Егорович, — продолжает Брюсов, — ты нам должен поставить по приходу домой.

— Не помню что-то такого долга, — говорит боцман. — Беру конца.

— А ты вспомни!

— Не помню.

— А за шланги? За экономию пожарных шлангов. Забыл разве?

— А-а-а, это те, что на мачте висели? — наивно спрашивает механик. — Ну за это уж грех не поставить.

Боцман хмурится. В последние дни он испытывает острую нужду в пожарных шлангах. Он раздобыл где-то, но старые, и когда он скатывает палубу после работы, шланги текут по всем дыркам. Брюсов называет их «оросительными трубами» и сочиняет анекдоты про морских огородников.

— Ну да, они самые,—поворачивается Брюсов ко второму механику: — Как-то заглянули мы с Сергеем в подшкиперскую, а шлангов там... на два рейса хватит! Я и думаю: Егоровича расколоть надо.

— Треплешься, как старые штаны на заборе, — ворчит боцман. — Ходи давай.

— Мимо. Так вот и решили мы с Сергеем...

— Бабки на стол, Алехи! — Боцман так шарахнул по столу, что костяшки подпрыгнули.

— Здорово мы вас! — усмехается Макук и потирает ладони о колени. Затем лезет в карман за куревом. — Что-то вы, ребята, сегодня не того...

— А-ах, — пренебрежительно отмахивается боцман, — и садиться не стоило. Дайте-ка и я вашего, Александрыч, попробую!

— И я! Разрешите? — Брюсов тоже тянется к газете и кисету Макука.

Кают-компания мерно качается. Иногда иллюминатор с какого-нибудь борта залепит пеной или хлестнет светло-синим потоком воды, прозвучит глухой удар.

— Надоела эта болтанка, Михаил Александрович, — вздыхает Васька, — домой хоцца...

— Да, — говорит боцман, — после шторма она разреженная. Пока скосякуется — и рейсу конец.

— Это-то да, — говорит Макук, чуть поднимая мохнатую бровь, — да тут, ребята, вот какое дело. Вишь ли, как оно это получается: после шторма она, конешно, плохо идеть, а вот когда он еще не кончился... Перед затишьем, прямо сразу попробовать? Японцы в такую погоду хорошо берут.

— Так это всегда в плохую погоду она идет, — вставляет боцман, — закон-пакость это называется. Да в плохую погоду ее не возьмешь.

— Да попробуем, — продолжает Макук. — Хоть чуть

бы приутихло; подождем, может, приутихнет. А она должна быть около Пяти Братьев. С западной стороны. Минтай тама нерестится, да и треска должна быть. Раньше мы там хорошо брали. Да и японцы туда наведывались.

— И сюда забирались? — удивился Брюсов.

— О-о! Сюда? — засмеялся Макук. — Да они вон аж за пограничную полосу шастали.

— А пограничники?

— А что пограничники? Поймают его, приведут во Владивосток, а ночью он возьмет и сбежит.

— Как?

— Да хитрый же народ. Во Владивосток его, — Макук слюнявит цигарку, — на буксире ведут: то машина у него скисла, то руль заклинило. А как туман, особенно когда ночью туман, дак они у него сразу заработают. Так и убегали. Каверзный народишка, а рыбаки хорошие. Или вот когда красную на острове ловили — тогда еще разрешали им свои базы там держать. Ну вот. Невода рядом стояли: наш — ихний, наш — ихний. Станем переборку делать — у нас пусто, а они не знают, куда рыбу девать. Мать честная! Дак что, оказывается, было: значит, они ночью, когда мы спим, возьмут да и навешают консервных банок рядом с нашими неводами. Вода банки колышет, они сверкают, рыба и не идеть. Или бутылок с соляркой набросают. А вот когда здесь еще ивась был, дрифтерными сетями его ловили — то и гляди, не лазиет ли где поблизости. Один раз, в тумане, выбираю я свой порядок, потом туман спадать стал — гляжу, а другой конец моего порядка японец выбирает. Мать честная! Что ты будешь делать! — И Макук засмеялся, покачивая головой.

— По физии надо за такие дела, — вставил боцман.

— Да было и это,— сказал Макук, — и до кулаков доходило. Вот когда треску удочками ловили на кунгасах. До дна же ее спущаешь, течение носит. Глядишь — сцепился с японцем. Он к себе тянет, ты к себе. Никому не хочется обрезать. И пошла процедура...

— Михаил Александрович, — вмешался Брюсов, — а когда дрались кулаками, кто кого побеждал?

— Да всякие случа́и бывали...

Ночью ветер почти стих. Море без него осиротело, но еще металось, утихая.

Макук поднялся на мостик, ткнул, как всегда, впрочем, палец в карту и сказал Борису:

— Ну давай-ка суды.

— Но позвольте, Михаил Александрович, здесь же камни, — сказал Борис.

— Ну и што?

— Мы рискуем подарить трал Нептуну или вытащим лохмотья в лучшем случае.

— Бывают случаи. А как не подарим, — как-то радостно воскликнул Макук, надевая рукавицы. — Рыскнем!

— Иногда не имеет смысла рисковать, — глубокомысленно заметил Борис.

— На то ты и рыбак, чтоб рисковать, — вставил боцман, — или пан, или пропал.

— Ну, не всегда это разумно, Федор Егорович...

— Да не шумите, — поморщился Макук. — Если и загубим трал — хрен с ним, все одно домой пора. Кто у нас на руле хорошо стоит?

— Сергей, Брюсов.

— Давай кого-нибудь суды.

Теперь Макук сам делал замет. Он подвел «Онгудай» к самым Братьям, выметал трал и повел судно по ориентирам, видимо, ему одному известным. Стоял на крыле мостика и командовал Сергею:

— Вправо ходить не моги! Там камни должны быть. А теперь правее! Еще чуть! Стоп! Так подержи!..

Сергей работал красиво: рулевое колесо то бешено — до ряби в глазах — летало в цепких руках, то замирало. Картушка компаса плавно ходила по азимутальному кругу.

Ребята почти все были на мостике. Суетились. Больше всех шумел Васька.

— Правее! Правее, говорят тебе! — кричал он Сергею, передавая команды Макука.

— Вот где есть камни, — усмехнулся Макук, — я знаю, а вот где их нету — не знаю.

Кстати, эти вот слова очень понравились Андрею. После он часто повторял: «Вот где есть камни, я знаю, а где их нету — не знаю».

— А рыба будет, Михаил Александрович? — суетился Васька.

— Об этом рыбаков не спрашивают, — улыбнулся Макук.

— Алеха, — пренебрежительно сказал боцман, — и когда ты уедешь в свои Васюки? Узурпатор.

— Да деньжат же ж надо, Егорович.

— Тьфу!

Наконец стали выбирать трал. На этот раз куток его был необыкновенный, продолговатый — рыба заполнила даже горловину трала. Он колбасой покачивался у борта. Под светом прожектора он был фиолетовый. Мы просто растерялись, когда он всплывал. Всплывает и всплывает.

Таких заметов нам не приходилось делать даже в Охотском море.

— Не возьмем, — сказал Сергей, — стрелы полетят.

— Что ж теперь? Пропадет рыбка, да? — испугался Василий. — Ребят, ребят, Егорович, как же теперь, а? Пропадет, да?

— Да заткнись! — цыкнул на него боцман. — Неси скорее стропы.

— По частям надо, — сказал Брюсов.

— Конечно, порциями, — суетился Борис.

— От, медуза! — ворчал боцман, принимая у Васьки стропы — тот принес их целую охапку, хотя два всего надо было. — Все принес?

— Не, не все. Один остался. — И Васька опять к борту.

— Куда полез? Стрелы выводи.

— Да деньги ж там плавают, Егорович.

— Ну теперь, Вася, — смеялся Брюсов, становясь на лебедку, — ты заведешь не только дом, но и свинарник.

— Все можно... — пыхтел Васька.

Макук стоял на верхнем мостике, задумчиво смотрел на ребят. Улыбался. Чему он улыбался? Может, вспоминал, как лет тридцать—сорок назад таким вот парнем ловил треску здесь крючками или иваси дрифтерными сетями? А может, ему рисовались картины лунной майской ночи, заштилевшее море и одинокие кунгасы его товарищей. И протяжная рыбацкая песня. Как-то он рассказывал нам, что когда они удочками рыбачили, то «песняка любили вдарять». А может, думал о том, как наши ребята получат деньги за рыбу и поедут к своим семьям, и Васька купит дом матери, сестре — шубу лохматую...

Мы с радистом подошли к нему. Он вытащил кисет, стали закуривать.

— Скажи ты, как оно подвезеть, — улыбался он, слюнявя самокрутку, — по косячкам, знать, проехались. Вишь ты, как бывает...

Потом застегнулся на все пуговицы, натянул рукавицы и пошел к ребятам на палубу.

VII

Красиво работают наши парни! Громыхает лебедка, лязгают ее барабаны, с треском наматывается ходовой шкентель. Повизгивают блоки.

Из-за борта выползает куток с рыбой, похожий на огромнейшую грушу. Дрожит и гнется стрела под его тяжестью. Журчащими потоками льется с трала вода. Серебрясь чешуей, она катится по палубе, омывая наши высокие — по бедра — сапоги.

Море качает. Трехтонная груша в такт качки исполинским маятником носится над палубой, щедрым душем поливает прорезиненные спины ребят.

— Полундра! Бабочек не ловить! — хрипит боцман и чугунными лапами хватает шворку. Уловив момент, когда куток окажется на середине палубы, дергает шворку.

Словно выстрел в воду, разверзается куток — на палубу хлещут потоки рыбы. Брызгаясь чешуей, рыба устраивает виттову пляску на палубе. Чешуя — туманом. Она залепляет щеки, рты, глаза...

Боцман стаскивает куток с кучи рыбы, а Васька с поспешностью циркового акробата зашнуровывает его.

— Как работаешь, медуза! Быстрее надо!

— От нас не убегёть, — шмыгает носом Васька и хитренько улыбается.

— Вир-ра! — хрипит боцман, и Брюсов набрасывает несколько витков ходового шкентеля на барабан лебедки; лебедка лязгает, пустой куток взвивается над палубой. А Брюсов, ослабив шкентель, — весь внимание, — сощурившись от дыма сигареты, прилепленной к нижней губе, ждет команды боцмана. Брюсов... он и здесь в своей роли: на нем причудливая женская шляпка, а у рубашки, расцвеченной пальмами и обезьянами, ни одной пуговицы — будто полушубок надет прямо на голое тело.

Мишка, пунцовый от натуги, выводит стрелу за борт.

— Майна! — кричит боцман, и Брюсов ловко сбрасывает шкентель с барабана, куток плюхается в море.

Боцман с Васькой, перевесившись за борт, перегоняют рыбу из горловины в куток. Когда волна подкатывается к борту и, расшибив пенистый гребень, летит на палубу, Васька прячется, а боцман фыркает и кричит:

— Куда полез, медуза?

— Страшно, Егорович.

Рыба в такт качке двигается лавиной по палубе, вы-

плескивается за борт. Ее надо рассортировать, погрузить в трюм, разбросать по отсекам.

Андрей, Брюсов, Сергей, радист, я сортируем рыбу: окуня — в один отсек, камбалу — в другой, звероподобных скатов — в третий. Крабов бросаем на нос, к самому брашпилю — на берегу можно будет угостить знакомых. Минтай, которого больше всего, грузим в трюм. В трюме самые здоровые — Сын и стармех, — стоя по пояс в рыбе, разбрасывают ее по отсекам, чтобы она не двигалась во время качки и не создавала крен.

Борька с Макуком острыми до предела ножами шкерят треску. Конечно, ни стармеху, ни мне, ни тем более Макуку нет необходимости работать на палубе. Но какой же ты рыбак, если твой товарищ работает, а ты равнодушно смотришь!

Не успели разделаться с этой порцией и выбросить за борт мусор (все, что трал вместе с рыбой притащил с морского дна: причудливые водоросли, осьминогов, ежей, морских звезд, камни), как боцман хрипит:

— Полундра! Майна куток!

И снова палуба заливается рыбой. Грохот, треск, скрежет... ни одного лишнего слова. Ребята забыли про все, ребята работают. И только слышно: «майна», «вира», «стоп», «полундра», да иногда, если заест трос в блоках или кто зазевается, соленое словечко слетит с соленых губ.

При такой работе забываешь про все: руки быстро и точно делают свое дело, сердце ровно стучит, а сам внимательно следишь — не перепутать бы чего и не помешать бы товарищу. Работа всех зависит от каждого.

И вот из своих владений выползает Артемовна. Она увешана чайниками, с огромнейшим подносом, на котором горки сыра, бутербродов, пачки печенья.

— Подкрепиться надо, ребятки, — говорит она и, балансируя чайниками, с трудом пробирается по палубе. В своей безрукавной душегрейке, надетой на белый халат, она похожа на пингвиниху. Даже походка пингвинья — за полгода работы на море она еще не научилась ходить в качку по палубе.

— Стоп! Перекур! — кричит боцман.

Ребята обступают ее. Первым подкатывается Васька.

— Игде моя большая кружка? — говорит он, набивая рот сыром. — Мне бы послаще, Артемовна, со сгущеночкой.

— А мне черное, — говорит боцман.

— Всё здесь, ребятки, — хлопочет Артемовна, — всё здесь.

Кофе... мне не раз приходилось пить его, впрочем, как и всем людям, дома, в ресторанах, столовых, но такого, как здесь... никогда я не пил такого кофе! Как он пахнет! От него веет обжигающим ароматом, после кружки живительное тепло разливается по всему телу, у ребят появляется сила, настроение становится блаженным.

— Еще сгущеночки, — говорит Васька.

— Давай-давай, Вася, не теряйся! — кричит Брюсов.

Васька со своей большой кружкой усаживается на трюме.

— Вкуснота-а-а! — говорит он, отдуваясь.

— Пейте, ребятки, пейте, — суетится Артемовна, — может, вам сюда пельменев принести?

А кофе-то самый простой, ячменный. Когда-нибудь Василий будет пить кофе самый дорогой, вскипяченный не в трехведерном котле и взболтанный морем, а в специальном кофейничке, отстоявшийся. Будет смаковать маленькими глотками, развалившись в кресле, «которое качается», о котором он так мечтает, читать газету или смотреть «телевизер», но так блаженно «вкуснота» он никогда не скажет.

— Мне бы еще, Людмила Артемовна, — говорит кто-то.

— Сейчас, мальчики, сейчас, — говорит она и, собрав чайники, отправляется в очередной рейс.

До Артемовны поваром у нас работал Хасан. Это был замкнутый и не в меру самолюбивый человек. Обидчивый до ужаса. Кроме того, Хасан очень любил читать книжки. Причем читал все: лоцию, Толстого, учебники Сына. Когда ни заглянешь в камбуз, Хасан читает. Об обеде, конечно, и мыслей нет. Лохматые брови сдвинуты, колпак на затылке, и только огромнейший нос подрагивает. Я с ним замучился: ребята обеда ждут, а ничего не готово.

— Хасан, как обед?

— Чичас. — А сам и не думает шевелиться, сидит и читает. Двигает носом время от времени и двигает.

— Хасан, давай обед!

— Э-э! — Тут он швырнет книжку, схватит ножи, кастрюли, и — закипела работа. Через полчаса выглянет из окна камбуза, сверкнет белками глаз и опять шевельнет носом:

— На пэрвоэ зуп-пщенка, на второэ кащя-пщенка! Пжалста!

Так мы и ели: «зуп-пщенка, кащя-пщенка» или «зуп-кречка, кащя-кречка». Меню Хасан не любил разнообразить. Конечно, все недовольны были стряпней Хасана, но где же во время путины найдешь повара — даже матроса на берегу не найдешь. Но тут случай, или, вернее, необычное происшествие помогло избавиться от него.

Возвращались в базу. До выгрузки оставалось несколько часов, ребята, уже одетые, сидели в салоне. Играли в домино. Вдруг с треском распахивается дверь, и влетает Хасан. Штаны придерживает руками.

— А-а, дзараз, цволич, бог матэрь, резить буду!

С воем и воплями пронесся через кают-компанию и спрятался в камбузе. Мы опешили. Из камбуза неслись проклятья и плеск воды. Брюсов заглянул в раздаточное окно — оттуда вылетела кастрюля. Хасан сидел в тазу с водой, проклинал все на свете и кидался посудой. Оказывается, кто-то из шутников (Брюсов скорее всего) намочил уксусом бумажки в гальюне.

Как только подошли к берегу, Хасан забрал у Петровича свой паспорт и ушел, ни с кем не простившись. Мы остались без повара.

Я приуныл.

И вот как-то толкался я в приемной директора комбината — мне надо было выписать снабжение, получить аванс для команды, — ко мне подошла немолодая женщина:

— Я слышала, вы повара ищете?

— Да.

— Я варить умею.

— Но... — Я боялся брать женщину, тем более в возрасте: — На море у повара трудная работа.

— Ничего.

— Иногда очень трудная.

— Ничего.

С тех пор мы зажили: «бифштексы», «бистроганный», блины, пирожки, а Артемовнина «какава» стала известна по всему флоту. На камбузе появились порядок и чистота.

Боцман сначала возмущался: «Бабу на борт взяли... кабак будет, а не пароход». Но этого, как мы все убедились, не получилось.

Сыновей Артемовна потеряла во время войны, муж еще до войны попал в тюрьму за какие-то дела, и о нем она ничего не слышала. Ей одной пришлось воспитывать троих сыновей. И потом потерять их. Всю теплоту души своей, привязанность сердца она отдала нам, все жизненные ин-

тересы связала с «Онгудаем». Готовила она превосходно. Но к этому прибавлялось еще что-то — может, желание сделать приятное кому-то, обрадовать кого-нибудь, что ли. Как-то Новокощенов заикнулся, что он именинник. На другой день ему был преподнесен торт. Кстати, после этого случая мы стали отмечать дни рождения.

Один раз в море у нас вышли продукты, но мы не хотели из-за этого идти в порт — рыба ловилась плохо, а мы надеялись все-таки найти ее, поймать и прийти с моря не пустыми. У Артемовны остались одни макароны да томатный соус. Брюсов от нечего делать поймал мартына на тресковую удочку.

Артемовна спросила: «А еще можешь?» — «Хоть сто тыщ», — ответил он.

Они с Васькой насаживали селедок на тресковые удочки и кидали мартынам. Те, конечно, с дракой — даже перья летели — глотали. Когда Брюсов с Васькой щипали их, боцман спросил: «Зачем вы, Алехи, живую тварь переводите?» — «На чахохбили, Егорович», — ответил Васька. «А-ах, — отмахнулся боцман, — несъедобная тварь, рыбой пахнет».

Боцман прав, конечно, мартыны пахнут рыбой — не раз уж их пытались применять в еду, — но на этот раз почти не пахли: томатный соус, лавровый лист и уксус сделали свое дело. А вид у них был прямо заманчивый: обжаренные, набитые макаронами с очень вкусной подливой. Из пуха мартынов Брюсов набил подушку и торжественно вручил боцману. «Узурпаторы», — сказал боцман, но подушку взял.

Когда ловили сайру возле острова Шикотан, нам понадобились десятиметровые жерди для ловушки. За ними на остров пошел боцман с Брюсовым. На этом острове у двух стариков, обслуживающих маяк, мы наменяли картошки на селедку.

Весь остров в непроходимых зарослях шиповника, ежевики, смородины и еще бог знает каких зарослях. Без ножа или топора по лесу не продерешься. На кусте можно лежать и качаться как в гамаке — так плотно перепутались разные травы и колючки. Сам лес девственный. Но больше всего цветов — целые поля. Брюсов нарвал их большую охапку и преподнес Артемовне.

— Многоуважаемая Людмила Артемовна, — галантнейше расшаркивался он при этой процедуре, — наш многоуважаемый боцман, Федор Егорович, уполномочил пере-

дать вам эти цветы и с ними свое нежное и ласковое боцманское сердце...

— Ох и озорник! — ворчала она, а лицо ее вспыхнуло такой радостью, что мне она показалась семнадцатилетней девушкой.

У цветов она обрезала стебли и поставила в банки с подслащенной водой, чтоб не вяли. Кают-компания преобразилась. Когда боцман вошел, то долго не мог понять, в чем дело.

— Праздник у нас, что ли? — недоумевающе озирался он. Потом наконец заметил цветы. — Тьфу, узурпаторы! — и ушел из салона.

VIII

— Вир-ра! — кричит боцман, и куток плюхается в море. И опять начинается: «вира», «майна», «полундра», «стоп травить». А море качает. Оно переваливает «Онгудай» с борта на борт. Бьет в корму, подкидывает нос, будто помогает заполнить рыбой все пустоты и утрясти.

Наступает ночь, темнеет. Включаем палубное освещение — с мачты и верхнего мостика уставились на палубу яркие люстры. Вокруг шумящая темь, и теперь волны вскакивают перед бортом неожиданно: встанет белый султан, посмотрит, что творится на палубе, и с ворчанием — не поймешь, доволен остался или нет, — унесется в темноту. А море качает.

— Вир-ра!

— Майна!

— Куда полез, медуза?

— Стоп травить!

«Онгудай» заполняется дергающейся в последних конвульсиях рыбой, оседает по самые борта, тушит свет, оставив только два глаза — красный с левого и зеленый с правого борта, — да на топе мачты один, выхлопывает несколько шапок дыма в звездное небо и важно трогается на сдачу.

— Кто ж так делает, Алехи, — ворчит боцман на ребят, которые укутывают рыбу на палубе брезентом, чтоб ее не смыло волной, — под борт надо брезент подбивать, под борт!

Борька с Сыном хлопочут на мостике — Борис помогает Сыну определить место и проложить курс в базу.

Все сделано. «Онгудай» чихпыхает на сдачу. Ребята стаскивают и полощут за бортом прорезиненные плащи-мешки, смывают чешую с сапог, выжимают перчатки. Мокрую одежду несут в сушилку, переодеваются «по-чистому».

После непрерывной шестнадцатичасовой работы идем в кают-компанию, где у дымящихся столов хлопочет Артемовна.

Посвежевшие от умывания, гладко причесанные, с засученными по локоть рукавами ребята отлично работают ложками. Гороховый суп с фунтовыми кусками мяса, жареная рыба, котлеты, пельмени, каша — все исчезает в емких желудках. Едят наши парни тоже красиво.

Глядя на мускулистые, словно витки каната, руки с твердыми, как просмоленный трос, пальцами, на бронзовые от ветра лица, на гибкие спины, где под свитерами и сорочками пирогами лежат мышцы, я думаю: всем молодым людям без исключения надо бы годик-другой половить рыбу.

После еды появляется курево. Несколько рук с «Примой», «Беломором», «Севером» тянутся к Макуку. Настойчивее всех сует свою коробку с махоркой второй механик — он стал курить махорку. Вот хитрован!

— Попробуйте моего, Михаил Александрович, — говорит он и оглядывается по сторонам — не видит ли Андрей, но Андрея нет, он на вахте в машине.

В последнее время второй механик уж очень резко переменил свое отношение к Макуку, вот даже махорку курить стал. Это не нравится Андрею. Как-то после очередного подхалимства Андрей отвел механика в сторону и, дыша ему в самый нос, сказал:

«Перестань подмазываться к старику».

«А в чем дело? Я вроде ничего плохого не делаю».

«Несимпатично получается».

«Не пойму. Ну никак что-то не пойму».

«А-аах!» — Андрей тоскливо отвернулся и сплюнул.

Теперь отношения их, кажется, совсем разладились. На работе обмениваются лишь официальными репликами. Видимо, они в дальнейшем не уживутся, уйдет кто-нибудь на другое судно.

— Моего, Михаил Александрович, — сует коробку механик, — махорочка из красной папки!

— Да давай и твоего, — улыбается Макук. — В Славянке брал?

— Ага.

— А здорово мы, братцы, сегодня гребанули, правда? — потирает руки Васька.

— Да ничего, — улыбается, щурясь, Макук, — жить можно.

— Михаил Александрович, — вмешивается Сергей, — а вы с нами останетесь? Месяца через четыре, после ремонта, мы опять пойдем в Берингово, в Охотское море, в океан на сайру. Вы с нами пойдете?

— Черт-те знает,— заворачивая цигарку, говорит Макук, — если начальство разрешит. Бумаги, вишь, ребята, нету.

— Михаил Александрович, — вспыхивает Борис, — да мы за вас все сделаем и вас, если хотите, обучим астрономии и навигации!

— Главное — рыба, — говорит боцман, — курсы вон и наш Борис подсчитает.

— Курсы мы и сами проложим, — подхватывает второй механик, — а рыбку-то... А с Михаилом Александровичем мы три плана свободно дадим, правда, ребята? Знаете, Михаил Александрович, в Охотском море сколько ее? Вот бы там...

— Это можно, — важно говорит Макук. Он слюнявит цигарку. Подбородок опустил, брови, чтобы скрыть довольную и горделивую улыбку, насупил. Шапка с торчащим ухом набекрень и весь вид — само достоинство. — Мы раньше здеся треску, иваси ловили... и без дипломов... и ничего...

— А на Камчатке, Михаил Александрович, и палтус с камбалой попадается. А он в три раза дороже камбалы.

— Вишь какое дело... боюсь, не разрешат...

— Михаил Александрович, — робко вмешивается Брюсов, — я давно хотел попросить у вас прощения, да вот никак все не осмелюсь. Понимаете, простите меня за то дело...

— Это за какое? — хмурится Макук.

— За палтуса... за того самого... — Брюсову, видимо, не по себе. Он мнется, пытается улыбнуться, но улыбка получается кривая, вертит в руках спичечный коробок. — Честное слово, Михаил Александрович...

— А-ах, — отмахнулся Макук, — бывают случаи... — Но ему тоже, наверно, неловко. — Это ты зря... не помню уже...

И нам всем не по себе. Брюсов копнул что-то гаденькое и подлое, в чем мы все были замешаны несколько дней назад. За столом неловкое молчание.

— То-то, бесстыдник, одумался, — вмешалась Артемовна. Она стирала со столов, стелила чистые скатерти. — Заставьте его, Александрыч, уборную чистить.

— Нам радиограмма, — сказал радист, входя в кают-компанию. Он бросил бланк радиограммы на стол. Несколько рук потянулись к ней.

— От кого?

— Ну-ка?

— Читай!

— «...Поздравляем экипаж «Онгудая» с трудовыми успехами... Ждем славного возвращения... От имени всех рыбаков: нач. управления, профорг, парторг...» — прочитал Сергей.

Радиограмма пошла по рукам — каждый считал своим долгом подержать ее в своих руках. Последним взял Макук. Он щурился, читая, потом повертел ее, как будто хотел найти, нет ли еще чего там. Потом отдал радисту.

— Отстукай им, — сказал он, — «скоро будем».

Вдруг загремел репродуктор, раздалось характерное постукивание по микрофону, дутье в микрофон, и голос Сына сообщил не совсем приятную новость:

— Старпому, второму механику и матросу первого класса Брюсову приготовиться заступать на вахту.

Иду.

IX

Вахту принял в полночь. Сын, синий от холода, промямлил что-то о прогнозе и убежал с мостика. Ему хорошо: вымоется в теплом душе, напьется горячего кофе и будет блаженствовать под хрустящими простынями.

Дует свежий норд-ост, море ерошится пенистыми барашками. Волны захлестывают левый борт. Площадка, дуга и брашпиль обрастают коркой льда. У «Онгудая» появляется небольшой крен на левый борт. Скорее добежать до базы — иначе лед придется скалывать.

Курс проложен, расчеты проверены. Я поудобнее устраиваюсь между телеграфом и переборкой, заворачиваюсь в полушубок и смотрю на море. В открытое окно море дышит леденящей свежестью, крепким запахом йода и водорослей.

Временами из-за туч всплывает луна. Тогда перед «Он-

гудаем» появляется лунная дорожка. Она заманчиво переливается серебристыми и свинцовыми красками и кажется такой нежной, что ее хочется погладить.

Брюсов цепкими глазами следит за компасом и под скрип рулевого колеса мурлычет что-то себе под нос. Вероятно, чтобы не спать.

Странные изменения произошли у нас за эти две недели. Макук ни на кого не кричит, никому ничего не приказывает — да он и не умеет приказывать, как посмотришь, разговаривает со всеми как на колхозном собрании, — а слушаются его лучше, чем идолопоклонники своего жреца. Мишка с Васькой так и ходят за ним, предупреждая каждый его жест. Во время работы с лихостью бравых матросов кричат: «Есть!», «Будет сделано!» — а после работы заскакивают к нему в каюту, и я уже слышал, как Васька, рассказывая про свою деревню, зовет его «дядя Миша». Механик вот махорку носит. Фальшивит, конечно. А может, и не фальшивит. Андрей держится в сторонке, но готов за него в огонь и в воду. Боцман тоже поубавил свой гонор. Сергей приглашает его в рейс на Камчатку. Впрочем, это еще неизвестно, как бы дело выглядело там — в океане, конечно, посложнее. Это для Васьки море «вода и вода», но штурманы и капитаны знают, что это не так. Да и сам Макук знает, конечно.

А Борька заершился. При Петровиче он был незаметен, а сейчас вот даже на боцмана иногда покрикивает.

Волны бесконечными рядами бегут от горизонта, мягко и упруго разбиваются о тяжелый нос «Онгудая» и, рассеиваясь брызгами, летят на палубу. По наростам льда на дуге сбегают алмазными капельками. Луна с еще большим восторгом переливается серебристыми бликами по волнам и бежит, бежит за «Онгудаем».

Придешь домой, махнешь рукой,
Выйдешь замуж за Ваську-диспетчера,
Мне ж бить китов у кромки льдов...

Эта песенка уносит меня в недавнее прошлое.

...Июньская ночь в Подмосковье. Улицы умыты дождем и пахнут полуночной свежестью. Деревья тоже умыты и тоже пахнут. Пустынно, все спят. Тишина. Девушка идет рядом, чуть-чуть сзади, вполголоса напевает нежную песенку, одну мелодию. Временами засматривается на встречные деревья и беспричинно смеется...

Черт возьми, какую же власть имеют воспоминания!

Как-то на сайре, когда лежали в дрейфе в океане — океан был как задымленное зеркало, а над ним, в еле заметном тумане, всплывало красное сонное солнце, —мне даже приснились и подмосковная ночная улица, и беспричинный смех... Весь мир отдал бы за один только сон...

Хотя чуть-чуть со мной побудь —
Мы идем в кругосветное странствие... —

продолжает Брюсов.

— Брюсов, перестань петь эту дурацкую песню.

— Почему дурацкую? Она вроде ничего.

— Все равно. Давай что-нибудь другое.

— А что?

— Что угодно.

Опять появляется луна. Она располагается в голубоватой полынье между туч и опускает серебряные нити на море перед «Онгудаем».

Над «Онгудаем» прямо по носу кружится одинокая чайка. Она лениво машет крыльями, покачивает черноносой головкой. Как будто осматривается. Затем выпрямляет крылья в одну линию и, валясь на бок, уносится в мерцающую даль. У нее, наверно, тоже ночная вахта.

Где-то в гавани, словно в саване,
Где на рейде стоят корабли,
Петька с Кузькою сходней узкою
Шли на берег, считая рубли... —

и Брюсов начинает рассказ о двух кочегарах, которые влюбились в одну девушку и, чтобы не ссориться, отказались от нее оба. Это старая песня. Ее знают, наверное, все моряки на всех морях.

Светает. Горизонт светлеет. Ветер усиливается. Над носом «Онгудая» висит голубоватый Арктур. Он единственный еще не погас и мерцает голубоватым светом.

— Доброе утро!

— Доброе утро!

Это Борька прилетел. Он положил руку мне на плечо.

— Где идем? — как всегда, суетится он. Он свежий после сна, румянится припухлыми щечками. От него пахнет пресной водой и чистым бельем.— О! Уже на подходе. Я сдам груз и успею начать рыбачить, если погода не испортится.

Мы склоняемся над штурманским столом, я сдаю вахту.

— А Михаил Александрович не приходил?

— Нет.

— Ты знаешь, чиф, он полностью доверяет мостик мне. В прошлый раз я в тумане подходил к порту. Иду — ничего не видно, только гудки. Страшно, дух захватывает: а вдруг врежешь кому-нибудь или на тебя кто напорется! А гудки... ну, у самого борта. Черт возьми! А туман — руку протянешь, не видно. Но я все-таки ни его, ни тебя не стал будить. Я сбавил ход до малого, иду... крадусь... Страшно ведь — а вдруг перед носом скала? Или судно... И, ты представь, точно вышел на входной буй. Тютелька в тютельку! Ну возле борта входной буй прошел! Ты представляешь? Тогда-то я и почувствовал в себе настоящее капитанское достоинство. А когда пришвартовал «Онгудай» и сошел на пирс, то захотелось через голову перевернуться, да люди кругом были... А когда ловим рыбу, то мне с мостика уходить не хочется. Оказывается, рыбная ловля — это удивительная вещь. Клянусь головой акулы!

— А как же дальние страны?

— Будут и дальние страны — куда они денутся? А вот ночью, в тумане, без локатора привести судно к входному бую — это, по-моему, что-нибудь да значит. И потом...

— Ну доброй вахты, — останавливаю я его.

— Доброго отдыха, а ведь это без приборов...

Я спускаюсь с мостика. Во всем теле придавливающая к палубе усталость. Плечи свинцовые, ноги передвигаются с трудом.

— Завтра нарисуем тринадцатую звезду на рубке и проложим курс домой! — кричит вслед мне Борис. — А пока ты будешь спать, мы с Сыном уже начнем рыбачить на тринадцатую звезду...

Домой... домой... перед глазами встает июньская ночь, умытая дождем улица, умытые деревья...

Расправляю плечи. Резкий морозный воздух обжигает легкие, пьянит и кружит голову. В последний раз окидываю взглядом море. Горизонт на востоке стал оранжевым, оранжевым золотом отливают верхушки волн, и радуга надежд разгорается в моей душе.

X

Проснулся от качки. Ставит в вертикальное положение, каюта падает в разные стороны. В такт ей болтается дождевик на вешалке, перекатываются и хотят выскочить карандаши из подстаканника. Постукивает пробка графина.

Куприн зеленым переплетом разметнулся по палубе. За переборкой гудит море.

Во всем теле противная слабость, болит голова. Во рту отвратительный привкус. Поудобнее устраиваюсь, упершись ногами в переборку, натягиваю до подбородка одеяло. В каюте сыро и холодно, вставать не хочется.

Вдруг дверь с треском распахнулась, и влетел Брюсов. Он прогромыхал через всю каюту пудовыми сапогами, которые казались больше его самого, и влип в угол дивана, цепко схватившись за стол.

— На винт намотали! Штормик правильный, —тяжело дыша, сказал он.

«Намотали на винт», «штормик правильный»... «Онгудай» предоставлен воле волн — вот откуда эта беспорядочная качка. Я сразу проснулся.

С трудом попав в сапоги, балансируя и хватаясь за что возможно, выбрались на палубу. Хлестнуло холодными брызгами, полусонное тело вздрогнуло. По палубе катится грохочущая лавина. Она пенистой шубой метнулась к борту, тряхнула его, расшиблась и, прыгая, понеслась на корму, полоская все палубные надстройки и пробуя их на прочность.

Выждав момент, как конькобежцы на финише, кинулись к мостику. Только успели вскочить на ботдек, как очередная волна пронеслась под ногами. Она ворчала, сожалея, — ей удалось лизнуть только каблуки наших сапог.

На мостике все ребята. Держатся кто за что. «Онгудай» валяет с борта на борт, крен доходит до сорока пяти градусов. Мне уступили место рядом с Макуком.

— Прогноз? — спросил я его.

— Восемь, порывами десять, ветер от зюйд-оста, временами снегопад, — ответил за него Брюсов. Он стоит у окна и палит аварийные ракеты. Сын подает ему их из грязноватой наволочки.

— Перестань, — сказал ему Макук, — все одно без толку.

— Как сальник? — Мне сразу вспомнилось, что Андрей в последние дни то и дело лазил в ахтерпик подбивать сальник. В плохую погоду его могло вышибить.

— Наверно, совсем выбило, — спокойно сказал боцман.

От этого спокойствия стало не по себе... Вода заполняет ахтерпик, а там доберется и до машинного отделения — переборка между этими помещениями не герметична. На спину посыпался холодный, колючий песок.

— Двери, люки, иллюминаторы в корме задраены? — Мой голос, кажется, дрожал, хотя я пытался придать ему как можно больше обыкновенности.

— Задраены, — буркнул боцман; помолчав, добавил: — Помпа полетела, вот уже три часа механики ковыряются...

Полетела помпа! «Онгудай» заполняется водой, и откачать ее нечем. Кинулся на крыло мостика — дверь так и рвануло ветром,— корма почти вся осела, нос борзо торчит из волн. Обожгло щеки, поясница стала мокрой, заныл низ живота и похолодел затылок.

Смотрю на ребят. Машинной команды — стармеха, второго механика, Андрея — нет. Боцман стоит у двери. Хмурый... Сергей обнял тумбу локатора, навалившись на нее животом. Мишка с Васькой схватились с противоположных сторон за рулевое колесо, белые, — у Васьки даже веснушки посинели и приоткрытый рот тоже синий. Брюсов держится за подоконник. Сын подпер косяк двери. Борька стоит возле штурманского стола, жалкий какой-то — видимо, он виновник аварии.

Лихорадочно стучат мысли, запоминается каждая мелочь. Надо бы рыбу из трюма вылить за борт, у «Онгудая» увеличится плавучесть, но сейчас уже поздно — смоет всех ребят и трюм захлестнет волной. И, как будто отгадав мои мысли, боцман говорит:

— Рыбу мы за борт смайнали, Александрыч велел. — Помолчав, добавил: — Вас я не хотел будить.

— Где находимся?

— Южнее Братьев, — ответил Борис, — миль на пять. Радиопеленгатор барахлит, я по глубинам определялся.

— Дак в море одинаковых глубин много, — отозвался Макук. Он стоял у окна и обводил биноклем горизонт.

— Дали радио о помощи, — сказал Борис.

— Скорей бы нас спасли, — сказал Васька.

— «СРТ-1054» идет...

— А он успеет? А, ребят? — тревожно и тихо спросил Васька.

— Цыц! — так же тихо, но твердо оборвал его боцман.

Откачать бы воду. Судя по прогнозу, шторм большим не будет, «Онгудай» даже без машины выдержит. Только бы осушить ахтерпик. Помпа... Надо же полететь в такой момент! Впрочем, всегда так: беды приходят вместе, компанией.

— Вишь ты... как оно бывает, — задумчиво и угрюмо проговорил Макук и стал закуривать.

Наверное, в ахтерпике уже много воды, корма «Онгудая» только временами показывается из волн, над водой показывается только угол площадки. А волны непрестанно валятся сбоку и немного с кормы. Задавив корму, подкатятся к рубке, тряхнут ее и клокочут к носу. После каждой волны палуба уходит из-под ног. Холодеет спина, стучит в висках, дергается колено — каблук отбивает дробь. Пылает лицо. Открываю окно и подставляю лицо хлесткому, как цыганский кнут, ветру — так не будет заметно мое волнение. Потом яростно, до боли в колене, выпрямляю ногу и до боли в кончиках пальцев сжимаю косяки окна. Предательская дрожь исчезает. Черт возьми, неужели я трус?!

Вдруг серая стена воды встает перед «Онгудаем». Встает медленно, тихо. Ее гребень пучеглазо смотрит на «Онгудай», плюется по ветру рваной пеной и валится на всех нас. Она не спешит. Она выбирает момент, как бы посильнее ударить. Палуба уходит из-под ног, затылок сам лезет в плечи, внутри что-то вот-вот оборвется. Хочется закричать.

— Эх, дура-то какая! — с неестественным смехом говорит Брюсов, — как в кин... — и захлебнулся на полуслове.

Кажется, не я один трушу. Вот и Брюсов фальшивит. Острит — и здесь пытается быть в своей роли.

Тонны воды рухнули на «Онгудай», укутали его пеной. На ботдеке что-то загрохотало — нос шлюпки слетел с кильблоков и с ломающимся треском бьется о надстройку.

— Шлюпку-у! — гаркнул боцман и выскочил из рубки.

Мы кидаемся спасать шлюпку: крепим, заводим двойные концы, пытаемся водворить ее на место.

— Полундра! — крикнул боцман.

Я только успел обнять шлюпбалку и захлестнуть вокруг нее конец, как ледяная лапа двинула снизу, завернула полушубок и стала давить к шлюпбалке — вот-вот сломается грудная клетка. Потом отступила и хочет оторвать... вот...

— Держись!!!

— Чиф! — пронзительно закричал Брюсов.

Кто-то хватает ногу, кто-то тянет шубу...

— Убьет же... — в самое лицо дышит боцман, выплевывая из легких воду.

— Возьмите конец, — я отдаю ребятам конец, дышать и шевелиться больно. В груди покалывает.

— Навались, ребятки! Еще разок! — хрипло кричит боцман.

Ребята работают с остервенением. Вода, пена, брызги. У Брюсова тоже нет шапки.

Разгоряченные, возвращаемся в рубку, шлюпка на месте. Вода льет с нас ручьями.

— Переодеться бы.

— Сойдет.

Тут же в рубке стаскиваем мокрую одежду. Из сушилки принесли ворох сухих до треска, белых от соли, ломающихся ватных штанов, телогреек, ссохшихся сапог.

— Если бы не старпом, не видать бы нам шлюпки.

— А если бы не боцман, не видать бы и старпома.

— Это ж так нельзя, — расстроенно говорит Макук. — Куда ж это годится? Ну? Не дети ж...

— Да ладно, Александрыч, — нехотя отмахивается боцман, — все прошло уже.

Не успели натянуть сухую одежду, как страшная волна проехалась по лежащему на боку «Онгудаю», глухим ударом тряхнула рубку и с треском вырвала шлюпку. Несколько раз шлюпка мелькнула полосатым днищем в волнах и исчезла.

— Поплыла-а-а, — присвистнул Брюсов.

— Черт с ней, — прохрипел боцман.

Подхожу к Макуку. Он хмуро смотрит в окно и как будто самому себе говорит:

— И зачем эта лихость! И все одно без толку.

Мысли стучат хронометром, чего-то не хватает. Но чего? Закурить бы. Беру у Макука кисет, мастерю самокрутку.

Сколько же прошло времени? Уже наступает ночь. Горизонта теперь совсем не видно. Только снег, брызги... темь. Снежинки светятся. Они кружатся свистящим роем, хлещут по окнам рубки, тут же набухают, тают и текут жидкими хлопьями по стеклу. Спасательные пояса, аварийные плотики, шлюпка... зачем-то перед глазами встают картины Айвазовского. Там все в нежных романтических красках. Даже ураганные ночи в мягких тонах. А тут — никакой романтики...

Опять стучит каблук. Опять стискиваю зубы, напрягаю ногу и высовываюсь в окно. По глазам бьет мокрый снег, но не больно...

Прошлой зимой мы входили в Курильский пролив — Петрович и я торчали на верхнем мостике, — перед проливом камень. Авось, или, как зовут его моряки, Авоська; тоже была ночь, тоже шторм, снег. Но тогда снег был ко-

лючий, он хлестал по глазам и не давал смотреть. А этот бьет не больно. Он тает на лице и лезет в губы. «Онгудай» медленно всплывает после очередной волны. Вода клокочет по палубе, гремит чем-то — что-то выломало — и валится за борт широкими синими струями. Как из переполненного блюдечка.

Видимо, ахтерпик уже затопило — нос «Онгудая» будто больше высунулся из воды, стоять уже трудно, скатываешься назад. Шлюпки... но одной уже нет. Вторая, но она всех не заберет. Есть еще аварийные плотики, спасательные пояса, но сразу окоченеешь. Даже от одной этой мысли становится холодно.

Из машинной команды никого нет — значит, помпу еще не наладили. Посмотреть, что там у них творится.

Спускаюсь в машинное отделение. Ударило запахом солярки и пара. На малых оборотах, вхолостую стучит дизель. Пена и брызги летят из разбитого стекла светового люка на подволоке — сам люк задраен, конечно, — и, падая на горячую крышку дизеля, испаряются. Под пайолами мечется вода и выскакивает из пазов вместе с маслом и соляркой.

Сапоги разъезжаются по скользкому настилу. Здесь еще хуже, чем на мостике.

— Люди, где вы?

— Здесь, — слышу в углу за дизелем голос стармеха.

Они возятся с помпой, перепачканные до неузнаваемости. Идет решительная схватка.

— Семнадцать на девятнадцать, двадцать четыре на двадцать семь, — металлическим голосом говорит Андрей, работая ключами.

Второй механик зажимает ломиком прокладку и часто посматривает на подволок, откуда летят пена и брызги. Стармех одной рукой держит переноску, другой подает Андрею нужные инструменты. Он вешает переноску, достает грязноватую ветошку, вытирает мокрую лысину. Он весь мокрый — под расстегнутой телогрейкой на красноватой пупырчатой груди светятся капельки пота. Дышит тяжело — видимо, отдувается от только что сделанной работы.

— Ну что у вас?

— Перебрали еще раз, — говорит он, — сейчас пустим. — В тусклом освещении морщины на его лице тенистые.

Поднимаюсь на мостик. Когда проходил через кают-ком-

панию, дверь камбуза приоткрылась, высунулась Артемовна. В неизменной форме: белый халат, поверх него душегрея.

— Товарищ старший помощник! У меня какава готова и котлеты есть. Наверх отнести или ребята здесь будут кушать?

Фу-ты, бог ты мой! Нашла время потчевать «какавой»! Странная женщина — всегда о всех заботится. Вероятно, это у нее в крови.

— Сюда, сюда придут.

— А то я могу туда отнести, если некогда...

После моего сообщения ребята немножко повеселели. Скоро «Онгудай» освободится от воды. А может, ничего страшного и нет?

— Хочь бы поскорее откачать ее,— говорит Васька.

— А он, кажись, стихает,— доносится голос Брюсова от окна.

— Господи, и зачем такое наказание на нас? — продолжает Васька.

— Ты же денег хотел, Вась, — вставляет Брюсов.

— Да не нужны они, эти деньги. Только бы домой добраться. Бог с ними, с деньгами, совсем. И эти бы отдал, что есть. Все бы отдал. Все до копеечки.

— Ну вот, раскудахтался, — ворчит боцман.

— Как не повезло... — вздыхает Борис.

— Надо было домой идти, тебе же Александрыч говорил? — желчно отдуваясь и вытирая руки ветошью, говорит второй механик. Он поднялся вслед за мной из машины. — Так ты все «последний заметик», «тринадцатую звезду», «клянусь головой акулы». Вот тебе и «акула».

— Я думал, успею до шторма, — подрагивающим голосом лепечет Борис.

— Нечего было думать, тебе капитан говорил!

— Ну ты, мотыль, не кричи, — обрывает его боцман, — мы все хотели сделать еще одно траление.

— Да перестаньте вы, — перекосив лицо, вмешивается Сергей, — нашли время...

— Не шумите, ребята, — вставляет Макук, — тут и я-то, старый дурак, недоглядел...

На мостик поднялся радист:

— Старпома или капитана просят к микрофону.

— Сходи, — сказал мне Макук.

Капитан «СРТ-1054» просил приготовить буксирный конец. У него тоже есть буксирный, но неплохо иметь за-

пасной. Просил не волноваться, идет аварийным ходом.

А волны все так же терзают «Онгудай», все так же «Онгудай» переваливается с борта на борт, свистящие рукава прерывисто несутся через него, пена и брызги бьют по окнам рубки. Палуба освещена прожектором. Волны падают откуда-то сверху, из темноты, мечутся по ней. Иногда, разбившись, подкатываются к лебедке, укутывают ее прыгающей пеной. Тряхнут рубку. А если наваливается девятая, то от «Онгудая» остается над водой только рубка и нос. И «Онгудай» очень долго всплывает после нее. В такие моменты Брюсов тянется на носках в сторону и вверх — помогает всплыть судну.

Макук молчит, то и дело курит. Все молчат. Шторм как будто стихает. А может, и не стихает. Может, это только так кажется?

— Скоро подойдет пятьдесят четвертый, — бодрится Брюсов, — возьмет нас на буксир, поставит против волны, водичку откачаем, и Васька будет есть халву.

Никто не засмеялся.

Все та же ночь. Все тот же ветер. А вдруг помпа никогда не заработает? Впрочем, чепуха какая. А если не успеет 54-й?

Интересно, что же у нас там дома творится? Там только день кончается. Бабка хлопочет возле печки, ужин собирает, ворчит на Витьку со Славкой. Они пришли из школы и зашнуровывают коньки. А может, собираются «на халтулу лаботать». Это в отпуске я был. Они как-то лазили под кроватью, отыскивая старые штаны, ботинки, и когда я спросил, куда они собираются, Славка деловито ответил: «На халтулу... лаботать». Оказывается, рядом проводили шоссейную дорогу и предприимчивый прораб сагитировал все пацанье поселка подносить опилки. За это платил по рублю на кино... Черт возьми, все так надоело! А когда я буду подкидывать Славку вверх, он будет выкатывать глаза от восторга и кричать: «Полундла, капитан, на моле кацка!»

Из машины поднялся Андрей.

— Ну как?

— Андрюша, помпа как?

— Все нормально, — сказал он, — работает.

— Хух...

— Кому «Казбек»?! — кричит Брюсов. Несколько рук тянутся к новенькой коробке с гарцующим всадником, потом разочарованно отстраняются — в красивой коробке махорка.

Василий притащил сгущенку, втиснулся в угол между переборкой и телеграфом на мое любимое место и обрабатывает банку.

— Нет, теперь уж дудки, — говорит он, прикладываясь к банке, — на море я больше не работник. И какой дурак заставил меня пойти на этот дырявый сундук?

— Сам ты сундук, — заметил Сергей.

— С клопами, — добавил боцман.

Василий, не обратив внимания на реплики, продолжает:

— И что это за море? Никакого постоянства, все одно что вертихвостка.

— Ох и глуп же ты, братец, — сказал Андрей.

— Болван! — с отвращением подтвердил боцман.

— Погоди, он еще не то сморозит,— добавил Сергей.

— Один — ноль в пользу Васьки, — констатирует Брюсов.— Ну-ка разделай их, Вася.

— Ай не правда? — наивно спрашивает Васька.

— Цыц! — коротко цыкнул боцман. Его шея краснеет, волосатый треугольник на груди возбужденно колышется. Он закипает. Кажется, затронуты сердечные струны боцмана — он вот-вот поднесет к носу Васьки свой репчатый кулак.

А Васька, нарочно не замечая смертельной обиды, нанесенной боцману, поворачивает к нему свою хитренькую мордочку и продолжает добродушным тоном. На перепачканных молоком губах блуждает самая невинная улыбка.

— Да, Егорович, да сам посуди: то шторм, то штиль, то солнышко, то метель, то туман, то буран, то еще что...

— Вообще говоря, — вмешался Андрей, — за эти слова тебя бы следовало выбросить за борт...

— Не утонет, — утвердил боцман, — эта штука не тонет.

— ...или повесить на рее. Но поскольку ты, братец, глуп, поезжай-ка в свои Васюки, купи дом с забором, злого пса заведи, замками, конечно, запасись и, как не раз уже говорил тебе боцман, ближе чем на тысячу миль к морю не приближайся.

— Вась, а Вась, — вмешивается Брюсов, — заведи Ма-

нюню в онючах. Онючи чтоб носила с красными подвязками.

— У нас давно уже онючи не носят. У нас давно уже носят капрон, баретки...

— А что это такое — баретки?

— Попробуй пойми его, — ворчит боцман. — Как оно есть мережа, так оно и есть мережа. Тьфу! — Боцман никак не может успокоиться.

— А что вы надсмехаетесь?! — притворно возмущается Василий. — «Манюню», «онючи», а у самих никогда жен не было и не будет. Болтаетесь по морям, а что толку? Вчера Камчатка, нынче Сахалин, завтра Магадан или Корея какая-нибудь. Бродящая публика: ни кола ни двора.

— Нет уж, Вася, — серьезно говорит Брюсов, — это твое дело заводить колы да дворы.

— Да вон еще второго механика, — добавляет боцман.

— А я при чем? — откликается второй механик. — Меня государство обеспечит.

— Вот, вот, за этим и примазался к нам, чтоб только квартиру вырулить.

— Да брось ты, боцман, слова тратить, — морщится Андрей, — они ж на одну колодку состряпаны. Давай лучше закурим.

— Нет, ребята, что вы ни говорите, — продолжает Васька, заламывая руки за голову и потягиваясь, — а на берегу лучше. Какие у нас луга... коров не видно в траве!..

Начинается обычное. Опять про берег, опять про дом, про женщин. Странные парни! Несколько часов назад, когда «Онгудай» заполнялся водой, были совсем другие: второй механик, ремонтируя помпу, смотрел на подволок, откуда летела пена и брызги; Андрей, заворачивая гайки, скрипел зубами; у Сергея было детское выражение лица; Брюсов фальшивил, а Васька был деревянный от страха. И у всех была предательская мыслишка: а вдруг не успеем откачать воду, вдруг помпа подведет? А сейчас вот беззаботно переругиваются, острят, рассуждают о береге. На берегу же и не вспомнят, что в море были какие-то неприятности, разве только Васька когда-нибудь расскажет своим землякам о каких-нибудь страхах и чудесах, увиденных на море. А сейчас будто другие ребята, только о береговых пустяках и говорят. Эх, рыбацкая доля! Подлый напиток: пьешь, морщишься, а оторваться не можешь. И чем больше пьешь его, тем сильнее жажда. На берегу ведь и месяца не выдержат.

Да разве только одни наши? Вон даже седоголовые рыбаки-пенсионеры, у которых скрюченные радикулитом спины и скрипящие колени от постоянной в прошлом работы в воде, все время торчат возле причалов, где от судов пахнет рыбой, водорослями, соляркой. А сколько было семейных драм! А горя и слез! Когда нет вестей о каком-нибудь сейнере, рыбачки дежурят на радиостанции или толпятся в конторе, тормоша начальство одним и тем же вопросом: «Как наши?» Иногда собираются вместе, ругают море, просят и молят море. Пощады просят. А рыбаки пощады не просят, по опыту знают, что море пощады не дает и тех, кто ему покоряется, совсем не любит.

И сейчас оно почти в осмысленной ярости бьет «Онгудай», хозяйничает на палубе. Терзает «Онгудай», хочет заставить покориться. «Онгудай» же только устало переваливается с борта на борт и упрямо молчит. Он даже не уклоняется от ударов.

Прошла ночь, не заметили как. Наступил рассвет. Он был мутный, мокрый. С мостика никто не уходил, никому не хотелось оставаться одному.

Макук тоже был со всеми. Он сидел на корточках возле переборки, дымил самокрутками, улыбался. В ребячьи споры не встревал.

К утру ветер стал стихать, но еще мел снегом по гребням волн, посвистывал в снастях. Пошла крутая зыбь. Она бережно, как любящая мама, поднимает «Онгудай» на самые вершины седых холмов, укутывает пеной — пеленками и, ласково качнув с бока на бок, опускает в самые ямы между волн. Снег пошел гуще, видимость ухудшилась.

— Волну сгладит, — сказал боцман.

— Да, теперь оно скоро успокоится, — сказал Макук. Он приподнялся с корточек и, с трудом разгибая спину — даже поморщился от боли,—направился с мостика.—Пойду, ребятки, полежу немного.— Его кривые валенки ступали медленно, тяжело, он прихрамывал. А спина узкая, худая...

— Да, — сказал Андрей.

— Да, да, — сказал Брюсов.

— Нет, ребята, — сказал Сергей, — на Камчатку с нами или в океан он не выдержит.

— Никудышный совсем... — вздохнул Васька.

— Порыбачь, медуза, лет сорок — я хотел бы тогда на тебя посмотреть, — вставил боцман.

— Дак я ж и говорю... это ж море.

— Ребятки, перекусить пора, — донесся с трапа голос Артемовны, — уж целые сутки путем не ели.

И верно ведь. Уже пролетели сутки — вчера в это время Борька намотал на винт. А тянулись они все-таки долго.

Спускаемся вниз, поглощаем котлеты, жареную колбасу, рыбу, «какаву».

— Первое я не варила, ребятки, нету никакой возможности.

— Все нормально, Артемовна.

— Отлично сыграто, Людмила Артемовна, — говорит боцман.

— Миллиграммчик бы перед такой закуской! — смеется Андрей.

— Не мешало бы, — говорит боцман.

— Да у тебя ж завязано? — вставляет второй механик.

— С устатку можно и развязать, — вмешивается Василий. — Я бы сейчас и то стакашек пропустил.

— Вот на берегу, Вася, — говорит Андрей, — когда будешь стекло таскать, или мусор закапывать, или... что ты там еще собираешься делать?

— Я в колхозе.

— Он в колхозе хвосты быкам вертеть будет.

— Найдем что-нибудь,—уверенно, со смешком говорит Василий.

— Так вот, Вася, — продолжает Андрей, — там, когда захочешь, тогда и выпьешь. Сельмаг там у вас есть?

— А я самогоночку, Андрюша. Вот приезжай ко мне в отпуск! Хоть на недельку, а? Все время пьяные будем.

— Андрею Захаровичу при коммунизме будет лафа, — смеется второй механик, — водочка по потребности. Пей — не хочу. И боцману тоже: наливай да пей. Правда, Егорович?

Андрей болезненно сморщился и отодвинулся от механика. Хотел что-то сказать, но только безнадежно вздохнул.

— Эх, мотыль, мотыль, — закачал головой боцман, — и дрянной же ты мужик! Я бы вешал таких. Без суда и следствия, как Петр I интендантов после года службы.

По трапу грохочут сапоги, скатывается Брюсов. На нем лица нет. В первый момент он ничего не может сказать и только тяжело дышит.

— Пять Братьев! — наконец выдохнул он и опять кинулся наверх. Мы за ним.

«Онгудай» несет на скалы. В первый момент трудно

прийти в себя и что-нибудь понять. В снежной мгле, серые, скользкие, укутанные пеной, стоят скалы среди ходящих холмов воды. Холмы медленно валятся на них, яростно, с глухим уханьем бьют подножия. Пена и брызги причудливыми завитушками взлетают к самым вершинам, замирают на какое-то мгновение и, взрываясь фейерверками, рушаться вниз.

— Братцы-ы-ы...

На какой-то миг наступило оцепенение, потом ужас пошевелил волосы, коже и волосам стало прохладно, а глазам больно. Что это? Сон? Кошмарное небытие?

Нет, это не сон. Это море нам дало только отсрочку, успокоило, чтобы преподнести очередной сюрприз. Через какие-то минуты «Онгудай» трахнется о скалы и лепешкой пойдет ко дну. Шлюпка... Но она всех не возьмет. Аварийные плотики, пояса... Но все равно понесет на камни. Еще хуже. Сколько шансов, что нас как-нибудь пронесет мимо скал? Десять? Сорок? Девяносто? Если бы работала машина! Носом на волну — и можно пить «какаву».

А вдруг? Нет... Нет...

Брызги из разбитого окна хлестнули Брюсова по лицу. Он не пошевелился. Капельки воды бисером уселись на вороте шубы, струйками катятся по влажным отвернутым бортам. Он стал вытирать лицо. Немного отстранился и достал пачку «Казбека». Открыл, достал из нее бумагу — пальцы прыгают. Он смял все вместе с пачкой и сунул в карман.

Вдруг где-то над снежной метелью блеснул слабый солнечный свет. Еле заметная радуга просияла над скалами, зайчики слабенько сверкнули по стеклам рубки и прыгнули на медные диски компаса. Воду откачали, 54-й на подходе... Как все просто и как невероятно.

Давать SOS незачем — раньше 54-го никто не успеет. А его нет. Да и рискнет ли капитан 54-го маневрировать среди камней, спасая нас?

Надо спускать шлюпку, плотики, нести спасательные пояса — о них каждый думал все время, только никто не говорил. Это уже всё... Брызги летят к вершинам скал, повисают плакучими ивами.

Смотрю на ребят. Грубое лицо боцмана обострилось, под скулами обозначились желваки. Борькины глаза выкатились и побелели, он вот-вот закричит. Сын бессмысленно смотрит на скалы — глаза как двугривенные: тупость, покорность. Он, видимо, ничего не соображает. Сергей что-

то шепчет. Лицо Андрея презрительно осклабилось. Он понял неизбежность предстоящего и будто бросает вызов, будто смеется над кем-то. А может, он уже не в себе? У второго механика и рот и брови не на месте.

Как все невероятно! Головой о переборку — и всему конец. А может, это все-таки сон? Бывает же так: проснешься — и ничего нет. И можно радоваться, что это был сон.

— Давайте ж пояса...

— А там камни...

Нет, это не сон. Во сне так не бывает. Но что же это? Ведь все проходит. Пройдет и это. Стоит дождаться сегодняшнего вечера, и все кончится. А когда он будет? А может, не вечер... У мудрого царя Соломона на внутренней части перстня было написано: «Все проходит».

Может, «Онгудай» как-нибудь пронесет мимо скал? А может, ветер изменит направление и понесет «Онгудай» в другую сторону? Вариантов много в нашу пользу. Надежда есть. У человека всегда есть надежда. Даже если один шанс из миллиона — это уже надежда.

Подошел радист. Лицо страшно утомлено, возле губ кривые какие-то складки. С одной стороны лица они резче, и рот сдвинут набок. Мы-то здесь все вместе были, а он один сидел в своем закутке.

— Что, пятьдесят четвертый?

— А зачем он?

— Что-о-о? — прохрипел боцман. Он прохрипел не радисту, а еще кому-то... в воздух. Его волосатая грудь вздымается, и кажется, дикая сила вырвется из волосатого треугольника на груди и начнет рушить все на свете.

Радист не обратил внимания на рев боцмана, подошел ближе к окну.

— У-у-у! — рычит боцман. Бессилие в этом реве.

Как жестоко тянется время. Надо что-то делать, но что? Что? Все бесполезно...

А скалы с каждой волной все ближе. Ветер не меняет направления. Он и не думает менять. Он дунул, кажется, сильнее. Холмы валятся... Удар, брызги...

Сознание на миг темнеет, в голове лихорадочно кипит все, мелькают нелепости. И расслабляющая вялость...

Открываю глаза... Брюсов щурится от ветра. Боцман перестал рычать, придвинулся к нему. Все стоят рядом. Второй механик пролез вперед боцмана, горячо дышит.

Волна ударила о борт, остатки ее зашумели по палубе, взметнулись перед рубкой.

— Ребята-а-а!.. — закричал второй механик.

— Что-о-о? — взревел на ухо ему боцман. В этом хриплом крике столько непримиримости, силы и ужаса, что механик присел, потом с воплем — уюкающие всхлипы — нырнул назад.

— Хм! — хмыкнул Андрей. Хмыкнул спокойно. — Это подарочек... — От этого хмыканья повеяло ужасом.

Тишина... Мучительная тишина. Раскалывается голова, горит и рвется все внутри. Фу, черт! У моря нет совести... нигде нет совести...

— Распро... бога... печень... Христа... — Боцман стучит кулаком по тумбе компаса. Он страшен. Бессилие...

И вдруг внутри взрывается бешеная, разрывающая все тело злоба. Не злоба, а что-то страшнее, сумасшествие какое-то. Дикое, безрассудное. К черту все рассуждения!.. Не может быть! Мы не можем... Гляжу на ребят. Все похожи чем-то друг на друга, но чем — понять не могу. Все придвигаются ко мне, к боцману. Окаменели...

В рубку хлестнуло ветром — это Сергей открыл боковую дверь. Вода, холод, скалы... Ну и что?

Будь проклято все на свете! Все, все, все! Все оны и все Соломоны! Только бороться! Как? Не важно как. В книжках пишут, что в такие моменты люди вспоминают всю свою прошлую жизнь. Какая глупость! Досужий вымысел писателей. Прошлой жизни нет, есть настоящая, теперешняя жизнь...

— А если смайнать якоря? — предложил Сергей.

— Глубина, — сказал Борис.

— В шлюпку всех стариков...

— А где же Александрыч? — вскрикнул кто-то. — Бросили... И правда.

Прыгнул с мостика. За мной на одном поручне скатился Брюсов и еще кто-то. Влетели в капитанскую каюту — Макук лежал поверх одеяла на спине, согнув острые, худые колени и вытянув вдоль сухого тела тонкие руки с лопатистыми кистями. Бледный весь, даже зеленоватый. Горбатый нос среди заросших морщин обострился и пожелтел. Рот приоткрыт.

— Старик капут? Слабое сердце? — дышал мне в ухо Брюсов, заглядывая через плечо.

— Михаил Александрович! — тряс я его за одно колено,

— Александрыч, — тряс Брюсов за другое, — на камни несет...

— Михаил Александрович, нас несет на Пять Братьев...

— Г-ха? Што? — с легковатой хрипотой произнес он. Он никак не мог проснуться. Потом легко встал, потянулся к валенкам.

— Нас несет на Пять Братьев! — крикнул Брюсов.

Макук схватил шубу, шапку. Выскочили на мостик. Застегивая шубу, Макук подошел к окну, глянул на скалы, потом двинул шапку и повернулся ко всем нам, вытаращив глаза:

— Что ж вы стоите... вашу мать?! Парус надо! — и кинулся с мостика. — Из брезента...

Сопящим стадом бросились за ним — я съехал на чьей-то спине.

Мы буквально терзали кошельковый брезент. Макук, прихрамывая и сутулясь, носился среди нас как дух. Он был страшен: горбатый нос жестко скрючен, морщинистое лицо перекосила твердая судорога. Полы шубы развевались, а шапка — торчащим ухом вперед. Когда мы с боцманом стали оснащать верхний угол, который должен идти на мачту, он повис над нами:

— Ня так! Уд-д-ди, зашибу! — взмахнул рукавом и, если бы мы не отстранились, видимо, ударил бы кого-нибудь из нас. Потом жвачку брезента переломил через колено и с одного маха — впервые вижу такую ловкость — захлестнул щеголь.

Нижние углы брезента ребята уже оснастили и растаскивали брезент по палубе.

Сергей с Мишкой стали крепить передний угол за кнехт.

— За ноздрю!.. За ноздрю... вашу мать! — Макук побежал к ним, показывая рукой на правый клюз. Втроем они подтащили брезент к клюзу и закрепили.

А Брюсов, Васька, Сын, Андрей уже хлопотали возле мачты. Потом на плечи Сына взгромоздился Андрей, Андрею — Васька, и вот уже Брюсов со связкой троса на плече карабкается по световым фонарям к рее. Он обнес связку троса через рею и бросил нам. Боцман, радист, я, Борис стали набивать импровизированный парус.

— Быстрее, вашу мать! — хрипел Макук за нашими спинами. Он тоже схватился за трос, прищемив мои пальцы, — и откуда силища в этих скрюченных руках с тонкими запястьями?!

А брезент подхватило ветром. Верхний угол его быстро

полз к рее — мы напряглись до треска в спинах. Брезент уже забрало. Оглянулись — кривые валенки Макука летели на мостик. А через секунду его перекошенное жесткое лицо показалось в окне мостика — он крутил рулевую баранку.

Брезент хлопал. Один угол его, оставшись свободным, трепало ветром... «Онгудай» медленно выворачивался от скал...

XII

Мы шли по твердой земле. Шли не как всегда, мы сходили на берег парадные и благоухающие «Шипром». Мы шли в пудовых сапогах и побелевшей от морской соли одежде. Шли радостные до предела. Мы радовались морозному воздуху, искристому снегу, восходящему солнцу.

— Эх, мама родная, дело прошлое! Красотища-то какая! — вскрикнул кто-то.

А утро радовалось: холодный, пахнущий снегом воздух распирал наши груди, облитые золотом восходящего солнца, вершины сопок улыбались, искрился снег. Притаившийся у подножия сопки рыбацкий поселок был несказанно желанным. Будто мы не видели его целую вечность.

Впереди нас шли две женщины. Одна из них тащила санки, на которых лежал мешок — вероятно, картошки, а другая вела корову. Корова мотала головой, храпела, двигала заиндевелыми губами и тащила хозяйку назад.

— Поможем нашим кочегарам! — крикнул кто-то.

Корова, увидев себя окруженной дюжиной пахнущих морем парней, перешла на рысь. Мишка с Васькой впряглись в санки.

Брюсов уже успел побывать в магазине, выбежал вперед этой странной процессии и, подняв две бутылки над головой, кривлялся в каком-то негритянском танце. Он раздул щеки, выпятил живот и, прыгая на дугообразно расставленных ногах, кричал:

— Аджа! Аджа!

— Откуда это вы, сынки, такие веселые? Никак, на свадьбе были? — спросила одна из женщин.

— На свадьбе, мамаша, — крикнул Брюсов, — разве не видишь?

— Ще-то не похоже, — сомневалась женщина.

Мы шли в столовую.

За столом возле Макука вертелся второй механик с бутылкой шампанского:

— Михаил Александрыч, полусладкое?

— Нет, — скромно улыбаясь, сказал Макук, — это не пойдеть. Мне сто граммов водочки, старые кости согреть. — Он улыбался своей тихой, чуть-чуть наивной улыбкой. Держа стопку, подправлял сползающий рукав свитера.

— Ребята, ребята, потише, я что-то сказать хочу! — кричал Борис.

Его никто не слушал. За столом был полный аврал: двигали тарелки, разливали вино, гремели ложками. Васька, развалившись на стуле, уже тянул шампанское, отдуваясь. Говорили все сразу, суетились, смеялись.

— Ребята, ребята, Федор Егорович, голубчик, ну пожалуйста, скажи им, чтобы они потише, — просил Борис боцмана, — я что-то сказать хочу.

— Тише вы, узурпаторы! — прохрипел боцман; но на него никто не обратил внимания. Тогда он занес свою лапу над столом и уже собирался грохнуть по столу в знак водворения тишины, как Макук негромко сказал:

— Потише, ребята.

Шум оборвался. Пропал. Каждый замер в той позе, где застал его этот негромкий голос. Тишина. Только где-то на кухне звякнули посудой да скрипнула дверь.

— Ребята, ребята! — Голос Бориса дрожал. Лицо пылало. Как будто он хотел обнять весь мир или взлететь. — Ребята! Знаете что, ребята? — продолжал он. — Я вас всех люблю!

Вдруг на углу стола послышался плач. Впрочем, это был не человеческий плач. Это было что-то среднее между скрипом и лаем. Какой-то ломающийся скрежет.

— Что с ним?

— Пьян?

— Хватил лишнего?

Плечи Андрея тряслись, лицо уткнулось в лежащие на столе локти. Стакан стоял нетронутым.

— Андрюха! Ты что это? Вот чудак! — встал боцман и потянулся к дергающимся плечам Андрея.

Макук взял боцмана за руку:

— Не тормоши человека, Егорович. Бывают случа́и.

Предательски закололо горло, туманятся глаза. Чтобы скрыть волнение, стискиваю челюсти, встаю из-за стола, подхожу к окну.

Из окна хорошо виден порт, причалы, наш «Онгудай». Нос «Онгудая» торчит над причалом, корма глубоко осела — ахтерпик, конечно, затоплен водой. Нос «Онгудая» смят и разворочен.

Сегодня утром, когда «СРТ-1054» возле Братьев брал нас на буксир, столкнулись. У 54-го такая же развороченная корма. В первый подход 54-й взял буксирный конец удачно, но в спешке мы не повесили на буксирный конец тяжести, не сделали провес. И когда оба судна оказались на гребнях волн, буксирный разлетелся, как нитка. Капитан 54-го пошел на второй заход. Но при подходе суда ударило друг о друга. Когда корма 54-го летела на нос «Онгудая», капитан 54-го стоял на крыле мостика и спокойно ждал. Матросы шарахнулись с кормы. У капитана смятая фуражка с большим козырьком. Он, мне кажется, даже глазом не моргнул, когда суда кинуло друг на друга...

Кто-то из ребят успокаивает Андрея, кто-то смеется, кто-то острит.

Нет, Андрюха, плакать не надо. Бороться надо. Бороться до конца.

У «Онгудая» левый борт совсем изуродован: леерные стойки погнуты, крыло мостика смято, брезент с него свисает побелевшими рваными клочьями. «Онгудай» похож на лихого задиру; кажется, вот-вот он выскочит на берег и схватится с кем угодно...



ВАНЬКА ПРОСКУРИН

Часть первая

Глава I

Ванька Проскурин сидел на самой верхней наре колхозного рыбстана и улыбчиво озирался по сторонам. Рядом сидел Мишка. Они с Мишкой недавно в колхозе, два дня как приняты, а познакомились в Оссоре, неделю назад, когда из Петропавловска прилетели. Теперь, считай, друзья, или, как здесь говорят, корифаны.

Семь дней назад вылез Ванька из самолета — мать честная! Вот так Камчатка! Снег, снег да снег... Дома по крыши в сугробах, а иные и по трубы, на аэродроме нарты с собаками. На нартах сидят смуглые люди в одежде из шкур: и шапки лохматые, и шубы как мешки, без пол и пуговиц, и штаны кожаные. А в вокзале они сидят прямо на полу, пьют спирт и едят колбасу. Лопочут по-своему. Узкоглазые, широкомордые... чудно.

Дотащился Ванька со своим баулом — а он же тяжеленный: и рубанки там, и фуганки, и долота, и рейсмусы — до гостиницы; стоит на крыльце парень, стукает нога об ногу.

— Ты что, браток, сюда? — спросил он Ваньку.

— А куда же?

— Давай стучать?

— Да давай.

Постучали они, вышла худая девка с фонарем под глазом — мужик, наверно, подставил — и говорит:

— Местов нету.

— Да ты хоть под койкой найди, — попросил парень.

— Да нету и под койкой, — говорит, — рыбаки ж на путину летят. Вот посмотрите!

Парень пошел смотреть.

— И правда — нету, — сказал он, выйдя.

Стоят они, потанцовывают, а морозец поддает. Вечереет уже.

— Ну куда ж податься? — вздохнул парень.

Ванька пожал плечами.

— Тебя как зовут?

— Иваном. А тебя?

— Михаилом.

— Пойдем-ка, Ваня, тут в одно место, — сказал Михаил, — может, у строителей перекантуемся. Есть тут у них одно место, навроде общежития, девки живут. Ты первый раз на Камчатке?

— Первый.

Забрали они свои чемоданы, пошли.

— По вербовке?

— Ага.

— Я тоже первый раз по вербовке приезжал. Уехал. — Михаил вздохнул. — Да опять возвратился.

— Понравилось?

— Ну.

Это было не общежитие и даже не квартира, а большая комната в недостроенном доме. Просто девки сами вставили окна, навесили двери, позатыкали дырки. Заштукатурить еще не успели. Посредине поставили бочку из-под солярки, приспособили ее под печку. Трубу прямо в окно вывели.

— Девочки, — сказал Мишка веселым голосом, — как бы переночевать? А то хучь пропади.

— Ночуйте, — сказала одна из них, а голову не повернула. — Вон пол...

— Да это нам и надо, — обрадовался Мишка и тут же стал хлопотать возле печки.

— Дрова в сенцах, — сказала другая.

— Отыщем. — Мишка разделся. Разделся и Ванька. Затопили они печку, подмели пол, стало тепло, почти чисто. Мишка полез в чемодан, достал бутылку спирту — старый волк, знает, почем соль, — а Ванька посожалел о куске сала, который мать совала ему на дорогу и который он не взял.

— Вон хлеб, вон колбаса, — сказали девки и опять отвернулись. Они сидели у окна, разговаривали про ребят, что с танцев их провожали.

— А вы, девочки, что ж? — спросил Мишка, разливая спирт.

— Не хочется.

— Чего так?

Не ответили.

Ну, в общем, перехватили, целый день, считай, не жрамши, с самого Питера[1]. Стали укладываться спать, девки из одежи кое-что дали.

Улеглись они в углу за печкой. Хорошо это: тепло от печки, тепло от спирта.

«А девчата молодцы, — думал Ванька, — хоть и курят. Спросить бы Мишку про них подробнее. Он говорит, на стройке работают. Жить, наверное, негде, вот и ютятся. Да, Камчатка! Так вот она какая: вся в снегу, люди в шкурах, ездят на собаках, разговаривают по-непонятному. А девчата и хлеба дали, и колбасы, и телогреек вот накидали. И не спросили даже, что мы с Мишкой за люди.

Чудно, как подумать. Мишка говорит, если устроиться в колхоз, тыщ пять за год сколотить можно. Врет... пять тыщ! — Он повернулся на другой бок. — Ну пусть хоть четыре, и то... приехать домой, хату подремонтировать, сарайчик поставить, ну и... от этой мысли он даже съежился под телогрейками,— мать будет внуков нянчить. А в сарае рубанки, фуганки, стамески, пилы. Верстак, конечно. Еще точило завести... такое, с ручкой. Его крутишь, а оно: ж-жих, ж-жих... мутная водица стекает по лезвию. Над верстаком, конечно, полочку для инструмента всякого. Гвоздей туда, краски понаставить. А на полу будут стружки. Пахучие, прозрачные... Жена войдет, например, за стружками и скажет: «Вань, давай я покручу, чего это ты один мучишься?»— «Покрути, покрути»,— скажу. А потом она беременная будет: живот большой, бедра широкие... и ходить будет тихо: колых, колых...»

---

[1] Питер — Петропавловск-Камчатский.

Не спалось. «Апрель уже... в Куприянове уже весна. Травка на буграх зеленеет, на выгоне пацаны в лапту носятся. Коров повыгоняли... после зимы коровы худые, задние ноги у них как деревянные. А лес, как пухом, оброс зелеными листочками. В оврагах еще снег, конечно, а солнышко жарит целыми днями. На дворе грязь. Мать сейчас, наверно, ходит по двору в резиновых сапогах, голенища хлопают по худым ногам.

Эх! Деньжат бы ей. Сразу пошлю, как заработаю. А если б побольше послать, чтоб и на ботинки хватило. Да и пальто бы Аришке... девка уже в девятый класс ходит, а пальто с седьмого. Хорошо, мать на рост покупала, но все равно, ходить уже нельзя, и рукава коротки, и на груди не сходится.

А если правда, что тут такие деньги? О-о-о!.. Чего на них только не купишь! И пальто, и ботинки... Хату подшаманить, да можно и другую. Да нет, и та простоит хоть сколько, верх вот... диван с пружинами, шифоньер, комод. Ну стульев самому можно наклепать, материал был бы. Главное — хату. Ну и сарай... Да и кровать с сеткой, как в армии были... посуду хорошую завести. Ох, хо-хо, хо-хо...» И он горестно вздохнул. В печке прогорело, под утро холодать стало. Он выскочил из-под телогреек, подбросил щепочек, потом дровишек, раздул. Опять юркнул в свое гнездо, поплотнее укутал поясницу и ноги, сунул руки между колен: «В колхоз бы...» И не заметил, как заснул.

Это было в Оссоре, неделю назад.

А сейчас вот они уже в колхозе, уже и деньги зарабатывают — сразу на невод взяли, вот здорово! И жить есть где. Он сидел, подогнув под себя ноги, на ватных, почти новеньких штанах и наблюдал, что делается в рыбстане.

Рыбстан — это временное пристанище рыбаков, приехавших из колхоза на весеннюю путину. Это большое здание, высокое, теплое, но без комнат. По стенам нары в три яруса, посредине длинный стол, где обедают, играют в карты, чистят ружья, чинят собачью сбрую. В одном углу бочка с талым льдом, умывальник и дрова. В другом — печь, продовольственный склад. Склад с печью отгорожены заборчиком, как на почте.

За столом играли в «дурачка» под папиросы. Выигрывал дядя Саша Демидов, бригадир невода.

— А-а-а, пацанье, — с мягкой хрипотой говорил он, щурясь, — бухгалтерия ваша считать разучилась. — Возле

него собралась кучка папирос, врассыпную и пачками. И разных сортов.

— А теперь крой свое. Что? Десятка? А у меня туз. Греби, греби... пацанье...

— Опять выиграл, — сказал Мишка. Мишка говорил редко, твердо, будто точку ставил после каждого слова.

— От дает! — засмеялся Ванька. — Бухгалтерию захотел.

— Раньше ж предом был.

— Ну?

— Да.

Где-то на нижних нарах забренчала гитара, раздался смех.

— Дзачем моя баба пристаешь? Э? Дзачем? Резить буду! — доносился оттуда возбужденно обиженный голос.

— Да как ты мог подумать, Осман Магомедович? — успокаивал его другой голос. — Ведь мы соседи с тобой.

— Гробу видел такой сосед!

Распахнулась дверь, и с клубами весеннего воздуха ввалились закутанные в башлыки две фигуры. Это каюры, они за дровами ездили. Они побросали в угол собачью сбрую, разделись и пошли за перегородку. Там зазвякали посудой. Кто-то раскатисто захохотал.

Пошатываясь, прошел к столу рыбачина в фуражке с крабом, в полушубке, в небрежно опущенных ниже колен рыбацких сапогах из воловьей кожи.

— А это? — спросил Ванька.

— Капитан колхозного катера «Бегуна» Страхов.

— Сурьезный мужик.

— Его так и зовут — Страх.

— Гляди, гляди, — оживился Ванька. Ванька говорил швыдко, с придыхом. — Отдал. Все папиросы назад отдал.

— А ребята не берут, — улыбнулся Мишка.

Дядя Саша между тем сдвинул весь ворох на край стола, к стенке, поднялся, зевнул и побрел в тот угол, где бренчала гитара. Туда направился и Страх.

— А здорово тут, — сказал Мишка.

— Здорово, — сказал Ванька. Теплая волна подступила к горлу, стало необыкновенно хорошо: «Как здорово... устроился».

А было вот как.

Переночевав в девичьем общежитии, взяли они свои чемоданы и подались на аэродром. Им надо было в Анапку, где требовались плотники, рыбаки, грузчики...

— Попасть бы в колхоз, — бормотал дорогой Мишка.

— И много можно заколотить? — суетился Ванька.

— Много. Только бы взяли.

На аэродроме им показали на высокого человека в черном полушубке. Это был председатель одного из колхозов, чьи рыбаки сейчас были в Анапке на путине. Он стоял в сторонке с каким-то молодым парнем в коротком пальто и узких штанах, тихо разговаривал.

— Давай попробуем? — сказал Мишка. — Попытка не убытка.

— Да давай, — согласился Ванька.

Мишка сразу и подкатился.

— Можно с вами поговорить? —спросил он, подойдя вплотную.

Высокий человек спокойно посмотрел на него. Потом на Ваньку.

— Мы вот... — Мишка кивнул в сторону Ваньки, Ванька отвернулся и шмыгнул носом, — насчет работы. В колхоз бы хотели...

Высокий человек усталыми глазами еще раз глянул на Ваньку — у Ваньки так и шевельнулось все от этого взгляда: будто этот человек своими вдумчивыми глазами увидел, что мать солому в пойло подмешивает, что у Аришки пальто на груди не сходится, и что крыша на хате совсем прохудилась, и что Ванька умеет делать не только дома и сараи, но шифоньеры и комоды — был бы материал да инструмент, и что Ваньке двадцать два года и он смог бы, если пришлось, быку шею свернуть, хоть ростом и не выдался.

— Специальность?

— Плотники мы, — сказал Мишка, — но можем хоть кем.

— Плотниками и будете, — сказал высокий, — плотники нам нужны. В этом году мы запланировали большое строительство, — он говорил спокойно, тихо, — а сейчас вот срочно надо кунгасы[1] к путине готовить. Давайте к нам. Наши уже давно в Анапке.

— А как это? — Мишка замялся, у Ваньки тоже все захолонуло. — Наверняка?

Высокий человек озадаченно посмотрел на ребят, а молодой, что разговаривал с ним, понимающе улыбнулся.

— Ну конечно, — продолжал высокий, — давайте со мною в Анапку, там и начнете работать.

---

[1] Кунгас — большая лодка с каютой, обслуживающая невод.

— Спасибо. — Мишка потупился.

— Вот, кстати, — высокий показал на молодого, — и ваш будущий начальник, Геннадий Семенович, инженер-строитель. Мы его тоже в колхоз берем.

— Ну что вы, Василий Васильевич, — засмущался молодой, — какой я «Семенович»? Просто Геннадий. — Он протянул ребятам руку.

Познакомились.

Мишка молчал. Председатель тоже молчал. Мишка раза два несмело глянул на него, прокашлялся.

— С деньгами, наверно, плохо, да, ребята? — И как он догадался?

— Дак поиздержались... — обрадовался Мишка, — пока на пароходе добрались, в Петропавловске опять же сидели...

Председатель полез в карман, вытащил несколько бумажек.

— До Анапки. А там аванс получите.

Мишка растерянно взял деньги.

«Вот это да-а-а, — удивился Ванька. — Прямо так, сразу, без всяких заявлений? И даже не спросил... хоть бы фамилии. А если мы убегем? Да мы-то не убегем, а если б бичи какие?»

...Теперь вот они уже в Анапке, колхозники уже... месяца через два путина кончится. Говорят, если она «уродится», тыщи по полторы выйдет. А позавчера, после приема в колхоз, пошли они за авансом. Они бы, может, и не пошли, да ребята надоумили, говорят, с авансом в колхозе свободно. Но все равно... стоят они в конторке — отгороженном закутке возле печки, покахивают. Председатель с Геннадием какие-то бумаги просматривают.

— Аванс, да, ребята?

— Да надо бы, — несмело сказал Мишка.

— Сколько?

И они растерялись. Попросить по сотне — много, скажет, обнаглели ребята, недавно ж давал вам. Рублей по двадцать — маловато, долги есть, да и домой бы надо... переминаются.

— По триста рублей хватит?

У ребят так и екнуло одновременно, а он даже и не улыбнулся. Черт возьми! За свою жизнь Ванька еще никогда таких денег не держал... Это же хватит и на ботинки, и на пальто, и на комбикорм... Камчатка! Как ошарашенные вылетели из конторки. И в тот же день по полторы

сотни домой послали. Ну выпили, конечно. А когда должок стали возвращать, что по двадцатке в Оссоре из кармана вытащил, он и внимания не обратил, «после бы отдали».

— А здорово тут, как посмотришь, — опять толкнул Мишка Ваньку.

— Здорово, — вздохнул Ванька и поправил под собой ватные штаны. Эти штаны, кстати, дал ему Осман Магомедович, или, как зовут его в колхозе, Магомедыч. Когда ставили центральную, Магомедыч увидел, как треплет камчатский ветер тоненькие Ванькины штанишки, принес вечером ватные.

— Тыбе.

— Спасибо, — засмущался Ванька, — а деньги опосля отдам.

— Чито? — удивился Магомедыч, — какой деньки? Один колхоз живем.

«И правда здорово, — думал Ванька, устраиваясь поудобнее, — люди не жадные, не ругаются. Ну, ругаться-то ругаются и даже кричат друг на друга, особенно дядя Саша... только без злости. Вольготные какие-то. Если, например, собираются что делать, обсудят что и как, кого куда послать, кого старшим. Жить с ними хочется. И едят здорово: за завтраком масло, колбаса хоть какая, консервы всякие. Рыба, само собой. Ешь, чего душа желает. Оно, конечно, дороговато по сравнению с материковским, дак и заработки ж здесь... И сами они какие-то... — Ваньке захотелось обнять их. — Пройдет год, — затеплилось у него, — заработаю деньжат — и домой. Приехать это летом, под лето подгадать. Подарков привезти. Самому приодеться... выйтить на улицу в новом костюме. Бостоновом, например. По деревне пройтись. В сапогах, конечно. Сапоги чтоб тоже новенькие. В фуражке-восьмиклинке, темно-синей, под цвет костюма. Вечером в клуб девчата соберутся, ребята... Петр со своею придет. — От этой мысли ему стало больновато немного и в то же время приятно. Больно, а хорошо: будто сделал хорошее дело и никто про это не знает. — Шут с ними, пусть... чего там... раз так... там и без нее девчат хватит. Подойти к ним, спросить семечек...»

— Ну, давай укладываться, что ли? — перебил его мечты Мишка.

В эту ночь он долго не мог уснуть. Перед глазами стояла деревня, эдак перед вечером, когда коров гонят: солнышко село, но светло еще, тихо. На дворе пахнет подо-

рожником, возле крыльца-то он вытоптан до земли, мусорок всякий там, а под плетнем сочный-сочный, роса на нем. Аришка с огорода идет, початки несет или яблоки... мать корову доит, по ведру молоком цыкает... сарай... инструмента всякого... и точило...

Глава II

После первой своей путины ребята с долгами расплатились, аванс колхозу возвратили и себе еще кое-что осталось. И переехали вместе со всеми рыбаками в Дранку, где находился колхоз, главная усадьба.

Дранка стояла на берегу речки, тоже Дранки. Речка текла широко, тихо, будто среди кустов отдыхала, — ивы прямо по воде стлались. Берега в траве, трава по плечо, а сорвешь ее, сок так и брызнет. Лодки у берегов. В речке плещется рыба всякая: кета, горбуша, чавыча, кижуч. Деревенские ребятишки таскают ее прямо за бок или за спину, «на поддев» это называется. Столько сразу рыбы Ванька еще не видел и не представлял даже, что бывает такое.

Хаты стоят редко, окруженные грядками. На грядках картошка, лук, редиска — больше ничего на Камчатке не растет. Улицы безлюдные, только иногда ездовые собаки стаей пронесутся.

Еще на путине, когда жил в рыбстане, наслушался про Камчатку да насмотрелся на камчатскую жизнь. Особенно удивляло Ваньку, сколько здесь люди денег имеют и не дорожат ими, иногда даже внимания не обращают... Василия Васильевича, рассказывают, вызвали в райком и говорят: «Миллионером становишься?» Председателю-то двойная доля от рыбы, а если перевыполнение, то и четыре. Уж сколько лет на Камчатке. А он: «Скажу жене, чтоб книжку на исполком перевела». И отдал все государству...

Яшка Айтаров, охотник, дяди Саши дружок, приехал помочь рыбакам на путине — и вообще фокус отмочил. Зашли как-то ребята с «Бегуна» в рыбстан, он подходит к поммеханика Лехе Гуталину, сует ему пучок денег, взамен карабин просит.

— Не могу, Яша, — отвечает Гуталин, — сам еще ни разу не стрельнул, только привез. Твой-то где?

— В колхозе, однако, забыл... такое дело, Алексей.

— Не могу.

— Да уважь, Алексей, — вмешался дядя Саша, — все

одно тебе для баловства, а человеку, может, для дела нужен.

— А-ах, — отмахнулся Гуталин. — Ты всегда за своего корифана. — И побежал на судно. Принес.

Яшка взял карабин, погладил по новенькому ложу, щуря глаз, приложил к плечу, пощелкал языком и улыбнулся — доволен остался. Леха пододвинул железный ящик с патронами. Яшка взял один патрон, повертел в смуглых пальцах, сунул в карабин. Ящик отодвинул.

— Твои же, — сказал Леха.

— Зачем?— улыбнулся Яшка.— Мне одного, однако хватит.

— Как хошь. Понадобятся — приходи.

На другой день после постановки невода — до обеда закончили — Яшка уселся поудобнее на берегу, стал ждать.

— Нерпушку караулит, — сказал кто-то из ребят.

К вечеру он дождался, попал ей прямо в лоб, возле глаза. Он не стал суетиться, как это иногда бывает с охотниками. Даже из воды тащить ее не стал. Он пошел в рыбстан, позвал ребят. Они выволокли ее на песочек, освежевали, тут же развели костер, и от нерпушки через некоторое время остались рожки да ножки. Яшка всех, кого только мог, пригласил «жировать».

А на другой день, когда Гуталин заскочил в рыбстан, Яшка протянул ему карабин. Благодарит, хвалит винтовку.

— У порядочных людей, Яша, так не бывает. — Леха полез в карман за деньгами. — А если бы пропил?

— Пропей, — не понял его Яшка.

— Держи.

— Зачем они мне? — удивился Яшка, отстраняя Лехину руку с деньгами.

— Твои же!

— Не надо, однако. — И Яшка сморщился, будто его обижали.

— Ну, ты даешь. — Леха бросил деньги на стол.

Так они и валялись, пока повариха не взяла их на колпит.

Но особенно понравилось Ваньке на колхозном собрании, когда все собрались в клубе — маленьком домике, одну половину которого занимал стеллаж с книгами, другую — бильярд с железными шарами. За лето запланировали поставить новый коровник, склад, мехмастерскую, общежитие для флотских и вообще для приезжих. Еще колхоз покупал два сейнера — путина прошла хорошо, деньжонки были. Теперь рыбу ловить можно в море и да-

леко в океане, а не только ставными неводами. «Активным ловом», как сказал Василь Василич. Участок под картошку разработать решили, расширить птицеферму. Собрание продолжалось целый день. Очень внимательно прислушивался Ванька, как говорили старые колхозники: дядя Саша Демидов, тракторист Магомедыч, охотник Яшка Айтаров, его брат, бригадир пастухов оленьего стада Эгель, бригадир полеводческой бригады дядя Ваня Мурашов, береговой боцман Александр Ипатьевич Быков. Василь Василич слушал всех, кивал головой, Геннадий сидел рядом, записывал.

Возвратившись с путины, рыбаки разбрелись по домам, занялись огородами, дома, заборы после зимы подправляли, а Мишка с Ванькой, как бесхозяйственные, сразу же за работу, сразу плотничать, плотники колхозу — позарез.

Сейчас ребята на берегу речки коровник расчинали. Бригада, кстати, подобралась что надо: плотники, токари, слесари, бывшие сварщики, бетонщики. Всякой, в общем, как говорится, швали по паре. А Володька Прохоров даже бывший завмаг, человек с дипломом, торговый техникум закончил.

Ванька и еще кто-то из плотников торцы бревен под замки готовили, а Мишка с Геннадием отошли к землекопам, где фундамент закладывался. Геннадий — он руководил всей этой процедурой — втолковывал что-то землекопам про вечную мерзлоту, спорил. Мишка стоял рядом, прислушивался.

— Да-а-а...— скреб затылок Ванька, оглядываясь.

С того берега речки, за кустами начиналась тундра, доносился птичий гам. Гуси, утки, кулики, чайки, гагары бесились в весеннем одурении, каркали, хлопали крыльями, а над всей этой компанией проплывали — иногда под самыми облаками — лебеди. Парами. На солнце они отливали атласной белизной. Терпко пахло сыростью — кое-где по ложбинкам стояли лужицы — и прелой прошлогодней травой и листвой, а сквозь них, сквозь эти печальные запахи, буйно и неудержимо, до головокружения и дрожи в ноздрях валил другой, сочный, прохладный, дурманящий аромат вымахавшей до пояса травы.

— Ну как дела, Ваня? — подошел Геннадий. — Идут?

— Да вроде идут.

— Раздолье, да, Ваня? — Геннадий тоже залюбовался.

— Закуривай, ребята,— подошел Мишка.

— Спасибо, Миша. — Инженер взял папиросу, стал

медленно разминать ее. — Как вы думаете, парни, до осени успеем? Такое дело замесили.

— Свободно, — утвердил Мишка, — с материалами бы задержки не получилось, а так...

— Лес на подходе, железо, стекло, толь выписаны, и деньги уже в банк переведены. Цемент, как видите, выгружаем.

К берегу, прямо напротив участка, подходил «Бегун» с баржей цемента. Он тыкался носом в берег, течение заваливало его — курибаны[1] не успевали закрепить швартовые, — он отрабатывал назад, опять к берегу, опять сносило...

— ...бога-христа в селезенку... — хрипел, высунувшись из рубки, Страх на курибанов. Те метались по берегу, путали концы... — в святителей... крестителей... Жизни... душу...

— Уже кривой, — сказал Володька Прохоров, прислушиваясь к фигурному ораторству Страха.

— Я его еще ни разу трезвым не видел, — улыбнулся Геннадий.

— И опять гонца послал.

С катера прямо в воду прыгнул Гуталин с маленьким чемоданчиком и, спотыкаясь — его заносило в стороны, — подался к магазину.

— Ген, а как там на частные? — поинтересовался Мишка.

— Будем, конечно, отпускать и на частные, — ответил Геннадий. — Строиться думаешь?

— Ну.

— Доброе дело. Наш ковчег для зимовки не приспособлен. — Инженер далеко отщелкнул окурок. — Ну ладно, парни, я пойду последний раз отшакеварю и... кому я неделю сдаю? Тебе, Ваня?

Мишка, Ванька, Володька Прохоров и еще двое плотников на лето поселились на кунгасе, что невод обслуживал. Убирались, топили, варили поочередно, по неделе. Спали в кукулях[2] — сколько ни топи, а под утро зубы постукивают. Геннадий сначала снял комнату у деда Чомбы — вообще-то фамилия его Мирошников, — перевозчика

[1] Курибан — береговой матрос.
[2] Кукуль — спальный мешок из собачьих шкур.

через речку. Дом у деда большой, прочный, что твой дворец. Но через неделю перебрался к ребятам.

— Терпеть не могу куркулей, — сказал он, ставя чемодан. Он-то и прозвал кунгас «ковчегом» — когда Страх на своем «Бегуне» носился по речке, кунгас раскачивало, при отливах нос его осыхал.

— Ну ладно. — Инженер зашагал в колхоз.

А из тундры доносился птичий гам. К концу дня, перед тем как утихнуть, он усилился.

— Я думаю, Ваня, — сказал Мишка, поплевывая на руки, — здесь поселиться. Капитально. А ты?

— Да не знаю. —Ванька тоже взялся за топор.

— Давай на пару, Ваня. Оно, глядишь, и веселее будет.

— Это конечно.

— Сначала тебе дом поставим, потом мне. Можно и наоборот. А жить тут можно. — Мишка еще раз поплевал на руки.

«А чего ж нельзя? — подумал Ванька. — Чего ж нельзя? Хоть корову, хоть поросенка. Сена-то. Коси — не хочу. Да и рыбы. Пару раз заметнул — и на всю зиму обеспечился. И себе и скотине. Картох тоже... хоть всю тундру разрабатывай... Жи-и-ить! Дом поставить недалеко от речки, огород от крыльца к берегу... сарай на берегу...»

В эту ночь, слушая истории про институтскую жизнь — Геннадий до слез смешил ребят студенческими проказами — и споры с ребятами Володьки Прохорова, который утверждал, что в торговле человек, да и не только в торговле, но и везде, где он распоряжается казенным добром, непременно испортится, Ванька перемалывал идею, которую предложил Мишка. «А если и вправду решиться? О-о-о! — Он пытался не вникать, вообще не слушать, о чем говорят. — Дом поставить из ровных бревен, из сосны, например...»

А эти надрывались, прямо думать не давали.

— И тем не менее, — горячился Геннадий, — самому прежде всего надо быть человеком.

— И тем не менее, — спокойно, с затаенной насмешкой, от которой Геннадия передергивало, отвечал Володька, — других случаев я не знаю. Если через пальцы человека текут миллионы и он волен ими распоряжаться как хочет, он не удержится от искушения. Конечно же, не всякий. Я говорю в принципе. Нет-нет да и согрешит. Ну, вот хоть продавщица. Пока она у прилавка танцует, там

второсортный товар первым сортом подсунет, там обвесит — пустяки, беда небольшая...

— Небольшая? — подливали масла в огонь ребята. — Как же?

— ...Все равно — небольшая, — продолжал Володька, — но вот стала заведовать магазином, распоряжаться кучами общественного товара — и деньги, смотришь, у нее уже, и тележка собственная, и дачка...

— Чего там толковать? — неслось со стороны.

— ...Этих штучек я насмотрелся предостаточно и сам — не буду стесняться — погорел на этом.

— Кутил в основном... Пожить, значит, хотел.

— И тем не менее, — не сдавался Геннадий, — не все же свиньи.

— А кто говорит, что все?

— Но и погореть же можно? — вмешался Мишка. — А как недостача?

— Вполне, — согласился Володька, — с нашей Надькой Магомедовой так и случится. Она даже «черную книгу» не ведет, когда товар в долг берешь.

— Значит, работягой вкалывать лучше? — поинтересовался кто-то.

— Работяге хлеб тяжелее достается, зато он вкуснее...

— От пота?

— Все зависит от человека, — стоял на своем Геннадий.

— Ну нет, Гена, — обрезал его Володька, — еще и от жизни самой. Не зря ведь говорят: «С волками жить — по-волчьи выть». От условий, в каких человек находится.

«И чего завелись, — рассердился Ванька, — переливают из пустого в порожнее. Делать людям нечего. Один хороший, другой плохой. Поймешь тут...»

А потом, когда все наорались и поуснули, Ванька окунулся в детство...

В детстве, когда он был маленький-маленький, еще и в первый класс не ходил, любил рассматривать книжку, что дедушка как-то с ярмарки ему привез. Там на одной страничке под стихотворением — читать Ванька еще не умел, но стишок наизусть знал:

...едет пахарь с сохой,
едет, песню поет,
а восток все горит-разгорается.
Птички песни поют,
птички солнышка ждут,
и стоит себе лес, улыбается... —

была картинка. На ней нарисован домик у берега реки. По реке лодка плывет, похожая на пирожок, — Ванька тогда никак понять не мог, ну почему лодка похожа на пирожок, дно-то у нее должно быть, где же оно? — в лодке рыбак с удочкой. По вечерам, когда на полу по углам дрожали слабые тени — висящая над столом керосиновая лампа-семилинейка освещала не всю хату, он забирался на печку, засовывал ноги в теплую рожь, что сушилась там, и рассматривал эту картинку и мечтал. Мечтал, когда станет большим, ну больше всех остальных людей на голову — больше и не надо, а то нехорошо, — и будет жить в таком вот доме. Дом внутри, как войдешь, большой, конечно. В святом углу образа. Образа большие, не такие, как эти,— что это за образа?— в красивых, черных, четырехугольных рамках. Утирки на них.

...Будет шагать по комнате и носить на руках свою жену. Жена будет небольшая. Так... обыкновенная, волосы у нее белые. Смеяться будет. Эти мысли приходили, когда засыпал уже.

Будет шагать с нею, а она будет смеяться. Смеяться... смеяться... «А если и вправду решиться... если из сосны... в доме всегда сухо и запах...»

Глава III

— Вань, Мурашова идет, — вполголоса сказал Мишка. Ванька вспыхнул. Он всегда вспыхивал, когда за щепками приходила дочка дяди Вани Мурашова Зина — Мурашовой ее ребята прозвали за отчаянный характер.

В этом году она закончила девятый класс в Оссоре, в интернате, на лето приехала к отцу — в колхозе школы не было, и все колхозные ребятишки зимой жили и учились в райцентре.

— Стараетесь, работнички? Здорóво!

— Здорóво! Здорóво! — подбоченясь, подошел к ней Мишка. — Чего так поздно?

— Соскучился?

— Ну. — Мишка нарисовался еще небрежнее.

— Незаметно что-то.

— А ты присмотрись, может, заметишь что?

— Неохота, — подавляя зевок, ответила она. Потом наклонилась, стала собирать щепки. Мишка помогал ей. Не меняя позы, пододвигал щепки ногой. Ванька глянул

на ее мускулистые красивые ноги. «Да нет, — вздохнул он. — Куда тут?» Мурашова почувствовала взгляд, обожгла его снизу быстрыми, чуть насмешливыми глазами — золотинки в уголках ее коричневых глаз так и зарделись, погасая. Выпрямилась. Поправила выпавшую из-под косынки прядь волос. Еще раз посмотрела на Ваньку. На ее губах блуждала тихая улыбка — у Ваньки затеплилось все и запрыгало... Горячая волна, обжигая все, хлынула к сердцу. И сердце забарабанило вслух.

— Давай помогу? — приставал Мишка.

— Отстань... сама.

А Ванькин топор попадал не туда куда надо.

— Ну дак как? — не отставал Мишка. — «Задорную» или «Полуночную» оторвем? Сегодня суббота, кажись?

— Ногами сначала двигать научись.

— Да вроде умеем...

— Не хвались... паровоз.

Ребята захохотали.

— Ничего себе, — хохотал и сам Мишка, — толчки!

«А со мною она никогда так не разговаривает... вот с другими и шутит, и смеется, а тут... да и ребята... вон Мишка, он хоть к какой подойдет: и сказать знает что, и танцевать пригласит. А тут слова не выговоришь. — Расстройство с маленькой обидой на себя защекотало под ложечкой. — Да что об этом думать? Эти дела сами собой решаются, опять же от них, от женщин, все зависит. Думай не думай — только себя травишь. Поглядывать на меня будет, а выйдет за Мишку... Старая сказка... эх!» Уголок Ванькиного глаза повлажнел.

Грустную долю выбрала ему судьба в этом деле. Хуже некуда.

Уже когда на тракторе прицепщиком работал — четвертый класс как раз бросил, — по ночам снилась соседка, шустрая, быстроглазая, краснощекая девчонка. Она нравилась Петру, лучшему Ванькиному дружку. Петро красивее Ваньки был — чуб у него так и вился, — смелее, ловкий такой. Отчаянный, в общем. Петра боялись ребята, даже которые и постарше. И Ванька ничего поделать с собою не мог. Провожали ее вместе, потом Петька оставался стоять у калитки.

Так и росли. Но у Ваньки не было к Петру ни зависти, ни злобы. Наоборот даже, в драках — Петька то и дело задирался с кем-нибудь — ему приятно было стоять за товарища. В кровь иногда колупались...

В армию их провожала. Она, конечно, догадывалась обо всем и жалела Ваньку, да что толку из ее жалости? Не надо никаких жалостей.

После армии она вышла замуж за Петра...

— Давай поддам, что ли? — донесся Мишкин голос.

— Не подлизывайся.

Было слышно, как хряснули щепки в мешке у Мурашовой. «И здесь то же самое получится.— Ванька как отвернулся, так ни разу и не глянул в ее сторону. — Нет уж... покедова...»

— Сильна баба, —сказал Мишка, когда она ушла.

— Не знаю. — Ванька принялся тесать бревно.

— Закурим? — Мишка достал папиросы.

— Давай. — «Думай не думай...»

Но не думать о ней он не мог. Стал нарочито медленно, чтобы продлить время, разминать предложенную Мишкой папиросу. Перед глазами так и стоял ее взгляд, плавный жест, когда она волосы поправляла.

Вечерело уже. Похолодало. Запахи от речки усилились. Солнышко нижним краем позолотило леденистые вершины гор. Стук топоров и голоса отдавались гульче. Ванькина душа, как лодка, колыхалась в волнах воспоминаний. Куприяново... мать... Петро... трактор, лемеха плуга, под которые он чуть не угодил сонный, — в ночную смену дело было... ох как чиркнуло по ребрам... И опять плавный жест, выпавшая прядь волос из-под платка, тихий взгляд.

— Ну, на сегодня, кажись, хватит, — сказал Мишка. — Заканчивай, Ваня.

— Да я бы еще поработал.

— Да брось ты, — сказал Мишка, втыкая топор в бревно под навесом, — не волк, в лес не убежит.

— Это конечно.

Ребята между тем с еще большей лихостью, чем Мишка, бросали топоры, собирали на разостланные телогрейки щепки. Кое-кто развернул мешки. Ванька тщательно вытер — хоть и вытирать было нечего — лезвие топора, кинул его на плечо. Бородка, пробив телогрейку, больно кольнула лопатку.

— А это зачем? — удивился Мишка.

— С собой возьму.

— И куркуль же ты, Ваня.

— Ну и пусть.

Дорогу домой после работы Ванька всегда любил, хоть она и недолга. Идешь немного усталый, расслабленный,

Дышишь. Смотришь на тропинку... вот и ковчег. Там ужин, теплый кукуль. Можно в кино или на гулянку. Если суббота, можно спать сколько угодно.

А сейчас его не радовало ни воскресенье впереди, ни хорошая погода. Так что-то...

Ребята же валили оживленной толпой: кто на рыбалку собирался, кто в клуб. Обсуждали тридцать процентов, что за коровник Василь Василич накинул, — уж больно быстро они махнули этот коровник. Мишка же вообще браво вышагивал, так это вколачивал каблуки в сыроватую тропинку. Телогрейка на нем на одном плече, фуражка набекрень.

«В клуб навострился, — подумал о нем Ванька, — орел». Впрочем, Мишку другие думы обуревали. Два дня назад, когда сдавали коровник, Василь Василич подозвал Геннадия:

— Подберите толкового парня на должность бригадира. В дальнейшем на учебу пошлем, своих специалистов готовить будем.

— Есть у меня на примете такой, — сказал Геннадий, — грамотный, в прошлом на руководящей должности работал.

— Пусть они сами выберут. Это надежнее.

Собрались, потолковали, и ребята выбрали Мишку, хоть Геннадий и предлагал Володьку, — Мишка топор держал лучше, да и сразу было видно, что он больше подходит для этого дела: и не бугор еще, а слушаются его все.

Сейчас, вышагивая, Мишка думал о работе, учебе... о других масштабах жизни.

* * *

А у Ваньки недавно мать письмо прислала, три страницы нацарапала — труд-то какой: «...прямо не знаем, как тебя благодарить за деньги, сокола нашего ясного... в каких ты краях да снегах там, сыночек... залетел в чужую сторонушку... Аришка справила пальто, два платья, одно с пояском, зеленого цвета... дюже ей нравится... крышу бы заменить, но, бог даст, доживем до осени... председатель обещал соломы и лесу по недорогой цене... а туфли ей так к лицу... ходит только по лавке в них... под подушку кладет... приедешь, не узнаешь... невеста...»

«Да-а-а... приехать это на тот год, тыщонок пять привезти. Подарков разных... матери бы макинтош китайский, что у Надьки Магомедовой в магазине висит, Аришке бы

тоже...» И он стал подсчитывать, сколько понадобится денег, чтобы мать и сестру одеть с ног до головы. Выходило, тысячи на две, если с мелочами разными. Обстановка для дома. Четыре тыщи хватит.

«Постой, постой, — встрепенулся он, — а как же тогда дом? Если здесь строить? Сколько на него денег уйдет? Зачем же он?.. Хотя стоп... Его можно продать опосля. Дома-то, кому они только не нужны. Еще больше денег получится...» И он тверже, подлаживаясь под Мишку, стал вбивать каблуки во влажную тропинку.

— Ты кого вызывать с материка собираешься? — не оборачиваясь, спросил Мишка.

— Да не знаю... сестра учится...

— Я не про это.

— А про что?

— Неужели никто в армию не провожал? — Мишка оглянулся. — Ждет, наверно?

— Да ждет, — не понимая зачем, соврал Ванька.

— Меня тоже ждет, — сказал Мишка и поправил фуражку. — Да и тут нарыть можно, если покопаться.

«Копайся, копайся...»

Вот и ковчег. Не заметили, как дотопали. Из него вылез Геннадий. С ружьем, перетянутый патронташем, в рыбацких сапогах.

— Пошабашили? — весело спросил.

— Ну, — отозвался Мишка. — По утей?

— Посижу на вечернем перелете. Сколько по периметру?

— Один двадцать. Значит, завтра жируем?

— Должны. Я спрашиваю: по периметру, то есть по всей протяженности корпуса?

— Я ж и говорю, что один двадцать.

— Отлично.— Инженер зашагал, направляясь к устью реки, на ходу пристраивая накомарник под шапку.

— А дичь сейчас стрелять вроде не разрешается,— заметил Ванька, вытирая сапоги о мешок.

— Кто ж тебе запретит? — откликнулся уже из ковчега Мишка. — Хоть слона стреляй. Камчатка.

«Да-а-а, Камчатка». — Ванька огляделся по сторонам. На западе, где еще виднелся край солнца, горели горы. Их подножия чернели лесом, говорят, непроходимым. В другую сторону лежал океан. Конца ему, видно, нету. И опять встали перед ним золотистые глаза с таящимися в них искорками. Послезавтра опять за щепками придет.

Дядя Саша непослушными пальцами вдавливал клавиши гармони, разламывал ее на колене и хрипло-прехрипло пел:

Пойду в сад, в огород,
Наломаю хрену,
Затолкаю милке в рот
За ее измену.

Надька Магомедова сидела у Магомедыча на коленях, красная, в сбитом на затылок платке, и сменяла дядю Сашу:

Ко мне милый приставал,
Пьяница-задира,
А я ему говорю:
«Люблю бригадира».

И дядя Саша:

Ты, милашечка моя,
С-под села Кунаева,
Обнимала ты меня,
А зачем — не знала.

Ты, милашка, скинь рубашку,
Я на тело погляжу,
Ничего делать не буду,
Только рядом полежу.

А Надька:

Пусть и рожа у тебя
Хуже табуретки,
Ты мне только подари
Новые баретки.

Узловатые, худые в запястьях, в каналах вен, с толстыми, раздавленными металлом пальцами, руки Магомедыча покоились на ее огненном — Ваньке так и показалось, что живот у нее именно огненный, — животе, а лицо было грустное-грустное. Не только морщины у губ опустились, но уголки глаз, нос и даже плечи подались вниз. А она выдавила:

А мне милый изменил,
А я и не охну,
Не зеленая трава,
В поле не засохну.

И она медленно опустила ресницы. Ванька глянул в сторону—Геннадий тоже опустил глаза, поднося стакан ко рту. Магомедыч вздохнул.

«Дают прикурить, — подумал о них Ванька, — и не боятся».

Недавно Магомедыч носился по колхозу на тракторе, останавливая встречных-поперечных, искал Геннадия. На участке нашел. Стащил с лесов, схватил за лацкан пиджака и орал ему в самый нос:

— Дзачем моя баба пристаешь? Э? Дзачем?

— Да что ты, Осман Магомедович, бог с тобой,— вертел головой Геннадий, пытаясь высвободиться из каменных пальцев Магомедыча, — как ты мог подумать? Наболтали тебе...

— Такой ш-шеловек наш колхоз не надэ. Уезжай, дорогой, откуд приейкэл.

— Осман Маг...

— Я сказал! — Магомедыч резко оттолкнул Геннадия и пошел к трактору не оглядываясь. Геннадий держался за шею.

«Да, конечно,—подумал о них Ванька,—дочка в интернате, сама—на легкой работе. Опять же моложе его».

Но Магомедыча ему жалко было.

Сегодня перед вечером ковырялись они на Мишкином доме, фундамент долбили. Солнце уже к горам катилось, но работать еще можно было. Решили на этот раз добить котлован. Вдруг слышат крики. Вылезли из своей ямы — идут по речке два сейнера. Новенькие. Черная краска так и горит на солнышке, белая — тоже. Флаги красные, яркие. Впереди «Бегун» пыхтит, дорогу показывает, то и дело гудки подает. Разбрасывая искры, несутся с него ракеты. А по берегу пацанье валит: орут, через головы кувыркаются, камни, палки в речку бросают. Собаки с лаем между ними носятся. Из колхоза спешат бабы в новых юбках, платки на ходу повязывают, кое-кто из рыбаков бредет.

— Ну давай, Ваня, пошабашим, наверно, — сказал Мишка, — у людей праздник, а мы что?

— Это конечно.

Когда пришли на ковчег, Володька ждал уже к дяде Саше идти.

Не зеленая трава,
В поле не засохну.

Шум, гвалт. Геннадий заспорил со Страхом — больше они с Надькой не смотрели друг на друга. Гуталин смешил ребят, кривляясь под частушки. Мишка на закуски нажи-

мал. «Эх! — встрепенулся Ванька, после двух штрафных он взгорелся весь, все происходящее чувствовал острее. — Жизнь-то!»

И вдруг:

— Разрешите вас пригласить?

Оглянулся — че-е-рт возьми! Мурашова?! Прямо так сразу?.. Сквозь землю бы провалиться, да не провалишься. Он не знал, куда себя девать. Ведь за столом она чокалась то с Мишкой, то с Геннадием, с Гуталином чуть на брудер не выпила... На Ваньку совсем внимания не обращала, будто его и не было. И вдруг...

— Не торопись, —тихо говорит она, поворачивая его то в одну, то в другую сторону. А рука у нее теплая. Платье у нее без рукавов, от самых плеч руки голые. Он топтался на месте, никак не мог подладиться под музыку, то и дело пинал ее туфельки.

— Не торопись...

Ее спина так и переливается под рукой, да еще платье так и скользит, атласное, что ли? Мышцы на спине под платьем горячие, мягкие, дышат под ладонью. Ноздри щекочет запах ее волос, тела, пота... На оголенное плечико выкатилась розовая шелковая тесемочка.

— У, какой ты... давай я поведу?

«Пропал... — Оглянулся — Надька уставилась на его ноги сквозь полуопущенные ресницы. — Ну все...»

Полюбила я его,
А он, девочки, рыбак,
У него насчет любови
Не работает чердак.

«От, зараза... да еще ребята смотрят...» Но никто не смотрел. Геннадий вычерчивал что-то в записной книжке, совал ее Михаилу под нос, на что тот махнул рукой и отошел в сторону. Леха, «нагуталинившись», искал место, где бы привалиться, а Володька задумчиво курил. Только одна Надька:

Я надену платье бело,
Белое-пребелое,
Я такого ухажера
Из бумаги сделаю!

— Не торопись...

Внутри защемило, перед глазами плыло все, и было сладко-сладко...

Мурашова уехала.

Потянулись над Дранкой косые стаи журавлей. Они тянулись печально, и конца им не было. «Иглы... иглы...»— курлыкали. Их курлыканье душу терзало, вспоминалось другое небо, другие журавли...

Милое, милое Куприяново. Балка за деревней—овраги, заросшие бузиной, калиной, терном, вишнями, сливами... В детстве он, Петро и Аришка бегали туда каждую осень. Зайцев всполахивали, свистели лис по песчаным берегам, где были норы, шугали снегирей, сорок... а вокруг все желтое и багряное, печально поникшее. Земля устлана влажными листьями, на оголенных яблонях-дичках — одинокие яблочки кое-где. Бывали с Петром там и когда в ночное гоняли... натаскивали сухих веток, снопов конопли — конопля горит быстро, трескуче...— переворачивали картошки. Петро обычно врал что-нибудь ребятам, а Ванька, вороша потрескивающие сучья, думал...

Милое, милое детство...

Осень на Камчатке куда роскошнее. Сплошное раздолье красок, запахов и птичьих криков. Сопки у подножий как кровью облиты — это заросли рябины и шиповника, средний пояс ярко-зеленый — это кедрачиная тайга, а вершины золотистые — там березовые рощи. Разливы озер подсинились, трава поникла, на горизонте сосущая глаза туманная дымка. А птичий гам стихает только к ночи. Днем же все эти собиравшиеся в неведомые страны друзья так орут, будто кто-то включил исполинский магнитофон с однообразной, бесконечной музыкой. Во все концы па́хают ружейные выстрелы.

А над всем этим всхлипывают журавли. Высоко-высоко...

На выходные дни Ванька тоже пошел на охоту, ружье у дяди Саши одолжил. Но ему не везло в первый день: то запаздывал с выстрелом, то курки оказывались не взведены. На другой же вообще не пришлось поохотиться. Когда возвратились к шалашам, увидели полнейший разгром: все разворочено, от дичи только перья, от сахара и хлеба даже крошки нет, консервные банки вдавлены в песок исполинскими медвежьими лапами.

Оставаться никто не согласился, хотели уж жребий метать, да Ванька:

— Давайте я?

— Ну вот, а мы тебе долю выделили.

— Ничего не надо.

Когда уха из утятины — чирки, они, оказывается, самые вкусные — готова, чайник шипит, дровишек вдоволь, он ложится на спину, закрывает глаза и сквозь птичий гам улавливает всхлипы журавлей. «В Куприянове сейчас картохи копают... холодновато по вечерам, дым от костров отиной пахнет...» Недавно мать прислала письмо: «...соколик наш, Ваня, мы ждали тебя к осени, а ты еще остался. Не гонись, всех денег не заработаешь... председатель не обманул, солому выписал самонаилучшую и леса по недорогой цене отпустил... Аришка летом на ферме работала, ударница... Ждем не дождемся тебя, сыночек...»

А в небе: «Иглы... иглы... иглы». «Может, над Куприяновом полетят...»

* * *

Как-то утром, когда бригада собиралась сдавать склад — осталось только из отделочных кое-что: где плинтус подтянуть, где пол зашпаклевать, подкрасить что, мусор вынести, — мороз сковал все. И в Дранке и над Дранкой. Тянул ледяной ветерок, кружились белые мухи, земля вся в трещинах—это она ночью так бухала,— бока ковчега обросли слоистым козырьком, сам он отяжелел и покрылся серебристо-седыми иголками.

Бревна под топором звенели, сам воздух тоже звенел, под брезентовые рукавицы пришлось пододеть меховые. Геннадий в это утро был особенно возбужден: в короткой шубе — это Ванька ему подрубил ее, по моде сделал, — унтах, корякском малахае. Улыбался, прохаживаясь возле правления.

— Загрустил ты что-то, Ваня, — дружески толкнул его Геннадий в плечо, — червоточинка небось?

— Да так...

— Вот махнем в общагу и—нам не страшен серый волк.

Тихо все... только радостный собачий лай. А криков никаких, не то что журавлиных.

Глава VI

— Нет, не могу я.

— Чего так?

— Об стену головой хочется.

— Ну, ты даешь... — Мишка не знал, что сказать. Отвернулся, опять уткнулся в свои книжки.

Ну и зима на Камчатке! Дунет — свету не видно. Выйдешь в полдень — и не веришь, что это полдень: заместо солнышка блуждает где-то в метели расплывчатое пятно, а к трем часам и его уже нет. И свистит, и воет, и вырывает двери из рук.

За лето ребята, конечно, не успели поставить дом —это по теории просто выходит, а начнешь хлопотать... Только Мишкин довели до крыши да прикрыли на живую нитку, чтобы хоть материал хранить. Окна зашили. И поселились на зиму в колхозном общежитии. Общежитие что надо: светлое, теплое, чистое. С верблюжьими одеялами и хорошей мебелью, колхоз расстарался. В комнатах по двое, трое, четверо в некоторых.

Ванька с Мишкой поддерживали в своей комнате порядок, от них комендантша выходила вся в улыбках, а вот в соседней, где организовали бивак страховские «муроводы», команда с «Бегуна», чего только не творилось! Октябрь и половину ноября «Бегун», обледенелый весь, похожий на деда-мороза, таскал от пароходов — весь груз, как назло, пришел осенью. Ребята, охрипшие, обмороженные, с красными от ветра и бессонницы глазами, нервные как дьяволы, орудовали ломами, скалывая лед, или всей командой, чохом, под крики «раз-два» таскали толстый от льда, с ногу, буксирный конец. Поливали его горячей водой, она тут же замерзала. Матерщина у них стояла такая, что уши заворачивались у незакаленных.

И вот они, поставив «Бегуна» на зимовку, ввалились в общагу, грязные, помороженные, пьяные. И через пару дней на полу и столе появились пустые бутылки, консервные банки, рассыпанная соль, окурки, вонючие портянки, засаленная до антрацитного блеска роба. И все это пересыпано снежком из разбитого окна — окно они выдавили в первый день, кому-то душно стало,— на столе снежок конусным бугорком прикрыл сковородку с костями и окурками. Сами же муроводы валялись на койках в шубах и сапогах и не думали протрезвляться.

Стармех Петрович, например, по прозвищу Краб— Петрович на фуражке носил краб капитана дальнего плавания, хотя диплом у него был лишь механика третьего разряда, — длинный, сутулый, седой, любитель фигуральных выражений, все время стонал, держась за дужку кровати. А его помощник Леха Гуталин прямо и спал в обнимку с

бутылкой: проснется, глотнет, задремлет... откроет глаза, опять...

День их начинался с проблемы, кому в магазин бежать. Лежали, переговаривались, упрашивали друг друга. Наконец матрос по прозвищу Моль не выдерживал. Брал чемодан, брел в магазин. Остатки предшествующего пиршества смахивались на пол, стол уставлялся спиртом и шампанским — другого они не признавали. К ним заскакивали «замазать» все кому не лень, а вечером собиралась вся колхозная бич-компания.

И так уже больше двух недель... От них комендантша выскакивала с вытаращенными глазами и с криком: «Поубивать паразитов!» — неслась в контору.

Пришел к ним как-то Геннадий.

— Из колхоза выгоним, — кипел он. — Дипломы отберем!

— Тс-с-с! — стоял над ним вопросительным знаком, пошатываясь и водя пустым стаканом перед его носом, Краб. — Не те кадры.

Как ошпаренный кинулся Геннадий из комнаты. А Краб вслед:

— Ас-с-са-а!

В другой раз пришли они с Василием Васильевичем.

— Василь Василич, — еле ворочал языком Краб, сжимая дужку кровати и болезненно морщась, — последнюю недельку... и к бабке не ходить, последнюю.

— Всю водку не перепьешь, — сказал председатель.

— З-завязываем... и к бабке не ходить, завязываем.

Вышли они. И тут Гуталин навстречу, он из умывальника по стенке пробирался.

— А-а-а! Колхозные боги! Прошу на чай. — И, делая реверанс, упал бы, да Ванька подхватил под мышки.

— Гон, гон, Василий Васильевич, давать, — раздраженно говорил Геннадий, — всей команде гон!

— А куда? — тихо спросил председатель. — В тундру? Проще всего.

«Правда же, ну куда его? — думал Ванька, волоча Гуталина.—В тундру? Окромя водки, ведь ничем не питается. А деньги?—Ванька вспомнил, как Гуталин в новеньком, за сто сорок, светло-сером костюме спускался в машину, а через два дня костюм от робы не отличишь...—Деньги вообще уничтожает по тысяче в день...»

А делать нечего. Навалилась пурга на Дранку, как большое метельное чудовище, воет в трубах, свистит мимо

окон, затыкает рот. Дяди Сашины собачки подвывают на разные голоса. Из коридора доносятся выступления... И ночь валяешься на койке, и день...

Мишка обложился книжками, он их целую кучу приволок от Геннадия. Про строительство все. Ванька тоже было взялся узнать про строительство, да не поймешь в них ничего: одни крючки да закорючки. С художественными тоже ничего не вышло: в них написано одно, в коридор выйдешь — другое...

Пурга же воет и воет... а жить надо. И никуда не денешься.

— В клуб сходи,— предложил Мишка. Он откинул учебник, сладко потянулся.— Раскрутись. Там кадры из комбината будут. Это уж наверняка. Выпей для храбрости.

— Не хочется.

— Тогда уж не знаю... чего в клуб перестал?

— Так.

Недели две назад также вот валялись они, валялись — надоело. Раскрутимся, сказал Мишка и достал бутылку шампанского. Выпили и, конечно, в клуб. В клубе Мишка сразу подался в прыгающую толчею, а Ванька окинул взглядом всех старух да некрасивых, что на скамеечках возле стен сидели, и не пошел танцевать. Подался в другую половину зала, где бильярдные шары, кстати, по три в лузу ходили—подростки играли, и присоединился к ним. Отстукал партий десять, надоело. «Эх, черт возьми мою машину—все четыре колеса, что ж мы?» И пригласил танцевать Эллу Ивановну, заведующую клубом, вдову. Ее муж в прошлом году ушел на охоту в тундру и не вернулся. И откуда смелость взялась? Так вертел ее вокруг одной ноги—после случая с «не торопись» танцевать научился. Пропускал под руку, на лету подхватывал, крепко прижимал к себе и опять кружил. Дышал ей в самую шею, пылающей щекой прикоснулся несколько раз к ее прохладному виску. Она разомлела и прикрыла глаза. Как перед сном. После танца и говорит ей:

— Провожу?

— У тебя же есть.

— Да ты что? Кто ж это у меня есть?

— А кто летом за щепками ходил?

«Ну и колхоз,— опешил Ванька,— все знают...»

— Ну, чего краснеешь? — улыбнулась она.

И все-таки провожал, хоть и не собирался—после это-

го разговора опять шары на бильярде стукал. Уходить стал одним из последних уже, она стоит возле двери.

— Без меня закроют,—сказала и виновато улыбнулась.

А у него и смелость вся пропала, с шампанским, что ли, выдохлась вся?

Лезет по сугробам, она по тропинке, он рядом по целине ломится. Она часто оступалась, взмахивала руками, а у него не хватало духу поддержать ее. Хоть бы руку протянуть! А ведь чувствовал, что надо, да и сама она этого хотела—наверняка знал,—но никак... и за талию бы можно, и за плечи—брови, ресницы у нее, пряди, выбившиеся из-под шали, покрыты инеем, —прижать бы. Если рассердится, шуткой отделаться можно, оступился, мол.

Наконец она сама схватила его за руку—он же руку не осмелился согнуть — и до самого дома держалась. На крыльце поправила платок, обстукала валенки.

— Ну вот и долезли, — сказала.

— Ага.

— Что «ага»?

— Да долезли ж, говорю. — Ванька потупился.

— Да что ж...

Помолчали.

— Ох, господи. — Она вздохнула. Посмотрела в сторону, в ее голосе звучало расстройство.

Еще помолчали.

Она покусывала губы. «А что я, — думал Ванька. — Ей же совсем не это надо. У нее двое ребятишек, ей муж нужен, кормилец, а я? Переночевал да ушел. А опосля как, когда уйду? Уходить-то рано или поздно придется, не вечно ж эта лавочка будет продолжаться. А потом как в глаза смотреть?»

Так и стояли. Она стала пристукивать валенками.

— И долго стоять будем? — спросила.

— А что ж...

— Ничего ж! — в тон ему ответила она и захлопнула дверь.

«Ведь дурак, — думал он, возвращаясь в общагу, — дурак. Круглый самый, что ни на есть. Ведь в Куприянове с девчонками и обнимался, и целовался, а тут... Можно бы на чай напроситься... Или бы сказать, что замерз... тьфу!»

Когда ложились спать, рассказал Мишке.

— Конечно, дурак, — согласился Мишка. — Она же весь вечер ждала, когда ты шары катать перестанешь.

— Не хотелось что-то, — сказал Ванька.

— Тогда другое дело, — всепонимающе продолжал Мишка,—тогда конечно. Да и вообще не надо бабу с панталыку сбивать, если она тебе не нравится. Мурашова, конечно, другой сорт.

— А при чем Мурашова?

— Да при том. А Эллу Ивановну надо бы проводить до конца, — рассуждал Мишка, — такая женщина.

— Какая?

— Роскошная, как говорит Геннадий.

— Вот он и пусть провожает до конца, — будто равнодушно продолжал Ванька, а внутри так и кипело все: «Идиот, не смог как следует, болван... ведь сама же желала... тьфу!» — Он специалист по этим вопросам.

— Да у него вроде не получается. Но дело не в этом.

— А в чем?

— А в том, Ваня, что раз уж женщина сама к тебе набивается, то обижать ее никак нельзя. Грех. Ей ведь первой подойти стыднее? Стыднее или не стыднее?

— Ну, стыднее.

— А она осмелилась. Представляешь, сколько ей попотеть пришлось. А ты... Но если она хотела просто хвостом крутнуть, — глубокомысленно продолжал Мишка, — то ты, мой друг Ваня, пропал.

— Это почему же? — Ванька приподнялся с койки.— Что же я сделал?

— Что сделал? Ха! Ты как вчера народился. — Мишка тоже приподнялся. — Ведь засмеют. Расскажет всем бабам... ухажер! На весь колхоз разговоров будет.

«Черт возьми, — у Ваньки даже спина вспотела, — а ведь точно: бабы любят повыхваляться».

Но это бы ладно, пережилось, подумаешь, не смог до конца проводить, но дальше получилось такое, что... в общем, дня через два вваливается с громыханьем в их комнату Моль. Пока еще трезвый, но отовсюду: из-за пазухи, из карманов, из рюкзака — торчат золотистые головки шампанского. Штаны раздуты от них, передвигается, как водолаз.

— Пить будете? Отвальную.

— Куда ж это вы отваливаете? — спросил Мишка.

— В Оссору, сейнер дают. На косе лежит... едем откапывать и р-р-ремонтировать.

— Ты смотри, — засмеялся Мишка, — вам даже сейнер дают. Ну раз такое дело...

— Наш кеп сказал: «Последний коверкот!» — При этих

словах Моль сделал отмашку, несколько бутылок выскочило из него.

Пошли. Бичей там уже битком. После каких уж раздумий и душевных колебаний, после скольких стаканов шампанского — шампанское здесь, конечно, сыграло свою трагическую роль, — но оказался на крыльце дома Эллы Ивановны. «Уж что-нибудь да придумаю, — разбираемый храбростью, топтался он возле ее двери.—На проводы приглашу или скажу, что замерз. Чего там, раз сама желала...»

Она вышла. Она была в шубе поверх ночной сорочки — постелью, теплом, цыплячьими перышками так и пахнуло на него.

— Ты чего?

И... ни одной приготовленной фразы не оказалось.

— Ты чего, Ваня?

— Да я... Видишь ли, такое дело...

— Нет, Ваня, — обрезала она, — по ночам визиты делать нехорошо. Все люди давно спят.

— Это-то да, но...

— И ты, Ваня, иди спать. — Она легонько отстранила его, закрывая дверь.

Тьфу! Надо ж дураку додуматься! Поперся... А в клуб? Она же каждый день там, да и вообще...

Так и закрылась для него дорожка в клуб.

— Значит, не хочешь в клуб? — приставал Мишка.

— Нет.

— Ну, смотри, сноха, тебе жить. — И Мишка опять стал шебаршить свои книжки.

А пурга воет. Ворочайся не ворочайся, хоть какие мысли переваривай, а деться некуда.

Глава VII

— Это ты зря, — приставал Мишка, — в клу...

— Мишка, иди ты к черту со своим клубом! Я ж говорю: об стенку головой хочется!

— Не спеши. Вот весна настанет, веселее дела пойдут.

— Уеду. А что они мне? Эти дела-то? — Ванька отвернулся. Ему лень было даже говорить.

— Как что? — удивился Мишка. — Он пересел на Ванькину кровать, руку положил ему на колено. Смотрел задумчиво, будто в самого себя. —Этим летом будут объединять Уку, Ивашку и нас. Весь флот сюда переведут, а для него,

знаешь, сколько надо? Одних складов да мастерских... Жилье для народа — весь же табор сюда переедет. Больницу, школу, ясли, детский сад. Молотьбы, Ваня, навалом. Лет на пять, как не на больше.

— Ну и что? — равнодушно спросил Ванька.

— Ты осенью на собрании был?

— На «Бегуне» в Оссору за товарами Надьке ездили.

— Геннадий два часа докладывал. Одних капитальных... коровник, свинарник, птичник. Флот же кормить надо? — И сам себе ответил: — Надо. Семьи ихние содержать надо? Надо.

— На месте им не живется. Там ломают, здесь строят.

— Понимаешь, Ваня, там жить, конечно, можно, но невыгодно. Работать там невыгодно — сбыту нету. Куда яйца из Уки повезешь? Или молоко? В Питер на самолет? Яичко дороже обойдется... Но самое главное, — продолжал Мишка, — с рыбой у них ничего не получается. Они прошлой зимой наваги два плана взяли, а не вывезли, туда ж ни один пароход не пробьется, ихний же култук[1] и зимой и весной льдами забит. С оленеводством тоже ничего не получается. И там, Ваня, оставляют только госпромхоз, охотников. Так что, Ваня, про свое Куприяново забудь. — Мишка хлопнул Ваньку по колену. — Делать там нечего.

— Найдется.

— А-ах! — отмахнулся Мишка. — Разве сравнить с нашими? Наши три колхоза, что объединяются, в банке денег держать будут больше, чем весь Ленинградский совнархоз со всеми своими... — Мишка замолчал, подыскивая слова, чтобы охарактеризовать Ленинградский совнархоз. Не нашел. — Такие вот толчки.

— А ты откуда знаешь?

— Откуда, откуда. Говорили. У нас же как? Вытащил рыбку из воды — чистые денежки. Не то что в Ленинграде, где разные машины выпускают.

— Не знаю, не был там.

— И быть не надо. Вот слушай. Чтобы выточить, например, гайку, что для этого надо? Для этого надо, — Мишка стал загибать пальцы, — выкопать из земли руду, переплавить ее на железо, привезти в Ленинград, наделать заготовок и тогда уж вытачивать гайку. И от этой гайки, как подсчитать, дохода — вот. — Большой палец у Мишки на руке торчал между четырех согнутых. — А у нас

---

[1] Култук — здесь: часть залива.

рыбка сразу в магазин идет. Красненькая. Да еще икричка. Усек?

— Чего ж не усечь?

— Так что учись, Ваня.

— А зачем? — вспыхнул Ванька. — Чтоб топор держать, дипломов не требуется...

— Ну что я тебе могу сказать... —Мишка задумался.

— Да ничего. Что ж ты можешь сказать?

— Все равно, Ваня, учиться надо.

— Мировые проблемы решаете?— ворвался Володька.— Здорово.— Он тряхнул ребятам руки, присел рядом с Мишкой. — Посмотри, вот любопытная книжица. — Он протянул Мишке книгу.

— «Экономика и планирование рыбной промышленности», — прочитал Мишка. — А мы тут с Ваней как раз экономику разбираем.

— Значит, отгадал: проблемы...

— Почти что, — продолжал Мишка, — только тут вот мой друг Ваня утверждает, что учиться человеку совсем не надо.

— Он такой, — подхватил Володька. — Топор держать научился — и нормально. Что ему еще надо?

— Ничего, — вспыхнул Ванька. — Ничего не надо. А вы и учитесь затем, чтобы в начальники выбиться. Генералами стать хотите? А мне этого не требуется, солдатом проживу.

— Ты смотри, как он нас уел, — засмеялся Володька. — Я даже не знаю, как ему возразить. Хочу солдатом, и все.

— Давай, давай! — Ванька резко встал с кровати, стал обуваться. — Учитесь, други-товарищи, на генералов, а я лучше пойду в контору, какую-нибудь работенку спрошу.

— А какую работу сейчас дадут? — спросил Мишка, листая книгу. — Снег с места на место перекидывать?

— Хоть снег, хоть снег, — приговаривал Ванька, вбивая ноги в валенки, — что-нибудь да дадут.

Повеселел даже, что жизнь хоть как-то переменится. Что-нибудь да дадут, а там весна...

Выскочил на улицу. Пурга утихала, только поземка, играя, стлалась веничками мимо ног. За плетнями и калитками она вилась веселыми роями на островерхих бугорках. Бежал до конторы вприпрыжку, застегиваясь на ходу и натягивая шапку. Не заметил, как поравнялся с домом Эллы Ивановны.

— Вань, на минуточку!

Оглянулся — на крыльце стоит Элла Ивановна, поглаживает локти — шерстяная кофточка у нее с коротенькими рукавчиками. Остановился.

— Зайди на минуточку.

«Зачем я ей... Ну и дела...»

Зашел. Там боцманша уже закидывала концы платка за спину. Потная. Перед нею шипел самовар, на тарелках горки пирожков и конфет.

— Богато живете.—Ванька стушевался.—Здравствуйте!

— Здравствуй, Ваня, здравствуй! — хлопотала возле него Элла Ивановна. — Садись чай пить. — Она стащила с него шубу — ну никак не мог сопротивляться, — пододвинула табурет.

— Мне же некогда. Ты зачем звала?

— Письмишко тебе с почты передали. — Вместо того чтобы отдать письмо, Элла Ивановна налила чаю. — Пробуй пироги.

— Спасибо. Письмо-то где?

— Успеешь. Угощайся.

Выпил все-таки стакан чаю, съел пирожок. Письмо было от матери, сунул в карман.

— Ну, спасибо вам. — Схватил шубу и к двери.

— Ваня! — Элла Ивановна догнала его в сенцах, взяла за руку. — Куда спешишь?

— Да по делам.

— Успеешь, — она легонько — и опять он как вареный — потащила его назад.— Андреевна сейчас уйдет.

Как только вошли, боцманша схлебнула духом с блюдечка и, не простившись, выплыла за дверь.

Элла Ивановна подошла к нему вплотную — он поднялся с табуретки, смело обняла его, прижалась к нему. Голову положила ему на грудь. Он растерянно поглаживал ее теплые плечи.

— Ваня. — Она подняла голову, дышала ему в губы. Рот у нее приоткрыт, на глазах туманчик. — Ну поцелуй меня, Ваня. Не хочешь? — Она опять уткнулась в его плечо. Ее голос звучал обиженно. — Вот вчера не пустила тебя, дура, а потом всю ночь проплакала. Зачем я это сделала? Дура, дура.

— Ну правильно. Пьяный, ночью...

— Нет, не правильно, Ваня! Нет, нет! — задыхалась она. — Не правильно! — Она гладила его лицо, шею. — Вот я с другими ребятами танцую, а о тебе думаю... Мне ведь ничего не надо. Ничего. Ты холостой, свободный, а у

меня вон их двое. Да я и старше тебя. Дело не в этом, я ведь стеснять тебя не стану: хочешь — приходи, не хочешь — не приходи. И ни к кому ревновать не буду... ой, а наверное, буду, дура. Да нет, гуляй с кем хочешь, мне бы только смотреть на тебя, золотко мое. Садись, Ваня, садись. Ну поцелуй меня, золотой мой? — Она просила, умоляла. Она была маленькая, нежненькая, обиженная. Клонилась к нему, брови ее дрожали. — Я знаю, что не нужна тебе, чего там. Не одну ночь думала, голова ломается. Ой, Ваня... Ну еще разочек, огонечек мой. Хочешь, я постель разберу? Детей я к Андреевне отведу.

Ее было жалко. До физической боли. Разрывался весь. «Бедняжка... с двумя пацанами колотится...» Ему вспомнилась мать, как мать с ним и с Аришкой хлопотала: то муки побежит занять, то пятерочку на керосин.

— Огонечек, — как сквозь сон, улыбаясь, шептала она, — а руки-то у тебя какие жесткие. — Она взяла его руку, прижалась к ней щекой. — Ваня, ну скажи, что я тебе нравлюсь... Обмани!

Совсем не такая, как на людях.

— Ой, что говорю, — очнулась она, — Ваня, ты не слушай меня.

— Подожди, — сказал он, освобождаясь из ее рук, — пойду ребятам скажу, чтоб не ждали.

— Что у вас там? На охоту небось?

— На куропаток.

— Ох!

— Я приду.

— Приходи, приходи, Ваня. Обязательно приходи. Ребятишек я спать уложу. Приходи, хороший мой!

Выскочил и—к муроводам, там разгар отвальной. Влетел, никого и ничего не замечая, — впрочем, там трудно было что-либо заметить от дыма и винных паров, — хватил один стакан шампанского, отдышался. Другой.

— Горит? — услышал над ухом громоподобный бас Чомбы. — С чего это, ангел мой? — Дед совал ему кусок хлеба и холодную котлетку.

— Не могу я больше, дедушка, — Ванька раскисал у деда на глазах. — Скоро чокнусь...

— Сначала закуси, — громыхал дед, — опосля чокайся.

— Не могу, — квасился Ванька, — пурга воет, собаки воют, все пристают, — хотя толком и сам не знал, кто пристает все-таки, — жить невозможно, дела никакого нету, скука...

— Ничего, ангел мой, ничего. Все пройдет, все перемелется. Закусывай! Вот поедем со мной в тундру, ангел мой, вехи ставить от наших устей до Макарьевска. На воле все пройдет, воля — большое дело.

— Поедем, поедем. Поедем куда угодно.

— Только денег, ангел мой, я тебе платить не буду. Поссовет только мне одному выделил.

— Никаких денег не надо... только бы живому остаться.

— Куда ты денешься, ангел мой? Завтра и соберу. Куколь, торбаса найдутся, шуба у тебя хорошая. Собачки у меня добрые. Больше только не пей, нутро пожжешь. Непривычный ты.

— Ничего, ничего. — Ванька опять выпил. «А она ведь ждет, — стучало в его затуманенном мозгу,—сидит или ходит, на часы смотрит... а я тут, с муроводами...»

— Идд-и-от я проклятый. Мучитель... — хлюпал. — Я, Миша, мучитель, негодяй... предатель...

— Протрезвись, ангел мой, — бубнил дед.

Глава VIII

В тот день, когда Ванька собирался «чокаться» в компании муроводов, у Геннадия были друзья.

Ими, кстати, он обзавелся сразу, само собой как-то. Общие интересы, что ли, нашлись? А может, местная интеллигенция, соскучившаяся по цивилизованной жизни, потянулась к нему, как к свежему человеку.

Первым с Геннадием подружился главбух Петрунь, толстый — и как только вмещался за стол? — неповоротливый, пронырливый и мудрый человек. Все умно-хитрые комбинации, которыми колхоз наставлял нос другим колхозам по сдаче продукции или по «выработке» ссуды в райкоме, родились в его голове. Сам же Петрунь считал — возможно, не зря, — что он постиг в совершенстве устройство не только своей, колхозной, бухгалтерии, но и всей людской.

Другим приятелем Геннадия был Платоныч, директор комбината, высохший, точнее, вымерзший старичок с проницательными, вострыми, когда надо, твердыми глазами. Платоныч был страстный любитель ездовых собачек и еще более страстный охотник. Каждую осень пропадал в тундре — это их сдружило с Геннадием. Самым же близким другом был Виктор, заведующий молочной фермой, птицефермой и олеными стадами.

В длинные пурговые вечера вспоминали материк, обсуждали поведение Аденауэра или Мао Цзэдуна, сражались в шахматы, организовывали пульку — а чем время убьешь? Не «полуночные» же да «задорные» в клубе отрывать? Впрочем, Геннадий сначала увлекался ими, вместе со всеми так же лихо прихлопывал да притопывал сапогами в конце частушки, но потом надоело.

Сейчас друзья отложили шахматы и карты, с утра заседали, передохнуть решили. На столе шипел чайник — чаепитие на Камчатке возведено в степень культа: приехал человек из тундры, первым делом чай, потом все остальное. У местных же чай самое первое угощение. На маленьком трехногом столике — Ванькино изделие — разбросаны карты.

Итак, шипел чайник, стояли рюмки и стаканы в подстаканниках, откупоренная бутылка коньяка. Коньяк, кстати, редкость на Камчатке, его достал Петрунь у знакомого директора рыбкоопа.

Петрунь сидел за столом, ел распаренные в консервной банке котлеты, запивая коньяком. Платоныч мастерил пуншик — тундровая привычка — в маленьком заварничке, а Виктор, развалившись на кровати, смотрел в потолок. Геннадий вышагивал по комнате.

— Скорее бы кончилась эта вьюга, — сказал он. — Самому выть хочется.

— Это, Геннадий Семенович, ты еще не привык, — это Петрунь. — Пусть воет. Не мешает же.

— Скоро весна, Гена, — улыбнулся одним ртом директор. — Не до скуки будет.

— Ох и хлопот же с этим объединением, — оживился Геннадий, — ни у нас, ни у ивашкинцев плавсредств нет. Ука же вообще медвежий угол. В Пахаче участок начинаем с гвоздя.

— Всегда так начинается, — уронил директор. — Любое дело.

— И все-таки, Платоныч, этой весной мы пошатнем ваши доходы. А годика через три, глядишь, и вообще сворачиваться придется.

— Опять за свое. — Директор поднял бровь.

— Нам только сдвинуть этот снежный ком, — оживленно продолжал Геннадий, — а там он себя покажет.

— Ничего не покажет.

— Покажет, Платоныч, покажет. Еще как покажет. Сейнер, между прочим, окупает себя за один сезон, а

там — чистые денежки. Построим свои цеха, мастерские, да хоть судоремонтный завод — наша речка вместит всю камчатскую флотилию. Кончится эта лавочка, что за ремонт какой-то баржи платим вам больше, чем она сама стоит. Холодильники... сами будем рыбу обрабатывать. А это ведь сплошное надувательство, ловим сельдь мы, вы ее подсолите чуть — и в бочки. Вам идет тридцать четыре рубля за центнер, нам же — восемнадцать. Ну что это? — Геннадий развел руками. Петрунь хмыкнул.

— Сначала разберитесь с тем, что есть, — продолжал директор, — хоть подобие порядка наведите. Набрали народу в колхоз, а не подумали, что людей надо работой обеспечить, жильем. Там ведь, в вашем общежитии, про которое вы кричите на всех совещаниях, ужас что творится. А в самом поселке? Снабжение не налажено, в магазине ничего нет.

— Переживем, — Геннадий зашагал по комнате. — Такие кадры... Один Гуталин что значит... в кино такого не увидишь.

— Да, Гуталин, — отозвался Петрунь, — это чудо из чудес.

— Смех-то смехом, — продолжал директор, — а народ бездельничает, обленился

— И мало набрали, — перебил его Геннадий, — весной опять людей не хватит. Надо бы больше... Народу мало.

— Тогда бы мы купили не два сейнера, — вмешался Петрунь, — а четыре. И надо было брать сезонников. Он путину отмолотил, а после путины — расчет. Затрат почти никаких: матрац и одеяло с двумя простынями два червонца стоят. Я предлагаю Василию Васильевичу уже несколько лет...

— Его не убедишь, к сожалению, — вздохнул Геннадий.—Но после объединения другие пирожки будут. Я уж сколько раз втолковывал всему правлению, что оленеводство и добыча пушнины — пустяк. На них мы далеко не уедем.

— А куда на них уедешь? — отозвался Петрунь. — В этом году у охотников вышло совсем ничего. Оленье стадо давно пора сокращать, а не увеличивать. Оставить только для обеспечения мясом местной базы.

— Твердолобые наши правленцы, — вздохнул Геннадий. — Флот надо увеличивать, обработку... то звено, которое приносит деньги.

— Так-то так, — сказал директор, — да Алькены с Эге-

лями рыбу обрабатывать тебе не будут, им нужна тундра.

— А куда они денутся? — отмахнулся Геннадий.

— Прожекты.

— Ну почему прожекты, Платоныч? Все реально, только мы, к сожалению, не хотим понять этого.

— В районе надо протолкнуть, — добавил Петрунь.

— Это все не ново. — Платоныч прихлебывал маленькими глотками пуншик. — Район вам не даст взять в одни руки и добычу рыбы и обработку.

— Только протолкнуть, — отозвался Петрунь.

— Почему? — удивился Геннадий.

— Да потому, — директор подался вперед, — что это бы значило заморозить миллионную махину комбината.

— Мы у вас его купим. — Геннадий остановился перед директором. — Со временем, конечно.

— А людей? Куда ты денешь людей? Ну, хорошо, сезонных рабочих не будет, их заменят Гуталины и Эгели с Алькенами, хотя это сомнительно, но предположим. А служащих? У меня полторы сотни служащих. В колхоз они не пойдут, потому что не захотят терять пенсию и годами жизни на Камчатке выработанную зарплату. Их на материк выселишь? У каждого из них дом, семья. Так что лучше не мешай правленцам. Небось Демидов да Магомедов не согласны с твоими идеями?

— А-ах! — отмахнулся Геннадий. — Деньги на дороге лежат, а Демидовы да Магомедовы спят. Да что с них взять? — Геннадий постучал себя по лбу.

— Чихаешь, пыхаешь, — продолжал директор, — а через год на материк уедешь. А Эгелям да Демидовым здесь жить. И Гуталинам, кстати.

— Да, Гуталин, — засмеялся Петрунь, — ему же, кроме бутылки, ничего не надо.

— Я вижу, всем вам ничего не надо, — Геннадий заломил руки за голову.

— Не совсем так. — Директор держал стакан двумя руками, как в тундре. — Но на людей наступать тоже нельзя. Им надо жизнь хорошую создать. Это ясно?

— Такие перспективы... а нас Гуталины тревожат, — не обратив внимание на замечание, продолжал Геннадий.

— Скучно, я вижу, тебе, Геннадий Семенович. — Директор пересел к карточному столику. — Съезди в Питер, развейся.

— Гм! Питер. — Петрунь заскрипел стулом, выбира-

ясь из-за стола. — А чем у нас плохо? Поухаживать, что ли, не за кем? У Виктора целый цветник, одна Валюха что значит.

— Одной левой бидон с молоком выжимает, — отозвался Виктор, вставая.

— Примитив, — вздохнул Геннадий.

— Актрис тебе подавай. — Петрунь собирал толстыми пальцами карты. — А коньячок добрый. Надо будет дать заказ Борисовичу... у тебя там, Платоныч, оказия в Оссору не предвидится?

— На днях нарта с кассиром пойдет.

— Гена, — оживился Виктор, тоже присаживаясь к столику, — а не махнуть ли нам в Питер? Хоть на недельку.

— Шапки нету, — засмеялся Геннадий, — а от моего малахая там шарахаться будут.

— Шапки?! — удивился Петрунь. — Я передам записку Борисовичу, и через неделю будет тебе шапка. Какую хочешь. Пыжик? Ондатру?

— А может, у него нету, — усомнился Геннадий.

— У Борисовича да нету? — Петрунь даже карты перестал собирать. — Да у него птичье молоко есть. Нету?! Через неделю будет тебе шапка... а уж икричкою да балычком мы его обеспечим.

— Да это пустяк. — Геннадий тоже присел к столу. — Ну, продолжим? Хватит о Гуталинах... надоело.

Так или примерно так проводил Геннадий длинные пурговые вечера, потому что уж так устроены мужчины: как соберутся, да еще если почаюют, про работу и разговоры. Петрунь с Платоновичем не всегда бывали у Геннадия, а вот Виктор частенько. Но это уже другой разговор. Осману Магомедовичу пришлось бы вмешиваться со словами: «Дзачем моя баба пристаешь? Э? Дзачем?»

Глава IX

А Гуталин отмочил очередную «козочку».

— Бараники бы, — простонал Краб.

— Желудок ссохся?— спросил Гуталин.

— И к бабке не ходить, ссохся.

— Щас, сделаю.

И сделал. Поймал собаку главного инженера Юрия Алексеевича, освежевал ее, сварил и поджарил на сливочном масле. Так она и пошла с шампанским, бичи ели да по-

хваливали. После пиршества Гуталин собрал остатки Найды, завернул в мешок и понес выбросить в тундру. Возле склада столкнулся с главным инженером.

— Куда это ты, Алексей, торопишься? — спросил инженер.

— Да вот, Юрий Алексеевич, кореш с материка баранинки прислал, несу ребят угостить.

— А-а, ну-ну.

И, уступая дорогу, Гуталин поскользнулся и упал. Голова Найды выкатилась к ногам хозяина. У того даже очки вспотели.

Глава X

Искрится тундра. Ни конца ни краю ей. На горизонте она сходится с таким же небом. Куда и сколько ни гляди — белое безмолвие, дух захватывает, как подумаешь: будто на верхушке земли находишься, а от тебя идут уже меридианы к другим странам и государствам.

Собачки потряхивают белыми, черными, пятнистыми спинами, ковыляют и ковыляют. Шипят полозья по чуть присыпанному снежным пушком насту, уносятся за горизонт две полосы от нарты и рассыпчатый собачий след. Время от времени какая-нибудь из собачек лизнет снег.

Ванька сидит за широкой, совсем не стариковской спиной деда и посматривает по сторонам. На душе неосознанное блаженство, то ли от девственной белизны снега, то ли от бесконечности пространств, то ли оттого, что встретил вот хорошего человека, который бескорыстно подал руку и вытащил из вертепа тоски. Из всех неурядиц жизни. Он благодарен старику — волна нежности так и обволакивает сердце, но сказать об этом стесняется.

— А на это, ангел мой, я тебе анекдотец расскажу. — Дед поудобнее устраивается, сует в редкозубый рот папиросу, чиркает спичкой. Облачко пронзительно пахучего дыма порхает мимо Ваньки и уносится в серебристую даль. Ванька тоже достает папиросу. — Вот слушай. — Дед с хрипотой затягивается. — Значит, едет цыган по степи. Да. Едет. Дело к ночи, на ночевку располагаться надо. Распряг он свой фургон, пустил коней...

— Попутал?

— Ну это... попутал или не попутал — другой разговор. Анекдот же.

— Непопутанных нельзя, опосля не найдешь.

— Ну ладно, — продолжал дед, — значит, попутал их, пустил. Потом стал ходить что-то вокруг своего воза, кнут, что ли, искал? Да. Ходил, ходил... споткнулся о хомут и говорит: «Тьфу, так твою, теснота-то какая!»

— В степи-то? — смеется Ванька.

— В том-то и дело, ангел мой, — дед поворачивается к Ваньке, — что у нас раздолье тут, слобода. Есть охота работать — работаешь, захотел отдохнуть — отдыхаешь. Никто тебе ничего, сам себе казак.

— Это да,—согласился Ванька,—и деньги тут хорошие.

— Да тут, ангел мой, и без них можно. Это у вас там без трех копеек в трамвай не сядешь, без рублика не пообедаешь. А у нас? Рыбы — руками бери, мяса — не ленись только, хоть оленя, хоть медведя, про дичь я уж не говорю. Вон коряки. Зачем им деньги? Они и сейчас в них ни клепа не понимают. Когда приедут пастухи от стада, ты понаблюдай! Петрунь им выдает только одинаковыми бумажками, или пятерками, или трешницами. Иначе скандал, идут к Василь Василичу: «У меня, однако, — дед, передразнивая их, заблеял козленком, — одна пумазка, а у него тесять». А у того десять червонцев, — уже обычным, раскатисто-громовым басом продолжает дед, — а у этого сотельная.

— Понятия, значит, не имеют.

— Не имеют, ангел мой, не имеют, — продолжал дед. — Когда с японцами торговали, когда японцам разрешали базы тут держать — без всяких денег обходились.

— Как же это? Эдак и надуть можно.

— А то! И надували. Чего ж не надуть?

Ванька задумался.

— В тридцать третьем году, Ваня, — засмеялся дед,— только что приехали мы, пошли на остров Верхотуров...

— Знаю, заповедник там, песцы.

— Тогда никакого заповедника не было. Ну вот. О-о-о! Ангел мой! Заходим в один чум, хозяин с хозяйкой пьяные лежат — японцы недавно были. Да. Пьяные — хоть выжми. И еще клянчат... за глоток тебе все отдадут, хоть и брать нечего. А кругом, Ваня, грязища! — Дед поворачивается к Ваньке. — О-о-о! Сырые, вонючие шкуры, зола от костра, собаки, тряпье... смотрим — копошится что-то в углу. Присмотрелись — дите. Грязное-прегрязное, голова в струпьях... а этим похмелиться.

— Да...

— Ну вот, ангел мой, слушай дальше. У моториста было зеркальце, он дал его другому пацану, что постарше, годков эдак двенадцать. Пацан глянул в зеркальце и — цап за зеркалом, цап, навроде мух ловит. Цап! — Дед показывает, как это было. На минуту замолкает. Слышно, как шипят полозья. Затем продолжает: — Да хоть когда по ярангам ездили или когда на охоте почаевать заедешь... одна голь оголенная. Правда, старшины яранг, шаманы — ничего. И кухляночка у него — чистенькая, и торбаса, и олени, и собачки, а остальные... — дед безнадежно машет рукой.

— А я в Оссоре корячку видел, в магазине торгует. Губы накрашены, в туфельках, волосы навроде конского хвоста.

— Э-э-э, ангел мой, это сейчас им Советская власть волю дала. Если у тебя в паспорте записано, что ты коряк, или чукча, или эвен, тебе и оружие бесплатно, и дом, и лекарства всякие в аптеке. Детишек ихних бесплатно в интернатах учат...

— Значит, надо так. Да и честные они. — Ваньке захотелось вступиться за коряков да чукчей, уж больно дед напустился на них.

«Да вон хоть и Яшка Айтаров, дяди Саши дружок, без всяких денег рыбакам помогал, а нерпушку тогда... и первый поздоровается, хоть до этого никогда не виделись», — подумал он.

— Это-то да, — соглашается дед, — зверя из чужой ловушки никогда не возьмет. Или потеряешь что в тундре, найдут, привезут. Насчет этого у них здорово.

— В прошлом году весной на неводе в Анапке дядя Саша наш аванец по пьяному делу потерял, восемьдесят тыщ... нес из банка да потерял. Опосля какой-то пастух-оленевод принес.

— Да это, — отмахнулся дед, — со мною получилось. Лет пять назад вез я Петруня из Оссоры, он деньги на весь колхоз получил, мешок, как раз подзавяз. А в дороге пурга прихватила. Она еще в Оссоре начиналась, да мы думали, успеем до Макарьевска... Да. Замаялись. Собачки на снег ложатся, хоть убей их, не встают. А мешок — килограмм полтораста, да и сам Петрунь не меньше, идти впереди упряжки не может. Что делать? Решили мешок бросить, опосля, мол, возвратимся. И бросили. Только добрались до Макарьевска, чаюем, вот он, вваливается укинский коряк с нашим мешком. «Ваши пятаки? Забирайте».

Он, оказывается, вслед за нами выехал, им же пурга — не пурга, еще лучше в пургу дорогу чуют.

— Здорово-то как!

— А ты уезжать!

— На родину тянет, дедушка. Прямо не могу.

— А ты думаешь, нас не тянуло? С ума сходили.—Дед задумывается, крупные морщины на его львином лице опускаются. — Привезли нас в Анапку треску ловить. Железо, цемент, оборудование всякое с нами. Строимся ночами. А кругом тундра да окиян. Куды денешься? А договор на три года. И я не выдержал, на втором году убег.

— Через тундру?

— Через тундру, ангел мой, не убежишь. Дорогу знать надо, да и горы там. Один человек от нас только до Питера на нарте добирался.

— Кто же это?

— Бекерев. Его теперь нету. Комиссар такой был. Колхоз он организовал наш, его фамилией наш колхоз назвали. А больше — никто.

— А ты как же?

— Директора надул, — небрежно крякает дед. — Весною напросился пароход разгружать, да на нем и остался, в дырку залез. Двое нас было. А во Владивосток приехали, вылезли: «Берите шпиенов». Они посмеялись и отпустили.

— Здорово.

— А потом раскручивались в «Интуристе». — Дед откидывается и поднимает палец. — По сто рублей за порцию трески платили.

— Здесь не наелись.

— Мильенеры ж.

— Фокусничали, значит.

— Фокусничали, ангел мой, фокусничали. До того дофокусничались, что у моего корифана на билет не хватило. А я ничего, добрался, слава богу, до своей Ростовской области. И с собою кое-что привез.

— И опять возвратился?

— Возвратился, ангел мой, возвратился. И ты возвратишься, ежели дурака не сваляешь. Ай не понял мой анекдот?

— Анекдот-то я, дедушка, понял, да скука зимой: работы в колхозе...

— Тьфу! — Дед гаркнул на всю тундру. — Тьфу... Не хотел ругаться, да ты на грех навел. Ну что тебе колхоз?

Сдался он тебе! Тьфу! Ты казак будешь, заводи дом, собачек, живность всякую, хозяйку работящую. Лови рыбку, делай икричку, балычок. Я на одной икре больше имею, чем вы в колхозе. — Дед, выпрямляясь, поворачивается. — Вот я. Чего у меня нету? Одних кустюмов тринадцать штук. Все, правда, старых фасонов, да мне новые и ни к чему. Книжка есть, и у меня и у старухи.

— И у ней и у тебя? — удивился Ванька.—Как же это?

— Она свои деньги держит на своей, —не поняв его, отвечает дед, — а я — на своей. Она редисочкой, лучком занимается. Опять же за разные лечения перепадает, она у меня и грыжу заговаривает, и сибирку, и поморозился кто... по женской части опять же. А ты — колхо-о-оз... насмешил. Я вот зимой вехи ставлю, летом в перевозчиках. Слободного времени у меня хоть отбавляй. Колхоз — тьфу! Без него обхожусь, слава богу. И нужен он мне как в петров день варежки.

— Это конечно, — соглашается Ванька. — Можно и без него.

— Можно, ангел мой, можно. Да еще как можно.

А собачки ковыляют и ковыляют, и потряхивают и потряхивают сбруей, стелется тундра под нарту. Вот и устье реки.

— Ну, давай, ангел мой, начнем наше дело.

— Да давай.

Работа у Ваньки с дедом не сложная: долбить под снегом полуметровые ямы и ставить в них четырех-пятиметровые ветки, вехи, по всей «дороге» до Макарьевска. Ванька орудовал пешней, ломом, лопатой, а дед развозил деревца, за которыми он ездил к сопкам, где заросли березняка.

— И лют же ты на работу, ангел мой, — рявкал он, подгоняя нарту с лесом. — Покури, отдохни. Надорвешься.

— Да я вроде не дюже стараюсь.

— Больше тридцати — сорока сантиметров ямы не бей. Куда это? Метровые разворотил.

— Дольше простоят.

— Зачем? Все одно новые на тот год ставить. Не рви пуп. Я тоже в молодости рвал, а теперь вот моча не держится... Парторг вот меня Чомбой прозвал. В колхозе говорят, что этот Чомба навроде нашего Колчака, а один инженер, что до Уки со мною ехал, говорил, наоборот, что

Чомба за революцию был, навроде нашего Чапаева... где-то в Индии только. Но мне все одно.

— А из-за парторга как? — возвратился Ванька к прежнему разговору.

— Приписали, Ваня, что я ему кулаком голову разбил. Чокнутый он теперь, пропал...

— Кулаком голову не пробьешь.

— Приписали, что камень у меня в рукавице был.

— Но не было же?

— По пьяному делу все... разве упомнишь... может, и был. Ну, ладно. — Дед приподнимается. — Продолжим нашу работу, а то заболтались мы.

И Ванька опять сбрасывает шубу, плюет на руки, раскидывает метровой толщины снег. Затем орудует пешней. Мерзлота, переплетенная корнями морошки и шикши, поддается с трудом. Дед валится в нарту, гикает на собачек и уносится за ветками.

* * *

В ненастные дни дед с Ванькой пурговали, отсиживаясь в палатке. Гудит раскаленная печка, на ней шипит чайник с «пунжей» — крепким чаем, перекипяченным особым способом, в который добавляется определенное количество спирта и сахара. Сама печка сделана камином, без дверцы, тепло так и пышет из нее. В углу на ящике с продуктами мерцает свеча. Ванька, засунув ноги в кукуль, лежит на мягком лапнике — ветках кедрача и смотрит на играющие угли. Дед сидит сбоку, на пустом ящике. С кружкой. Со смаком, маленькими глотками прихлебывает «пунжу». За палаткой бесится пурга. Ей подвывают собачки, иногда вся упряжка зальется хриплым лаем — где-то рядом лиса или росомаха.

— А жить, как я посмотрю, ангел мой, ты совсем не умеешь, — громыхает дед, дуя в кружку. — Не понял, что главное в жизни.

— А что? — Ванька тоже наливает себе ароматной жидкости. Отхлебывает. По всему телу разливается бодрящее блаженство.

— Главное в жизни — это борьба, — утверждает дед. — Как и в природе. Все на один манер устроено. Сдачи надо уметь давать, постоять за себя. А ты, как я погляжу, совсем не умеешь.

— Не умею,— признается Ванька.

— Нюжли на кулачках никогда не дрался?

— Как же. Сколько раз. Дружок у меня был, Петька. Задира такой. Вот мы вдвоем и колупались против других ребят. До крови даже.

— А за себя ты дрался?

— Да вроде не приходилось.

— А ты за себя моги, не за кого-то. В природе вон любая комашка за себя стоит. Опять же крепким надо быть, зубами за жизнь держаться надо. Жизнь тебя гнет, давит, а ты — нет! Нет, и все тут! Не сдавайся. Я тыщу раз, может, испытал это. Да. — Дед тянется к чайнику, крякает. — Лет десять назад на охоте со мною приключилось... сплохуй я тогда, крышка бы мне. Осенью дело было, морозы уже. Сам знаешь, какие у нас осенью морозы, когда снега еще нет. — Дед прихлебывает из кружки, задумчиво смотрит себе под ноги. — Речку в горах переезжал, на перекатах она еще не стала. — Дед замолкает, забывает про «пунжу». Пережитое прошлое, видимо, и сейчас тревожит его. — До того берега, может, метров пять осталось, может, меньше. И лед под нартой обломился. И понесло на перекат. Забурлило, смешалось... Одни собачьи головы между льдин. Ухватился за нарту, она укутана палаткой хорошо была. Пролетели по валунам и ямам, а там опять лед, торосы. Гремит все... и тянет под лед. Нарта уперлась в льдину передком, а корму засасывает. Передние собачки уже на берегу лапами скребутся, а задних под лед тянет, тормозят. Сам по шею в воде. Так-то, ангел мой...

— И как же ты?— Ванька забыл про «пунжу».

— Да как же? Собрался с силами да как гаркну на собачек: гого-го-го-оо! — Дед рявкнул так, что пламя свечки заметалось. — Потом изловчился, достал нож и задних отхватил — их тут же под лед хлюпнуло. И опять го-гого! И выскочили. Через минуту навроде лыцаря стал. Изо льда. Скорее спирту, костер...

— А те, что обрезал, пропали?

— Один Кучум прибежал. И, веришь, Ваня, худой-прехудой. — Дед наклоняется к Ваньке. — Один шкилет. За какие-то две или три минуты, что подо льдом до другого переката пролетел, шкилетом стал.

— А нагда, — дед выливает «пунжу» в чайник, наполняет кружку новой, обжигающей порцией. То же самое делает и Ванька. — Нагда, Ваня, нахрапом да криком

нельзя. Не возьмешь. Надо тихоней прикинуться, овечкой. Навроде блаженненького.

— Я, наверное, не смогу, — признался Ванька.

— Жизнь всему научит. Всему.

— Да, плохо тебе, дедушка, в жизни пришлось. Сколько ты... перетерпел.

А пурга за палаткой посвистывает и посвистывает, сырые кедрачины в печке потрескивают и потрескивают. Чайник с «пунжей» шипит.

— А еще говорят, в колхозе не работаю. Выработался, хватит. Пущай другие с мое поработают.

«Да, ты наработаешь в колхозе, — подумал Ванька о деде, — как же...»

Но вот пурга кончается. Опять проглядывает солнышко, искрятся дали. Воздух хрустит, когда набираешь его полную грудь. И сама тундра какая-то... счастливая, что ли?

— Ваня-а!—орет дед на всю тундру.—Сколько волочь?

Ванька делает рукой столько отмашек, сколько вех нужно, — до деда ему не докричаться.

— Ну мы и даем!— с гиком подгоняет нарту дед. — Скоро в Макарьевске будем.

Глава XI

— Моя Клавдя шить, варить — не буду говорить, — смеялся Володька за столом, — а вот насчет культурностей — золотые руки.

— Володя, — с упреком пела Клавдия.

Пробыли Ванька с дедом в тундре почти месяц. Ванькина тоска чуть приутихла, возможно, работа среди снежных просторов развеяла ее, а может, та частичка сердца, уж очень переполненная ею, отболела. Под конец даже в Дранку захотелось.

В общаге попритишало. Муроводы уехали в Оссору ремонтировать сейнер, что лежал где-то под снегом на косе, в их комнату вселился Володька Прохоров с женою.

Женился он. Взял сезонницу из комбината. Она только приехала на Камчатку, в комбинате работала табельщицей. Ваньке она что-то не очень понравилась, точнее, он ей не понравился. Когда ели оленину, Ванька мясо взял руками —камчатский обычай мясо брать руками, целыми кусками, потом ножом отхватывать у самых губ, — она пододвинула ему отдельную тарелочку, ножик сунула в правую руку, вилку — в левую. Подала салфеточку. Ванька

вертел, вертел ее, стал пристраивать за шиворот — у Клавдии губы дрогнули, подавляя улыбку, она взяла у него ее, положила на колени.

— Оно, братцы, жить бы можно, — продолжал Володька, — да культурности заедают.

— Володя...

— Клавочка.

Клавдя была хоть и не первой молодости — но и сам Володька не первой, хоть чумурудный иногда бывает, как пацан, — но форс держала: губы намазаны сразу двумя красками, к глазам подрисованы крылышки, а на голове прямо копна, даже не верилось, что у бабы столько волос может быть. Ногти тоже накрашены, но какие-то не такие... не как у настоящих фиф: у тех они востренькие, культурненькие, а тут намазаны, и все. Так бы и Ванька свои мог. И все на ней какое-то не такое... вот хоть жук, что на правом плече сидел, или браслет из такого же стекла. Будто то, да не то.

И видно, что все эти стекляшки дешевые-предешевые, а туфельки еще чуть — и каши запросят. «Только приехала, — отметил Ванька. — Не успела еще обарахлиться... а Володька свои за зиму прожил, да еще алименты у него».

Ребята из других комнат целыми днями пропадали на работе — уже были выбраны бригадиры и звеньевые на ставные невода, команды на сейнера. В сетепошивочном цехе капитаны и матросы шили снюрневоды[1] и кошельки[2], механики на сейнерах перебирали машины. Все готовилось к путине.

Мишка сколачивал строительную, точнее, комплексную, бригаду: из плотников, бетонщиков, штукатуров.

Солнышко подольше задерживалось на небе, снег плотнел. В промежутках между пургами — пурги теперь были недолгие, дня на три — на крышах повисали сосульки, а когда солнышко припекало настойчивее, капало с крыш. В воздухе при утренничке дрожали серебряные нити и было тревожно. Чувствовалось, что весна где-то рядом, и сильная-сильная. Хоть и не показала себя еще, но все, просыпаясь, трепетало перед ней.

Оттаивала и Ванькина душа.

Проснувшись как-то утром, когда золотистые пелёны из окна, разгораясь, лежали на оленьей шкурке перед крова-

---

[1] Снюрневод — разновидность трала.
[2] Кошелек — невод для ловли сельди.

тью, Ванька съежился в сладкой истоме и потянулся. Промычал что-то.

— Силу некуда девать? — улыбнулся Мишка.

— Да навроде, — зевнул Ванька.

— Сегодня для флота шлюпки начнем клепать.

— Хоть пароходы.

В эти же дни произошла встреча с Эллой Ивановной. Он, кстати, боялся этой встречи и по возможности избегал ее — как ни говори, а предательство вышло, ведь не пришел тогда. Столкнулись возле магазина.

— Вот! — воскликнул он, придерживая ее. Он чуть не сшиб ее в сугроб.

— Ваня! — обрадовалась она. — А обгорел-то как! Здравствуй!

— Здравствуй!

— Я тоже в тундре была, смотрела, как наши оленеводы живут. Хотела к вам заглянуть, да мы же, бабы, трусихи. Ну как дела?

— Да и ты загорела. Ничего... работаем...

— У меня тоже начались дни золотые, причесаться некогда...— В ее голосе звучало участие, ласка, радость. Он это почувствовал сразу, и на душе стало легко. Так смотрит — не то чтобы стушеваться, а, наоборот, обрадовался этой встрече. Будто с давнишним приятелем встретился, хоть за пузырьком беги.

Отошли в сторону, минут десять болтали. Проходивший мимо Мишка подмигнул Ваньке, она засмеялась, а Ванька хотел Мишке по морде врезать. Но ничего, все равно на душе было легко и сам он себе казался хорошим-хорошим. Даже вприпрыжку побежать захотелось. Глупость, конечно, но что ж поделаешь, раз такое настроение?

А Геннадий метался по колхозу — он остался главным инженером за Юрия Алексеевича, уехавшего с женою в отпуск на шесть месяцев. Собирал бригадиров, капитанов, инженеров. Все совещались да планировали. А дел-то! Флот, ставные невода, снабжение, отгрузка зимнего улова наваги.

А тут вот-вот грузы навалятся: бочкотара, соль, цемент, лес, железо...

Не хватало матросов на сейнера, рыбаков на невода, бульдозеристов, трактористов, квалифицированных сварщиков, механиков.

Совсем не было барж и катеров для переселения ивашкинцев и укинцев.

Встретил его Ванька как-то на улице — Геннадий был тоже загорелый, похудевший, они с директором комбината шли, про аренду плавсредств, что ли, спорили? — он даже не заметил Ваньку. «Совсем замотался»,—подумал Ванька.

Дранка, намуроводившись за долгую зиму, просыпалась. Зевала, потягивалась.

«А там лето... и домой».

Глава XII

А тут вдруг все замелькало, все закружилось.

Сразу же после пург солнышко так начало жарить — чудо, да и только, — так жарить, что смотреть невозможно. Кто работал на воле, пообгорали. У Ваньки шкурок сто с носа слезло, а кончик его порозовел. Дотронуться невозможно, особенно если брезентовой рукавицей.

За какие-то две недели снежище, что высился до труб, набух, потемнел и мутными ручьями сбежал в речку, прихватив разные пустяки: бревна, бочки, насыпные грядки с огородов. Похилил плетни. И сразу трава. Так поперла, что не успели оглянуться, как до пояса уже. В тундре закрякало все, затрещало, захлопало крыльями.

Тут и Мурашова приехала. Какой там дом, какое там Куприяново со всеми знакомыми, кого провожал да обнимал у калитки, — тут так затеплилось и защекотало под ложечкой, что хоть на работу не ходи. А сиди на берегу речки и думай — все про нее, — улыбайся. Только чтоб никто не видел, а то... Да ладно, шут с вами совсем, нате смотрите, какой я!

В общем, на свадьбе Мишка с Володькой так плясали, так вбивали каблуки в пол, что у Мишки один каблук щелкнул и покатился под скамейки. Мишка ботинок вслед и — одна нога босиком — продолжал.

Наконец дядя Саша в изнеможении разломил гармонь на колене и прохрипел: «Не могу». Мишка взял «губастый» стакан с шапкой шампанского, поднял над головой:

— Выпьем, друзья, все сразу за моего верного товарища и его жену!

— Горько-о-о! — заорали.

А Мурашова схватила Ваньку за лацканы пиджака, подтащила к себе и поцеловала.

— Вот так вот! — И Мишка стаканом об пол.

И завертелась машина.

Всей бригадой в четыре дня махнули Мишкин дом, и Ванька с молодою женою вселился туда — расчеты и счеты все опосля решили. Дом новенький, сосной пахнет. Пол отшлифован до блеска, хоть в микроскоп рассматривай, никаких пазов не заметишь — они с Мишкой сначала его шпаклевочкой, потом шкурками, а потом краской да лаком. Ступишь — полоски от носка так и тают.

— У министра и то таких полов не бывает, — сказал Мишка.

Занавески новенькие, солнышко брезжит через них. Правда, ничего больше в доме не было, только кровать с periною — дядя Ваня приданое за дочку деньгами дал, которые частично ушли на уплату за дом, а больше, кроме старой мебели, у него ничего не было. Да они и не взяли, разве что стол, да и тот на кухне поставили, чтоб вида не портил.

— Вань, — сказала Мурашова, сидя на единственном стуле, — а ведь у нас ничего нету.

— Все будет. — И Ванька поднял ее вместе со стулом. Потом нежно переложил на одну руку, стул потихоньку, чтоб не портить пол, поставил на место.

— Резина, а не руки.

«Все будет...» Четыре или три часа в сутки спишь — и ничего... нормально. Не знаешь, куда силу девать. В бицепсах свербит, голова как стеклышко, а на душе покой. Топор сам хватает доску или бревно.

На работе время проходило незаметно. В речке тарахтели сейнера — их же теперь много стало, после объединения, — пришедшие за топливом, тралами, продуктами, месил воду труженик «Бегун», таская от пароходов баржи с цементом, лесом, оборудованием всяким, за Дранкой, где закладывались «Черемушки», маячили кучи грунта и материалов, возле которых стрекотали бульдозеры и копошился народ. Не успевал оглянуться, как уже четыре часа. Потом бежал на шабашку — подрядились с ребятами пирс отлить в нерабочее время. Дом Михаилу не стали закладывать, в колхозе запланировали на этот год всех обеспечить жильем. А по выходным или когда на пирсе не давала работать погода — дождик, например — возводил сарай. Мурашова — спасибо дяде Ване за дочку — помощницей оказалась что надо: и доски помогала пилить, и столбы придерживала, когда он втрамбовывал их в мерзлоту, и землю откидывала. Крышу без нее бы не покрыл.

А хорошо засыпать после дней сутолоки! Она уткнется

носом в его подмышку и сразу затихнет. А он вздыхает все, не может уснуть. И курить не встает, чтоб не потревожить ее — даже позу не переменит, когда рука онемеет. Все думает, думает... как дальше.

Не заметил, как и лето к концу. Во как бывает!

Геннадий, его теперь утвердили главным инженером на постоянно, разворачивался. Когда только и спал. Сапоги, наверно, с плащом да кепкою не снимал. На ходу, на чьей-нибудь спине, наряды да заявки подписывал.

У Мишки тоже хлопот полон рот с этим комплексом: не только плотницкие работы самому знать надо, но и сварку, и электрику, и земляные, и бетонные. А расценки? — там сам черт ногу сломит. Володька же, как и Ванька, плотничал. Все тоже нормально, только семейная жизнь у него не очень ладилась. Клавдя никакого спуску ему не давала, хоть он и тертый мужик.

Возвращались они как-то с шабашки — сваи в этот день били, — кто-то из ребят и скажи:

— Пивца бы.

— Как оно, братцы, с устатку помогает, — сказал другой. — Прямо как лекарство.

— Так в чем же дело? — засмеялся Володька. — У меня, правда, не пиво, а квасок. Айда, братцы!

Подошли к общаге, Володька не повел их в комнату. Ждут они. И вдруг крик на весь коридор:

— Бич, алиментщик! — Чувствовалось, что Клавдия и рукам волю давала. — Домой не приходишь, все с бичами хороводишься, паразит! Глаза бы мои не видели, с ними и оставайся!

Володька пятился назад, одной рукой заслонясь от налета, в другой—банка с квасом за спиною. А она еще пуще:

— Хороводится с компаниями, алиментщик...

Трудно было ему марку держать.

Осенью в колхозе организовалась бригада на обработку жировой сельди в Пахачу, Юрий Алексеевич, как тамошний начальник, набирал ее. Впрочем, практически всем этим заворачивал бригадир, дядя Саша Демидов, не один пуд соли на этом хлопотливом деле съевший. Брал он в основном сезонников.

— Нам бы туда, — вздохнула Мурашова.

— Инженер не пустит, — сказал Ванька, — плотников здесь не хватает. В Уку на разработку птичника не знают, кого посылать. Да и бригаду бросить неудобно.

— А что тебе бригада? Главное — заработок. А там раза в три больше заработать можно.

— Это-то да... кто ж против этого? Но итить в правление...

— Зима наступит, на откопке снега, Ваня, много не заработаешь. Или опять с Чомбой вехи бесплатно ставить?

— На зиму столярный цех открывают. Здание уже заложили.

— У нас столько долгов... даже не знаю, когда с Михаилом расплатимся.

— Мишка подождет.

— И на люди выйти не в чем, — обиженно продолжала она, — надоело в старье щеголять.

«Что верно, то правильно, — задумался Ванька. — Это конечно, но в бригаде многие рвутся в Пахачу, особенно кто недавно в колхозе, Геннадий даже не разговаривает по этим вопросам».

— Без толку, — вздохнул он, — Геннадий не пустит.

— А что тебе Геннадий? Ты к Василь Василичу.

— Нет уж.

Ох как неудобно стоять на зеленом ковре перед председательским столом! Василий Васильевич только глянул и сразу:

— Понимаю тебя, Иван, но ничего не получится. Ты здесь нужен.

— Да жить-то надо, Василь Василич.

— Жить надо. — Председатель задумался. — Это ты верно говоришь.

— Дом поставил, а он пустой. И расплатиться ж за него надо.

— Это верно, жить надо, — еще раз повторил председатель. — Всем жить надо. Вот до холода электростанцию пустить не успеваем, а ее пустить надо. Чужим рабочим платим командировочные, а своих нету. Двойную зарплату платим чужим.

— Василь Василич... — «Хоть провались...»

— Ты ведь и жену с собой возьмешь. А на ее место нам опять человека искать. Она у тебя штукатуром работает?

— Ну, Василь Василич... — Ванька уже собрался отработать задним, как флотские говорят, но председатель поморщился и написал в верхнем углу заявления: «Не возражаю». И не глянул на Ваньку, как это всегда было.

Как чумовой брел из конторы. Пришел, молча повалился на диван — жить не хотелось.

— Так и знала, — ворчала Мурашова, — одного человека им жалко отпустить.

Ванька не шевелился.

— Ванечка, хороший мой! — встрепенулась она, увидев заявление. Прыгнула к нему на диван, стала целовать. — Расскажи, как было!

— Противно все.

— Опять ты за свое? Ну что тебе другие? Жить-то нам с тобою.

— Это-то да... да ведь живем-то не в лесу, сама понимаешь. Что я ребятам скажу?

— Ничего, Ваня, ничего, все пройдет, вот увидишь.

Глава XIII

Все прошло, конечно, она права оказалась. В Пахаче не до этого было. В конце августа как повалила селедка, как повалила — только успевай принимать. Сейнера, загруженные ею по рубки, — и как только не потонут? — толпятся у причала, ждут очереди. Просрочил чуть, хоть на полдня, она протухла — рыбаки матерят все до земного пришествия. Помогают обработчикам и соль таскать, и лед колоть, и бревнами ее в чанах ворочать. Но все равно никак невозможно успеть.

Намотаешься за смену так — ведь все работы, за исключением рыбонасоса, который сосет ее из трюмов, вручную, — что ничего не замечаешь, бредя к палатке. И силы нету сапоги снять. Только забылся, дядя Саша хрипит над ухом, тянет за сапог. Рядом Юрий Алексеевич топчется, протирает очки. А у причалов шум — уши синеют даже у закаленных, — это рыбаки повезли ее назад в море, не принятую. Или выкачивают в береговой песок за цехами. Какое-то дурацкое распоряжение: нестандартную не брать. Как на сотню селедочек пять штук меньше двадцати пяти сантиметров — стандарт двадцать пять сантиметров, допуск пять процентов, — приемщик не принимает у рыбаков. Повезли на свалку! Асс-са-а-а! Тоннами! «А рыбка-то, — думал Ванька, — от жира ломается».

Это-то и убивало его, сколько ее не в дело идет.

— Ведь в магазине она рубль восемьдесят кило. А если копченая, то и все два тринадцать. В Куприянове же люди, кроме ржавой тюлечки, ничего не знают, да и та в

сельмаге в год раз по обещанию бывает. Камчатка-а-а...

А по берегу хоть не ходи. И глаза закроешь, и уши заткнешь, и нос, но сапогом все равно чувствуешь — мурашки спину обсыпают, — как каблук со скользким писком выдавливает из нее кишки. «Вредители, что ли, там, наверху! Что ж они? Ничего не видят, что ли?.. посворачивать бы морды всем пузанам...»

Успокаивала Зина. Она тоже с работы приходила усталая — у обработчиц на укладке не легче, ящичек шестьдесят килограммов, а сколько их за смену через руки пройдет?

— Брось, Ваня. Что ж поделаешь. — Она клонилась к нему. —Так жить тоже нельзя... вот послушай: возвратимся в колхоз, получим деньги за сезон, сразу много. Я насправляю себе платьев, зимнее пальто, осеннее. Тебе тоже... костюмов. Знаешь, Ваня, когда я укладываю ее в ящики, то вместо селедок иногда туфельки перед глазами мелькают. И радостно становится... Мелькают и мелькают, разных фасонов.

— С устатку, может?

— Да нет же, Ваня. А у тебя не бывает такое?

— Тоска разве что.

— Ванечка!

Обработчики и рыбаки зарабатывали, конечно же, бешеные деньги — с большим потом, правда, особенно рыбаки: за лето в колхозе погибло трое шлюпочников, когда тайфун застал флот на промысле. Еще три могилки с якорями за Дранкой появятся.

Кстати, этот тайфун сдул со своих мест почти все большое начальство, которое разрешило выход в море.

Катая бочки на баржи или ворочая бревном в чанах, Ваньке хотелось заиметь великанскую, какую-нибудь нечеловеческую силу, вывернуть телеграфный столб и сокрушить все подряд, не оставив камня на камне. «Ну, люди... шут с ними, пусть живут да жадничают».

Такие мысли обуревали, видимо, не одного Ваньку, в бригадах пошел ропот... Юрий Алексеевич с дядей Сашей, видя такое дело, ограничили приемку и обработку рыбы: сейнера в море стали выпускать по очереди, команды простаивавших судов рассовали по бригадам. Дядя Саша на свой риск стал принимать и обрабатывать нестандартную, так называемую пеструю сельдь.

— Погорим мы с тобой, Александр Яковлевич, — тревожился Юрий Алексеевич, — ее ведь могут у нас не принять.

— А это мы посмотрим.
— По низкой цене сдадим.
— Не пропадать же добру.

В конце сентября, как раз в завал рыбы, приехал Геннадий. Изменился он не только внешностью. У губ пролегли твердые складочки, походка уверенная, в голосе прорезались властные нотки, взгляд стал тверже, насмешливее. Первым делом он напустился на Юрия Алексеевича с дядей Сашей за самоуправство. Несдобровать бы им, наверное, да тут комиссия из Москвы. Местному начальству попало на орехи. Но все равно Геннадий так проволок Юрия Алексеевича по бездорожью при всех, что тот только морщился, протирая очки. Досталось и дяде Саше. Но дядя Саша обрезал его:

— Заткнись, цуценок... на горшок сначала научись садиться, опосля кричать будешь...

— Если увижу на работе самоуправство,— Геннадий посерел от злости,— сниму.

— А ты меня не ставил! Меня ставило правление колхоза, за продукцию отвечаю и я.

А Геннадий развернулся: у соседнего колхоза раздобыл шлангов на рыбонасос, организовал еще одну приемную точку. Рабочими ее обеспечили — в поселке навербовал сторожей, каюров, охотников, с милицией договорился, чтобы всех пятнадцатисуточников посылали на эту точку. Деньги этому «интернационалу» — так их окрестили — выплачивались через каждые три дня.

Чаны поставили прямо под открытым небом, риск, конечно. Флот весь выгнали в море.

— Привет сезонникам! — подковырнул он Ваньку, встретившись, и, как всегда это было, протянул руку. Впрочем, в пожатии руки и в голосе было не то, не дружеское: «Как дела, Ваня?», а шутка и снисхождение. «Недовольный, наверное, что я за длинным рублем сбежал»,— виновато подумал Ваня.

А Мурашову обволок ласкающим, дымчато-восторженным взглядом. Глаза так и говорили: «Зиночка». Словами же сказал:

— Как похорошела! И не узнаешь сразу.

— Что вы, Геннадий Семенович, какое тут хорошение? — засмущалась она.

Действительно, какое там хорошение? Она похудала, почернела от загара, у глаз лучики. Да еще в бахилах из резины или проолифенной куртке шестидесятого размера.

— Еле ноги таскаем, — продолжала, рдея под его взглядом, и в ее глазах таяли озорные искорки.

— Ничего, в колхозе отдохнете, — еще ласковее продолжал он, потом быстро, настороженно как-то глянул на Ваньку — у Ваньки защемило все и перевернулось внутри. «Неужели и здесь пройтись хочет... Надьки ему мало».

— Скорее бы, — вздохнула она, а смотрела на Геннадия еще игривее.

«Специалисты... по подмигиваниям».

— Ну, братцы, пока. — Геннадий ушел.

А хотелось поговорить совсем по-другому, как на ковчеге, когда перед сном Ванька рассказывал про свое Куприяново, Володька про торгашеские махинации, а Генка до слез смешил ребят студенческими проделками: «Какой тут сон, товарищ профессор? Одно мучение».

В обеденный перерыв нашел его все-таки, стал расспрашивать про ребят, как там Мишка с Володькой. Геннадий отвечал односложно, разговаривал в то же время с другими. Сказал, что Мишка «молотит что надо... такую птицеферму отгрохал», а «Прохоров с женою воюет... собирается выгнать его из дому».

В двух словах рассказал, как с Володькой, возвращаясь с сенокоса — Володька ушел из плотницкой бригады, сено теперь косит, — натолкнулись на медведя. Был дождь, их ружья висели за спинами. Они шли по-над берегом моря, закрывшись от ветра и дождя башлыками. И тут медведь. Он шел по тропинке впереди них. Он кинулся на Геннадия, у Геннадия ружье ремнем зацепилось за башлык, потянуло весь плащ на голову. Крышка бы ему, да Володька — у Володьки ружье было разряжено — догнал медведя и стал колотить прикладом. Медведь на Володьку, а Геннадий подоспел, влепил ему в ухо два заряда. И еще одна новость: Василий Васильевич в Петропавловске, в больнице.

Когда Ванька заикнулся о рыбе, сколько ее пропадает, Геннадий махнул рукой.

— В море ее много. — Потом серьезнее стал, даже нахмурился. — Самоуправством занимаетесь, тысяч десять центнеров прохлопали, а это четыре миллиона денег, черт возьми! Это капитальные постройки, сейнера, единая отопительная система в Дранке... на собаках дрова возим...

— Да пропадает же ее сколько, Геннадий Семенович! — вставил Ванька. — Ведь добро же.

— Главное, Проскурин, деньги, они погоду делают. Ре-

зультаты, Проскурин, результаты. А они у нас, как видишь, не плохие. А могли бы быть лучше, кстати, если бы вы только высший сорт обрабатывали.

— Геннадий Семенович, ты, наверно, недоволен, что я на обработку сбежал, бросил бригаду?

— Ну что ты! — поморщился Геннадий. — До этого ли мне? Заниматься душевными нюансами? Вас вот сотни... Нет, работай спокойно.

Так и не поговорил, как хотелось и о чем хотелось. Еще раза два собирался подойти, но никак: Геннадий вечно спешил, в конторе к нему не пробьешься.

— Ты не знаешь, что такое «нюанс»? — спросил он жену, когда ложились спать.

— Что такое «эскиз», знаю, а «нюанс» нет. Наверно, тоже по художественной части что-нибудь.

— Нет, тут что-то душевное.

— Тогда из медицины... спи.

Как тут уснешь, когда кругом такие нюансы творятся. «И все Геннадий, — ворочался он. — Василь Василич небось бы такого не допустил, чтоб добро пропадало. Как он тогда инженеров да бухгалтеров за уголь распекал».

Этой весной в конторе выбило дождем два стекла. Мишка послал Ваньку вставить их. В соседней комнате шло заседание правления. Ваньке все слышно, о чем там толкуют.

— Так нельзя, — говорил Василий Васильевич. Он говорил тихо, но чувствовалось, что недовольный-пренедовольный. — Уголь выгрузили и забыли о нем. А там тонны три в песке осталось на берегу. А тот, что вывезли с барж, даже в общую кучу не сгребли. Пойдут дожди...

— Людей нет, — это Геннадий.

— Людей нет? — не повышая голоса переспросил председатель. — Снимите на один день конторских служащих, и веничками пусть подметут. Деньги заплатите по аккордной расценке, дополнительно к основной зарплате. Вот вам и люди. Тонна угля обходится колхозу в девяносто рублей, вы экономите на девяти рублях. И дело, думается, не в этом. Все дело в отношении к колхозной собственности. Рыбак почему-то на рыбку ногой не наступит, так же как и хлебороб на хлеб, а мы топчемся по той же рыбке, по тому же хлебу...

На другой день бухгалтерши да учетчицы понадевали штаны. Сам Петрунь забор из досок вокруг кучи угля городил.

«А тут рыба, — думал Ванька, уже засыпая, — если бы

до дела довести? Сколько бы пользы всем было, да и денег колхозу... правда, денег и так много идет, но все равно. А Василия Васильевича жалко. Нет бы Чомбе захворать, все одно груши околачивает, так нет же... укатали сивку крутые горки: каждый день, как шесть часов утра, ходит по колхозу, смотрит да думает все». Впрочем, Василия Васильевича жалко было не из-за этого, а так что-то... сам не знал за что. Теперь Геннадий за дело возьмется, хватка у него, кажись, что надо. Шурует... да и насчет бабья... от жох.

И по этому вопросу — действительно жох — Геннадий развернулся. Поварихе, сдобной казачке с косою вокруг головы, из сезонниц, списал, поговаривают, большие деньги. Потом с нею, когда случилось флоту простаивать у причалов из-за погоды, совершал вверх по речке, в наиболее живописные места, прогулки. Да и не только с нею. Сезонницы из «интернационала» так и говорили: на хорошую работу не поставят, пока на главного инженера ласково не посмотришь. Сами тоже хороши! Идет он по цеху, так и подкатываются:

— Геннадий Семенович, сапог проколола, — так это воркующе,— как бы заменить?

— В контору зайдешь,— отвечает.

В общем, поговаривали, да оно и так видно, что Геннадий специалист не только по хозяйственным вопросам. Через две недели он умчался на западное побережье, на другой участок колхоза. Повариха особенно не расстроилась, и даже коса ее не потоньшала.

Больше всех колхозных капитанов — не только своего колхоза — привозил Страх со своими муроводами. Ночь, полночь, шторм не шторм, они в море. А в ноябре, когда на несколько дней зарядили шторма и портнадзор запретил выход в море, они ночью сорвались. Выключили ходовые огни и как пираты ушли. Через два дня, тоже ночью, возвратились. Залитые рыбой по лебедку, вся Пахача удивилась.

Сам Страх и все его кадры во всю путину, между прочим, были неузнаваемы — трезвые, ни в одном глазу. Дядя Саша спросил как-то Гуталина:

— Я тебя, Леша, не узнаю. Бросил пить эту заразу?

— Стоит ли, дядя Саша, душу расстраивать во время путины? — ответил.— Мы уже после. Капитально.

— Ты, Леша, настоящий рыбак,— сказал Демидов.

Сам Страх по берегу ходил павлин павлином, даже под ноги не смотрел, вышагивая.

Областное начальство собрало как-то капитанов и стармехов, о дисциплине вопрос стоял.

— Насчет этого у меня на судне и разговоров нету, — сказал Страх, узнав, в чем дело.

— И к бабке не ходить, нету, — добавил Краб.

И они пошли, хлюпая отвернутыми голенищами сапог.

— Николай, куда же ты? — кричал секретарь райкома. — Что же ты бросаешь нас?

— Мне кошелек чинить надо.

В другой раз скандальчик устроил, настоящий. В очереди по сдаче рыбы директор комбината хотел один сейнер принять не в очередь, по блату будто бы. Страх не уступал, его очередь подошла.

— Страхов, подождешь, — метался по пирсу директор.

— По каким таким правилам?

— Я не собираюсь перед тобой отчитываться.

— А я не собираюсь отшвартовываться.

— Уходи.

— Не.

— Уходи, тебе говорит директор комбината!

Выпятил грудь Страх и, повернувшись к Гуталину, вертевшемуся на палубе, добавил:

— Заводи двойные концы, Алексей Василич.

— Милицию позову.

— А ну, Алексей Василич, тащи линеметательную пушку[1].

— И заряди ее усиленными, — грозно добавил Краб.

Черт его знает, что у них на уме? Похлеще штучки отмачивали. Так и отступился от них. Квитанцию за сданную рыбу они не взяли.

— Директору на конфеты, — сказал Страх приемщику.

По флоту о них ходили анекдоты. Рассказывали, что в море Страх по нескольку суток торчит на мостике, не спустится вниз, пока не найдет косяк и не обловит. А найдет, становится одержимым, орет, сам во все вмешивается, а если рыба начнет уходить из кошелька — неудачный замет, например, или еще какая неполадка, — заставляет матросов прыгать в море, чтобы задержать ее.

Свой «Спутник», так они окрестили сейнер, что зимой

---

[1] Линеметательная пушка — аварийное приспособление, которым в шторм выстреливают выброску на другое судно.

из снега выкопали да отремонтировали, он прямо облизывает: и лазит, и лазит по палубе с молотком или кистью. Или с неводом возится. На мостике кто-нибудь из матросов, чаще всего Моль или механики — всех он обучил управлять сейнером. На общесудовом собрании, когда перед путиной принимали соцобязательства — кстати, соцобязательства они не приняли: рыбу, мол, ловить — не дрова колоть, рассчитывать не положено, а сколько поймаем, столько и поймаем, — они записали в протокол единственное предложение, которое внес Гуталин: «Работать так, чтобы товарищу было легче». На том и порешили, подписались все внизу страницы.

Наступил ноябрь. Забухала с треском обесснеженная земля, обросли причалы льдом, забушевали страшные, какие бывают только в Беринговом море осенью, штормы. Ветер раскачивал фонари на столбах, заворачивал вместе с досками толь на крышах рыбцехов. Путина кончилась. Рыба, нажировавшись у берегов Камчатки, ушла в океан, на глубину, на зимнюю спячку. Теперь придет только весной икру метать.

Опустело все в Пахаче. Безлюдье и бездвижье. Только высятся яруса бочек и ящиков с рыбой, которые надо отгрузить на пароходы, да в чанах досаливается последняя партия, которую тоже надо загрузить в ящики и бочки и тоже отправить.

Разъехались обработчики. Сезонников пароход на материк увез, колхозников — свои сейнера в колхозы. Для обработки и отгрузки оставалось по бригаде в каждом колхозе. Они завершали кампанию.

— Ну вот, мы скоро дома будем, — сказал Ванька, собираясь укладывать вещи.

— Вань, — Мурашова опустила глаза, — может, останешься? Ведь по двойной цене ее отгружать будут.

— Да у нас вроде ничего получилось.

— Дядя Саша говорил, что аккордные наряды закрывать будут с тройным коэффициентом: за холод, за условия, за сверхурочные. Может, до конца... какой-то месяц.

— Это-то да, — согласился Ванька.

Глава XIV

Двадцать человек обработчиков, что остались на отгрузку, ютились в одной палатке. Докрасна раскаленная

печка гудела сутками, стоять возле нее невозможно, а по углам снежок со льдом. Спали одетые, укрывались матрацами — их много осталось после отъезда сезонников. Дядя Саша с Юрием Алексеевичем тоже вместе со всеми.

Ну и работка! Врагу бы такую не пожелал. В цехах колотун ватные штаны прожигает. Тут же палили костры, грели воду, чтобы растопить льдистую корку в чанах, иначе, перемешивая, побьешь рыбу, сами приплясывали возле них. То один, то другой ругался, растирая тлеющую штанину или рукав.

Особенно плохо приходилось, когда пароходы подваливали: из-за погоды они задерживались, потом приходили вместе. В такие времена дни путались с ночами, работаешь, пока двигаются руки и ноги, — за простой парохода с колхоза драли бешеные деньги. А иногда по неделям приходилось отсиживаться в палатке.

Тоска. Зины нету. Шлепая картами возле гудящей печки или катая бочки от баржи, Ванька думал о жене. Как она там? Целыми днями одна, дом пустой, ни дров наколоть, ни воды принести. А может... пойдет на гулянку, а там Геннадий — вспоминался его ласкающий взгляд, воркующий голос. Может, специально и уехала, чтоб крутнуть? Мог и уговорить, у него это свободно. И перед глазами вставало: Геннадий мягко и настойчиво обнимает ее, она расслабленно сопротивляется.

— У меня же муж...

— Ну и что? Он ни при чем...

— Гена...

— Все будет хорошо.

А почему же тогда не захотела, чтобы вместе? Деньги? Но их уже вон сколько, на все хватит... за один год, считай, и дом построили, и на одежду, и на все необходимое. Неужели сговорились? Да от него и без сговоров не отвяжешься, захороводит кого хошь...

«...Дурачок, — писала она, — да разве я могу на такое решиться? Ведь мы муж с женой, у нас скоро будет дочурка или сынок...»

«Конечно, сын...— загорался Ванька от таких писем,— конечно, сынок. Ваня, Ванюшка...» И мысли его уносились в будущее, когда сын вырастет и они будут плотничать вместе. Вспоминались рассказы деда Чомбы, как тот со своим Федором дом строил: «Подержи, сынок, я отпилю».

Когда-нибудь они придут, например, с работы. Усталые немножко.

— Ну-ка, мойте руки, — скажет она, накрывая на стол. — Да рубахи смените, не настираешься на вас, — будто сердито скажет. Потом с затаенной лаской добавит: — Мужики.

Это она умеет, поворчать.

И так захотелось в Дранку, так захотелось, что... слов нету, как захотелось.

И вот в метельный день катер оттащил последнюю баржу с рыбой к пароходу. Последнюю! У Юрия Алексеевича даже очки посветлели — вся продукция сдана вовремя и высокими сортами, а дядя Саша помолодел.

Отделались! Домой! Да не тут-то было: бураны, бураны и бураны. Самолеты ни в Пахачу, ни из Пахачи не летают, пароходы проходят мимо Дранки — везти им туда нечего с Севера. Хоть бы до Оссоры или Уки, а там с нартой, но и туда не попадешь.

Уж и Новый год на носу, а обработчики долбят костяшками домино возле раскрасневшейся печки, шлепают друг друга картами по носам да ушам. Спирт жарят иногда. И когда ни позвонишь на аэродром, ответ один: «Аэропорт закрыт, метеоусловия».

Ходишь, ходишь целый день — Ванька и на аэродром бегал, хоть туда целых десять километров по морскому берегу, смотришь, как бесится море, — и самому выть хочется. А на другой день опять: «Самолетов не будет, метео...»

Ребятам же хоть бы что: пропадают целыми днями в поселке: кино, танцы, посправляли праздничную одежду, невестами обзавелись.

«...Ванечка, очень скучаю без тебя, — писала она в последнем письме, которое он получил месяц назад, — вечером особенно. Без твоей руки уснуть не могу...» И такое подступало... никогда в жизни ничего более страшного Ванька не испытывал. Даже думать невозможно.

— Сходи к геологам, — сказал дядя Саша, видящий и понимающий все на свете, — может, от них что будет... забросят по пути.

Глава XV

В Дранке между тем жизнь шла больше чем бурная: с полевыми, строительством — со строительством, правда, не совсем — управились, оленеводство и промысел зверя

вышли на первое место в районе, птицеферма, молочная ферма тоже нормально, хотя с трех колхозов столько собралось мычащего и кукарекающего, что в конторе за головы хватались, никак с ними ладу не дашь. «Бегун» приволок в магазин из Оссоры две баржи товаров. Чего только не приволок: и одежду, и приемники с часами, и продукты всякие. Флот возвратился с большой рыбой, почти все капитаны привезли по два плана, а Страх до трех добрался. Его муроводы в контору за деньгами с чемоданчиками приходили, их всех представили к медалям «За трудовую доблесть», и Краб с Гуталином поехали во Владивосток на слет передовиков рыбной промышленности — правда, Гуталин добрался только до Петропавловска, через неделю оттуда дал телеграмму в контору, денег просил на обратную дорогу. Должен был и Страх ехать во Владивосток, как самый главный в этом деле, но это оказалось невозможным...

У него был «коверкот». Он ходил по колхозу в окружении единомышленников, выхватывал «на сдерг» пучки денег, покупая шампанское. Выступал, одним словом.

Эта компания иногда в общежитии, а чаще — при хорошей погоде — за магазином на пустых ящиках устраивала «Золотой Рог». Угощались все, кто хотел и кто не хотел.

— Акимыч! — таскал Страх за лацканы шубы какого-нибудь упрямца. — Ты что же это? А? Со мною вмазать не хочешь? Полусладкое. Или как? Коверкот же!

— Коля, на работе же я!

— После бокала оно и работается веселее. Держи!

— Отпусти, Николай! — молил Акимыч или Петрович, которому действительно нельзя было выпивать. — Сам понимаешь.

— Со мною не хочешь замазать! — Брови Страха съеживались, голос менял тон. — Это ты со мною брезгуешь?

Сопротивляться было бесполезно, можно и по физии получить — границ между радушным угощением и скандалом у Страха не существовало. Басище Чомбы царствовал в этом «коверкоте».

Как-то вся ватага взяла у него собачек и с улюлюканьем укатила в комбинат «вдарить по шампанскому тамошнему» — будто разница есть. Там упряжку бросили и, конечно, забыли про нее.

— Где, мой ангел, собачки? — подступился к Страху Чомба.

— Какие?
— Не знаешь какие? А на каких в комбинат ездил?
— А я знаю?
— Ты, ангел мой, ездил на моих.
— Ну раз они твои, ты и знать должен, где они. А меня спрашиваешь.
— У меня трое свидетелей есть. — Чомба загромыхал на весь колхоз. — Чужое имущество ограблять тебе никто права не давал. Я пойду...
— Этого хватит? — Страх выхватил «на сдерг» пучок червонцев. Несколько выскользнуло, покатилось по снегу.
— Такие собачки были, — бубнил Чомба, гоняясь за деньгами.
— Держи еще да проваливай.
— Так-то, ангел мой.
Упряжка, кстати, давно была у деда, нарта на потолке, перекрашена, а собачек... Различишь разве, если у Чомбы их целая свора?
Володьку Прохорова назначили завхозом, доверили все подсобное хозяйство, кроме флота. Миллионы, считай. Василий Васильевич рекомендовал его и на собрании правления поручился.
А у Османа Магомедовича несчастье. Приехали из района ревизоры, два дня перекладывали, считали товары в магазине, и Надька уселась за перетянутую белой портупеей спину милиционера на нарте и поехала в район. Подвела, говорят, «черная книжка» — многие, кто брал товары, особенно сезонники, уехали, да и позабылось многое за последний год, — Магомедычевой книжки не хватило.
— И-эх! — бросил об пол шапку Магомедыч. — Ни дома работать не умел, ни в магазине не умел.
Надька, спрятавшись от ветра за милицейскую спину, сидела тихая, грустная, пригорюнившаяся.
О чем она думала? Может, о том, как много лет назад восемнадцатилетней девчонкой приехала по вербовке в Анапку на обработку нерестовой селедки.
Рыбу привозил на кунгасах скуластый, темный от загара, со строгими глазами бригадир невода. Он ходил по цеху мимо столов обработчиц насупленный, недовольный. Ругался всегда то с директором комбината, то со своим бывшим председателем, дядей Сашей Демидовым. И его боялись, во всяком случае, не спорили с ним — он всегда прав оказывался. Побаивались и обработчицы, хоть ника-

кого отношения не имели к колхозным делам. Только он в цех — переругивания и перемалывание косточек прекращались моментально.

— Дядечка, а почему вы такой всегда сурьезный? — спросила как-то Надька. Спросила так это, будто маленькая.

— Чито? — Он был совсем не сердитый — серые глаза смотрели на нее как на провинившегося, но еще ничего не понимающего школьника, и в то же время будто сам боялся ее.

Надька заметила, как сквозь загар проступила краска на его скулах. Она опустила глаза. И тоже зарделась вся — хоть и не хотела, — чувствовала, как кончики ушей под косынкой загорелись.

Уходя, он обернулся и махнул рукой слегка — только одна она, как после оказалось, заметила, что он махнул рукой, — вроде сказать что-то хотел, да передумал.

— Смотри, Надька, — шутили девки, — не закрути мозги этому турку.

— Он не турок, а татарин.

— Девочки, тут что-то не так.

Когда путина кончилась и все дранкинцы собрались к себе, Магомедыч подошел к ней — перед этим еще несколько раз подходил — то рыбу рассматривал, которую она в ящики укладывала, то жаловался на погоду: «Шторм, понимаешь, никак рыба не идет, понимаешь. Сю центральную перекрутило».

— Хочешь Дранка? — он был немного навеселе. — Дом есть, собачки есть, корова будет. Се, понимаешь, есть, а хозяйки, понимаешь, нету.

Она растерялась, не хотела догадываться, к чему он клонит, опустила глаза и шмыгнула носом.

— Э-э-э! — сказал он и дружески хлопнул ее по плечу. — Собирай шмутки, айда на кункас.

И в тот же день она со своим узлом сидела на кунгасе вместе с другими рыбачками. Магомедыч ходил по палубе выбритый до синевы, улыбался. Ворот рубашки был ему тесен, он то и дело тянул подбородок на сторону, сжимая и кривя губы. «Мала рубаха, — замечала она, хоть и не смотрела в его сторону, — спешил, наверно, в магазине».

А через семь лет, когда единственную дочку отдали в интернат, Надька перешла работать в магазин. Работа пустяковая: раз в два дня отпустить кому спирту, сахару или спичек. Мозоли, что годами сидели на маленьких круг-

лых руках, отошли — руки на ночь она смазывала разными кремами. Сама попышнела. А у Магомедыча стали выпадать зубы.

— Вставь, — сказала она.

Он поехал в Петропавловск, вставил золотые, но поцелуи от этого не повкуснели.

Весною он три месяца, считай, на путине, осенью на сенокосе. Одна. Ведь магазин не бросишь, не поедешь с ним. Сидишь, сидишь дома — возьмет тоска. Пойдешь к кому-нибудь на гулянку.

Магомедыч переставал поочередно здороваться то с Федькой, то с Петькой, а за Валькой, матросом с «Бегуна», с ножом по колхозу гонялся...

И ведь было за что. В июле, когда на нерест идет красная рыба — самое страшное время, не знаешь, куда себя деть, — наливаются соком рябина и шиповник, «Бегун» пошел за товарами в Оссору. Валька так и ошивался около: то ящик поможет переставить, то мешок подержит, когда на складе товары получали. И все это с шуточкой-прибауточкой, подмигиванием-подмаргиванием. Положит руку на плечо и не хочет скидывать ее. Что за человек? Не отвяжешься. И тянет к нему — так бы и прижалась к его груди. И она разгорелась вся, разомлела. Будто вином ее напоили. Смеялась там, где не смешно даже. На переходе Валька крутил рулевую баранку, не усидела в кубрике, поднялась к нему в рулевую. Стала у окна. Он улыбнулся, и она. Он отошел от руля, обнял ее.

А в августе Осман Магомедович уехал на сенокос до октября.

...Да мало ли кто был? Вот и инженер привязался, обращение у него культурное, а такой же...

Может, об этом она думала, сидя на нарте, а может, о том, что на лето дочка приедет к отцу, будет спрашивать о матери. Магомедычу самому и стирать, и варить... А спина у него гнется с трудом. Да мало ли о чем может думать человек, сидя за милицейской спиной.

Дранка осталась за снежным горизонтом. Там шла своя жизнь, абсолютно не заметившая уезда Надьки. Взвизгивали поросята, носились собачьи упряжки с дровами и сеном. По выходным слышались переборы трехрядок и песни — возможно, свадьбу играли.

В конторе звонили телефоны, попискивала радиостанция, щелкали костяшки бухгалтерских счетов.

Кто-то грустил, кто-то радовался...

И вот Ванька замерзает. Совсем уже... все.

У геологов действительно было снабженческое судно, оно шло в Уку. Капитан согласился подбросить Ваньку до Дранки, это по пути, а если в проливе лед, то высадить где-нибудь неподалеку. И-эх! Три бочки селедки откатил им.

Подошли к проливу, он ходит торосами. До Дранки еще двадцать километров.

— Пойдем-ка, товарищ, с нами в Уку, — сказал капитан, — от нас на нарте выберешься.

— Да вы что?! — испугался Ванька. — Двадцать-то километров? Да я вехи сам ставил в этих местах. Берегом моря иди да иди.

— Осмотрись сначала, там сугробы. Мы подождем.

— Шапкой махну.

— Давно на Камчатке?

— Десять лет, — соврал Ванька, — даже одиннадцать.

Вылез на берег — самоходка стояла носом к припайке, ждала, — снегу выше колена, а если между кочек попадешь, до пояса. Снег сыпучий, как песок, а сверху льдистая корочка, недавно с моря восточный ветер дул.

И поломился. Здорово месить его, корка трещит, будто брезент рвется. Интересно даже: ногу выкидываешь до пояса и в сторону, как саженью меряешь. Локти наподобие паровозных маховиков, затылок в плечи тычется. Оглянулся, поднял шапку — на самоходке гудок дали, поняли.

«Давай, давай!» — еще раз махнул И полез.

Шагов через сто заметил, что мокрый весь. В сапогах снег. «Так дело не пойдет», — раскатал голенища, через их ушки продернул ремень, стянул его потуже. Мягкая резина голенищ плотно облегла бедра. Похлопал по бедрам: мяконькая да тоненькая какая. Снял шапку, сунул в откинутый башлык куртки. Рукавицы тоже снял — от рук пар валил, — скатал, засунул в карманы.

Оглянулся — огонек самоходки маячит на горизонте. Сердце сжалось: «Один остался... Но ничего, часам к одиннадцати дома буду, еще и спать не ляжет. А может, и ляжет. Не ждет, конечно. Выйдет сонная...» Вздохнул и пошагал.

Часа через два примерно — по его подсчетам, он отмесил километров пять — выкидывать ноги стало больно. Мышцы загорелись, и, если резко двинешь, бедро как элек-

тричество прожигает. «Пирожки»... — остановился. Под курткой парилка, пот на пояснице над ремнем лужицей стоит и струйками стекает между ягодиц. Затылок весь мокрый, а кончики волос смерзлись, втыкаются иголками в шею.

«Закурить, что ли?» Достал сплющенную, теплую пачку «Беломора». Долго чиркал спичкой, коробок тоже мокроватый. Папироса горела одним боком. Не тянулась. «Ну ладно... господи, благослови», — с насмешечкой произнес вслух и поломился.

«Этой зимой, — думал он, слегка морщась от боли в бедрах, — надо будет хозяйством заняться. Свет в сарай провести, пол настелить, стены побелить. Часов до десяти опосля работы вполне ковыряться можно. Материал кое-какой есть, на столы и стулья хватит, фанеры пару листов достать — и шифоньер можно гнуть. Зеркало бы на переднюю дверцу, но где его возьмешь? Простое стекло пока... под него картинки из журналов. А там заменить со временем. Инструмент... — у него радостно запрыгало сердце: уезжая, он наточил топоры, рубанки, долота, навел стамески, фуганки. Ружейным маслом все смазал. — Пила... — он вспомнил, как дед колдовал над пилами: очки на носу, указательный палец поверх напильника, водит им тихо, точно: ж-жих... ж-жик... Молится над каждым зубом — Если наладить ее как следует, срез будет ровный и рубанком подправлять не надо, наждачком чуть — и вся любовь. Стулья... для стульев у него была припасена пара кленовых тесин. А что они, магазинные? Там их конвейером гонят, а тут каждую планочку облизать можно...»

А ночка! Морозная, искристая, тихая. Так и манит... только вот снег шагать не дает. «К утру, раньше не буду,— уже трезво подумал он, — и идти надо потише, ноги могут... ну ладно!.. если в сарае сделать все по-человечески, да еще чтоб тепло было», — и стиснул зубы, ну, терпеть невозможно, тысячи иголок в бедрах шевелятся. Опять остановился. Застегнулся, натянул рукавицы. Они были теплые, влажные.

Через несколько шагов оступился, попал на край кочки. Взмахнул руками, резко двинул ногой и застонал. «Дела-а-а... ну ладно, потихоньку».

Становилось прохладно, между лопаток шарит ледяная лапа, она забирается на грудь, холодит бока, неподвижно прилипла к пояснице. Застегнулся получше и стянул ремень, поправил шапку. «Приду, а она... теплая вся... не

ждет», — и свалился на бок. Закидывая ногу, потерял равновесие и опустился на колени — можно бы и не опускаться, но не захотел напрягать ногу. Привалился на бочок, подмяв льдистую корку. «Мать честная, что же это? А долго лежать, наверно, нельзя».

Долго лежать нельзя — верно, куртка уже ломалась на спине, открытая кожа на запястьях не чувствовала снега. Сами рукавицы смерзлись, ноги ниже щиколоток деревянные, мизинцем не пошевелить. Ничего себе.

Поднялся. Пошатывало. Долго отдыхать не стал. «А если по прибойке?»

Добрался к морскому берегу. Куда там! Торосы ходили громыхающими буграми на зыбях, между ними клокотала вода. Смотреть страшно на эти жернова. Некоторые из льдин стояли ребром и, когда горы воды валились на берег, шевелились как живые. А над всем этим чудом свисали козырьком сугробы, самой прибойки даже не видно.

Оттуда не выберешься. Постоял, постоял, хлопнул рукавицей об рукавицу и побрел, морщась от боли. «Стоять никак нельзя... прямо хватает. Зараза».

А идти? «Ух-х», — укусил губу и еще яростнее задвигал локтями. Но в руках уже не было силы, хочешь порезче, тужишься, а никак. Ну никак. Бицепсы какие-то резиновые, а главное—воли нету, не заставишь себя, опускается все. «Дела... сколько же я пролез? Неужели половину не пролез?»

Ноги вот-вот перестанут подчиняться, боль — шут с ней, перетерпим хоть какую, но вот ногу никак не занесешь: напрягай не напрягай живот, двигай не двигай локтями, а толку нету. И тело все непослушнее от холода. Не заметил, когда промерз весь до печенок и уморился.

О том, что может остаться в тундре, думать не хотелось. Да и не верилось.

Стоит он. Шатается. Дышит под слабенький цокот зубов. Лицо перекосила плачущая гримаса. Если бы кто увидел его в этот момент, не узнал бы. И, наверное, пожалел бы.

— А-ай-да-а! — со стоном, переходящим в протяжный плач, стараясь забыть про ноги, крикнул он и поломился. Опять затрещал брезент. Но вот перестал трещать. — А ну, гаркну, как дед Чомба: го-го-го-о-о! — этот звук жалобно повис над безучастной, мудро равнодушной снежной далью. И упал: нога опять угодила на край кочки. Не вывихнуть бы ногу... «Приду, а она с Геннадием. В комна-

те натоплено, шампанское на столе, — он знал, что этого нету, не позволит Зина такое, но все равно, — целуются, может. Она захмеленная. — Но эти, самые яркие, невероятно ужасные картинки ни злобы, ни ревности не вызывали. — Чего только не нагородил, дурак».

Опять упал. Еле поднялся. Стал вытряхивать из рукавиц снег, они — колом. Царапают кожу, а кожа ничего не чувствует, пальцы как грабли, не согнешь, не разогнешь.

Только шагнул — опять на бок. Прикоснулся губами к снегу, губы не чувствуют холода. «Уже и губы замерзли. Когда же это? Только одно дыхание теплое».

Поднялся. Вокруг молчаливая тундра. Она грустная. Будто знает, что Ваньке уже не выбраться. И она молчит. «Геннадий обнимает... не зря уехала... перемаргивались... отговорку деньгами нашла. Да нет, что это я? Она хорошая, переживает за меня, как мать. Ничего ей не скажу, как я тут...»

Но за этой мыслью была другая: «Замерзаю».

Снежное пространство не шелохнется. Теперь он ступал осторожно, с каждым шагом тише и тише. Ноги в коленках гнулись плохо — резина голенищ не давала, а ниже икр они не свои. Кроме ужасной боли в бедрах он ничего не чувствовал. Дыхание дрожало. «Скоро и дыхание холодное станет», — будто о другом человеке подумал он.

Как же это? Во сне, что ли? Недавно с матросами на самоходке чай пил, «козла» забивал... Снег трещал... Дом рядом, Зина ждет, плачет, может... Ему представилось, как он кочерыжкой лежит под сугробом, скрюченный весь. Над ним поземка стелется. Весною охотники найдут, а может, и не найдут, трава-то здесь. И свалился.

Вставать ни желания, ни силы не было. Захотелось сжаться, сунуть руки между колен, как в детстве на печке. Так оно и бывает. Дед Чомба точно так же замерзал...

«Ну вот и все, — как о постороннем подумал он, — жил, работал. Сызмальства. Никому ничего плохого не делал. На Петра не сердился, даже наоборот. Зина теперь одна останется с маленьким Ванюшкой. Хотела на моей руке поспать, теперь с Ванюшкой будет спать... а я останусь... травою прорасту...»

А вокруг все не шелохнется.

«Ну ладно, чуток полежу, согреюсь, может... — он сунул руки между колен, зябко повел плечами, прижимая подбородок к груди, — ...потом встану, лучше будет, может».

Все, конец Ваньке... очень просто все.

* * *

«Это ж замерзаю, — подумалось где-то далеко-далеко, — не встану... а ну?!» Не помнит, как поднялся, сначала на коленки, на четвереньках вроде пораскачивался. Поясницу еле разогнул, ни руки, ни ноги ничего не чувствовали. Только бы не свалиться... Хотел вытряхнуть снег из рукавицы, она не снималась. Махнул рукой, она запрыгала с легким треском по льдистой корочке. «До нее и не доберешься теперь... как живая заскакала». Хотел было пойти за нею, но запустил и вгорую вслед, эта еще дальше упрыгала. Постоял, постоял, стащил шапку — пальцы-грабли ничего не чувствовали — и пульнул к рукавицам: «Нате... вот вам! Эх! Жил, работал, всем помогал, Ванюшку хотел...» — плюхнулся лицом и всем телом в сугроб, прямо перед собой.

«Тхр-р-рум», — пропела льдистая корочка. «Нате! Возьмите! — прохрипел он яростно, сжал до боли веки и начал двигать руками, ногами, лицом. — Нате!»

С отчаянным бешенством — это ему казалось, что с отчаянным, на самом же деле он еле копошился, — стал месить вокруг себя все, двигать всякой чувствовавшей себя и не чувствовавшей частичкой тела. Стиснул зубы, перекривил лицо, задыхался. Устал, но продолжал месить сыпучий снег. Он, этот снег, во рту, в ушах, за воротником, попискивает под ногами. Слюна соленая, в голове темно, колет в ушах, глазам больно. «Нате, нате! — перевернулся на спину. — Нате!»

Сам не знает, сколько продолжался этот кошмар. «Когда сознание кончится, тогда уж и перестану». Поднялся, еще раз в снег, да кулаками в него, да головой его.

— Го-го-го! — как Чомба.

...Затрещал брезент. «Что она, боль? Хоть какая! Хоть какая! — А боль жгла бедра раскаленным железом. Мышцы, наверно, уже все порвались, ну и шут с ними. На снегу танцевали черные, красные, фиолетовые круги. — Шут с ними, шут с ними...»

Выдохся, повалился в сугроб. «Все равно буду биться, пусть хоть что, — лизнул снег. Он был холодный. — Ага, губы нагрелись, да вроде и руки свербят и болят, с пару, значит, сходят. Так-то, вот... если сознание кончится, тогда уж!» Но сознание не кончалось.

* * *

На белой полоске горизонта зачернелись строения. Одно из них возвышалось над всеми: «Склад, а там дом Чомбы... а ну еще... что ж мы?» Круги перед глазами запрыгали быстрее.

Если оступался — особенно часто оступался в начале этого кошмара — и падал, без движения не лежал ни секунды. Проклиная все, плевался, с мычанием и ревом поднимался и — вперед!

Попытался тереть уши. Но они двигались всей раковиной, ничего, конечно, не чувствовали. «Крышка ушам... на жилах небось только и держатся... Ну и хрен с ними».

И вот больной весь — в том смысле, что не было ни одной частички тела, которая бы не болела, — задыхающийся, он стоит и хохочет. Смех этот страшный — порции воздуха из оскала рта. «Еще и на голову могу! — и он встал на голову, но шея подвернулась, не напряг вовремя мышцы, ухо прижалось к плечу.— Зря снега в ухо набил, дурак».

Последние десять метров до склада никак не поддавались. И смех и горе. Ну вот он, барьерчик. Осман Магомедович на бульдозере расшуровал, наверно, — а до него никак. Хоть плачь, хоть смейся. Упадет, встанет. Наберет воздуха полные легкие: «И-и-и! — и повалился. — Да что же это? А ну? И-и-и... и-и-и... — Перевалился через бугор, сапоги так и шлепнулись бесчувственными бревнами на дорогу. — Вот так-то вот!»

Лежит Ванька. Лежит и дышит на дорогу. Оперся на руки, коленки подтянул, встал, разогнулся. Шагнул и упал — земля ровная, а качается. Опять лежит. Спина стала неметь. «От зараза — полежать не дает». Пополз.

Подобрался к крыльцу деда Чомбы, вскарабкался по ступенькам, стукнул кулаком дверь. Стукнул вроде слабо, еще раз посильнее и скатился по льдистым ступенькам вниз. Хотел опять вскарабкаться, но так и остался лежать, припав щекой к ледяной ступеньке.

Блеснул свет в окне, с грохотом отодвинулся засов, заскрипела дверь.

— Кто тут колотит? — гаркнул дед, склонясь над Ванькой. Он был в исподнем, от него пахло прошлогодней травой. — Никак Иван? Бабка-а! Ты откуда, ангел мой?

— Из тундры, — прошипел Ванька, поднимая голову.

— Ангел мой! Полина-а-а! — Дед подхватил Ваньку,

потащил в дом. — Полина, мерзлый человек. Да где ты... твою мать?

— А вех там не-е-ту.

— Нету, ангел мой, нету. Не ставил еще. Полина!

С фонарем топталась на пороге баба Поля. Охала.

Пока дед тащил Ваньку в хату, она пропала куда-то. Дед усадил его в угол за стол, поставил бутылку спирта, кастрюлю вареной медвежатины.

— Сейчас, ангел мой, мы тебя отходим. Сначала нутро, а потом конечности... ноги-то целы?

— Не знаю.

— Ваня! — влетела Мурашова с клубами пара. Обхватила его голову, повалясь на пол. — Я знала, что ты придешь, знала... знала... — Она была в шубе поверх теплой ночной сорочки, горячая, пахучая. Плакала, смеялась. — Знала... знала...

Не спится. Тикают и потрескивают цепочкой ходики на стене, ворочается и кряхтит дед в соседней комнате — они не пошли домой, — спирт волнами перекатывается по всему телу, приятно щекочут и болят обмороженные места. Легкое головокружение.

— И не писал, — обнимая, с упреком говорит Мурашова.

— Я писал.

— Только четыре письма и было. А посылочку получил? Я с Яшкой передавала.

— Угу.

— Ой, Ваня, я чувствовала, что ты придешь... вот не спится мне... вот стоишь ты под окном в снегу, бледный, синий весь, какой-то прозрачный. Чуть с ума не сошла... стоишь и смотришь... Не могла. К Элле Ивановне побежала, она чаем угощала, ночевать оставляла, а я, к чему ни притронусь... Наплакалась — и домой, а ты опять под окном... Думала, с ума сойду.

— Чувствовала, значит.

— Ой, Ваня, никогда одного больше не оставлю.

— Это, конечно, вдвоем лучше.

Глава XVII

Не зеленая трава,
В поле не засохну.

В бессонные ночи вспоминалась деревня в Тамбовской области, дорога на Камчатку, когда по вербовке

ехала. То-то удивилась Москве! Народу-то и не сосчитать...

На Казанском вокзале швейцара приняла за генерала, сторонкой обегала его.

Потом ехали дней десять. Россия-то! Батюшки!

Когда вышла замуж за Магомедыча, никуда из Дранки не выезжала: ни у него, ни у нее близкой родни на материке не было.

А жили-то! Магомедычу на двадцать золотых зубов с двух путин хватило. И забот никаких. Особенно когда дочка подросла и на зиму в интернат уезжала.

Скучновато, но привыкла. Все так: по вечерам собирались друг у друга, пили чай, сплетничали. Разъезжали по гостям: в Ивашку, Уку, Макарьевск, Оссору. Охотились, рыбачили. Зимою в основном спали — вот тут-то уж могли посоревноваться с медведями.

Она так и считала, что есть два мира: мир приволья, сытой, беззаботной жизни и мир другой. Мир тесный — как в Москве, например, — суетливый, непонятный. Иногда между мужиками заходил разговор, что где-то война — радио в Дранке появилось только в последние годы, когда движок привезли под электростанцию, — люди убивают друг друга. Зачем? Дураки-то.

А тут есть еще вот какой мир... страшный.

Не зеленая трава,
В поле не засохну.

Потом вызвал к себе начальник колонии.

— Вот что... мы тут учим многим специальностям. Учить тебя на шофера, станочницу, сварщицу нам не выгодно, срок у тебя небольшой. А вот на маляра, штукатура, каменщицу подойдет. Выбирай.

Она не знала, за что взяться.

— Сама понимаешь, не в благородный пансион приехала, церемоний не жди.

— Что-нибудь, все равно.

— Что умела делать, кроме воровства?

— Я не воровала... просчиталась.

— У нас тут просчитываться не дадут. Так что еще умеешь делать?

— Рыбу укладывала в ящики и в бочки, это умею.

— Пойдешь кирпичи укладывать. Освоишь уголки... это не зависит от учения и навыков, врожденные способности нужны, талант своего рода... так вот, освоишь угол-

ки, присвоим высокий разряд, дадим бригаду человек тридцать. Не освоишь, будешь подсобницей.

— Подсобницей согласна.

— Посмотрим. Отработаешь должок, освободим досрочно. Образование?

— Четыре... три класса.

— Записывайся в пятый. Иди.

— Спасибо.

— На здоровье.

Глава XVIII

Вышел Ванька через несколько дней и не узнал Дранки. Та Дранка и будто не та: и высоченный склад, что весною закладывали, тот, и главная улица та, и правление то... солнышко по-другому светит, что ли?

— Пойдем в контору, Ваня, — сказала за завтраком Мурашова. — Сегодня деньги дают.

— Погоди, дай на тебя насмотрюсь.

— Ваня, — расслабленно гнулась она в его руках, — там я девочек попросила... могут продать кому-нибудь.

В конторе возле «кормушки» — так нацарапал ножичком какой-то юморист под окошечком колхозной кассы — стояла реденькая очередь.

— Ваня, — обступили ребята, — с приехалом!

— С приехалом, Иван! — жали они ему руку. — Как там наши? Демидов гнется небось от радикулита?

— Да есть немного... Здорово, здорово! «Как и не уезжал, — горело в нем, и было стыдно, хоть никто ни на что и не намекал. — Никогда больше так не сделаю».

— Пересчитай, — шептала над плечом Мурашова, когда он писал «сумму прописью».

— Ладно.

«И не с такою радостью их держишь, — думал он, складывая пахучие тяжеленькие пачки ровной стопкой, — раньше-то мечталось... Или уж всегда так: стремишься, волнуешься, ждешь, а подойдет момент — радости никакой и нету. Но попотеть-то за них пришлось».

— Спрячь подальше.

— Ладно.

— Там, Ваня, такие туфельки на шпилечках, фиолетового цвета. У Клавы видал? Вчера в них приходила. Правда, хорошие?

— Ничего, — согласился он, хотя не заметил, обута ли вообще Клава была.

— И я себе такие же куплю, — говорила она, прижимаясь к его локтю, — еще беленькие...

«Как дите, — думал он, улыбаясь, — так же, наверно, и Аришка радовалась... И эта, может, под подушку класть будет. Жизнь, мать ее за ногу».

Но в магазине ему покраснеть пришлось. Мурашова потребовала сразу два пальто, три плаща, навыбирала шеренгу туфель.

— Зина, да куда ты столько? — шепнул он.

— Сколько? — почти крикнула она.

— Тише, ведь магазин.

— Какой магазин? Чего тише? Они же разных фасонов.

— Да тише...

— Наплевать. Девочки, — крикнула она продавщицам, — а с капюшончиком плащик в какую цену? Покажите! Подержи-ка. Чего стоишь? За чужие деньги, что ли?

— Дела-а-а...

Из магазина шли как переселенцы. Мурашова цвела вся.

— А после родов, Ваня, — тараторила она, — фигура-то изменится, вот синий плащик и как раз. И босоножки к нему. А белые выходные будут, к лету. А вот эти на каждый день. Совсем дешевенькие. Какие хорошие, правда?

— Правда, правда.

Навстречу, согнувшись, ковылял Магомедыч. Он тащил разные кульки, буханку хлеба под мышкой, из карманов выглядывали консервные банки.

— Осман Магомедычу!

— С приехалом, Ваня!

— Ну, как дела? Как здоровье?

Про дела-то, наверно, зря. Какие дела уж?

— Э-э-э, — отмахнулся Магомедыч, — хлеб принести некому.

— Ничего, все наладится.

— Мине, Ваня, сы тобой поговорить надэ.

— Выкладывай, чего у тебя?

— Понимаешь, Ваня, сотни тири-чиртири дай до путины. Понимаешь, Ваня, Надька посылка надэ, дочка по-

сылка надэ, сыстра на материк денек надэ. Зимой работа плакой, книжка пустой. Сам понимаешь, Ваня.

— Осман Магомедович, — обрадовался Ванька, что сможет хоть как-то помочь этому человеку, — с превеликим удовольствием. Сейчас. — Он бросил кульки на снег, достал деньги. — Держи, Осман Магомедович. Помнишь, как меня ватными штанами выручил?

— Э-э-э! — поморщился Магомедыч. — Чего вспомнил. Спасибо, Ваня, благодару.

Он заковылял кривыми валенками, оглянулся, махнул свободной рукой.

— Плохо ему, — сказала Мурашова.

— Куда хуже.

— Ты бы ему больше дал, хороший человек.

До самого дома шли молча. «Надо бы предложить, — думал Ванька, — не догадался, дурак».

Вечером пришли Прохоровы. Клавдия, видно, не впервой в Ванькином доме, уж так подруги чувственно встретились, с охами, ахами да поцелуями. Сразу же кинулись обсуждать да примерять покупки.

— Нас они, Ваня, не возьмут, конечно, в свою компанию, — предположил Володька.

— Не до нас.

Уединившись на кухню, сгоношили чайку, закурили. Вспомнили ковчег, кое-что из холостой жизни. Володька погрустнел сразу как-то.

— Ты это чего?

— Наверно, Ваня, — сказал он, отодвигая чашку, — не уживусь я с Геннадием.

— Полкана спускает? Как он на дядю Сашу в Пахаче...

— Ну, Полкана, положим, и я могу спустить не хуже его. Не то, Ваня, совсем не то. Понимаешь, он хочет, чтобы ему подчинялись беспрекословно, а я, например, не могу нукером быть. И опять-таки дело не в этом... как тебе объяснить, — Володька морщил лоб, подыскивая слова, — в общем, то и дело прибегают от него с записочками: «Выдай то, отпусти это!» Без требований, помимо бухгалтерии, втихаря, так сказать.

Это, положим, пустяк, по требованиям после можно провести, можно и списать, в конце концов. Акты он утверждает, но ведь само дело-то грязненькое. Вот недавно велел придержать синьку. А про эту синьку, ее и всего-то двадцать килограммов, директорша школы давно знала, мозги мне продолбила, коридоры они, что ли, подновить

хотели. Я все тянул резину, говорил, что не оприходована. И он велел отдать эту синьку директору комбината, тот будто пообещал весной помочь нам с рыбонасосом. Положим, что все это правильно, рыбонасос нужен, но каково теперь мое положение, когда директорша школы увидела эту синьку на заборах, калитках да коридорах у директора комбината, у главного инженера комбината да главбуха? Ну как теперь мне? — Володька задумался. — Недавно велел придержать двадцать бочонков икры для каких-то махинаций.

— Поганое это дело, — поморщился Ванька. — От людей ведь ничего не скроешь.

— Тем более у нас.

— Да и вообще... по правде жить лучше.

— Эх, Ваня! — Володька вздохнул, потом закурил. — По правде, говоришь? По правде... — задумался. Помрачнел даже, смотрел, ничего не видя, будто в самого себя.

— Ты чего это? — толкнул его Ванька. — Весь вечер сегодня какой-то...

— По правде, — еще раз повторил он, — рассказать бы тебе кое-что, да...

— Ну, расскажи.

— Ты знаешь, Ваня, на материке когда-то какой я шишкой был? Завторгом. Знаешь, что это такое? Это, Ваня, все снабжение города через мои руки шло.

— Правда что шишка.

— И дружки у меня были тоже шишки. Знаешь, Ваня, как мы жили? Стерлядка, коньячок. Деньги — само собой. Наши девки пили только шампанское. Соберемся своей компанией — и в лесничество, куда подальше. Для жен мы в командировках. Особенно заводила в нашей компании был Токарев, начальник милиции. Да и прокурор города. О-о-о! Эти без стеснения. Потом, конечно, раскрылось все. Мне бы из тюрьмы не вылезть, да дружки делу хода не дали, я же бы их потащил за собой. Отделался легко. И предложили мне уехать из города.

— А друзья как же?

— Не стало друзей, Ваня. Дело не в том, это все естественно. А жили мы здорово. — Володька желчно, брезгливо, с отвращением как-то сморщился. — В магазинах очереди, хлеб по карточкам. На детские дома даже картошки не хватает, а мы девок в шампанском купаем.

— И что же ты теперь? Уж не грехи ли решил искупать? — Володька показался Ваньке чужим.

— Грехи не грехи, Ваня, — он хлопнул ладонью по столу, — а икру я ему не дам. Это пахнет тем же шампанским.

— А не бросить ли тебе все это и опять в бригаду? Правда, вкалываешь побольше, да зарплата поменьше.

— Хм. Хитрый ты мужичок, Ваня. «Зарплата поменьше, да вкалываешь побольше». Но не то, Ваня, совсем не то. Боюсь, ты меня не поймешь.

— А ты не бойся.

— Ваня, я давно плюнул на всякие должности и на зарплату. Этими пряниками меня не накормишь, — Володька говорил проникновенно, будто душу выворачивал. — Меня, Ваня, ничем не удивишь, ничем не расстроишь и ничем в восторг не приведешь. Я битый волк.

— Да чувствую.

— А в бригаду хочется, ну не могу без ребят... душою отдыхаю в бригаде. Но по-рабочему вкалывать долго не могу, «силов нету», как ты говоришь.

— Это как же? — удивился Ванька.

— Вот уж сколько лет вкалываю, а привыкнуть не могу. После того как слетел с завторгов, где только не работал.

— Ты смотри...

— В самый низ слетел, на строечку: грузчик, маляр, подсобник, подручный, слесарь, самое смешное, кстати.

— Такой же, как плотник, да?

— Хуже, Ваня, гораздо хуже. Бью по зубилу, а попадаю по рукам. Начну перебирать компрессор, например, или бетономешалку. Соберу — лишние части остаются. И смех и грех. Потом в бетонщики перешел, в штукатуры...

— По-о-олеты!

— Потому и летал, что в тягость мне. Ведь вкалываешь, как черт... устаешь, жизни не рад. Особенно в первое время, когда слесарил. Кроме того, что не умею ни черта, еще денег не хватает. У меня же их кучи были. А тут получишь авансик триста рублей, тридцаточку по-теперешнему, она вылетит в три дня, а потом голодный. Попросить неудобно, да и так долгов подо всю зарплату наберешь. Ребята видят, что сдаю — честно говорю тебе, по нескольку дней не жрал, — соберут по полтинничку на комплексный обед. Тот или другой домой пригласит, накормит. Стыда сколько, уф! Не выдержал, перешел в штукатуры, тут побольше зарплата, но пахать надо.

— Ну дак ты ж в начальниках карандаш держал.

— Руки, Ваня, отваливались, особенно бордюры выводить... Бетонщиком тоже не лучше. А в магазин в спецовочке штукатурской заскочишь, от тебя отворачиваются.

— Да это... начхать.

— Сейчас и мне начхать. А раньше унижало. Ну, ладно. Помотался на материке, на Камчатку сбежал. За длинным рублем.

— А я думал, за романтикой.

— Тяжелая она, доля работяги, Ваня, — не обратив внимания на Ванькину подковырку, продолжал Володька, — тяжелая.

— А я ничего, сыздетства.

— Привык, да больше, как топор держать, ничего не делал. Да и то... ведь каждый день устаешь?

— Ну и что?

— Ну, это ладно... все устают. Но ведь каждый день делаешь одно и то же, одно и то же: или топором шуруешь, или молотком. Как машина... автомат, и сам в машину превращаешься. Тупеешь.

— А я привык.

— Я не могу привыкнуть. Поэтому и летал по работам. Тяжело мне было каждый день в грязи ковыряться. И первое мое впечатление, когда на стройку устраивался... Захожу, начальник отдела кадров разговаривает с парнем. По разговору понял, парень просится на инженерскую должность, сам, видно, инженер или техник. Начальник отдела кадров предлагал ему в бетонщики или штукатуры — нету инженерских мест. Парень не хочет. Устроился методистом, лыжи да коньки выдавать, на пустяковую зарплату, а стенки мазать не пошел. Вот как, Ваня, любят бетон мешать да стенки мазать...

— Ну вот, и ты скоро в министры выбьешься.

— Поставят — не откажусь.

— За нас с Мишкой похлопочешь. Правда, нам ничего не надо.

— В том-то и беда, что вам ничего не надо, — Володька рассердился вроде. — Уткнулись в свои топоры и молотите, как роботы... Тот хоть учится, а ты... Не хлопотать за вас надо, а бить вас надо, хоть бы по разику треснуть.

— Давай, давай, комиссар!

— Ну и чурбан же ты, Ваня.

После этого вечера — протрепались почти до полуночи — Володька еще непонятнее стал, но ближе как-то. Ему хотелось помочь, поддержать его. Но как? Не знал. Хотя

все его расстройства казались Ваньке пустяковыми и смешными.

«Чудак, — прощаясь подумал о нем Ванька, — а еще в начальниках ходил».

На зиму жизнь в Дранке уходила под сугробы. Но не совсем, не как в те годы. Гремел двигатель на электростанции, работал сетепошивочный цех — ребята с сейнеров шили там себе кошельки, снюрневоды, рыбацкому делу учились. В механическом цехе механики налаживали свои механизмы, были даже организованы курсы по повышению квалификации плавсостава.

Ванька опять возвратился в бригаду, в столярном цехе работал, шлюпки для флота, кунгасы и живорыбницы для ставных неводов, двери, окна, арматуру...

А Леха Гуталин, «прогуталинив» в Петропавловске все что мог, помогал Осману Магомедовичу на тракторе да на бульдозере. Они обеспечивали Дранку льдом — в колхозе водопровода пока не было, воду добывали изо льда, — расчищали дороги от заносов, иногда откапывали из-под снега молочную ферму или свинарник. Таскали с берега, где зимовал флот, то, что нельзя было унести вручную. Кстати, очень не любил Леха, когда его спрашивали:

— Ну как там, Алексей Васильич, на слете? Что нового во Владивостоке?

Ну и работа у них! Вот уж им-то нельзя было позавидовать. Бежал Ванька как-то в пургу с работы, лицо воротником шубы прикрыл, морозец под сорок, слышит брань из метели, Магомедыч чешет кого-то. Подходит, они с Гуталином возятся в тракторе голыми руками. Паклю жгут. Трактор морозными иголками покрыт, а руки у них побитые, помороженные, в масле...

Чомба собирался в тундру вехи ставить.

Функционировал и Ванькин сарай. За неделю навел там революционный порядок: настлал пол, побелил, подкрасил, провел свет. По вечерам в нем пропадал. Хорошо это. Насвистывает свою любимую:

Черный ворон! Что ж ты вьешься надо мной?
А ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой...

И мастерит что-нибудь: детскую колясочку — скоро пригодится, табуретку, шифоньер. Все это не спеша, каждую планочку облизывает. Войдет Зина, сядет в уголке возле электрического обогревателя, расстегнет шубу, се-

мечки лузгает — мать из Куприянова прислала. Или зеркало принесет, рассматривает себя. На лице у нее выступили коричневые пятна, руки и ноги отекли чуть. Стала нервная и недовольная всем: и воротник у него расстегнут, и не бритый он, и зачем в сарае торчит, и погода плохая. А иногда ничего. Веселая, начнет мечтать о маленьком, какие у него будут маленькие ручки-ножки, как любить его будет. Или начнет рассказывать Ваньке, как с подругой бегали в магазин примерять туфли. Напримеряются — и домой. А один раз целую неделю спала с бельевыми прищепками на носу — кто-то сказал, что у нее нос широк.

Ванька начнет вспоминать, как в армии служил, в стройбате. Служба... Ни разу винтовку в руках не держал. Про старшину своего, уж очень злой старшина этот был, прямо замучил внеочередными. Как ночь настанет, Ваньке полы мыть в казарме, весь хребет содрал, лазая под койками. Один раз Ванька рассердился и налил старшине воды в сапоги. Тогда вообще...

Как-то Зина пришла в хорошем настроении. Сначала рассматривала свой нос в зеркале, потом говорит:

— Неплохо бы тебе, Ваня, на сейнер попасть.

— Это зачем же? — удивился Ванька.

— Ребята с сейнера, видал, по скольку получили? Вон Моль в отпуск пять тысяч повез. А сам Страх не знает, куда деньги девать.

— Да я же не рыбак, — засмеялся Ванька, — какой же я рыбак?

— Научишься. Там и учиться нечего. Это капитаны да механики ученые, а если поваром возьмут — вари да вари. Доля одинаковая с матросами.

— Хах-ха! — засмеялся Ванька, представляя себя на мостике: «Право руля! Так держать! Полный вперед!» — Ну тогда покупай мне тельняшку.

— Не смейся, я серьезно. Мы бы тогда мебели хорошей накупили, ковры на стены. Одну комнату я бы коврами украсила.

— Ты смотри! — смеялся Ванька. — Как у Шехеразады, да?

— Смеешься... у нас даже мебели хорошей нету.

— Да я тебе такой мебели наклепаю — диву дашься. А ковры... На тот год будут и ковры, не все же сразу. В этом году за дом расплатились и одежи насправляли.

— Или бы новый дом, — задумчиво продолжала она.

— Новый дом? — еще больше удивился Ванька. — А этот куда же?

— Видел, какие привезли в колхоз? Финские, с ваннами, стеклянные террасы.

— И у себя ванну поставим. А террас я тебе таких наделаю, будешь как в стакане.

— Все равно, те красивые.

— Те и продавать не будут. Их дают, у кого нету. А нам никогда не дадут.

— Выхлопотать как-нибудь можно. Вон Клава с Володькой в таком доме жить будут.

— Они ж в общаге второй год ютятся.

— Ваня, а давай свой дом продадим, а?

— Да ты что?

— А сами в общежитие. И нам дадут финский.

— Эк куда метнула! — засмеялся Ванька. — Да разве можно?

— Прямо уж, и помечтать нельзя...

— Помечтать-то можно, — посерьезнел Ванька, — чего ж не помечтать? Да только плохо пахнет от твоих мечтов.

— Ваня, как слово «мечты» употребляешь?..

— Не в единственном же...

— А еще приемник надо, холодильник, стиральную машину...

Глава XIX

А Коля Страх в этот день рубил все подряд: приемник, холодильник, стиральную машину... ковры, подушки. Покончив со всем этим, принялся за кровать. Топор скрежетал, запутывался в сетке, кровать не поддавалась. Наконец в руке остался обломок топорища — Страх замахнулся, не зная, куда запустить, и... запустил в окно — «дзинь» пропело стекло, и в комнату радостным роем ворвались снежинки.

Два дня назад проснулся он, Зойка собирается. В магазин, наверно.

— Ты ж не догадайся взять, — прохрипел он, сливая остатки из бутылки.

— Коля, я ухожу. — Она стояла с узелком в дверях.

— И куда же ты? Если не секрет.

— Не знаю. Но больше так не могу.

— Ну? — удивился он. — Ты ж хоть адресок оставь. —

Он никак не верил, что она может уйти совсем. Как это? Чтобы баба делала, что хотела? — Чтоб знать, куда письмишко бросить.

— Я серьезно.

— Давай, давай...

Она ушла. Как видно, совсем. Это дошло до него часа через три. И ясно-то стало потому, что дома пустота какая-то. Он стал шарить по углам — нигде ни одного непустого пузырька нету... «бог... крест... жизнь...» — а в магазин идти неохота.

Все-таки накинул шубу, побрел. Взял несколько бутылок — и к муроводам в общежитие. Там небольшая свалка, Чомба там гремит, в тундру собирается. Мазал, мазал... До вечера просидел. И остался ночевать. Пусть узнает, как...

На другой день похмелился — и домой: «Хоть посплю по-человечески». Но дом был пуст, вода в ведре замерзла. Вчера с расстройства дверь забыл прикрыть.

Посидел, посидел, позаворачивался, позаворачивался в шубу, пошел искать: фонарей наставлю...

Был у Володьки Прохорова, был у Магомедыча, у боцмана, заглянул к Ваньке, к Чомбе шел уже с верной надеждой — у бабы Поли лясы точит — нету. Тогда стал заходить в каждый дом подряд. Нету. Прячется — догадался. И, придя домой, стал рубить всю домашнюю утварь. Все порубил, вспотел. Убью, решил, завернулся в шубу и повалился посреди побоища. Через несколько часов — уснуть так и не смог — заткнул остатком подушки окно, побрел в сарай за дровами.

Ругайся не ругайся, психуй не психуй, а «коверкот» плохой. Когда жизнь выходит из обычной колеи, сначала это ново, интересно даже, потом неудобно. И в конце концов невыносимо.

А как хорошо было: ночь-полночь, один, с корифанами, хоть со всей бич-компанией, она только переломит брови и начнет накрывать на стол. А если придешь «на бровях», разует, уложит, утром похмелиться приготовит.

Дня через три невыносимо стало. Не тянуло ни к бичам, ни «Золотой Рог» устраивать. От Клавдии Прохоровой узнал, где она. «Как же я раньше недодул? — удивился. — От зараза, ну...» Но когда подходил к дому дяди Саши, приутих.

Вошел в дом. Они с женою дяди Саши возились у стиральной машины, сам дядя Саша сидел за столом перед

осколком зеркала, скреб огромнейшей, допотопного фасона, с деревянной ручкой бритвой серебристую щетину.

— Моя у тебя? — спросил Страх, хотя отлично видел, что она у него.

Старик, не оборачиваясь, взял ремень, прикрепленный одним концом к ножке стола, стал медленно налаживать бритву.

— У меня, а што?

— Домой ей надо или не надо? Как ты, дядя Саша, думаешь?

— Думаю — не надо, — так же спокойно, с небольшой паузой ответил старик. Когда дядя Саша говорил с паузами, Страх знал, что уговоры, крики, тем более угрозы бесполезны. Еще лет пятнадцать назад на неводе, когда Страх с ребятами замуроводился и на шлюпке ушел к пароходу за «газом» и их пронесло в море мимо парохода, дядя Саша — он тогда председателем был — догнал их на «Бегуне», по одному вытаскивал из шлюпки и каждому давал пачку. С тех пор пять зубов у Страха золотые. — Думаю — не надо, — с ледяным спокойствием повторил старик и, подняв бровь, добавил: — Она у меня приписалась.

— У-у-у! — Страх так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась.

А через два дня был в Оссоре, в больнице.

Выйдя от дяди Саши, почувствовал резкую, колющую боль в правом боку. Едва добрался до дома деда Чомбы.

— Вези в Оссору.

— Собачки, ангел мой, приморенные. Только из тундры.

— Бабке на конфеты. — Страх протянул пачку денег.

— Сейчас, ангел мой, сейчас, — засуетился Чомба. — Потихоньку доедем.

— Замазать дай.

Врачи говорили, что если бы трезвый был, умер бы в дороге. Дед привез его уже в беспамятстве.

— Коля. — Зойка дежурила у его кровати. Операция была сложная, с отсасыванием крови и гноя. — Коля, я ведь так жить дальше не могу с тобою.

— Сказал, завязываю, значит, завязываю.

— Надолго ли?

— Как это «надолго»? На все время.

— Не верю я.

— Я же сказал.

— Еще бы мне ребеночка хотелось.

— Давай из детдома возьмем?
— Я бы девочку хотела.
— Валяй пацанку, раз хочешь пацанку.
— Только я боюсь, что ты опять начнешь.
— Я же сказал. — Страх начал сердиться.

Но его «я же сказал» не сбылось. Выписавшись из больницы, первым делом зашел в магазин. Купил несколько бутылок шампанского, связал их бинтом и тащил за собой по улице — врачи тяжелое поднимать запретили.

Часть вторая

Глава XX

«От дает, — думал Ванька, — пианину... Пацанке только три года, еще «мама» толком сказать не умеет, а ей пианину...» — Он сидел на борту сейнера, готовившегося к спуску на воду, строгал привальник.

Был апрель. Дул холодный ветер. Он был сильный, хлестал по лицу, стружку рвал прямо из рубанка.

Дома стояли по крыши в снегу, но чувствовалось, что через неделю-две солнышко начнет брать реванш за зиму, тундра набухнет и забурлит с сопок, а снег так заблестит, что без темных очков не высунешься.

Теперь это была не та Дранка из тридцати хат с кривыми улицами и плетнями из старой рыбацкой дели. Были уже две прямые улицы — «Черемушки» — с новенькими финскими домиками, асфальтированными тротуарчиками, березками вдоль них. Три больших склада, гараж, кузница, школа — правда, семилетка, но закладывается фундамент и под десятилетку. Особенно выросла Дранка после объединения, когда укинцы и ивашкинцы перебрались. Сейнеров было уже не два, а восемнадцать и три буксирных катера — «Бегун» не в счет, он теперь только по речке ползал, на хозработах: то баржу с трактором перетащит с одного берега на другой, то сенокосчиков подбросит вверх по речке.

Сейчас флот готовился к спуску на воду, самая горячая пора: как речка тронется, он с обработчиками и рыбаками ставных неводов — неводов на нерестовую селедку ставили уже четыре — уйдет в Анапку на весеннюю пу-

тину. Плотники, сварщики, бульдозеристы, токари, слесари не поедут, как шесть лет назад, когда всем гамузом на один невод ездили,— здесь дела хватит.

Колхозное правление находилось теперь в большом двухэтажном рубленом доме, а не в маленькой, заваленной снегом хатке. И специалистов поприехало: механики, капитаны, инженеры, учителя. Не узнать Дранки...

Мурашова с год как перешла работать в контору, она закончила бухгалтерские курсы — колхоз посылал,— перестала стенки мазать, теперь ведет материальный учет по судам.

Мишка второй год уже в прорабах ходит, осенью обещают послать учиться на инженера-строителя. Начальственная струнка у него оказалась: сказал, что не отступится, гору сдвинешь, а его нет. Геннадий, конечно, первая и незаменимая рука Василия Васильевича. Отдельный кабинет с коврами, кнопка, конечно, на столе, секретарша возле кожаной черной двери. Располнел чуть, лицо гладкое стало, но с людьми проще обращаться стал. Не как в первые годы, когда только назначили. Тогда он здорово выкобенивался, Гуталина один раз прихватил, когда тот Геной назвал его при всех: глаза это сузились, а голос насмешливым стал:

— Вот когда, Алексей Васильич, детей с тобой крестить будем, сиречь кумовьями станем, то ты Леша, а я Гена. Усек?

А Ванька так и остался в плотниках. Ни в прорабы, ни в бригадиры не выбился, хоть специалист он и получше Мишки: не тянуло что-то ни в какое начальство. Ему нравилось просто работать. Работай, живи, чего там...

Сейчас он доканчивал плотницкие работы на сейнере, вот привальник только остался. Он посожалел, что закончит скоро — уж больно материал хороший попался: не пересохший, без сучков. Рубанок так и свистит. А стружки летят и летят, щекочут по рукам. Летят и мысли.

«...Пианину,— думал он,— дает! Сама пианинша под стол пешком ходит, а ей такой инструмент. Тьфу! Мать ее за ногу, эту жизнь.— Он перекинул рубанок в другую руку, передвинулся чуть.— А раньше-то... Года три назад, когда тряпками обзаводились... Доха-то третий год лежит, ходить-то в ней некуда. Ну, пусть разов десять прошлась по колхозу, форсанула, ну и что? В пальто бы не хуже была, дак нет же! Соболя подавай! А он, этот зверюшка, дороже дома обошелся — сколько их на шубу пош-

ло? И все Клавдя, зараза: «Давай дохи справим? Жить на Камчатке и не носить натурального меха!» И носились по побережью, как партизаны, высматривали да вынюхивали, где бы достать. Не зря Клавдю Торпедой прозвали: вылупит глаза и поперла.

Платьев, опять же, страх подумать: штук тридцать, наверно, накопилось, только успевай просушивать. Туфли тоже. Вот этого фасона нету, вот этих не хватает, да вот такие теперь модные. Мода... Торпеда иногда так вырядится, что хоть стой, хоть падай. Правду, видно, говорят, что черт показал моду, а сам в воду, а тут расхлебывай. — Ванька улыбнулся, вспомнив, как Клавдя в мужских расклешенных брюках по клубу дефилирует: круп широкий, ноги кривоватые. — Ну, школьницы, когда по грибы бегут, это ничего, приятно даже смотреть на них, а уж таким буренушкам, как моя или Торпеда... Да еще разных цацок, как на елках, — и чуть вслух не расхохотался, вспоминая, как летом обычно подруги до клуба босиком шпарят — туфли-шпилечки по галечке да по песку никак не годятся. Так это вышлепывают...»

— Шуруешь? — раздался голос снизу. Там стоял Володька.

— Ага... в робота превращаюсь. А ты все мотаешься, начальник?

— Главный зачем-то вызывает. — Володька засмеялся, закрываясь воротником шубы от ветра.

— Стружку снимет, зачем еще.

— А черт его знает. — Володька побрел на ту сторону речки, в колхоз.

Ванька почистил рубанок, закурил. «Дела-а-а... Ну вот хоть ковры. Висели они по стенам, никому не мешали. «Не модно теперь так, цветы надо». И в сарай ковры. Преют теперь там.

А что она, жизнь? — Ванька выплюнул окурок, двигать рубанком перестал. Задумался. Плечи повисли. Выражение лица стало печальное, некрасивое. Складочки у губ опустились и обозначились резче. — Вот работаю: чистая рубаха, чистый свитер. Прохудилась рубаха — купил новую, стоит-то дешевле бутылки спирта. На люди выйти есть в чем, и трех бы костюмов хватило, дак нет же, девять штук! То с одной пуговицей, то с пятью, то с разрезом, то совсем без воротника... Еще четыре — и будет как у Чомбы. У того, правда, довоенных фасонов, да они ж и эти устареют. А в отпуске...» — И Ванька поморщился.

...Идут они с Петром по Куприянову из магазина, а из окон да ворот, приставив ладони ко лбам, выглядывают бабки. И на каждой физиономии написано: «Не наш, чи... Нет, не наш... инженер какой-то...» А ведь не хотел надевать — Мурашова все! — ни галстук с цепочкой, ни костюм с двумя разрезами. Петро же валит рядом по-рабочему — в стоптанных кирзовых сапогах, клетчатой сорочке — и ему хоть бы что. Только бутылки поколыхиваются в карманах. А после гулянки — гулянка была, конечно, что надо: каждый приходил, бутылку на стол, говорили, песни пели, и многих Петру пришлось по домам развозить на мотоцикле с коляской — собрались на кухне чайку попить все свои, Мурашова достала мешок и начала шуровать подарки, и начала... Аришке кинула макинтош, туфли, отрез на платье, матери шубу из искусственного меха...

— Доченька, зачем же ты нас обижаешь? — запричитала мать. — Нам ничего не надо, нам на вас посмотреть... внученьку понянчить...

— Мама, вы думаете, мы обеднели? — не поняла ее Мурашова и выдвинула чемодан. — Да мы, да мы... мы еще вот чего накупили! У нас еще вот что...

Аришка насупилась и покраснела вся, а Сашка, ее муж, хмыкнул и пошел из кухни.

— Мне внученьку понянчить... ангельскую душу.

Ваньке даже за Сашкой неудобно было пойти.

А из-за этих тряпок, считай, и колотишься. Ванька резко задвигал рубанком, стружки так и завращались. Бегал с работы на работу. Два раза в Пахачу за длинным рублем ездил, чуть не замерз. Привозил денег большими кучами, ну и что? Да таким, как моя или Торпеда, хоть сколько, все мало будет. Чуру-то нету. А в Москве? Чуть не чокнулся... Тьфу!

В Москве, когда ехали в отпуск, Ванька действительно чуть с ума не сошел. Под землею же жарища, толкучка, все спешат. Чемоданы-то на Ваньке спереди и сзади, набитые рыбой, балыком, икрою, тяжеленные. Наташка пищит, а со всех сторон только и слышишь: «Гражданин, не заставляйте проход... позвольте, гражданин... вы поставили чемодан мне на ногу...» И никто толком не объяснит, где этот ЦУМ чи ГУМ, да хоть и объяснит...

— Не могу больше, — сказал Ванька и присел на что-то блестящее. И вот она тетка в красном картузе:

— На мусорницы садиться нельзя, гражданин!

Наконец нашли этот ЦУМ. Ванька как глянул — когда вовнутрь влезли — на эту мраморную конюшню, набитую людьми, как селедками, и опустил чемоданы.

— Нет уж, дуй сама.

— Ванечка, я сейчас... У стеночки вот постойте.

Ждали, ждали... ждали, ждали... Наташка уже и проснуться успела. Наконец Зина показалась, тащит этот мешок.

— Перина?

— Да, перина. — Мурашова была пресердитая. Такие сапожки были, с молнией внутри, белой каемочкой. За пять человек кончились...

— Тьфу!

— Больше я с тобой никогда не поеду, — вспыхнула она.

— И слава богу.

— Еще в «Людмилу» или в «Светлану» надо, перстень с красным камнем, как у Клавы.

— Да ты что?

— Ваня!

И опять под землю. Из «Людмилы» или «Светланы» она выносила если не коробку с туфлями, то чайный сервиз, если не шапку модную, то еще какой сверток.

— Ванечка, а тебе что купить?

— Шнурки-и-и-и....

Ванька опять приостановил работу. Поправил шапку. Матери бы помочь, но у нее вроде все нормально, на пенсии теперь — пенсия хоть и небольшая, но все ж таки... хату подновили еще с первых денег, что выслал, и всем необходимым вроде обзавелись. А сейчас ей деньги высылать бесполезно, все равно на книжку кладет, «на черный день».

«На черный...» Натерпелась, бедняжка, и то сказать, было-то как...

...Мать крутит самодельную — Матвеич сделал — кукурузную рушку, вспотевшая вся, волосы прилипли к вискам. Собирает выскочившие зернышки. Хлеб почти весь из макухи да кукурузных хряпок, нёбо колет, но и этого... Один раз сидят они с Аришкой за столом, ждут — у Аришки шея тонкая, живот большой от крапивных щей, голова как стеклянная, — когда мать хлеб вынет из печи. Они очень любили корочки подкусывать. И вот он входит, дед Василь, побирун.

— Вынаешь? — спросил он, присаживаясь на лавку и кладя рядом шапку с палкой.

— Вынаю, — раздраженно ответила мать, отдирая капустные листья от хлебов.

— А ты, девка, не серчай, — продолжал дед, — ты мне дай только один раз укусить. Я десять дворов обойду, десять раз укушу и день живу.

...Да-а-а... О мешке муки мечтала, а сейчас... Аришка-то баба какая стала! Он вспомнил сестру. Статная, спокойная, на мужа не кричит. Да и сам Сашка не хапуга, хоть и шофером на мясокомбинате работает. Если грузчики когда кинут в кабину коляску колбасы — не повезет домой. Да и Аришка бы стала стыдить его за такое дело. Мирно живут, ладком, хоть хата и не новая. А моя-то? Давай новый дом, и все! Не хочу в этом, и все! У всех финские, а мы? А чем наш плохой? Финские, конечно, красивее. Но и наш-то? Большая комната, две маленьких, кухня такая, что компанию собирать можно — знали с Мишкой, что делали. Дак нет же... Хоть разводись.

«А что, если бы развестись? — Ванька задумался. — Теперь бы холостой был. Хм... гуляй на все четыре стороны, никто тебе ничего. Ни крику, ни шуму, весь свет твой... Куда захотел, туда и пошел.

Хотя стоп! Пойти-то пойдешь, а к чему придешь? К тому же и придешь, если не к худшему, попадется такая, как Торпеда, караул закричишь. Эта хоть попсихует, да отойдет, а та... Это Володька марку держит, а я бы... Нет, не надо разводов. А Наташка? А скоро, может, сынок будет, Ваня, Ванюшка. — У Ваньки все запело внутри и затеплилось, так это хорошо стало, он даже плечами передернул — вспомнил, сейчас живот у Зины, — и вздохнул. — Нет, не надо никаких разводов. Она ничего, а когда за щепками ходила...»

...Лето тогда только начиналось, работы у плотников выше головы. И когда она под вечер приходила щепки собирать, у Ваньки праздник был. Если когда задерживалась или брала не у него, места себе не находил. Куда тут — его нос повисал, — в Куприянове получше... Но такие моменты были редки, щепки она брала почти всегда у него. Может, потому, что не приставал с разными подковырками. Зато только она покажется:

— Ванькина идет.

— К нему направляется...

Один раз она не выдержала:

— Ванькина, ну и что? Завидно?

— Мы уже давно заметили, что ты к нему на свидание ходишь, — отозвался Мишка.

— Хожу, ну и что?

— За свадьбой дело, вот что!

— У тебя, паровоз, не спрошу.

— И не спрашивай, — смеялся вместе со всеми Мишка. — Только поскорее надо это дело обтяпать.

— Горит?

— Конечно, горит, — продолжал Мишка, — одни убытки. Он же весь материал на щепки изводит.

Ребята даже топоры побросали. Она покраснела, растерялась будто. Глянула на Ваньку. «Эх ты, — так и говорил ее взгляд, — за себя постоять не можешь!» Потом тоже засмеялась. Но невесело как-то. Высыпала собранные щепки, вскинула пустой мешок на плечо и побрела. Шла расслабленная, опустив голову. Немного отойдя, начала бабочек с цветов сбивать.

Ребята, нахохотавшись, притихли. До самого конца рабочего дня как в рот воды набрали. А когда пошабашили и налаживаться домой стали, Мишка крикнул:

— Стой, мужики!

— Ты чего, бугор, — спросил Володька, — уж не сверхурочную ли?

— Сверхурочную, — не поднимая головы, ответил Мишка и начал собирать щепки на разостланную телогрейку. Все ребята за ним. Потом всей бригадой, все сорок три человека направились к дому дяди Вани Мурашова и возле крыльца гору дров навалили.

Дня через два мастерил Ванька посылочку, в общаге тогда жил, — балыка, рыбки собирался матери послать. Настроение было грустное и в то же время приятное, побаливает, щемит внутри что-то, а хорошо. Мурлыкал себе под нос:

Ты не вейся, черный ворон,
Ты не вейся надо мной,
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой.

И так вдруг захотелось увидеть ее, так захотелось поговорить, покончить со всем этим: пан или пропал. А что? Пойду и скажу все... пусть делает, что хочет. Чего здесь...

Бросил фанерки и зашагал. Даже не думал, как и что скажет. Вошел. У них дома никого нету, только одна она возится у стола с утюгом. Не переставая гладить, повер-

нула голову и засмеялась. Он стоял как перегруженный паром котел — вот-вот взорвется, — в нем кипело и прыгало все. А голос был тихий.

— Ты в клуб не пойдешь? Ребята там спрашивали про тебя.

Какой там клуб, когда будний день, кому она там нужна, чтобы спрашивать про нее?

Она сразу все поняла. Стала спокойная и строгая. И он понял, что она догадалась про его вранье, но стыдно не было.

— Сейчас... сейчас... — заторопилась она, — я сама собиралась, да вот...

Такая радость зацвела во всем Ванькином теле, в каждой жилочке. И она неправду говорит и тоже, наверное, догадывается, что я знаю про ее неправду.

— Ну пойдем?

— Сейчас.

Вышли из дому и побрели в другую сторону от колхоза. Вдоль по речке за Дранку.

— Ваня, — задыхалась она, прижимаясь к его небритой щеке, — чего ж ты раньше-то?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

Он весь размяк, потерял способность шевелиться. Лежал на спине, раскинув руки, и ничего не соображал.

— Ванечка, какой ты...

Нет, разводиться не надо.

Глава XXI

— Слушай, Володя. — Геннадий морщился. — А почему бы тебе эту муку не списать?

— Не получится, Геннадий Семенович.

— А уж на правление... да и вообще незачем поднимать этот вопрос.

Володька ухмыльнулся.

Все заключалось, как шутил иногда Геннадий, в «высшем пилотировании».

Этой осенью колхозу повезло, в него перешла работать необыкновенная женщина. Необыкновенность ее заключалась в том, что она была хорошей знакомой пахачинского приемщика рыбы. В прошлом году она работала в «Ударнике», и — страшное дело! — «Ударник» вышел на первое

место по сортности. Геннадий, конечно же, с охотой записал ее в колхоз, поставил работать кладовщицей в Пахаче, предоставил квартиру и считал, что колхозу именно повезло.

Итак, доброе дело для старшего приемщика сделано, но работницей оказалась она из рук вон плохой. Володька замучился с нею. Как ни поедет в Пахачу проверять свое хозяйство, у нее сахар стоит рядом с керосином и годится только на списание, рыба засортирована — не поймешь, где крепкосол, где малосол, документация запутана и запущена так, что самому Петруню не разобраться.

Володька списывал все, сам во все вмешивался, помогал ей — надоело. Стал ругать ее — куда там! Она начхала на всех...

И когда она подмочила партию муки — пять тонн, — решил прикрыть лавочку.

— А если она была такая, — настаивал Геннадий, — возможно, с парохода ее получили подмоченную или при транспортировке.

— Осенью сам получал и сам вез на «Бегуне».

— Я тебе еще раз повторяю...

— Надоело.

— Я вижу, тебе надоело работать.

— Снимай.

— Если бы ставил. — Геннадий зашагал по кабинету. — Рано или поздно, Володя, мы с тобой столкнемся на узенькой дорожке, и ты улетишь дальше.

— А мне кажется — ты.

Геннадий трахнул ладонью по столу, закурил.

— Ну почему ты, Володя, не хочешь понять простой истины? Впрочем, ты все понимаешь. Ведь понимаешь, как нам нужен свой человек на приемке? Или ты не хочешь этого понять? Ведь мука, в сущности, пустяк по сравнению с тем, что мы будем иметь на сдаче рыбы. Да нам никак нельзя ссориться с Михал Иванычем. Ну почему ты этого не хочешь понять? Почему?

— Я тебе, Гена, отвечу по-рабочему: по хрену да по кочану.

— Уф! — Геннадий так трахнул кулаком по столу, что чернильницы подпрыгнули.

— Гена, я стол расшибаю с одного удара, понял?

Разводиться не надо, но вот... То тряпки были, теперь музыка пошла, что ж дальше будет? Гляди, еще что затребует, скажет, давай, и все. Хоть бы детишками занялась. Да, скоро двое будет, не до музыки, конечно, станет — и вдруг краска стала заливать все его лицо — даже веснушки незаметны стали. Сам тоже. Как хапал, как хапал! Эх, хе-хе, хе-хе... особенно в первый год, как сарай завел. Инструмент-то и покупал, и за водку выменивал, а точило...

Четыре года назад летом притащил «Бегун» как-то баржу от парохода с разным скарбом: станками, ящиками электродов, листовым железом, баллонами кислорода. Выгружали ночью всем колхозом, аврал был.

Вдруг Ванька увидел точило: в жестяной оправе, с ручкой, обшитое деревянным каркасом. Сердце так и захолонуло.

— Давай вдвоем, — подошел Володька.

— Да я и один упру.

— На сходнях осторожнее. Придавит.

— Ничего.

Взвалил, поволок. На сходнях нарочно пошатнулся, крикнул и бросил в воду, метрах в трех от берега.

— Я же говорил, — отозвался Володька, — хорошо, хоть сам уцелел.

— Чуть не сломался.

Поднимать решили днем, нечего, мол, в потемках возиться. Утром шарили, шарили баграми — нету. Замыло — решили.

Замыло-о... а оно давно у Ваньки в сарае стояло. За верстаком ни за что не заметишь, если специально не искать. В новой, конечно, оправе. Старый каркас Ванька изрубил на маленькие кусочки и со стружками перемешал.

Увидел бы Сашка Аришкин... эх, хе-хе, хе-хе! Ванька задумался, отложил рубанок, повел плечами. Они ныли слегка. Поясницу тоже подламывало от сидения согнувшись. Осмотрелся. На сейнерах сквозь редкий косой снежок поблескивали кустики электросварки, слышались удары топоров, свист пил. Возле Страхова «Спутника» полыхал костер, вокруг метались фигурки с ведрами, солярку плескали. Они якорь-цепи обжигали, последнее, что им осталось по зимнему ремонту. Глухо, с перебоями, стучал переносной движок.

А теперь вот ржавеет все. Ванька взял рубанок, размеренно и экономно стал двигать им. Или уж всегда так: сделал что не по совести, на пользу не пойдет. Хоть и точило... куры уже заляпали так, что... Да и сарай завален — не пролезешь. Хламу-то! А зачем все? Года четыре назад сделал шифоньер, а в магазин привезли рижские, разборные, из красного дерева. Свой в сарай. Такая же процедура и с комодом. А стульев да табуреток каких наклепал! Из клена, пролачил, над каждой планочкой колдовал. А Торпеда возьми и ляпни: безовкусица это. На мягкую мебель переходить надо. Опять в сарай.

А за кухонными столиками подруги аж в Оссору мотали. Беленькие, пластмассовые, «изячные», как сказала Торпеда. Неужели сарай и строил затем, чтоб хлам в нем хранить? Краска, наверно, так пересохла, что с ведром только и выкидывать. Хотя зачем, там же куры свои гнезда поустраивали.

Дела-а-а... вот она, жизнь: ничего не поймешь. И того хочется и этого. Сначала думаешь, без этой или вот этой вещи нельзя, а пройдет время — волоки в сарай. Добро переводишь да и только. А хлопот! Как рыба об лед... вкалываешь, вкалываешь... Хоть вот и скотина. Три года с коровой мыкались: сена, комбикорму, в день два раза напои да вычисти. А ведь одной седьмой части Зининой зарплаты нужно, чтобы каждый день покупать три литра молока. И сами диву дались...

Да и курей... Ну, куры — ладно, какой же двор без курей, а вот кабан... Пусть сто килограмм чистого веса, по два рубля за кило — двести рублей. Взял да и купил в колхозе, чем каждый день помои таскать. Так нет, как заведенный. После работы в ванну да отдохнуть, а тут мычит все да хрюкает. Вон инженера, ушлый народ, никто скотину не держит. Правда, они и ухаживать за нею не умеют, но все равно. Эх, хе-хе, хе-хе... жизнь, мать ее за ногу.

Недавно Торпеда прибегала:

— Ты знаешь, Зин, мы с Володей решили машину приобрести. Зарплата у Володи позволяет.

Машину б, конечно, можно, эдак прокатнуться. Но это ж только в отпуске, раз в три года, а у нас тут по тундре да по горам не поедешь, только что до магазина, сто метров. Да и перед кем выхваляться? Перед дядей Сашей или Магомедычем? Нет уж, это Клавдино дело. Ванька заулы-

бался. На днях Клавдия сшила платье, внизу узкое. Прибегала показать.

— Зин, дай, пожалуйста, ажурные чулки. И белые туфельки.

Мурашова подала, Клава вырядилась, присела на краешек стула бочком и выворачивает ногу, будто из машины вылезает.

— Ну как? Смотрится? Гармонично?

— Ничего.

«Вот еще как», — подумал Ванька, уходя — так и хотелось расхохотаться — в другую комнату, чтоб не выдать себя.

Нет уж, пусть до магазина пешочком протопает, не королева.

...Машина... точило... курятник... и машина, может, понадобится так же, как и точило. Тоже куры заляпают... А стружки летели и летели, щекотали по рукам. Он так размечтался, что не заметил, как прекратился стук топоров и лязг цепей; ребята сходились в боцманскую каптерку. На ее пороге стоял Володька.

— Ваня! — крикнул он. — Иди сюда, тут парни кое-что сгоношили с получки. — Он щелкнул себя по горлу. — Согреемся.

— А как главный узнает? — засмеялся Ванька, а про себя подумал: «Артельный мужик, всегда с ребятами, хоть и в начальниках».

— Ну что ж, — в тон ему ответил Володька. — Нам с тобой мало не будет. — Он похлопал себя ладонью по шее.

— А Клавдя?

— О-о-о! Что ж поделаешь, Ваня? Жмут, давят на нас со всех сторон, а мы... а мы крепнем. Ну иди, или не замерз?

— Сейчас. — Огляделся. В каптерку стекались ребята. Шли усталые, закрывались от метели.

Спрыгнул на снег, по ногам пробежало слабое электричество. Возле порога столкнулся с Магомедычем. Того не узнать: выбритый до синевы, все морщины смотрят вверх, глаза мечут молнии.

— Ты куда, Осман Магомедович? — остановился Ванька. — Или с нами не хочешь?

— Э-э-э, — отмахнулся Магомедыч. — Некокдэ.

— Да чего там «некогда»? Успеешь.

Магомедыч наклонился к Ванькиному уху, прикрыл ладонью рот и сообщил величайшую новость:

— Баб приекэл. — И заспешил, отмахиваясь одной рукой.

Радости-то сколько...

Глава XXIII

Все чаще вспоминалась Дранка. Осман один остался на весь дом. На лето дочка приедет из интерната, большенькая уже. Про меня будет спрашивать. Что ей Осман ответит? Вспоминала, как он нянчил ее, маленькую, укачивал по ночам. На руки брал, прямо сгибался над нею. А когда у девочки болело ушко, заворачивал ее в два одеяла, сам одевался и ходил вокруг дома целыми ночами.

Днем ему всегда некогда: «нарта новая надэ» или «угел сопсем сгнил, тири бревна менять надэ, пропадет дом». С работы же приходил усталый, недовольный: «Гуталин, цволичь, новый комулятор посадил» или «аптолку сопсем менять надэ».

О себе почти не думала, не хотелось что-то думать о себе.

Когда получила пятый разряд каменщицы — уголки у нее получились, — дали бригаду. И не тридцать человек, а семьдесят восемь.

По ночам особенно ярко вставала одна картина.

«Бегун» пришел из Оссоры, уткнулся носом в берег на ночевку. Ребята, было воскресенье, всей ватагой направились к дяде Саше. Валентин шел позади всех и подмигнул, увидев ее в окне.

— Осман, собирайся, — сказала она, придя домой.

— И-эх! — И он полез, кряхтя, под кровать за чемоданом, где лежали чистые сорочки. Он был усталый — целый день на тракторе силосную яму трамбовал, да еще спина.

Ему бы погреться на горчичном пару, отлежаться, отдохнуть после работы. Он морщился, доставая чемодан. Она у зеркала подводила брови, видела все. Но не поднялась рука даже помочь ему, хоть червячок стыда шевелился внутри: ну и пусть, оправдала она себя, я-то при чем? Пусть разводится. И трепетала в предчувствии, как прижмется к «вулканической» Валькиной груди.

А теперь вот у самой ныла до ломоты спина, кладешь-то почти все время в наклон. А запястья — особенно левой руки, той, что подает кирпичи, — так болели, особенно по утрам, перед работой, будто ржавые гвозди сидели в них. Никакие шерстяные ниточки не помогали.

Освободили досрочно, начальник колонии сдержал слово.

И вот она подошла к своему двору...

Вечер уже наступил. На улицах никого, шел мокрый, липкий, весенний снежок. Тишина и благодать над Дранкой. Окно в доме светилось: пришел с работы. Остановилась у калитки.

Это была уже не та Надька. Нет, она не постарела — говорят, «в сорок пять баба ягодка опять», а ей еще и сорока не было, — а, может, наоборот: спокойная, задумчивая стала, достоинство появилось. И куда делись все вихляния и хиханьки, взвизгивания и дурашливость! Впрочем, в глубине души, на самом дне ее лежало, конечно, нерастраченное за эти годы...

Глава XXIV

И как узнали, что в каптерку кое-что принесут? Не успел, наверно, гонец добежать до дома деда Чомбы — сейчас вся монополия находилась у бабы Поли, потому как спуск флота, страдная пора и в магазине был сухой закон, — как в боцманскую повалила публика.

Громыхая брезентовой робой, ввалились почти в полном составе сварщики, стеклись маляры, плотники, Мишка во главе своего «комплекса» пришел. Пришел и Страх со своими. Одет по-парадному: в мичманке, болоньевом реглане, из-за голенища сапога торчит папка с документами, в контору, видно, собрался.

Ежась, влетел Гуталин. В засаленной до блеска, с короткими рукавами и без единой пуговицы —проволочкой стянуто — телогрейке, посиневший весь.

Сняли Гуталина с флота, на берегу теперь уродуется, переносной движок обслуживает — самая нудная и неблагодарная работа: движок старый, постоянно глохнет, стоит под открытым небом. Гуталин то и дело прыгает вокруг него с ветошкой да ключами, слушая брань сварщиков в свой адрес. А погорел он, можно сказать, глупо,

из-за своего не в меру длинного языка — хотел сострить, да не получилось.

Недели две назад организовали они «коверкот» на «Спутнике», пойла у бабы Поли достали по «тарифной» цене, разумеется. В рабочее время — у Страха свой распорядок или, точнее, никакого распорядка. Об этом пронюхала Торпеда, она теперь по распоряжению Геннадия Семеновича состояла на очень важной должности: брала на карандаш всех прогульщиков, кто бездельничал, опаздывал на работу, пьяных — само собой.

И вот он влетает, Геннадий, на «Спутник». Злой-презлой. Только в рубку, а из рубки навстречу Гуталин поднимается с большущей сковородой, на которой окурки, обглоданные кости и всякий мусор.

— Что это?

— А это, Геннадий Семенович, — на полном серьезе отвечает Гуталин, — бичам на второе несу.

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно и отвечаю. Бичам на закуску.

— Ты еще издеваешься надо мной?

Леха на камбуз, Геннадий за ним. Выскочили на палубу — Геннадий на камбузе кочергу прихватил — и носятся вокруг мачты друг за другом: один замахивается кочергой, а другой защищается сковородкой.

— А ну ударь! Ударь! — скороговоркой и будто шутя говорил Гуталин, а сковородкой замахивался без всяких шуток.

— Я тебе так врежу, что черепушка за борт полетит!

И теперь вот Гуталин крутит переносной движок, собранный, как говорят в колхозе, из огнетушителей и велосипедов.

В каптерке Леха съежился еще больше, стал колотить кистями по плечам — рыбацкий способ согреть руки, согнать кровь к кончикам пальцев. Потом склонился над печкой.

— Ну как? Скоро? — спросил.

— Да вот-вот должен, — ответил Быков, береговой боцман.

— Ну ладно, братцы, — выпалил Гуталин, подпрыгнул — и к двери.

— Ты куда?

— Глохнет, кажись. — И сгинул.

Наконец гонец пришел. Пили по-рыбацки: один стакан, точнее кружка, и очередная бутылка. Кружка с бу-

тылкой ходит по кругу, каждый наливает себе сам, по желанию или по совести, все зависит от запасов. Кружка хранится всегда в каптерке на гвозде, в углу под старой шапкой.

Подошла последняя бутылка. Боцман, прежде чем налить себе, посмотрел ее на свет, плеснул немного, остальное поставил на подоконник.

— Гуталину, — сказал. — А теперь, комсомольцы, по своим местам, — неуверенно, зная, что не так-то просто их выдворить отсюда. Комсомольцами, кстати, он называл всех, независимо от возраста и убеждений. — Хватит, ничего...

— Да ты что, Ипатьевич? — удивился его помощник Будников. — Только собрались, а ты...

— Еще целый час до конца рабочего дня, — подпрыгнул боцман, — нечего муроводить, делом заниматься надо.

— А мы и займемся. — Будников достал коробочку домино.

— Володя, — выкатил глаза боцман, — да ты что? А как Торпеда пронюхает? Да Торпеда ладно, а как сам прилетит?

— Прилетит да улетит, — отозвался Будников. — Не он здесь командует.

— А ты на ковре у него был? — кинулся на Будникова боцман. — Не был, так побываешь!

— Г-ха! Испужал! — Будников перемешивал костяшки.

— Он тебе даст «испужал»! Так растолкует, что...

— Про Америку, что ли?

— Там про все.

Геннадий часто на совещаниях, впрочем, не только на совещаниях, но и мимоходом распекая кого-нибудь, ставил в пример американскую производительность труда, что там, мол, производительность в пять раз превышает нашу.

— Сонные мухи у нас, а не рабочие... слоняются без дела по колхозу или баланду травят, — заканчивал он обычно.

— Г-ха! — гаркнул Будников, ставя костяшку, — ну и пусть мотает в Америку, а нам и здесь неплохо.

— ...Растак вашу!.. — шумел боцман. У него даже шапка сбилась на ухо. — Забирай, Николай, своих, — двинулся он к Страху, — нечего им тут...

— Т-с-с, Ипатьевич,— лениво отозвался Страх,— не испугаешь.

— Не те кадры, Ипатьевич, — добавил Краб. — И к бабке не ходить, не те.

— Вам хорошо, — повернулся к нему боцман, — у вас все готово. А нам еще слюзы таскать, стропы растить...

— Вместе и перетащим, — так же невозмутимо продолжал Страх. — А стропы я тебе найду готовые.

— Работать надо.

— Наработаемся, Ипатьевич, — отозвался Мишка. — Куда все денется?

— Ты лучше, Ипатьевич, гонца снарядил бы.

— Тьфу!..

— Ну и кадры, — посмеивался Ванька. — Ну вот что с ними сделаешь? Хоть кол на голове теши... правда, если ж сами что захотят, тогда только держись! — И он вспомнил, как четыре года назад рыбу осенью отгружали в Пахаче.

Обработали тогда сразу два парохода, они подвалили одновременно, один из-за штормов в Лавровой задержался. Три дня как в тумане — простой парохода дороже рыбы иногда обходится — катали бочки, таскали ящики, шуровали ее в чанах бревнами, жгли костры в цехах... Обработали, конечно. Успели.

Уснули после этого, понятно, какие. И тут приходит в палатку Юрий Алексеевич. Понурый. Не поймешь, от бессонницы или, может, заболел. Подсел к дяде Саше, тот возле гудящей бочки грел свой радикулит. Чтобы не уснуть, прихлебывал чаек из кружки.

— Ты чего, Юрочка, загоревал? — веселым голосом спросил Демидов, хотя сам кривился от боли.

— Так, между прочим.— Инженер стал подбрасывать дрова в печку.

— Ну и?

— Вот, гляньте! — Юрий Алексеевич протянул радиограмму старику.

— О-о-обеспечить... о-о-отгрузку... о-о-оставшейся п-продукции, — склоняясь к дверце печки, читал Демидов, — п-приход... п-парохода... Сегодня, что ли?

— К утру подойдет.

— Он же через три дня должен быть.

— Он в Анапку не пошел, прямо к нам.

Молчали. Юрий Алексеевич ворошил угли в бочке.

— И что же мы сидим? — будто самого себя спросил Демидов.

— Я, Александр Яковлевич, готов идти под суд.

— Да это...

— Обошел все экспедиции, ситуация не лучше нашей. Наших же лучше не трогать. В соседней палатке попытался разбудить бригадира, он в меня чуть сапогом не запустил. — Инженер закрыл дверцу печки.

— И все-таки попробуем, — сморщился Демидов, открывая дверцу печки, — иначе нам нечего было ее досаливать. Сходи в поселок, спирту достань... Холода дьявольские.

— По всей Пахаче ничего нет. Я это уже предвидел.

— А ну, орелики, подъем! — От койки к койке, скидывая матрацы, которые были навалены на парней, ходил Демидов. — Подъем, братцы, подъем!

Что только не летело в ответ: ругань, просьбы, сапоги. Один из обработчиков пнул ногой Демидова в бедро. Демидов скинул его на пол, затем поднял и ударил. И, как ни в чем не бывало, опять:

— Подъем, ребятки, подъем!

Наконец глыба сдвинулась, проснувшиеся, поняв, в чем дело, стали помогать дяде Саше.

За длинным столом при треске свечей жевали консервы, пили чай. Курили. Курили долго — знали, что ждет в цехах. А потом — как в рукопашной на фронте — затрещали костры возле чанов, заскрипели доски и бревна, замелькала синеватая рыбка при свете пламени, замелькали бочки и ящики. К утру, к подходу парохода, катер выводил на рейд загруженную баржу.

И еще полтора дня как в тумане. Перед Ванькиными глазами мелькали потоки рыбы, река бочек и ящиков, спины и знакомые и незнакомые. Кое-кого он узнал: двух милиционеров, продавщиц из гастронома, парторга Пахачинского комбината.

— Товарищи, за отгрузку тройная цена, — объявил расчувствовавшийся Юрий Алексеевич.

— Помолчал бы ты со своей ценой, — оборвали.

— Товарищи, запоминайте и записывайте сами, кто сколько откатил бочек, учет вести невозможно. Звеньевые! Где звеньевые!

Записавших не оказалось. Деньги раскинули всем поровну.

«Такие уж кадры, — думал Ванька, любуясь ребятами. — Когда и без всяких денег согласятся работать, а когда и палкой не заставишь... Хоть генерала давай, а не то что какая-то там Торпеда».

Каптерка между тем наполнялась и наполнялась. Пришел и сам Славка Бондарев, бригадир сварщиков, знаменитость колхоза. Славка мог варить не только корпуса судов, но и полые, с двойной стенкой, винты без всяких шаблонов и расчетов. Держался небрежно, с достоинством. «Как начальник все одно какой», — отметил Ванька. Ввалились мокрые до нитки курибаны, они закончили долбить спуск к воде. Сразу к печке, расселись вокруг, от них пар повалил.

Влетел Гуталин. И опять к печке.

— Ну, я, Ипатьевич, пожалуй, заглушу? — спросил он боцмана.

— Да рановато вроде, Алексей.

— Гоняю-то без толку.

— Да подожди ты, Гуталин, — отозвался Будников, — куда ты спешишь?

— Сколько раз я тебе втолковывал, — подскочил к нему Леха, — что не Гуталин, а Алексей Василич. Не доходит? — И он кинулся к двери.

— Алексей Вас...

Но Гуталина и след простыл. А через десять секунд движок чихнул, стрельнул и заглох. Лампочка над столом растаяла.

— Надо же было тебе, — заворчал Славка, — будто не знаешь.

— Г-ха! Обойдемся. — Будников достал огарок свечи из ящика стола.

— Володя, — примирительно обратился к нему боцман, — закроешь все тут. Я пошел в кузницу скобы отжигать.

— Ясное дело, Ипатьевич.

— А-а-а! Вот вы где, ангелы мои! — ввалился Чомба. — А я слышу, заглох двигун, ну, думаю, не зря это. Дай, думаю, проверю свое хозяйство. — Дед работал теперь сторожем, «пензию» вырабатывал. — Неплохо устроились, ангелы мои, неплохо. — Он потянулся к бутылке и кружке.

— Ну и нюх, — удивился Ванька, — с того берега учуял. А еще темнит: «хозяйство проверяю».

— А я, ангелы мои, признаться, — громыхал Чомба, — без кумпании не могу.

Каптерка гудела. Первая стопка, говорят, — колом, вторая — соколом, остальные — мелкой пташечкой. Сейчас по каптерке порхали мелкие пташечки. Шум, дым...

на одном углу стола резались в карты, то и дело хлестали кого-нибудь разбухшей колодой по носу, на другом стучал «козел». Ярко трещали свечи.

«Как это оно получается, — думал Ванька, любуясь ребятами, — ну каждый орлом хочет быть. Вон Мишка: шапка набекрень, папироса в углу рта, щурится...»

А Коля Страх уже выступал: — Это чтобы я «на фосфор» не взял? Да я, в рот — пароход...

— Г-ха! — гаркнул Будников, ставя костяшки домино. — Да ты и на пятно промажешь... г-ха! — Чувствовалось, что он разыгрывает Страха, но тот ничего не замечал. — Ты, Коля, комик... г-ха!

— На пятно-о-о! Чтобы я на пятно?! — Страх даже фуражку на затылок сдвинул. — Да я...

— От жилетки рукава, — язвил Будников. — Г-ха!

— От муроводы, — доносился чей-то возбужденно-обиженный голос, — прикуп-то мой!

А над всем этим царил бас Чомбы.

— Я, ангел мой, канал строил, — гремел он на ухо Володьке. — И не один.

— Не темни, — насмешливо отвечал Володька, — каналы ни при чем, мы ведь про колхоз говорим.

— Через красную книжку выбился в начальники, — гаркал дед, — теперь прихватываешь всех.

— Ты меня, положим, в начальники не ставил и красную книжку мне не давал, а прихватывать тебя... пусть тебя кобель прихватит.

— Знаем вас.

— Знаю, что знаешь нас, — уже серьезно отвечал Володька, — обрезик небось припрятан?

— Нету, ангел мой, нету, — вздохнул Чомба, — а для таких, как ты, надо бы сохранить.

— Вот видишь... а ведь пора бы понять хоть кое-что. И сына своего не делу учишь. Тот тоже смотрит, где что плохо лежит.

— У меня Федор лучший токарь в колхозе! — Дед вскочил со скамейки, рубанул воздух рукой, а гаркнул так, что форточка зазвенела. Некоторые из увлекшихся стучаньем костяшек подняли головы. — На доске Почета каждый год висит!

— Присядь, — спокойно продолжал Володька. — Что Федор лучший токарь — никто не спорит, да чему ты его учишь? Недавно иду по цеху, он охотничий ножик выта-

чивает. Федя, спрашиваю, сколько дней ты над ним ковыряешься?

— Третий день, — отвечает.

— А сколько бы, — спрашиваю, — ты получил по нарядам за эти три дня, если бы дело делал?

— Рублей тридцать пять, — говорит.

— А ножик сколько стоит в магазине?

— Пять сорок, — отвечает.

— Вот и вся твоя наука.

— А твою бабу через форточку пропустить можно, — не сдавался Чомба.

— Зачем это? — удивился Володька такому повороту дела.

— Не знаешь, ангел мой, зачем? А затем, чтобы она у тебя не фискалила, не закладывала ребят.

— Ну это... можешь бояться в основном за себя.

— Мне бояться нечего, моя старуха пропущенная.

— Да она у тебя и в дверь пролезает с трудом, — засмеялись со всех сторон.

— Ого-о, ангел мой! Еще как пролетает... как пушинка. Ипатьевич? — дед отыскивал взглядом боцмана. — Ипатьевич, где ты?

— В кузницу ушел.

— Вот Ипатьевич придет, не даст соврать, — воодушевленно продолжал Чомба. — Гуляли мы у Ипатьевича. Костя Бауков был, Сашка Демидов был, на своей гармозе пиликал. А я частушки пел.

— Заковыристые небось?

— Всякие. А наши бабы шерсть подняли, буром на нас поперли. Вижу — дело плохо. Беру вожжи и кричу: «А ну, Ипатьевич, держи двери!» Ух! Как они шухнули в форточку! Одна за одною. Моя-то в курсе дела, первая махнула, а Бвучиху я достал.

Раздался смех.

— Так-то, ангел мой, их учить надо, — фамильярно хлопал он Володьку по плечу. — Ты приводи свою ко мне, в коптильню посадим. Не стесняйся, приводи. Посидит день...

— Убежит, — прервали деда.

— У меня убежит? — возмутился Чомба. — У меня убежит? Там замок и Кучум у двери. И цепь я сделал так, что как раз вкруговую получается.

«Ну, наверно, надо сматываться, — подумал Ванька, —

а то этому царству, видно, не будет конца». И он, ни с кем не простившись, шмыгнул за дверь.

И правильно сделал: напротив двери каптерки, за сейнером пристраивалась Торпеда. С карандашиком и блокнотом.

Глава XXV

Возвратился на сейнер, собрал инструмент, обтер его от снега. Ругнул себя — спрятать бы надо, — отнес на корму сейнера, засунул под брезент. Оглянулся. Кое-кто из ребят тоже вывалились из каптерки, брели к речке. «Бредут, работнички, — подумал о них Ванька, — согрелись... расслабились, а завтра опять за ломы да топоры...» Некоторые из «работничков» уже шли по льду и карабкались на тот берег, к складам. Склады высились над Дранкой серые, с маленькими окнами под самой крышей. Рядом приютилась мастерская: длинная, низкая, с окнами во всю стену. Наличники на окнах поблескивали зеленой краской.

Новенькая совсем, и года не стоит. В этом году, наверно, фундамент под механическую мастерскую на этой стороне начнем долбить, прямо под снегом. Вот флот уйдет...

Он вспомнил, как в прошлом году уродовались, отбойными молотками мерзлоту били.

— Работка... А может, и еще что. Да нет, наверно, мастерскую.

Флотские механики кричат: давай мастерскую на этой стороне, за каждой гайкой путешествуем на тот берег... Правильно, конечно, для флота здесь надо. Да и там — трактора, машины да бульдозеры там. Все кричат «давай». Пилораму давай — вручную много не напилишь, кирпичеобжигочную печь давай — привозной кирпич дороже хлеба колхозу обходится. Чудно! Какая-то половинка кирпича дороже хлеба. Да и аэродром бы надо. Кому в район или какой несчастный случай — вызывай вертолет. А она, эта «стрекоза», зараза, с колхоза за час триста рублей дерет. Триста рублей! Одному человеку целый месяц надо вкалывать. Да еще как вкалывать. А там мост через речку надо бы. Трактор или бульдозер понадобится когда на этой стороне, «Бегун» полдня канителится: пока на баржу погрузят, пока... Да и Чомбе бы кончилась лафа полтиннички да рублики сшибать за перевозку. Правильно сейчас Мишка сказал: «Наработаемся, куда все денется?»

Миновал речку, стал взбираться на высокий берег. Сугробы свисали с него живописными падающими волнами, чуть розовые от заката. Леденистая тропка наискось прорезала их. «Не загреметь бы, — только подумал, как один валенок подшиб другой, и Ванька покатился вниз. — Недолго и к бабе Поле на леченье.

Вот и больницу бы, — думал он, отряхиваясь. — Коля Страх от какого-то аппендицита чуть не загнулся, а Миходенку тогда и до Оссоры не довезли...»

В позапрошлом году пришла к бабе Поле доярка Валюха, краснощекая дивчина «з-пид Винници». У нее живот рос.

— У тебя, девка, солитер, — поставила диагноз баба Поля.

— А що ж теперь робить?

— Що ж, що ж, — ворчала старуха. — Попробую вывести. На вот, выпей. — И она дала Валентине кружку настоя, приготовленного по собственному рецепту. — Через неделю должен выйти. По частям.

Прошла одна неделя, другая, солитер не выходил. Ни по частям, ни сразу. А живот продолжал расти. Валюха опять к бабе Поле, та опять ей кружку настоя.

— Если и сейчас не выйдет, то подождем весны, молодой травки. Там я его выманю.

А весною Валюха родила Сережку, такого мордастого парня — Геннадий, говорят, замешан в этом деле.

Шутка шуткой — более осторожно пробирался Ванька, — больницу надо, сколько хлопот, если с детьми когда.

Наконец осилил подъем, на пригорке ударило влажным, колючим от снежинок ветерком. Прикрыл щеку воротником. Пробирался по сугробам, на которых в разных местах чернели норы. К ним вели тропки — под снегом были вороха угля. Вот и склад под уголь... полая вода пойдет, сколько его в речке окажется? Уж сколько лет топливный склад сделать не можем, хорошо хоть площадку зацементировали да досками огородили. Ванька вспомнил, как тогда Василий Васильевич распекал за этот уголь Геннадия.

— Кто установил такой закон, — говорил председатель, — что за перевыполнение плана по добыче рыбы премию начисляют заведующему птицефермой или молочной фермой? Береговому боцману или кладовщикам положено, они участвовали в производстве, но какое отношение к рыбе имеет прораб строительного участка или зоо-

техник оленьего стада? Кстати, они получают и за отел скота и за выполнение плана по добыче рыбы. Форменное безобразие! Этой зимой Магомедов с Суренковым обеспечивали бесперебойно поселок льдом — премию начисляла себе контора...

«Так их, — радовался Ванька, прислушиваясь к председательскому голосу, доносившемуся из соседней комнаты. Он тянул время, нарочно долго возился со стеклами. — По бездорожью их! Гуталин с Магомедычем в пургу да в морозы лед колют да возят, а премию Петруню да Торпеде. А когда аврал, пароход когда разгружать ночью — и плотники, и сварщики, и курибаны выходят помогать грузчикам, а из конторских никто. Петрунь тогда чуть не умер от расстройства, когда доски вокруг кучи угля пришивал... Попробуй вытащи его, а премию подавай...»

Возвратившись в тот раз домой, Ванька долго не мог уснуть, все думал об услышанных на совещании «нюансах».

«А вот Геннадий не за работяг, — подумал он теперь, подходя к своему дому, — хоть и за руку здоровается, придет это когда на участок.

А когда соберет у себя за кожаной дверью инженеров, прорабов, начальников участков и разных заведующих и начнет:

— Жмите на них! Прогулял он у вас или опоздал на работу — выговор. Еще раз прогулял — штрафуйте на треть зарплаты. А если он, каналья, постоянно опаздывает или пьяный на работу приходит — гоните в три шеи, у меня вон целый стол писем, люди просятся в колхоз. А на работе? Как сонные мухи слоняются. Производительность, кстати...

И понеслось про Америку или Индию какую-нибудь. Торпеду в начальники произвел, боишься ее больше, чем его самого, когда на работу бежишь. Опоздал чуть — на ковер, а толку что?

Все равно ведь зарплата идет по нарядам, зазря ведь никто ничего не заплатит».

Можно и день до вечера проторчать на работе и ничего не делать. Одна видимость. Вот сегодня, если дела никакого нету, на целый час раньше пошабашили, а завтра, если речка тронется, и день и ночь слюзы да концы разные таскать будем, пока весь флот не отправим. Дак нет же! Хоть груши околачивай, а торчи на работе. Но Ва-

силь Василич держится за Геннадия, прислушивается. Конечно. Как он тогда Василь Василича прихватил?

Три года назад привезли в колхоз двигатель под электростанцию, огромный ящик — сама станция в нем. Три трактора его тащили от берега по специальному помосту из бревен.

— Давайте в ангар, монтируйте — и в работу, — сказал Василий Васильевич.

— Ничего не выйдет, Василий Васильевич,— сказал Геннадий, — под него надо лить новый фундамент и над ним уже возводить новое здание.

— Поработает пока на старом. Люди с путины возвратятся, тогда соорудим новое.

— На старом фундаменте нам его даже не сцентровать. Он разлетится при пуске.

— Ничего с ним не будет. Не он первый, не он последний.

— Тогда я, Василий Васильевич, не только отказываюсь монтировать его, но и снимаю с себя обязанности главного инженера. Мы его угробим начисто, над нами вся Камчатка смеяться будет.

Конечно, чего там, грамотный же: достал линеечку, чик-чик — готово. Все здание тогда по его чертежам, расчетам да подсчетам...

Ванька так размечтался, что не заметил, как оказался возле крыльца своего дома.

«Опять, наверное, за грязные штаны ругать будет».

Глава XXVI

— Или выпил?

Ошибся... не за штаны теперь.

— Да с ребятами махнул мал-мал. С холода-то.

— Пьяницы несчастные, поубивала бы всех! И Володька небось с вами был?

— А он при чем?

— Муровод, зараза. Клава там, бедная, ждет не дождется, а он с бичами. Гнать его с этой должности, чтоб не развращал вас. Спирт где достали?

— А я знаю?

— У бабы Поли, наверно. В тюрьму ее надо, старую спекулянтку.

Что с нею происходит? Шипит и шипит. Хоть домой не приходи, к чему-нибудь да придерется, все не так. Наташкой когда ходила, не такая нервированная была, все плакала да умереть боялась. А сейчас... скорее бы уж.

Мурашова понесла свой большой живот на кухню, там загремела посудой, а через минуту ворвалась еще сердитее.

— На, жри! — Она трахнула бутылкой о стол.

— Зин, не хочется же, — как можно мягче сказал он. — Это с холода, всей бригадой.

— Так и знала. Дома тебе не жрется, а в подворотне с бичами удовольствие, тьфу!

Нет, не такая была, когда первый раз беременная ходила. Все на боли в животе жаловалась да спала. Дым от папиросы не переносила. А сейчас... Может, это так и должно быть? Не шуточное дело...

— ...так и оставайся в боцманской каптерке.

«Ну ничего, — думал он, умываясь, — пройдет. Нашло-наехало... попсихует, такая же будет, никуда не денется. А что с ребятами махнули мал-мала, плохого тут ничего нету. Вон и отец, когда живой был, всегда с мужиками с получки да с аванса всей бригадой собирались. Положено. Выпьют, поговорят. Подворотня... Это начальнику какому-нибудь ресторан подавай, а мы и в каптерке обойдемся».

— За Наташкой идти думаешь?

— Да умываюсь же.

— Одень ее как следует. У нее опять красное горлышко. Там эти клуши не смотрят, поразъели задницы и сидят, точат лясы, а детишки сонные, некормленые... поразогнать их всех...

Сматываться надо, пока цел, одна-то скорее остынет.

Схватил шубу и к двери.

— Оденься!

Фу, мать честная...

На улице немного успокоился. Метель перестала, морозец к вечеру усилился. На горизонте над горами стлались косые пелены светло-розовых облаков. «Вот тебе и досрочный выход в путину, — подумал он, глядя на облака, — если дунет дня на три. А дунет уж точно. А суетились...»

— Папа, — кинулась девочка, — а меня Медведев в талелку молдой. Вава тепель. — Она протягивала покрасневший пальчик.

— Заживет. У киски заболит, у тебя заживет.

— Не надо у киски.

— Ну у Шарика. У Шарика заболит, а у тебя заживет.

— И у Шалика не надо.

Вот оно, дитё, все понимает. Ни у кого чтоб не болело. Он укутывал, одевал девочку. А шкафчики-то здесь тю-тю... даже ручек на дверцах нету, гвозди торчат. Воспитательницы сами, наверно, назабивали. Скамеечки тоже уродские, да и столики. Какие-то ящики заместо шкафчиков. А какую бы мебель пацанам наклепать можно! Зверюшек каких-нибудь: слоников, бегемотиков, лошадок... как в кино детский городок показывали. Все руки не доходят. Хорошо хоть тепло да чисто.

— А мне Вовка Махнач автомат подалил,— хвалилась девочка.

— Автомат не надо, автомат положи. Я тебе лучше шар куплю. Большой, красный.

Он взял на руки легонький, мягонький, дышащий, закутанный в меховую шубку и шерстяной платок комочек. Не повредить бы, ручищи-то...

— Привет Зине! — на прощанье, прикрывая дверь, сказала воспитательница. — Как она там?

— Да шипит все.

— Сам виноват, испортил девку.

— Да понимаю.

— Ты ее не расстраивай.

— И так не дышу.

Самое лучшее время — после ужина. Ох, как он любил его! Иногда, особенно раньше, целый день ждал, когда придет с работы, помоет руки, заберется в Наташкину комнату с каким-нибудь рукодельем: колодку рубанка шлифовать, строгать топорище, пилу налаживать или еще что. Рядом Наташка ползает со своими делами: книжки листает, обед готовит... угощает его обедом. А часто, когда они пообедают, везут обед маме, маму угощают.

На сегодня надо было подшаманить детскую колясочку, понадобится скоро. Подкрасить, подтянуть сетку. Побрел в сарай за нею. Как вошел — на душе пакостно стало. «Уже и мышей не ловлю, — с горькой усмешкой размышлял он, стоя среди всякого хлама. — Бардачо-о-ок...»

В сарае действительно был «бардачок»: все навалено, в пыли, пересыпано и склеено куриным пометом. Стал искать колясочку — она где-то в углу, за верстаком была, —

зацепил плечом какую-то жердь. Над головой загремело, шурша посыпались гвозди. Встревоженная курица с отчаянным криком захлопала крыльями, выскочив из-под ног. От яркого света она ослепла, натыкаясь на все, носилась по верстаку как бешеная. Опрокинула фанерный ящик. Взбудоражились другие куры, послетали с насеста, сбились в углу за шкафом, лезли на стену. Петух грозно кукарекал. А ну гляну на точило, как тут его эти друзья разделали? И точно. Точило было в помете, ржавое, серое от пыли. «Конечно, не прокрутить. Надо выбрать выходной да прибраться хоть немного. Страм!» Ругая себя за лень и отряхиваясь от пыли, вытащил колясочку. Топором — инструмент тоже весь ржавый — соскоблил помет, протер пыль. «Обязательно порядок наведу», — будто клятву давал он себе, но эта клятва звучала неуверенно, вяло. В самой же глубине звучала другая, насмешливая, озорная мысль: «Ничего-то ты не сделаешь, все так и останется сохнуть да гнить. Даже точило от дерьма не очистишь». На эту мысль он сердился, гнал ее от себя, а она опять: «...все так и останется...»

Наташка уже ждала. Она построила «дом», расставила в нем «мебель», растопила «плиту». «Обед» уже варился.

— Ты лаботать будесь?

— Твою колясочку починю.

— А ты кофе будесь?

— Буду.

— А твое белье я узе постилала. Пойдем, показу. — Она взяла его за палец, потащила на кухню. Как глянул — мать честная! Сапоги с портянками плавали в тазу, там же был свитер и рукавицы.

— Ну давай скорее сушить, — как можно тише сказал он, чтоб Зина не услышала — расстроится ведь. Она с книжкой лежала на диване в другой комнате.

— А мыло? — запищала девочка. — Мылом тепель надо.

— Тише. Не надо, все уже чистое, давай сушить. — Они выкрутили свитер, портянки, повесили на веревку. Сапоги поставили к печке. — Пойдем суп есть, он уже, наверно, сварился.

— А кофе?

— И кофе.

Наташка ковыряется в своем хозяйстве, он плетет новую сеточку на коляску. Отвечая на ее болтовню, мурлы-

чет себе под нос, а мысли стучат и стучат: скорее бы уж весна, что ли? В тундре закрякает все, — без всякой цели перемалывались мысли, лениво и путано. Хорошо бы сынок народился, Ваня, Ванюша...

— Наташа, спать! — вошла Мурашова. — Детям спать пора.

— Я с папой, — запищала девочка.

— Никаких «с папой». Что я сказала? Ну?

«Как генерал», — подумал Ванька.

— И ты тоже закругляйся. Попьем чаю — спать.

— Есть, товарищ генерал! — Ванька вскочил, дурашливо выпрямился и приложил ладонь к виску.

— А ногти-то. Тьфу!

— Чем плохие, товарищ генерал?

— Сейчас же обрежь!

— Есть!

Мурашова взяла хныкающую девочку, повела на кухню. Там зажурчала вода из крана.

«А ведь не такая раньше была, когда по-рабочему работала, хоть штукатуршей когда, хоть на рыбе, — подумал Ванька, вспоминая недавнюю жизнь. — Придет с работы тоже усталая, без всякого шума поужинаем, помоем посуду, расскажет, что было на работе, уткнется под мышку и затихнет. Ни на какие ногти внимания не обращала, а теперь? Губы всегда накрашены, ногти переливаются, чулки клетчатые, на голове фигли-мигли. Ну сама-то ладно, хрен с ней, в конторе там все они не лучше, но ведь теперь в неглаженых штанах в уборную не выскочишь. А если в магазин, то галстук цепляй. «Человеком должен выглядеть». Будто без галстука и не человек уже... Тьфу! Никогда не носил и привыкать вроде не к чему. Ногти вот. — Он стал рассматривать свои ногти. Ну это, конечно, обрезать их надо, зачернелись уже. — Он отыскал ножницы, подошел к кухонному ведру, стал стричь. — А книжки? То и дело сует: «Хоть правильно говорить научись. Деревня». Будто разговариваю... не по-французскому ж?»

— Ваня, чай пить.

— Иду. — Отнес ножницы, вымыл руки.

— Чего нахмурился?

— Так.

Пили молча. Не шутилось что-то.

— Не швыркай, не швыркай, — прервала она чаепи-

тие. — Куда спешишь? Обед должен быть удовольствием, а не...

— Горячий же! — Ваньку так и скривило всего. Уж сколько раз слыхал он это «удовольствие» да «времяпрепровождение»! Еле сдержал себя, уткнувшись в чашку. В обед прибежишь скорее похлебать да на работу, а она: «времяпрепровождение». И все Торпеда, зараза, с панталыку сбивает, втолковывает разную хреновину: то хлеб вилкой нельзя брать, то тарелку отклонять от себя, когда остатки дочерпываешь, то еще что. От финтифлюшки.

И вдруг стук в дверь.

— Можно к вам? Добрый вечер, приятно кушать!

Легка на помине, Торпеда.

— Клавочка! — встрепенулась Мурашова. — Я уж думала, ты не придешь.

— Ну, слава богу, — облегченно вздохнул Ванька, — теперь их водой не разольешь. Надо поскорее сматываться, под шум винтов, как говорят флотские. — Он отхлебнул остатки чая, чашку на блюдечке в знак конца чаепития перевернул донышком — знал, что психанет, но все равно вверх. — Сейчас взорвется...

И точно:

— Когда ты отвыкнешь от своих мещанских привычек?

— Виноват, товарищ генерал!

— Деревня!

Выскочил в другую комнату, облегченно вздохнул. Закурил.

А подруги «давали жизни»:

— Представляешь, — щебетала Торпеда, — от моего сегодня винцом попахивало.

— И от моего.

«Ну, понеслось...»

— Представляешь, — продолжала она, — в боцманском помещении пивную устроили. Я чувствовала, что мой там, но не пошла...

«С фонарями бы ушла...»

— ...в эту свинарню, а когда домой пришел, я ему так и сказала: будешь хороводиться с бичами, домой не приходи. Не пущу.

— И я своему сказала.

«Даже слова одинаковые... вот подруги дак подруги».

— Ведь с должности снимут, опять в бригаду в грязи ковыряться. Я разойдусь.

— А до моего ничего не доходит, — грустно констати-

ровала Мурашова, — не только учиться, но и книги не читает.

— И переубедить не можешь?

— Эх, хе-хе, хе-хе — вздохнул Ванька, заглядывая в приоткрытую дверь, — дела-а-а... — Подруги сидели почти вплотную, Мурашова подперла голову рукой. Даже про чай забыли. А эта и шапку не скинула. Что у них за мода? В конторе в шапке, в клубе в шапке и даже в хате шапку не снимает. И спит, наверное, в шапке.

Ванька улыбнулся, разглядывая Клавдию: шапка на ней круглая, как тыква, розового цвета. Лицо тоже круглое и тоже розовое, с мороза, а может, подмазано. «Двухэтажная тыква», заключил.

Потом взялся за работу. «Будто с год не виделись. А в обед, наверное, прибегала за чем-нибудь, да и вчера до двенадцати протрепались. Поругались бы, что ли, как тогда...»

Это лет пять назад так же вот одна без другой жить не могли, по десять раз на день носились друг к дружке: эта подарит той чумичку, та принесет этой меловую щетку плиту подмазывать, эта той — бельевую веревку, та этой — целлулоидных прищепок. Вечерами перемалывали косточки соседям, осваивали приготовление корейского национального блюда куксы. Володька с Ванькой дивились такой дружбе.

И вдруг — война. Неизвестно из-за чего. Клавдия, кажется, выболтала какой-то секрет Мурашовой. Перед вечером как-то Ванька собрался в сарай, влетает Мурашова вся в слезах, ругает Клавдию. Не успел Ванька понять, что произошло, как распахивается дверь и влетает Клавдия. Еще страшнее. Бросает под ноги Мурашовой бельевую щетку, назад требует свою чумичку. Мурашова кинула ей чумичку, потребовала свою сковородку. Через минуту в открытую дверь со звоном влетела сковородка, а вдогонку Торпеде полетел веник... Ночью Мурашовой кто-то обрезал бельевую веревку — это была уже агрессия! Мурашова собралась было к милиционеру, Мишке Меньшикову, да тут Володька заявился — у него, видно, дела пострашнее творились. Володька громко и всякими плохими словами бранил свою жену, говорил, что она очень тяжело переносит разлад и послала его попросить прощения — Ваньке же подмигнул.

До милиции дело не дошло, но мир не скоро был восстановлен. Да они с Володькой и не спешили. Когда через

месяц помирились окончательно, Володька вздохнул: «Поспешили мы, Ваня, с этим делом...»

— Ведь на какой должности работает, — доносился голос Торпеды из соседней комнаты, — ведь у него же образование, ведь если бы не выпивал с бичами, давно бы был на месте Юрия Алексеевича или Геннадия Семеновича... Он ведь побольше должности занимал.

«Во куда...»

— Моему бы тоже образование надо, — вставила Мурашова.

«Ты смотри...»

— В этом году в Дранке будут организовывать университет культуры, — без перебоя тараторила Торпеда, — на женсовете решили культурную базу расширять всемерно. Правление отпускает большую сумму.

— Университет? — удивилась Мурашова.

— Понимаешь, Зиночка, это не совсем обычный университет, в нем науки проходить не будут, а только культуру. Но культура будет на уровне всех наук, так что все равно, что этот университет, что настоящий. В нем будут проходить эстетику, этику, политику, экономику, логику и кибернетику.

— Киберне-э-этику? А что это?

— Понимаешь, Зиночка, эта наука только появилась, это самая прогрессивная наука, ею сейчас занимаются все культурные люди.

«Скажи ты, — удивился Ванька, — все знает. Даже какие науки проходить будут. Ей бы на радио работать: включилась на целый день и трещала бы. — И он прикрыл дверь, надоело уже. — Володьку только жалко, — уже без юмора подумал он, — такой душевный мужик, а на такой фифе женился».

— Колясочку дочурке мастеришь? — всунулась Торпеда. — Зин, — она обернулась, — а он у тебя работяга.

Ваньку так и пронзило, чуть не взорвался. Будто она хотела сказать: «А он у тебя ничего, сойдет по третьему сорту с брачком». Так и хотелось врезать по физии, чтоб шапка покатилась.

— Мы с Володей обязательно запишемся в университет, — щебетала уже за дверью.

Ванька захлопнул дверь. «Мы с Володей, мы с Володей...», а когда Володька в бригаде работал, разряд-то у него маленький, зарплата меньше всех — какой он плотник? — только и слышно было по колхозу: «Бич, пьяни-

ца, алиментщик». А теперь, как стал на большой должности работать да алименты скоро кончатся, теперь: «Мы с Володей...» Пять лет назад, когда только приехала, рубашку из полотенец носила, бабы смеялись. А теперь справила дорогую доху, накрасила губы и — королева. Ты для нее «работяга». Тьфу! Баба она и есть баба, только душу портит.

— До свидания, Ванюша-а-а!

— Пока.

— Клава, возьми вот, хорошая книга, — предлагала Мурашова. — Про разведку.

— Про разведку?! — обрадовалась Торпеда.

— Точнее, про контрразведку.

— Это же, должно быть, очень интересная книга.

— Очень, очень интересная!

— А я всю библиотеку пересмотрю, ничего любопытного не нахожу.

«Эх, хе-хе, хе-хе... разведчицы, — Ванька побрел в Наташкину комнату, плотно закрывая все двери за собою. Было скучно. Ну прямо лежал какой-то камень на душе, унылый, нудный, непонятный груз. Давил сердце, не давал дышать. — С чего бы это? — задумался он. — Чего мне надо? Ведь все хорошо и все есть: и дом, и костюмы, и мебель полированная, и деньги на книжке. А тяжко. И, главное, тоска-то эта только дома наваливается, когда с домашними делами возишься. В бригаде с ребятами еще ничего, забываешь и про сарай и... про все. Или, может, как эти подруги, нарядами заняться: завести галстуки, узкие штаны, разные там булавочки и запонки? Или книжки про шпионов глотать? Записаться в университет, узнать про кибернетику? Или еще про что? Про этикетику?

А может, к Володьке прислушаться да стать активистом, за всех воевать, за правду воевать, за справедливость... Но это... Опять же все знать надо, учиться. Не как эти, а по-настоящему...

Жизнь! Живешь и не знаешь, чего тебе надо, даже чего хочешь, не знаешь. И никогда не узнаешь. Ни за что! Всего ведь добился, все ведь есть, а... скука. Видно, прав дед Чомба: теснота-то какая... И человеку, видно, всякому так же тесно в жизни, как тому цыгану в степи.

Володька вот тоже... мотается, воюет... тертый мужик, все в жизни испытал и все знает. Ни на что не кинулся, ни на тряпки, ни на деньги... на борьбу за правду кинулся... Да-а-а, человек, побольше бы таких».

Облокотился на Наташкину кроватку. Долго смотрел на спящую девочку.

Глава XXVII

А Коля Страх бродил по Дранке, плевался, ожесточенно махал руками и склонял почем зря все колхозное начальство вкупе с небесной олигархией.

А началось с пустяка. Дня два назад понес он заявки и табеля в контору на утверждение.

— Придешь не похмеленным, тогда подпишу, — сказал Геннадий.

— Да я уж и забыл, когда похмелялся. Подпиши.

— А почему до сих пор якорные цепи не отжег?

— Отжег... сегодня отжигали.

— Но не погрузил.

— Да чи их долго? На раз...

— Протрезвись.

— Не подпишешь?

— Нет.

— Тогда сам за мной походишь! — И Страх яростно разорвал все бумаги. Направился к двери.

— Завтра разберемся, — крикнул Геннадий.

Страх саданул дверью.

На другой день утром, вместе со всеми, кто муроводился накануне в боцманской, вызвали и Страха с компанией. За зеленым столом сидели Василий Васильевич, Юрий Алексеевич, Геннадий, двое представителей из Рыбакколхозсоюза — к выходу на путину начальство из области приехало — и два члена правления, два бригадира неводов, оба широкие, молчаливые, обветренные до черноты.

Докладывал Геннадий.

— Вот уже третий раз капитан Страхов нарушает трудовую дисциплину, устраивает коллективную пьянку. И это в такой страдный период, как подготовка флота к весенней путине. В рабочее время, разумеется.

— Уже пять минут шестого было, — заикнулся помощник Краба, Юра, который был назначен вместо Гуталина.

— Молчи, Юрий, — оборвал его Краб.

— А это что?! — тряс блокнотом Торпеды Геннадий. — Во сколько переносной движок заглушили?

— Мы его не обслуживаем.

— В четыре, — кипятился Геннадий. — И все повалили в боцманское помещение.

— Может, погреться кто, — не утихал Юрий.

— Погреться, — передразнил его Геннадий, — до того нагрелись, что на бровях выползали. Итак, — он повысил голос, — на основании доложенного предлагаю Страхова от должности капитана отстранить и перевести помощником на буксирный катер «Бегун».

— Он, кажется, объяснительную приносил, — сказал Юрий Алексеевич, снимая очки.

— Вот его объяснение. — Геннадий выхватил из кармана грязноватую бумажку, стал читать: — «...выпил стакан спирта и стакан вина и считаю себя очень виноватым...» Какая наивность! Оторвал от работы сварщиков, плотников, курибанов, боцманскую команду и считает себя «очень виноватым».

— А мы им в рот не наливали, — опять не выдержал Юра.

— Молчи, — опять оборвал его Краб.

— И тем не менее, — продолжал Юрий Алексеевич, протирая очки, — я предлагаю Страхова оставить. На вид, конечно, поставим.

— Через вашу доброту, Юрий Алексеевич, у нас на флоте никогда порядка не будет. — Геннадий передал грязноватую бумажку председателю, сел на свое место.

— Так этот грех за нашим братом водится, — не вставая, начал один из широких рыбаков, — ребята уйдут же до осени. В море магазинов нету, вот и расслабились. Ну это, конечно, чтоб в рабочее время, конечно. Да. Вот. Никуда не годится... и других, конечно. Но и с другой стороны, когда оно у рыбака рабочее, а когда не рабочее? В море — рабочее, а на берегу... Ну это, конечно... — Он запутался в своих бесконечных «конечно» и затих. Опустил голову, ломал брови.

Председатель молчал. Ведь палка имеет два конца: Страхова снять с капитанов можно, да и, пожалуй, нужно — другим наука будет — и капитана на «Спутник» подобрать можно, но ведь...

Председатель рисовал на объяснительной Страха восьмерки — если кружки у восьмерок делать продолговатые, получаются рыбки, — и вспоминал. Шесть лет назад Страхову дали сейнер. Он лежал на косе в Оссоре. Замытый песком, заваленный снегом. Страхов со своей командой откопал его, домкратами поднял на кладки, соорудил под

ним деревянный сарай. Перебрал машину, заменил несколько листов обшивки, наладил промысловое оборудование — этот сейнер колхоз купил у почты, там он выполнял транспортные работы. Все силами команды. И в первый же год два плана дал. И во все остальные годы, даже в позапрошлый, проловный год, когда лучшие капитаны привезли по половине плана, Страхов план выполнил. Две зимы посылали на слет передовиков, медалью наградили, хотели представить к ордену, но что ни фокус в колхозе — Страхов участник. Пришел с моря — скандалы, скандалы. Самолюбие у него взвинчено, поубавить бы, но на катере, да еще помощником, работать не станет. Его тут же перехватит кто-нибудь из председателей, и квартиру даст, и новый сейнер. И опять-таки дело не в этом. Свой Страхов, камчатский. Не из приезжих — те поработают год-два в колхозе, сорвут денег — и на материк. А он в Дранке вырос, колхоз посылал его учиться на судоводителя, пятнадцать лет назад получал первое колхозное судно «Бегун». И потом: во время путины, когда ни зайдешь к нему, обязательно делом занят — подкрашивает, невод чинит. В путине не прикасается к спиртному. Люди рвутся к нему работать, но быт... быт...

— А сколько это будет продолжаться? — повернулся Геннадий к широкому рыбаку. — Как с моря пришел, ни разу на берегу трезвым его не видел. Вчера табеля принес — на ногах не стоит. И сегодня он еще не в норме.

— И все-таки надо разобраться, — тер очки Юрий Алексеевич.

— Разбираться не надо, — прохрипел, вставая, Страх, — я сам уйду. — И он направился к двери. В дверях его качнуло.

Начальники из области покачали головами.

— И нам можно уходить? — спросил Юра.

— Можно, — ответил председатель.

Вся компания, стуча сапогами, повалила за дверь. Наступила тишина. Даже слышно было, как черкает председательский карандаш.

— Ну так как же с ним быть, Василий Васильевич? — спросил Юрий Алексеевич.

— На расширенном заседании разберемся.

— А со «Спутником» что? — спросил Геннадий.

— Как что? — поднял глаза председатель. Он смотрел спокойно, говорил тихим голосом. — Пусть стоит.

Вдруг в приемной, где скучали, ожидая выхода на ковер, все провинившиеся, раздался громовой бас Чомбы.

— А меня за что? — громыхал он. — Я при чем? Я по ночам работаю, а днем должен отдыхать. Что? Сапоги грязные? — Видимо, с секретаршей он разговаривал. — Сейчас пойду в гальюн, залезу в самое дерьмо и таких тут вам... — он топал ногами. — Все ковры разрисую... Главный инженер? Плевал я на вашего главного инженера.

— Утихомирьте Мирошникова, — сказал председатель Геннадию, — и давайте следующих.

Но Чомбу не так-то просто было утихомирить.

— Ты что здесь хамишь? — влетел в приемную Геннадий.

— Кто-о-о хамит? — раскатился Чомба. — Я хамлю? Ты лучше скажи, ангел мой, зачем ты меня потревожил? Я должен отдыхать после ночных трудов или не должен? А теперь я не усну. — Он, безусловно, врал, никаких ночных трудов у него не было: просто он забирался на ночь в какой-нибудь укромный, теплый уголок, прихлебывал из термоса «пунжу» и спал. Днем занимался домашними делами или просиживал в какой-нибудь «кумпании». — А флот украдут! — гремел он. — Делать тебе не хрена?

— Вот тебе уж действительно не хрена, — подступил к нему Геннадий, — днем ты ходишь по флоту стопки сшибаешь, а ночью спишь.

— А ты видал?

— Знаю, — резко, в тон ему ответил Геннадий.

— Что ты знаешь?

— Все твои лежбища.

— А ты там был?

— Был! — взорвался Геннадий. Ему невыносимо стало хамство Чомбы. — В столярном цехе был — у тебя там гнездо из стружек, на домиках был — ты там печку топишь, на старом плашкоуте был — ты туда электричество провел, обогреватель поставил. Сгоришь когда-нибудь сонный. — Геннадий задыхался. — Труды.

— Может, ты, ангел мой, был и там, где была моя бабка?

— Фух!.. Был, — устало отмахнулся Геннадий, — и там, где твоя бабка была.

— Мирошников, не хулигань, — вошел в приемную председатель.

— Да, Василь Василич,— без тени улыбки продолжал Чомба, — ведь ваш зануда в гроб вгонит.

— Ты сам вгонишь кого угодно. Уноси свои сапоги, — тихо продолжал председатель, — ведь за тобой убирать надо.

— Василь Вас...

— Только гадить и умеешь, — поморщился председатель.

А Коля Страх шел по колхозу, ожесточенно плевался и что-то бормотал. Можно было разобрать лишь отдельные слова: «бог... крест... Христова шапка...»

Глава XXVIII

На этот раз друзья поздно собрались у Геннадия. У Петруня дел невпроворот: флот надо снабдить денежным, вещевым, продуктовым довольствием на пять — семь месяцев, закрыть наряды за зимний ремонт флота, успеть до выхода в море провести инвентаризацию. А тут собрания, совещания.

У Виктора тоже весна, отел. Он, как только пришел, завалился и уснул. Последним пришел Платоныч.

На столе, как всегда, шипел чайник, стояли стаканы в подстаканниках. На низеньком трехногом, уже не Ванькиного изготовления, столике были разбросаны карты. Хоть время было уже к полуночи, но к картам никто не прикасался.

— Устал я сегодня, — сказал Геннадий, расслабленно вытягивая ноги. Он сидел в шезлонге, вяло щелкал подтяжками.

— Небось опять фокусы откидывал? — спросил Платоныч. Он мастерил пуншик.

— Да какие фокусы, Платоныч! Впрочем, не я отмачивал, а они. Они.

— Выходит, один ты идешь в ногу, а вся рота не в ногу.

— Ты только послушай, — вспыхнул Геннадий. — И внимательно! Ведь у меня собралась запорожская сеча. Это не то, что твои сезонники. У тебя просто: что не так, трудовую сунул в зубы, и пусть едет откуда приехал.

— Очень здорово, — поднял бровь директор.

— А у меня чертов клубок, — не обратив внимания на иронию, кипятился Геннадий. — Вчера поступил звонок — пьют в боцманском помещении. С получки у них же, видите ли, закон. Некогда было сходить разогнать, вызываю боцмана. Он хлопает глазами как истукан: «Ничего не

знаю, в кузне был, скобы отжигал». Вызываю другого деятеля, завхоза, наверняка знаю, что и он там был...

— Без него не обойдется, — вмешался Петрунь. — Если не сам организовал. Гм!

— Спрашиваю, что там у вас в боцманском помещении творилось вчера? — продолжал Геннадий. — И он совершенно спокойно отвечает: «Ничего особенного, все нормально». — «Как нормально? Ведь выпивали». — «В пределах разумного... расслабились, поговорили». — «Пьянку ты считаешь нормальным явлением?» — спрашиваю. Он разводит руками: «Ничего страшного».

— Гм! Ничего страшного, — иронически заметил Петрунь. — На бровях выползали. Оно ж как у них? Как дорвутся до этой гадости — предела нету. Там этот Страх...

— Кстати, о нем, об этой легендарной личности,—прервал Петруня Геннадий. — Тот сам ко мне пришел, заявки принес. Только вошел ко мне в кабинет, дохнул — и цветы завяли. Спрашиваю: «С похмелья?» — «Ни-ни», — говорит и так смотрит, будто прав. Говорю: «Придешь, когда протрезвеешь». Он разорвал все документы, хлопнул дверью и ушел.

— Это хам, — вмешался Петрунь, давняя обида так и обожгла его. Шесть лет назад Страх опозорил его на всю Камчатку — беспроволочный телеграф куда как исправно работает,— когда приносил наряды за ремонт «Спутника». Эти наряды показались Петруню завышенными, он не стал подписывать. Страх разорвал эти наряды на тысячу рублей и бросил в лицо Петруню: «На, жри!» — Это хам,— вздохнул Петрунь.

— Самый настоящий, — согласился Геннадий. — Все разорвал и бросил на стол.

— Его замашки. Его.

— Не понимаю вас, друзья мои, — грустно заговорил Платоныч. — А вот у Василия Васильевича этого не бывает. Не умеете вы ладить с народом. Терпения...

— Терпения-а! — вспыхнул Геннадий и подвинулся к директору комбината. — Какое тут может быть терпение! Сегодня мне этого Чомбу захотелось избить!

— Этого надо бы, — согласился директор. — Ты, Геннадий Семенович, здорово не прыгай, а учись. Тебе есть у кого поучиться.

— Василия Васильевича имеешь в виду?

— Да. У него опыт.

— Да что он, твой опыт? — кипятился Геннадий. —

Ведь ваш хваленый Василий Васильевич таблицу умножения не знает. Сам решительно ни одного вопроса решить не может. Чего дело ни коснется — «решили на заседании правления» или «решили на расширенном заседании». А на этом расширенном заседании соберутся такие, как Магомедов да Демидов, попробуй переубеди их. Такие колоды... Ведь море они считают своим огородом. А что с них взять? Ведь ничего не знают, а главное, не хотят ни о чем думать.

— Ой ли? — поднял бровь директор.

— Да, да, да, — горел Геннадий. — Мы с инженером по добыче внесли предложение: несколько наших океанских сейнеров бросить на местный лов, на сельдь. Ведь океанским сейнером ее можно взять гораздо больше. И Василий Васильевич против. И Демидовы...

— На это район не пойдет, — сказал директор. — Преступление.

— Но «Тумгутуму»-то район разрешил?

— Вам стыдно с «Тумгутумом» равняться, они из долгов не вылазят.

— Район разрешил бы, — вздохнул Петрунь, — добиться можно.

— Да, конечно, разрешил бы, — отмахнулся Геннадий. — Ну, ладно, положим, что район и не разрешил бы большой флот бросать на сельдь. Но другое прибыльное дело прохлопали. Ведь на лосось нам разрешили поставить два экспериментальных невода. Я предлагал поставить их уже на обследованные участки, ведь с них рыба тоже идет в план. И все бригадиры возмутились. Как один...

Директор засмеялся.

— ...этот, как его, Труш — про солидарность распинался.

— Гм! Солидарность, — вмешался Петрунь. — Знаем мы эту солидарность. Больше чем на полторы нормы они выполнять не будут, хотя возможность на все две или три. А почему? Потому что расценки снизят, повысят нормы. Вот где собака зарыта, а не в солидарности.

— Избаловались наши, избаловались, — продолжал Геннадий.

— Ведь ты хотел контрабандой протащить эти невода? — спросил директор. — Ведь за это по головке не погладят.

— А кто узнает?

— Да кто может узнать? — поддержал Геннадия Петрунь. — Мы сами не знаем, где она есть, а где ее нету. Ведь это рыба.

— Не понимаю вас.

— А что тут, Платоныч, понимать? — Геннадий опять подался к директору. — В районе нужны результаты. Ведь это ясно.

— Не такие, о которых ты толкуешь.

— Не все ли равно какие, — поморщился Геннадий.

— Я тебе, Геннадий Семенович, уже несколько лет толкую, — обратился Петрунь к Геннадию, — нам надо создать свой коллектив, опору, так сказать, своих людей выдвинуть...

— Кого тут выдвинешь? — поморщился Геннадий. — В доверие лезут одни бездельники да подхалимы. Вот хоть табельщица, жена Прохорова... А мне сам Прохоров нужен. Понимаете, нужен, ведь давно его приметил и знаю. А он на каждом деле палки в колеса ставит. Терпения больше нету, выгоню. Выгоню! — Геннадий хлопнул ладонью по подлокотнику шезлонга.

— Давно пора, — согласился Петрунь.

— И давно выгнал бы, но кому можно поручить хозяйство? Человека надо.

— А я, Геннадий Семенович, тебе говорил про такого человека, — сказал Петрунь, — у Платоныча простым мастером работает. Взять его к себе.

— Поздняков? Не пойдет, — сказал директор.

— Просто ты его не отпустишь, — сказал Геннадий. — Самому нужен.

— Почему? Отпущу. Но он не пойдет к вам. А если пойдет, то возни с ним будет больше, чем с Прохоровым.

— Не думаю, я с ним говорил.

— Что-то у нас сегодня не ладится, — сказал, вставая с дивана, Виктор. — Пойду домой.

— Да, не ладится,— директор осторожно помешивал пуншик ложечкой.— У вас не ладится...

Глава XXIX

Прошло четыре дня. Речка не трогалась, правление молчало. За «Спутником» на пустых ящиках сидели четверо матросов, старпом, стармех Краб и его помощник Юра. Из всех страховских кадров остались только двое: Краб

да Моль. Остальных правление, чтоб освежить обстановку, рассовало по другим судам. Хотели и этих, но Краб упросил собрание: на пенсию ему скоро и уж последнюю-то путину на старом судне и со старым капитаном отработает.

А Моль так и сказал на собрании: «Или со Страхом, или из колхоза».

Из колхоза увольнять его не стали, колхоз уже второй год учит его на судоводителя — трехгодичные курсы, летом ребята шесть месяцев рыбачат, зимой столько же учатся.

Плохое настроение было у парней. Рабочий день кончился, но никто что-то не уходил.

— Теперь его не уговоришь, — рассудительно сказал Краб.

— Теперь все, — согласился со своим шефом Юра.

— Если Страх поднял чешую, — продолжал Краб, — ничего не поможет. И к бабке не ходить, не поможет.

— И все З-з-зануда кашу з-заварил, — сказал Вася-кок. Вася сильно заикался. Кстати, кличка Зануда, как окрестил его Чомба, к Геннадию прилипла моментально, и, кажется, надолго. — И ч-чего он на него вз-з-ъелся?

— Да есть за что, — улыбнулся Краб.

— А мощно он тогда его сапогом огрел! — засмеялся Моль.

— С-с-сапогом? — удивился Вася. — К-каким с-с-сапогом?

— В прошлом году мы пришли с моря, — продолжал Моль, — только привязались — вот он, Зануда. Коля на койке лежал, болел — мы тогда только сухой закон сняли. Ну, ясное дело, Зануда шуметь стал. Коля слушал, слушал, достал сапог из-под койки...

— Т-тогда ясно.

— А тут еще якорь-цепи эти, — поморщился Моль, — за день ведь отожгли. Только разговоров...

— Какие тебе там цепи, — поморщился Краб, — Сеня, — обратился он к другому матросу, который бегал недавно домой к Страху, — что он толком-то говорит?

— А там, Петрович, ничего не поймешь, — отозвался Семен, — несет, в общем, все начальство: в святителей, и в крестителей, и в Христову шапку... и даже в тот гвоздь, куда Христос шапку вешал.

— Кривой?

— Хоть выжми. Говорит, из колхоза ухожу, а вам, говорит, пусть дают нового капитана.

— От чума.

— Г-г-говорят, в Анапке она уже появилась. Г-г-говорят, тумгутумовцы и ударкинцы уже берут.

— Через недельку она навалится, — добавил Краб. — И к бабке не ходить, через недельку. Вот речка что-то в этом году...

— Петрович, — обратился к нему старпом, — а ведь без Страха мы план не возьмем.

— Не будет делов без Страха, — согласился Краб, — и к бабке не ходить, не будет.

— Не сработались же, — сказал Моль. — Первые недели две фестиваль будет, а не работа. А как в прошлом году мы шуровали, как шуровали! — Он оживился. — Если сами не возьмем, то зальемся у кого-нибудь. Всегда с рыбой. Помнишь, Петрович? Как к «Медному» в кошелек залетели?

— Было такое дело, — улыбнулся Краб.

— «Медный» кричит по рации: «Кому рыбы? Залегает, выпускаю». Мы подскакиваем, а там уже четыре сейнера налаживают свои садки. Страх кричит Гуталину: «Бери садок, прыгай в шлюпку!» Гуталин сел. Мы сначала ничего не поняли. А Страх вырубил полный ход и пошуровал мимо всех, и пошуровал. Потом вывернул корму — и бах шлюпку в невод к «Медному». Пока те ковырялись, Гуталин, он же шустрый, пришил уже свой садок. Только перепустил ее в садок, она и залегать в неводе стала. Те без рыбы, а мы под жвак.

— На это он мастер, — улыбнулся Краб.

— Петрович, — опять обратился Юра к своему шефу, — сколько вы в прошлом году пустырей потянули?

— Да будто девять, — отозвался Краб.

— Девять, — подтвердил Моль.

— Девять? — удивился Валька, он тоже из новеньких. Раньше Валька работал у другого капитана, самого суетливого и самого неудачливого во всем колхозе, по прозвищу Адмирал. Вальку перевели к Страхову решением комсомольского собрания, чтобы дисциплину улучшить. — А мы с Адмиралом в прошлом году каждый день по два таскали.

— Каждый день по два? — выкатил глаза Моль.

— А то и по три, — продолжал Валька, — то промажет, то ворота оставит, то на молодь зафинтилит. Замучил всех, уже разбегаться хотели.

— Нам молодь попадалась, если наводил кто-ни-

будь, — продолжал Моль, а сами всегда крупную брали. Помнишь, Петрович, — он повернулся к Крабу, — как у Крещеных Огней метнули? Ты тогда еще не хотел.

— Мне Гуталина жалко было, — отозвался Краб. — За него боялся.

— Шторм шурует страшный! — Моль даже привстал с ящика. — Все с моря тикают, а Коля собрал нас и говорит: «Ну что, братцы? Метнем? Добрый косячок под нами». Мы молчим, страшно. Сейнер так и валяет, так и валяет, от снега ничего не видно. Свистит все... шапку не удержишь. «Как, Алексей Васильевич, — спросил Коля Гуталина, — усидишь в шлюпке?» — «Попробую», — говорит Гуталин.

Начались воспоминания. Вспоминали, где, когда, как брали рыбу. Обычно такие экскурсы в прошлое бывают с долей хвастовства — какой же рыбак не преувеличит длину, например, когда-то пойманной рыбы? — или чтоб посмеяться, тогда ворошат все «козочки», которые приключились. Сейчас вспоминали плаванья со Страхом просто, немного с грустью.

— Так говорит: «не приду»? — переспросил Юра.

— Не приду, говорит, ни за что, — ответил Сеня.

Теперь все молчали. Пламя воспоминаний так же быстро погасло, как и вспыхнуло. На душах ребят тлел пепел несбывшихся надежд.

Вася-кок, впервые попавший на флот, да и вообще на Камчатку, мечтал... в общем, еще из армии писал письма в Рыбакколхозсоюз, на море просился. Сколько радости было, когда на сейнер назначили! А уж как Вася на камбузе старался, мыл да чистил все. Ребята одергивали, советовали гонор для путины приберечь.

Моль — закоренелый страховец. Тринадцатилетним пацаном сбежал из детдома. Страх взял его к себе поваренком. Уже сколько лет со Страхом... Другого кепа и не представлял. Управление катером или сейнером Страх доверял ему полностью, даже заметы научил делать и рыбу искать. Правда, отругает иногда, но без этого на рыбе нельзя. Зато уж лишнюю работу делать не заставит, лучше сам делает. Да и вообще...

Другой матрос, Сеня, как и Вася с Валькой, новенький у Страха, хоть на море и не новичок.

До приезда на Камчатку Семен работал в Черноморском пароходстве, на «Персидском». Разлад с женой, ребенок у нее остался, оклад, и выше не прыгнешь. Выгреб-

ной костюм стал переходить во второй срок, а на новый перспектив нету — жене тридцатку, матери десятку. Завербовался на Камчатку, поступил в колхоз. Как опытного матроса, сразу взяли на сейнер. И вот катавасия...

Краб думал о том, как он уедет на материк с концами. Девятнадцать лет на Камчатке, а на море уже сорок. Хватит! Поясницу иногда так скрючит, не разогнешь. Лето отрыбачит, съездит в Мацесту подремонтироваться и — на мертвые якоря.

Старуха на родине домик купила, фотографию прислала. Дом с виноградником. Уж последние деньки... А пришлют нового, может, такого, что и игличку никогда в руках не держал. Фестиваль будет, а не работа.

Старпом думал, что могут заставить принять «Спутник», главный инженер намекал уже. По колхозу пойдут сплетни, подсидел, мол, такого рыбака, как Страх. Да и совести не хватит: Страх сам ремонтировал «Спутник», сам невод шил, каждую скобу прилаживал.

А Валька был настроен оптимистически. Черт его знает, что это за Страх? Может, похуже Адмирала, может, тоже будет гоняться за ребятами с рукояткой от брашпиля, как пьяный Адмирал когда-то. Этот водку хлещет не хуже. Улучшить тут дисциплину... Это на комсомольском собрании решения хорошо принимать, а в море другие пироги.

Валька лежал на одном ящике, сапоги закинул на другой и смотрел, как бегут по небу волокнистые облака.

— А черт с ним, братцы, со Страхом, — зевнул он, — раз он нас бросил, проживем и без него.

— Прожить-то проживем, — потянулся Краб, — кто ж говорит, что не проживем.

— А не плохо бы, Петрович, — обратился к нему Моль, — плана два рубануть, как в прошлом году. Или три, как в позапрошлом.

— И один не возьмем, — отозвался Краб. — И к бабке не ходить... не возьмем... — Он вытащил из кармана мятую пачку папирос, стал ковыряться в ней, откидывал высыпавшиеся папиросы. Целую папиросу протянул старпому. Тот отрицательно покачал головой.

— Все перекуриваете, орелики? — раздался хрипловато-насмешливый тенорок. — Все перекуриваете? — Перед ребятами стоял дядя Саша. Он взял у Краба папиросу, раскурил. — Так. А рыбка вон уже пошла к Анапке, ночью

речка вскроется, а вы все перекуриваете. А где же ваш Страх?

— Нету, — сказал Моль.

— Ушел, — сказал Юра.

— Куда же это он мог уйти? — так же насмешливо продолжал Демидов. — Может, загазовал?

— Там, дядя Саша, не поймешь, — отозвался Юра, — и загазовал и со всеми начальниками разругался. Уже четвертый день на сейнер не появляется.

— И пьяный как свинья, — добавил Краб.

— Это он может, — не удивился старик, — сколько я с ним нахлопотался, когда председателем был. — Демидов говорил уже серьезно. — Нажрется, бросит «Бегуна» где-нибудь в устьях, а сам выступает по колхозу. И ничего не скажи. Самолюб больно большой.

— Г-г-говорит, его с капитанов сняли, — вмешался Вася.

— Ну снять-то не снимут,— сказал Демидов,— в правлении не дураки. Кто ж колхозу рыбу ловить будет? А вот...

— В общем, говорит, «не пойду», — перебил Демидова Сеня, — сам у него был.

— А вы тоже все уйдите, — старик сильно затянулся, закашлялся.

— З-з-зачем?

— Как это? — засмеялся Моль.

— Уйдите, — продолжал старик, — а я пойду к нему и буду страмить. Куда это! Рыба на носу, а он выкобенивается, свинячья харя, «коверкот» чертов. Целую зиму готовились, ремонтировали все, а рыба пошла — он фокусничать. Что ж тут, не люди? Вы только на сейнер пока не появляйтесь.

— Смотри, дядя Саша, не пужнул бы он тебя, — усомнился Моль.

— Он и вас обматерит.

— Или сапогом огреет.

— Не огреет... я ему такую ижу пропишу...

— Иди, иди, — засмеялся Краб.

Что говорил старик Страху, как «страмил», какую «ижу» прописал ему, осталось неизвестным. А вот Вася в последней сцене сыграл замечательную, прямо-таки гениальную роль.

«Спутник», как и четыре дня назад, стоял на слюзах, кормою к самой кромке — винты льда касались. На борт с сугроба перекинуты две длинные, гнущиеся сходни. Вся

подводная часть, даже винты — Вася по собственной инициативе намазал — горели только что просохшим суриком. Ярко блестели названия и цифры пограничного номера на маслянисто-черных бортах. Рубка беленькая, крылья мостика обтянуты новеньким, проолифенным — чтоб соль не разъедала — брезентом, привальник по правому борту обит резиной — чтоб невод при выборке не цеплялся. Сам невод уложен и приготовлен к выметке, даже шлюпка наготове — тронься речка, «Спутник» тут же полетит искать косяки сельди.

По гибким доскам прошел Страх. После минувших бурь он был тихий, смурый, немного помятый. Брел медленно, задумчиво.

На судне ни души. Только один Вася сидел возле распахнутой двери камбуза на низенькой, собственного изготовления, скамеечке, чистил картошку.

— Здорово, Вася, — прохрипел Страх.

— З-з-здравствуйте, Яковлевич, — ответил Вася, не поднимая головы. Он склонил ее еще ниже, к плечу чуть-чуть. Насвистывал что-то, следя за сбегающей кожурой.

Страх прошел в кубрик. Пустота. Стал возле холодной печки. Вокруг заправленные молчаливые койки, разбросанные костяшки домино на столе, чье-то белье под трапом. Тишина. Часы тикают... Неуютно в кубрике. «Дня два не топили, — подумал он, — неужели поубегали все?»

Вышел на камбуз. Стал возле двери камбуза, ногу поставил на высокий комингс. Нога слегка дрожала. «Даже ноги трясутся», — отметил Вася.

Молчит Страх. Молчит и Вася. Для Васи самое главное — сбегающая кожура.

— А где все? — после долгой паузы спросил Страх.

— П-п-пьянствуют! — не поднимая головы, ответил Вася.

— Как?

— Все хотим, чтобы гон дали. Разбегаться хотим.

— Почему?

Вася пожал плечами.

— Старпом почему не на работе?

— Ушел.

— А Юра?

— Тоже ушел.

— А Петрович?

— И Петрович ушел. Тоже ушел.

— А ребята?

— Да тоже ушли. Я ж г-г-говорю, что все разбегаемся. И я уйду. Вот н-н-начищу картошки и тоже уйду, не сомневайтесь.

— Куда?

— Мы с Валентином к Адмиралу пойдем.

— А Юра?

— На «Бегун» уйдет, на ваш старый пароход, Яковлевич.

— А Петрович?

— П-п-петрович — не знаю. Он говорит, что вы свинья, а не капитан. Б-р-росили всех.

— Да не свинья я, Вася, — жалко скривился Страх, — не свинья. — Он даже руку приложил к груди. — Никого я не бросал. Я же поругался с этим Занудой, а не с вами, ну?

— З-з-зануда нам рыбу ловить не будет.

— Ну да, это верно, — плаксиво оправдывался морской волчище перед салагой-первогодком, — но я же не хотел вам плохого. Не хотел вас обидеть.

— А м-м-мы и не об-б-бижаемся. — Картофельный клубень у Васи разлетелся пополам.

— Мало ли что бывает, Вася, — болезненно морщился Страх, — ты ж сам понимаешь...

Губы у Васи кривились, он кромсал не глядя картошку.

— Вася, — умоляюще продолжал Страх, — иди найди ребят и скажи, чтоб вертались. Чтоб на судне были... вон уже все на сейнерах живут. Речка ведь может тронуться. Скажи им...

— И-и-и-и... — у Васи заело даже на гласном звуке, — и-и-и-есть! — наконец выстрелил он. Схватил шубу — и к двери. — А якорь-ц-цепи мы уже п-погрузили, — кричал он, покачиваясь на сходнях, — еще в т-тот д-д-день.

— Да мы и без цепей рыбу поймаем, — продолжал Страх, — цепи... цепи... вот штука... цепи...

Глава XXX

В этом году День рыбака — из дней рыбака день. Для Дранки — престольный праздник. Что там какой-то Новый год, когда в каждом доме рыбак, если не вся семья рыбацкая. Да колхоз и живет за счет рыбы, а за поселком на кладбище одна пятая часть могилок с якорями...

Нынче этот день совпал с выборами нового председа-

теля, Геннадия Семеновича — Василий Васильевич так и остался в Петропавловске, как увезли в последний раз. Отходился с шести часов утра по колхозу, отдумал свои непередуманные думы.

Выборы были, правда, не совсем гладкие. В колхозе, на месте, большинство проголосовало «против», но радиограммы с флота почти все пришли «за». Кандидатура прошла.

Подарки и премии на этот раз, как и всегда, впрочем, богатейшие: «Алмаз» и «Мегафон», загруженные аккордеонами, приемниками, свитерами, костюмами, электробритвами, отправились к месту промысла, «Бегун» весь в флагах обходил ставные невода. На его носу — тесновато, правда, — пристроился школьный оркестр, самодеятельность. День стоял тихий, солнечный и какой-то улыбающийся.

С промысла пришел — но лучше бы не приходил — «Спутник». Его, как передовое судно, отозвали с моря для участия в общеколхозном торжестве, а он в речке заряхался на мель. Такой позор! А ведь весь колхоз вывалил на берег «наших с моря встречать». Извечная рыбацкая традиция.

Когда новый председатель прибыл туда, Страх был под парами, да еще чешую поднял:

— Что ж, я на свой праздник не имею права расслабиться?

— Ты не имеешь права позорить колхоз, — сказал Геннадий.

— Ух ты-и-и! Коверкот.

— Передашь судно капитану «Бегуна». Сам пойдешь на его место.

Клуб в этот день глухо шумел. Как улей перед вечером, когда, довольные дневными трудами, обитатели его собрались все вместе.

«Как хорошо, — думал Ванька, слушая произносимые на сцене имена, наблюдая, как названные смущенно и в то же время гордо шли на сцену за грамотами и подарками, — почет-то людям... не зря живем».

— Нашему лучшему колхознику, добросовестному труженику и очень симпатичному парню, — хорошо поставленным голосом произносил новый председатель на сцене.

«Кого же это он так расписывает...» — подумал Ванька, а сердце вдруг захолонуло.

— ...Ивану Евсеевичу Проскурину...

«...ничего себе!»

— ...наш скромный подарок! — Геннадию принесли из-за кулис большой картонный ящик.

— Иван Евсеевич, где ты? Прошу сюда!

Плохо помнит Ванька, как вручали грамоту, как жали руку, что-то поздравительное говорили. Потом шел от сцены с этим ящиком — приемник «Рекорд», — под ногами ничего не видно, а вдруг зацепишься за ковер? И сидеть неловко, выше носа этот ящик.

— Ваня, — шепнула рядом сидевшая Мурашова и прижалась к его локтю, — поставь пока на проходе.

Ну и рыбачек, доярок, малярш, штукатурш, воспитательниц детского сада, птичниц, свинарок и учительниц какими только отрезами на платья, туфлями, капронами, часами да сережками не одарили! С Эгелем Айтаровым — его тоже от стада вертолет привез — произошла такая штука.

Назвали его фамилию. Он размашистой пастушьей походкой — хоть и старик, а бегает шустро — проковылял на сцену. Геннадий объявил, что он премируется домом.

— А где, однако, дом? — спросил старик. В зале засмеялись.

— Любой выберешь на улице Гагарина, — Геннадий тоже смеялся.

Сюрпризом же всего вечера — Геннадий, конечно, придумал — было открытие доски Почета. Сначала думали, что это тоже подарок — стоит на сцене что-то большущее, укутанное простынями. Потом вынесли это в свободную от скамеек часть зала и под звуки оркестра сдернули простыни.

Мать честная! В левом верхнем углу величиной с тетрадочный лист — фотография. На ней Ванька: кепка козырьком назад, смахивает пот со лба. Улыбается, небритый — фотограф, зараза, даже веснушки вывел, — а глаза озорные, бесшабашные, подмигивают кому-то из-под руки. У Ваньки угли внутри занялись, как увидел. Ведь никогда и не думал, что такой симпатичный да... герой. Пусть даже на фото.

В правом верхнем углу другая, там береговой боцман Александр Ипатьевич Быков, почетный колхозник. Но разве сравнять с Ванькиной? Воротник у боцмановской рубахи кривой какой-то... и смотрит как через забор... Совсем не то.

Пришли домой. Мурашова все время искоса погляды-

вала на Ваньку, улыбалась про себя. Потом прижалась к нему и обняла.

— Я даже не представляла, что у меня муж такой красивый. Дай поцелую?

— А-ах! — равнодушно отмахнулся Ванька, подставляя щеку. А настроение было такое... будто кто-то в душе балалаечку тихо-тихо настраивал...

Глава XXXI

Шел дождь. Он шел тихо и собирался идти еще долго. Тундра и горы вдали были в серой мгле, того берега почти не видно. Речка побелела и бежала быстрее.

В нежилом доме на берегу реки спрятались от дождя дядя Саша Демидов и охотник Яшка Айтаров.

В доме нет мебели. Собственно, ничего нет, только печь да плита. В начале лета, когда колхозное стадо кочевало в этих местах, здесь жили пастух с женою и доярки. В одной из комнат располагался молочный склад. Но теперь стадо откочевало к Ивашкинскому увалу, пастух с доярками переселились в другой, точно такой же дом, а здесь теперь только бидоны. Пустые и с молоком. Полные трактор каждый день привозит от стада, забирает пустые. Такую же манипуляцию производит дядя Саша, только он курсирует по речке на моторной лодке от дома до колхоза.

Вот сейчас дядя Саша привез пустые, нагрузился полными, но в колхоз не едет, дождь пережидает. С ним Яшка, которого он из колхоза подбросил. Яшка тоже не хотел идти по дождю в свою зимовьюшку. В колхоз он ходил за припасами.

В комнате, где они сидят, грязновато: от свечки, установленной на углу почерневшей плиты, поблескивают пустые бутылки по углам, ржавые консервные банки, сереют заплесневелые корки хлеба. Бумажки и всякий мусорок.

Старики, им обоим за шестьдесят, сидят на кирпичах, горит плита, на ней бурлит чайник. Перед ними на полу разостлана газета, на ней буханка хлеба, сыр, раскрытая пачка сахара. Яшка привалился спиной к стене, одну ногу выбросил перед собой, на другую, согнутую в колене, облокотился. Оба держат по кружке чаю, Яшка свою держит обеими руками, будто руки греет.

— А помнишь, Яша, — хрипловато и задумчиво говорит Демидов, — как я красную рыбу сдавал? Помнишь, а?

— Да-а-а, — неопределенно произносит Яшка.

— Когда председателем был?

— Да-а-а...

— Борисович,— он тогда директором был, кричит: «Где твои пятьсот центнеров? Тут и четыреста не будет, а квитанцию ты взял на пятьсот». А я говорю: «Здесь! Все здесь! Считай!» Меня, Яшка, на мякине не проведешь.

— Теперь ее тысячами сдают.

— Я не про то говорю. — Демидов отхлебывает из кружки несколько глотков. — Я, Яша, про то говорю, что люблю справедливость. А что сейчас ее берут тысячами, дак это неправильно. Ведь он ее в речке берет, а в речке разве можно? Она же в речке нерестится.

— Нельзя, однако, в речке рыбу брать.

— Эх, Яша, что делает, что, подлец, делает?! Что делает?! В речке придумал рыбу брать. А? А нефтебазу? Ведь он же ее прямо на самом берегу поставил, а ведь толковали ему на правлении, что ставь ты ее подальше, в тундре. А он свое: «Трубопровод тянуть, нерентабельные затраты». А вот теперь солярка стекает в речку, а для рыбы ведь это гибель?

— Гибель, однако, — соглашается Яшка.

— Эх! Яша! — вздыхает Демидов. — Ему же ничего не жалко, соловей... прилетел, напоется и улетит. Не наш ведь...

— Не наш... соловей, — соглашается Яшка. — Он хочет быть шибко большой начальника.

— Вот ему! — Демидов тянет кукиш. — Чтоб на такой должности работать, надо все для людей делать. А не будешь для людей стараться — сколупнут. Я-то знаю, не один год в этой шкуре проходил.

— У тебя хорошо, Яковлевич, было, — соглашается Яшка, — ты хороший хозяин был.

— Эх! Яша! Что натворили... что натворили, — сокрушается Демидов, — хоть та же селедка. Ведь сколько ее было, сколько ее было?! Ведь весною в Анапке вода была белая от молок, а по прибойке хоть не ходи, икра так и хрустит под ногами. Ну зачем он, подлец, большой флот запустил туда? А теперь: «Новые места промысла». А рыбачь с умом, дак она бы и сейчас там была... ведь к рыбке надо относиться как к хлебушку, выкохай ее да вырасти сначала, а тогда уже и рыбачь. А то ведь как делаем? Как те дикари, что мамонтов убивали. Нашли мамонта, убили, пошли другого искать. Так же и мы... да дикари, на-

верно, на развод оставляли, а мы? Селедку вывели, теперь и камбалы меньше стало, да и трески. Рыбка же одна без одной жить не может.

— Не может, однако, не может, — соглашается Яшка. — Все рыбы и дичи одна без одной не могут. Одна утка не может без одной вороны, однако, один зайчик не может без лисички...

— В природе, Яша, все одно без другого не может. Изведи волка, тут тебе и заяц пропадет или та же утка без вороны.

— Да, однако, — соглашается Яшка. В его умных глазах, выцветших среди бесконечных просторов тундры, знающих повадку каждого зверя и птицы, умеющих по отметке на траве или вмятине на береговом песке разгадать тайну природы, тихая печаль. Он тянется к чайнику, наливает себе чая, льет в кружку Демидова. — Я не хотел за него голосовать.

— А кто хотел? Кто, Яша, хотел? — Демидов делает несколько глотков. — Это флотские все напортили, что на океанском флоте работают. Они же базируются в Питере, здесь почти не бывают, им-то все одно, кто здесь. Вот и получилось. А районное начальство его еще не раскусило.

— Раскусит, однако.

— Раскусит, Яша, раскусит. Шила в мешке не утаишь. — Демидов тянется к буханке хлеба, толстыми, черными от загара и негнущимися от мозолей пальцами отламывает корочку. Сыпятся на газету крошки, он собирает их. — Как у меня было? Как у меня, Яша, было, когда я председателем был? Помнишь, Яша? Все дела решали вместе, по-рыбацки, по-человечеству. — Демидов поднимает палец вверх и колышет бровью. — По-человечеству: все вместе собираемся и решаем, кого куда послать, кого старшим, кому какую долю выделить. А теперь? Он же сам решает... Окружил себя подхалимщиками: Петрунь его человек, Витька, заведующий фермой, — его, вот Прохорова снял с завхозов, из комбината на эту должность перетащил тоже своего человека. Видишь, как оно получается...

— Плохо, однако, получается.

— Плохо, Яша, плохо. Да еще как плохо. Это ж соловьи, им наплевать на все. Вон Василь Васильевич был, дак шесть часов утра, он уже ходит по колхозу, болела душа у человека.

— Охотника никогда не обидит, — прерывает своего друга Яшка.

— Да и рыбака, — соглашается Демидов. — Сам рыбак был... Сначала звеньевым на неводе работал, потом бригадиром, потом съездил, подучился...

— А собачки какие у него добрые были, — вставляет Яшка. — Ни у кого таких не было. Очень хорошие.

— Что ты?! Звери, а не собачки, тигры.

— ...у коряков таких собачек не было. И жили тогда хорошо: нерпушку застрелил, почаевал, поехал дальше. Олешка застрелил, чум поставил, чаюй...

— А теперь? — вздыхает Демидов. — Дома двухэтажные придумали строить, кахве стеклянные. Ты там был?

— Не. Боюсь, однако.

— Приемников, телевизоров понавезли. Музыка... музыка-то теперь какая стала? Твисты да свисты. Трам-там-пир-бид-там! Тьфу! Не музыка, а одни скелеты. А пляшут? Тьфу! Как вечер настает, мои внучки вертятся перед зеркалом, налаживают конские хвосты. Страм! Ты видел, как они пляшут?

— Не.

— Страм! А юбки? Страм! Ведь до чего короткие? Короткие до того, что дальше некуда.

— Некуда, однако, — соглашается Яшка.

— Да еще выкобениваются: «Не хотим в деревне жить, в город хотим».

— В городе, однако, плохо. В городе нас тушат.

— Ну душить-то никто не душит, — поднимает брови Демидов. — С чего это ты?

— Тушат, Яковлевич, тушат. Автобусы тушат, машины тушат, трамваи тушат.

— А-а? Давят, значит?

— Да, давят...

Старики замолкают. На лицах обоих задумчивая грусть. Демидов подливает в кружки горяченького чайку.

— Отец в доме живет? Что в Черемушках, на Гагаринской улице?

— Зачем пастуху дом? — Яшка тоже говорит грустно, отхлебывает несколько глотков из кружки. — Где олешки, там и дом.

— Зря только в доме чум ставил.

— Теперь рядом поставил.

Старики опять на какое-то время замолкают, прихлебывают из кружек. Демидов хмурится.

— Зашел я как-то в двухэтажный в Черемушках, — продолжает Демидов. — Страм! Как там жить, в этом муравейнике? Где собачек держать? Где рыбку скоптить?

— Туда не захожу, — говорит Яшка. — Боюсь.

— Ну, в комнатах, правда, чистота, — продолжает Демидов, — окурок негде растоптать. А в коридорах? Ждут, когда уборщица придет да выметет все. Ведь это страм, чтоб за ними убирать. А ведь живут культурные люди, инженера да инженерши разные, могли бы и сами. Дак нет же, убирай да подметай за ними. Дворники теперь появились. Ты слышал об такой должности?

— Не.

— Да у меня на весь колхоз ни одной уборщицы не было. Тьфу! Опять же замки появились. Как вечер настает — защелкали замками. Страм.

— В тундре у меня, однако, замков нету.

— Да и у меня не было, на весь колхоз ни одного замка не было, склады гвоздем закрывали. Это ж сейчас мода на замки пошла.

А дождь шумит. Шумит и шумит. Поет и поет свою тихую монотонную песенку и совершенно безучастен к бедам стариков, будто потешается над ними. Но не насмешливо смеется над ними, а так, чуть-чуть, одною грустной беззвучной улыбкой.

— Ведь он что хочет, — возвращается Демидов к разговору о Геннадии Семеновиче. — Ведь он хочет выхвалиться перед районным да областным начальством, чтобы заметили его, и уйти от нас. А до самого хозяйства ему никакого дела нету. Вот в прошлом году, ты же помнишь, Яша, какой они фокус отмочили, когда в тундру укатили гусей стрелять? Тут осень, уборочная, конец путины, флот с моря прет, его надо на зиму ставить, а их ни одного: вся головка гусей гонять укатила. «Алмаз» тут штормом выкинуло на берег. Ипатьевич всех людей забрал сейнер спасать, а картошку убирать некому. Осман Магомедович с Лешкой Гуталином тракторами подкопали ее, и лежит она... Кому ее убирать? Хорошо, что Осман Магомедович пошел в контору да разнес всех там. Да и толку от них... понадевали штаны, вышли как на прогулку. А ногти-то длинные да крашеные. Ну как с такими ногтями выковыривать ее из земли? Считай, все картохи и остались в поле. Позеленели, ослизли. Возвратились эти соловьи из тундры и, чтобы выкрутиться перед районом, коров да свиней запустили на поле. А коровы и те не едят, все из-под зем-

ли хорошую норовят выковырнуть, умная ж скотина. И-эх! Да за такое дело под суд надо! — Демидов тяжело дышит. — Сколько добра погубили... На субботник вышли... смех! У них же миникюри да пидикюри. — Демидов произносит эти слова каким-то цыплячьим голосом и презрительно кривит губы. — Они ж умеют держать только ридикюли. А тут пахать надо! Не субботник надо, а аврал по всему колхозу! Гусей гоняют...

— У моей внучки тоже крашеные ногти, — жалуется Яшка. — Ничего не умеет.

— А что с ними можно? Все одно что без рук. Вот мои тоже из институтов на каникулы приедут, я им пропишу ижу!

— И у меня приедут: два внука в техникумах, три внучки в институтах...

— И у меня целый косяк в институтах. А толку? Ну, что с них толку? Ведь раньше на десятом году он уже помощник тебе, за собачками смотрит, на четырнадцатом — уже добытчик для дома, уже на неводе рыбачит. А сейчас его, дармоеда, учи да корми до двадцати пяти годов, и в одном пинжачишке он уже не хочет ходить, а костюмы ему подавай, да не один, а два да три. А возвратится, хорошо, как возвратится, опять в конторе засядет, а ты, отец, ковыряйся в земле. — Демидов замолкает, непослушными, негнущимися от мозолей пальцами тянется к буханке. — Вон этой зимой я своей младшей внучке стал шить сапожонки из нерпичьей шкурки, — продолжает Демидов. — Да замотался что-то, все никак не сошью, долго шил. И что ты думаешь, Яша, она мне сказала, пустельга? «Пока ты будешь шить, я уже институт закончу». Во, Яша, как! А ведь пустельга, от горшка два вершка, а туда же! Институт ей?! Ах ты, пустельга!

— Плохо, однако.

— Куда хуже! — соглашается Демидов.—Но ничего... Вот приедут мои, я им пропишу...

А дождь идет. Так же настойчиво мурлычет свою однотонную и однообразную мелодию. И не думает переставать.

Глава XXXII

А Ванька бегал по мокрому берегу, кричал, суетился — лес принимал с парохода. Мишку вызвали зачем-то в контору, и он оставил Ваньку за главного.

Лес от парохода, стоящего далеко на рейде, подтаскивал Страх на «Бегуне» — после того как Страха сняли со «Спутника», он порывался уйти из колхоза, да что-то не ушел, — а с берега в колхоз тащили уже трактора.

«Бегун» тыкался носом в берег, его заваливало, Страх никак не мог подать плот.

— Да не так же ты, не так, — кипятился Ванька. — Да что ты, окривел или что? — кричал он Страху. — Ну куда прешь?

— Я не на велосипеде, — откликнулся Страх. — Сам попробуй.

— Сюда давай, сюда!

— Замолчи... в святителей, угодников... — И Страх обложил Ваньку такой цветастой вариацией, что Ванька чуть за живот не схватился.

— А это что ты приволок? — нарочито серьезно, чтоб не выдать себя, сказал он. — Что ты приволок? На растопку, да?

— Я их не выбираю.

— Да ты ж там торчишь. Куда глядел? По пузырькам вдарял, да?

— Там есть ваш чудак, он пусть и смотрит.

— От волосаны, — уже искренне, до плаксивых ноток расстроился Ванька, глядя на корявые, кривые, тонкие бревна, — это же курям на смех. Даже на забор не пойдуть.

— Пойдуть не пойдуть, — передразнил его Страх, — сам поезжай и выбирай каких тебе надо.

— И поеду. Всякую дрянь суют, а вы хлопаете ушами. Тоже мне... капитаны.

— Не ори.

— А я и не ору. Кинь конец, я залезу.

С «Бегуна», ткнувшегося наконец в берег, подали конец, Ванька стал карабкаться по нему.

— От козодеры, — не утихал он, перелезая через леера. Перебравшись, вытер руку о штанину, протянул Страху. — Здорово, Коля!

— Здорово, здорово, Ваня. — Страх наспех тряхнул Ванькину руку, кинулся на корму — катер опять повалило на берег. — Я с твоим лесом винт угроблю... в печенку вас всех...

И вот Ванька на пароходе. В огромнейшем трюме, где без малейших неудобств смог бы разместиться трехэтаж-

ный дом, связывали в плоты, стропили и поднимали лес. Ванька сразу к стропальщикам:

— Куда заводишь? Не такой нам надо. В накладной ясно сказано: «для пилорамы».

— Нам этот сказали, — огрызнулся матрос.

— Ошибаешься, корифан. Этот да не этот. Давай-ка вот те бревна, — с обидой в голосе прокричал он.

Матросы лениво начали растаскивать уже связанные плоты, стропы стали заводить под более ровные и толстые бревна.

А Ванька полез по трюму. «Это на наличники пойдет, — думал он, тыкая носком сапога звенящие сосны, — самое что надо: ни от жары, ни от холода не поведет окна-то... — Ему представились окна будущего Дворца культуры. Вспомнил, как на собрании Геннадий развешивал по стенам чертежи да плакаты. — Одних колонн шестнадцать штук, а окон по скольку в каждом зале... и не сосчитать. А это, кажись, клен? Мать честная! Да из него ж стульев для главного зала наклепать можно, и библиотеку, сцену... да хоть алтарь. И на шлюпки для флота пойдет. Куда ж они, волосаны, глядели? Старые кунгасы на шлюпки курочим, по дощечке собираем, а тут целый склад! Тьфу! — И он приругнулся. Стал прыгать с бревна на бревно, присматриваясь да прикидывая. И вдруг присел. — А это чи дуб? — Он верил и не верил своим глазам, стал колупать ногтем торец массивного тумбистого бревна. — Черт возьми! Да из него ж вечные стояки будут. Да и на мост...» — Он топтался по бревну, улыбался, кашлял.

— А ну, ребята, давай сюда, — сорвавшимся голосом крикнул он матросам, — сюда, сюда заводи! — и он пощелкал по торцу: «Не усохло еще...»

«Бегун», обвешавшись по бортам плотами, запыхтел к берегу. Ванька проводил его продолжительным взглядом, вздохнул. Потом спустился на дно трюма.

Матросы, рассевшись по бревнам, лениво переговаривались, курили. Он подошел к ним, для приличия откашлялся.

— Закури, мужичок, — сказал один из них, протягивая пачку «Беломора», — хватит мотаться.

— Можно, — сказал Ванька, присаживаясь. — Ну как заработки, ребята?

— А-ах, — вяло отмахнулся тот, что протягивал курево, — на полгода в каботажку перевели. Только оклад да

что на выгрузке сшибем. — Помолчав, добавил: — Лес вот вам возим.

— Лес нам нужен.

Матрос вздохнул.

— А раньше куда плавали? — чтоб поддержать разговор, спросил Ванька.

— Раньше, мужичок, плавали, — матрос усилил голос на слове «плавали», — в Японию.

— Зачем это?

Матрос отвернулся, отщелкнул окурок.

— Как зачем? — засмеялся другой матрос. — Лес возили.

— А-а-а... — будто ничего не понимал Ванька, а сам так и щупал трюм глазами: вон из того хороший стояк получится. — А нам бы побольше вот таких. — Он указал пальцем на бревно, что облюбовал на стояк.

— Хорошо, хорошо, мужичок, — поморщился матрос. — Сделаем тебе и это полено.

— Спасибо вам, братва. А я уж для вас постараюсь, угощу как-нибудь...

— О! — Поднял брови моряк. — А ты деловой мужик. Говоришь, достанешь чего-нибудь?

— Да попробую.

— Да брось ты, дракон, — вмешался другой матрос, — зачем это нам?

— Разве помешает с усталости? — засмеялся дракон.

— Не помешает, — развел руками Ванька, а на лице изобразил самую простодушную, какую только мог, гримасу. Смотрел не мигая. — С устатку она не помешает.

«Надо сказать им, чтоб из того вон угла брали, — думал он, оглядываясь по сторонам,—и для кинозала и для детского сада. А там что за кукарача? — Он встал, направился к толстому, широкому бревну. Особенно уродлив был комель этого бревна, прямо страхолюдина. — Липа-а-а... — прошептал он. — Да это ж пацанам самое то: шкафчиков если. Дверцы легкие будут, с запахом, пацан откроет шкафчик — уф! Запах-то всегда внутри собирается, и бельишко пахнуть будет. А если лошадок-качалок, каких-нибудь слоников понавыделывать... — Ванька чувствовал мягкий, чуть отдающий медом запах липы, — этим ребятам пузырьков пять бросить, они тут весь трюм перевернут». И он поежился. Как восемь лет назад, когда мечтал о пяти тыщах в девичьем общежитии.

— Да посиди ты, браток, чего прыгаешь? — подошел к нему один из матросов. Подобрав удобную позу, он развалился на уродливом комле липы.

— Да я вот с тобой посижу, — сказал Ванька, усаживаясь рядом.

— Ты чего улыбаешься? — спросил матрос.

— Ничего. А ты?

— Да тоже вроде ничего.

— Ну вот.

— Что «вот»?

— Ничего.

И оба рассмеялись.

— Чудак ты, однако, — добродушно заметил моряк.

«Не чуднее, браток, тебя... а матерьялу, интересно, сколько там по накладным осталось?»

Вдруг загудела лебедка, на ходовом шкентеле стали спускаться стропы. «Полундра!» — донеслось сверху.

— Ну что, парни, — обратился матрос к своим товарищам, — заделаем этому мужику дровишек?

— На раз.

— Он с виду хороший мужик.

«А толпа тут дружная, кореши. Подружнее, наверное, наших будут. Да это конечно, флотские же... Вон хоть и наши: придут осенью с моря, так все вместе и ходят, братия».

Спустился Михаил. Он, как и Ванька, первым делом полез по трюму. Ванька шел за ним.

— Этот уголок видал?

— Ну а как же?

— Полировка хорошо ляжет.

— Ну дак.

Остановились. Молчали. Мишка закурил, болезненно передернул бровями и отвернулся. Раза три подряд курнул и растоптал окурок. Сунул руки в карманы, зашагал.

— Миш, ты чего?

— Так.

«Опять, наверное, пилил. За вчерашнее, наверно, что пораньше ушли. И что за мода? Хоть ничего не делай, а торчи на работе. Ушел — тут же к Торпеде в блокнот, а там ковер... Правда, к Мишке трудно подкопаться, да и вообще трудно с панталыку сбить — всегда свою линию гнет, но у Зануды разговор короткий: «Не можешь рабо-

тать головой, работай руками», — и пошел в бригаду, как с Володькой Прохоровым. Да и Юрия Алексеевича с начальников участка снял, перевел в прорабы, а ведь Юрий Алексеевич сколько лет главным инженером был».

— Я тут липу нашел, — начал Ванька, уж очень тягостное было молчание, — пацанам в детский сад сгородим что-нибудь.

— Ну.

Опять замолчали. Мишка опять закурил. Потом как-то мрачно сказал:

— У Зануды был.

— Полкана спускал? — Ваньке жалко стало своего друга. Подошел вплотную, смотря ему в самые зрачки. — Ты не обращай на него внимания.

— Да нет, не то. — Мишка отвернулся. — В командировку посылает. С этим пароходом.

— За цементом небось, стеклом, железом.

— За всем.

— Цемента недели на две осталось. Как бы у тумгутумовцев выпрашивать не пришлось.

— Успею привезти.

— Хорошо бы.

— Я вот, — Мишка посмотрел себе под ноги, — тебя за себя оставить хочу.

Ванька представил сразу все дело, все хлопоты и неурядицы: наряды, расценки, механизация — ведь придется бегать, искать да упрашивать тех же бульдозеристов да крановщиков всяких, заказы, расстановка бригады, растворы... архитекторы опять же... этим все подавай... Дел по уши.

— Ничего страшного нету, — будто отгадал его мысли Мишка, — с чертежами да с расценками Юрий Алексеевич поможет, он собаку съел на этом деле; колонны Хилай выведет...

— Это конечно. Но ведь и другие же есть. Хоть тот же Хилай.

— Хилай отказался. Говорит, беготни много. А больше кого? Макаренку — его днем с огнем не найдешь после получки, Андреича — тут бегать надо. А какой он бегун? Ты и сам понимаешь.

— А ребята как?

— Ребята согласны, кое с кем толковал...

«Это конечно... Вроде ни с кем еще не ругался. Если поговорить да растолковать всем все...»

— Не бойся, поймут. Не для себя же мотаться будешь.

— Это-то да.

— В общем, пойдем в контору. Зануде скажем. «Цу» даст. Ты с ним поругался, что ли?

— Да ты что? — удивился Ванька. — Вот уж сколько лет он сам по себе, я сам по себе. Да и из-за чего нам с ним ругаться-то?

— Он что-то против тебя имеет. Я уже говорил ему насчет тебя, велел подумать.

— Ну, тогда не надо. — Ваньке стало скучно.

— Чего «не надо»? А по-другому как? Все бригады согласны. И он поймет. Не поймет, что ли?

— Мне, Миша, что-то вообще не хочется к нему идти. Сам не знаю почему.

— А что тут знать? — Мишка стал еще серьезнее. — Он же зажрался до того, что людей уже за людей не считает. Что ж тут неясного. — Мишка задумался, погрустнел. — Что ж тут неясного, — повторил он. — Наливай да пей.

— А какой парень был, когда на кунгасе жил! Помнишь? Я ему тогда еще новые головки на сапоги поставил, шубу перешил.

— А-ах! — отмахнулся Мишка. — Чего о нем толковать? Перебьемся. Не для него ведь живем да стараемся.

— Это-то да, — согласился Ванька, — конечно, перебьемся, да только...

— Не трусь, Ваня, — Мишка хлопнул Ваньку по плечу. — Берись за дело. Берись и все. Я тоже, как в первый раз мастером поставили, побаивался.

— Так то ж ты, — грустно согласился Ванька, а внутри все так и горело: «Это ж хлопот сколько! Особенно механизация... бетономешалки, компрессоры, машины, бульдозеры. Да и с нарядами... А людей сорганизовать, чтоб не прогуливали, чтоб без дела не стояли... с каждым надо перетолковать, сагитировать, заставить. А с нашими кадрами толковать? О-о-о! Ведь как быки ж, никого не своротишь. Да и самих хлопот сколько... — такие вот грустные мысли нахлынули на Ванькину душу, он так увлекся ими, что не заметил, как возвратились в колхоз, прошагали к конторе через весь поселок. Не заметил даже, как прошли мимо доски Почета, мимо которой он никогда не мог равнодушно пройти, отворачивался и проскакивал мимо — а вдруг кто заметит, что он любуется своей фотографией,

собой. — Да, народом руководить не так просто... Это только кажется, что всем начальникам легче работать, чем работяге, а как подумать... Работяге что? Дали тебе бревно, и обхаживай его топором, или еще какую работу. А тут? Крепким надо быть, таким, как Мишка, или даже таким, как сам Зануда. Сказал что — как отрезал. Хотя нет. Вот Василий Васильевич и не очень грозный человек, а у него здорово получалось... Василий Васильевич любил всех, колхоз любил. Да и дело знал. Ну, его все и уважали. А вот Зануда? Тяжко с ним работать. Ну ладно. Фундамент заложен полностью, теперь только ставить арматуру, варить да заливать раствором. Косяки, двери — чепуха. А вот с козырьком да с фасадом возни много будет...»

И если бы сейчас поставить этого, понуро шагающего Ваньку рядом с портретом, что на доске Почета бесшабашно улыбается из-под руки, никто бы не узнал, что это один и тот же человек. Это был не беспечный гуляка-озорник в заломленной козырьком назад кепочке, которому все трын-трава, а задумчивый, придавленный заботой, усталый, сутулый человек. Посерьезневший и постаревший лет на десять.

«А черт с ней! Не слажу, что ли? Если поговорить с ребятами да растолковать всем все... так шуранем, что... да чего там... что ж мы? Какой-то клуб... к концу лета будет и клуб!»

Глава XXXIV

Ванька лежал на берегу речки и плакал. В его горле клокотало все, рвалось и не хотело выходить наружу. Так трудно и тяжко ему было всего один раз в жизни, когда немцы дедушку застрелили.

Тогда был жаркий июньский день, духота стояла. Немцы согнали все Куприяново к школе на выборы старосты. Ванька, совсем маленький еще, стоял рядом, держался за дедушкину штанину. Сначала полицай указал на Федота Семеновича, заведующего сельмагом. Федот Семенович вышел к школьной стене, долго и с жестами говорил, что не под силу ему это дело, больной он — и верно: он был весь высохший, половины желудка у него, что ли, не было. Тогда немцы хотели заставить колхозного конюха, Матвеича. Матвеич тоже вышел к стене, прислонился спиною к ней, скрестил руки на груди — на одной руке у Матвеича не

было большого пальца, Ванька не раз удивлялся, как он заворачивал самокрутки, когда они с дедушкой закуривали, — и сказал, что старый он, безграмотный, не сможет взяться за такую должность, пусть, мол, делают что хотят. Комендант, что сидел вытянув ноги в начищенных сапогах из зеленой легковой машины, похлопал себя по кобуре — она у него около пряжки прямо висела — и пробормотал что-то переводчику. Переводчик обернулся ко всем людям и возбужденно сказал, что если еще будут отказываться, то господин комендант будет стрелять. И тут полицай указал на дедушку. Ванька почувствовал, как задрожала дедушкина нога под штаниной. Дедушка вышел на Матвейчево место, тоже скрестил руки на груди и закачал головой из стороны в сторону. Рот его был открыт, будто воздуху дедушке не хватало. Комендант стрельнул не целясь... Дедушка поднял руку, будто заслонялся...

Все происшедшее Ванька понял после, когда дедушку отнесли на кладбище и все возвратились в дом. Ванька тогда убежал на огород, упал на теплую, мягкую землю возле копешки с просом и заплакал. До самого вечера валялся на теплой, мягкой земле.

И сейчас Ванька плакал.

А получилось вот как. Подошли они к председательскому кабинету, Мишка и говорит:

— Ну, ты пока здесь потопчись, а я зайду. Перетолкую с ним, тогда и тебя позовем. Да чего ты скис? — толкнул в плечо. — Ничего, не бойся.

— А я и не боюсь.

«А хрен с ним, с этим Занудой, — оживился Ванька, — что он мне? Правильно, конечно, Михаил сказал: «перебьемся». — Он вышагивал перед черной кожаной дверью, которая была чуть приоткрыта, держал руки сцепленными за головой. — С чертежами бы где не получилась процедура, да и вообще с бумагами... без Юрия Алексеевича не обойтись, хорошо, его участок рядом. Ну, колонны и козырек Хилай выведет, да и Сысоев тоже в этих делах разбирается. Механизация... Ну, это сами механизаторы, побегать, правда, придется. А вот чертежи... Эх, дурак, зимою не интересовался этим делом, времени-то сколько было. Хоть бы что-нибудь у Мишки спросить да у Володьки. Правильно Володька тогда «чурбаном» обозвал... чего там. А Володька молодец, — Ванька вспомнил своего друга, — и ученый, и все понимает, и не выкаблучивается, как Геннадий. Для всех старается, ему самому ничего не надо, а

вот Геннадий... о-о-о! Этот только сам, для себя. Не любит нашего брата работягу. Как он тогда Гуталина — а ведь друзья когда-то с Гуталином были — обрезал: «Когда мы с тобой, Суренков, будем детей крестить, то ты «Леша», а я «Гена». Усек?» Ну ладно, черт с ним, с этим Занудой, вот маху бы где не дать! Черт возьми! Махина-то! Одна лестница на втором этаже два семьдесят пять, считай, три метра шириною. Перилы с завитушками, ковры, стекло кругом... художники разукрашивать приедут».

А из-за двери доносились голоса, твердая и редкая Мишкина речь и смех с остротами председателя. «В хорошем настроении, — подумал о нем Ванька,— шутит. А когда не шутит, на глаза не попадайся. Да-а, выбрали себе преда. Правда, на этой должности без строгости тоже нельзя, если подумать. Вот хоть наша братва... с получки или с аванса так иногда разойдутся, что не остановишь. Не поставь Торпеду с карандашиком, они бы вообще ничего не боялись. А Ипатьевич? Не гоняй он своих, они бы не вылазили из каптерки. У Василь Василича получалось, а у этого... «Зайдешь в контору, я тебе обходной подарю на память». Или: «Полколхоза разгоню, а порядок наведу». Разогнать-то, конечно, можно, чего ж тут сложного, да потом-то как? Вон Прокаева, такого бригадира выгнал из колхоза, или Савченку? Если всех специалистов-работяг разогнать, с кем он останется? С Торпедой? А с нее толку никакого ведь, хоть так и лезет к нему: «Геннадий Семенович, Геннадий Семенович...» Да и не только она... Особенно сезонницы: «Геннадий Семенович, сапог проколола...» А потом к бабе Поле от солитера лечиться. Маху, в общем, не дает. Да и правильно делает, как подумать, нечего на шею вешаться».

За дверью же говорили о каких-то орнаментах, гидроработах, геодезической съемке, перечисляли марки цемента. «Не поймешь даже, о чем толкуют, — подумал о председателе да о Михаиле Ванька, — чего там, грамотные же, институты поночали...»

— Я все-таки, Геннадий Семенович, — донесся Мишкин редкий голос из-за двери — Ванька насторожился, ближе подошел, — Проскурина за себя хочу. Со всеми работами он знаком, добросовестный рабочий парень, не один год знаю его.

— Ты опять со своим рабочим классом, — раздраженно произнес Геннадий, наверно, он морщился, потому что одно пренебрежение было в его голосе,— опять со своими

Гуталинами, Демидовыми, Магомедовыми. Ну что с них толку? А теперь еще одну личность откопал, Проскурина. Да ему бревна ворочать, а ты ему такой участок доверить хочешь. Он ведь слово «хрен» без ошибки написать не может. Пскопской ведь...

Ванька сначала будто не понял до конца все. Потом снизу живота повалила холодная волна, застучало в висках, лицо заполыхало. Тихо побрел от председательского кабинета, машинально толкнул дверь на выход.

Не заметил, как прошагал через всю Дранку, мимо гаража и складов, очутился на излучине реки, где она сворачивала в тундру. Повалился в траву и заплакал.

Что? Почему? Не хотел думать. Дедушка встал перед глазами...

Дедушка... привез ему как-то с базара маленький рубаночек, пилку, топорик, все это в маленькой плотницкой разноске «на работу ходить». Зимой по вечерам, когда дедушка, широко расставив ноги перед верстаком, размашисто двигал рубанком — пахучие, длинные, прозрачные, сморщенные гармошечкой с одного бока стружки так и вились из-под рубанка, — Ванька сидел где-нибудь в сторонке на табуретке и, обняв коленки и натянув подол рубахи на них, расспрашивал дедушку. Про волков, зайчиков, лис. А дедушка свистел рубанком. Карандаш за ухом, брови сдвинуты. Вычищая забившийся рубанок, говорил, что ни зайчики, ни волки людей не трогают. И правда. Один раз летом нес Ванька обед дедушке в поле и повстречал волка. И тот не тронул Ваньку. А интересно получилось: идет Ванятка — так дедушка звал Ваньку в детстве — по тропинке через рожь, слышит, шелестят колоски в сторонке. «Наверное, перепелочка с маленькими перепеленками», — подумал он, не раз уже гонялся за ними, и поставил узелок на дорожку. И туда. Только раздвинул колосья — стоит перед ним здоровенная собака с бакенбардами. Язык у нее тонкий, длинный, так и свисает. А дышит часто-часто. «Волк», — догадался Ванька и не испугался. Но руку протягивать не стал, что-то подсказывало — не надо, хотя так и хотелось. Стоят они, смотрят друг на друга. Потом волк скачком повернулся и полез по ржи. Хвост у него прямой, будто проволока в нем.

Рассказал большим про это, никто не поверил. Только один дедушка поверил.

А еще Ванька любил заворачивать дедушке цигарки — кисет со сложенной на дольки газетой всегда лежал где-

нибудь в стружках на верстаке. Газеты на них Ванька вырезал ножницами и заворачивал ровные, правда, не очень тугие, но очень красивые цигарки. Но дедушка все равно из его цигарок табак высыпал и заворачивал свои, из оторванных клочков газеты.

...И сейчас он чувствовал себя маленьким, обиженным, никому не нужным Ваняткой.

После ухода немцев была очень жаркая весна. На коровах пахали. Ох, как спать хотелось! — вставали-то до солнышка. Привалиться бы на борозду — хоть она и холодная — и спать. Или бы на сухом бугорке.

Он тогда матери помогал, корову погонял. Хворостиной. А корова ж худая, угластая вся... а бить ее надо. Хворостина ломается об мослы, упадет Ванька на борозду и плачет. Мать присядет рядком, гладит костистыми пальцами по головке, сама вытирает щеку уголком платка. Молчит... надо вставать, надо бить корову.

Аришку нянчил. Аришка вымазана вся куриным пометом от коросты... а когда принесли похоронную на отца, мать целый день просидела на кровати. И Аришка хныкала, и он ревел, а она даже внимания на них не обращала. Как статуя...

Сеяли вручную, Матвеич командовал. Позавязывает всем пацанам мешки узлом за спиной, так, чтобы на живот середина приходилась, понасыплет зерна сколько донесешь — и пошел махать. Зернышки чтоб между пальцев скользили, равномерно чтоб. Если баловаться хочешь, вот он, Матвеич, рукою, что без одного пальца, по шапке. Не больно, правда. Петру больше всех доставалось.

Потом уже, в четвертый класс ходил, вернее, четвертый класс бросил, работали на тракторе с Петром. Один раз свалился сонный с сидушки под плуг, в ночной смене дело было — ох, как лемех щекотнул по ребрам. Потом поплотницкому, отцовым да дедовым инструментом — до самой армии и после армии, — каждая постройка на колхозном дворе без Ванькиного участия не обошлась.

После армии возвратился в Куприяново, а там по двести граммов на трудодень дают. Да и сразу, как только подходил к дому с солдатским вещмешочком, почувствовал, что плохо у них, сердце так и защемило, будто сдавили его. Подошел к калитке — дело было к вечеру, весною, прохладно, сыро, — мать идет по двору в резиновых сапогах, голенища хлопают по худым ногам. Эх! Так жалко мать стало, душу бы разорвал...

И начал в колхозе ворочать мешки, начал пахать, начал шуровать топором да рубанком. И никуда не уехал бы из своего Куприянова, да тут вербовщик с Камчатки приехал, стал набирать рабочих... Подумал-подумал, а чего не рискнуть, деньжонок подзаколотить? Да и не для себя ведь... Аришка уже в девятый класс пошла, а нового пальто нету, у матери из обуви только резиновые сапоги, да и у самого гимнастерочки попротерлись. Мать не пускала сначала, вернее, не хотела, чтобы он уезжал в чужие края — «проживем, сынок, чего там... скоро все наладится», — но все равно не выдержал, уехал, не взял даже кусок сала, что мать на дорогу совала. В районе уже не застал вербовщика, он со всей партией уехал. Кое-как добился вербовочных документов. Добрался до Петропавловска, вылез из самолета, пограничники под руки сразу — ведь пропуск-то не выправил, здесь же пограничная зона, ничего не знал этого. И в милицию отвезли.

Ночь сидел в каталажке, ждал, когда начальство придет. Жрать хотелось. Наутро вызвал к себе начальник, мордастый такой, рябой весь, загорелый, как чугун, младший лейтенант. Стал расспрашивать, как без пропуска оказался, как в деревне жил, зачем приехал. Ванька и рассказал все — и про Куприяново и про Аришку.

— Есть хочешь? — спросил младший лейтенант.

Ванька отвернулся.

— Пахомов! — крикнул он еще больше обгорелого и тоже скуластого старшину. — У тебя там в профсоюзной кассе богато?

— Есть кое-что.

— Отчисли этому парню до Оссоры и на харчи... дней на пять.

— Это можно, — еще шире разъехался старшина.

Ванька сначала не понял весь этот разговор, потом...

— Деньги я вам сразу возвращу, сразу, сразу...

— А-ах! — поморщился младший лейтенант, шлепая печатью на Ванькиных вербовочных документах. — Стоит ли говорить о таких пустяках.

— Я вам... — у Ваньки комок в горле шевелился.

— Разговорчики! — грозно прикрикнул младший лейтенант. Потом спокойно, но так же официально и строго продолжал: — Полетишь в Оссору, там сейчас самый разгар работ. Нужны рыбаки, грузчики, плотники. Ты ведь плотник?

— Да.

— Ну вот. Самое то, как у нас говорят. Вербовочные, правда, у тебя в Корф, но это не так важно: заработки одинаковые, а люди везде нужны. Тебе ведь все равно?

— Да.

— А теперь иди. — Начальник милиции протянул бумаги.

Так вот и попал на край света. А тут такие деньги замелькали перед глазами... Не разгибался. Вкалывал, вкалывал, как ломовой: и в выходные, и после работы когда. И матери помогал, и сестре, и дом строил. И для дома разные пианины да гарнитуры. Детишки пошли... никогда не отказывался, хоть пароходы ночью разгружать, когда аврал в колхозе, хоть еще какая общественная работа в выходной. Никогда не отказывался. «Ваня, горим с отгрузкой, Иван Евсеич, надо вот в выходной поработать...» Да и Зину слушался: «Ваня, знаешь, какие деньги платят в Пахаче на обработке рыбы?»

«Так вот и живешь... ворочаешь, ворочаешь... твое дело такое...»

Речка в этом месте текла тихо, будто прислушивалась или грустила. Склонившиеся кусты прислушивались, как она переливается под луной.

«Мишка на деньги не очень кидался, только аврал когда, а все в книжках копался, институт закончил... Володька тоже деньги не хапал, все свободное время активничал, на общественных поручениях все, все для людей старался. Ну а я кому чего плохого делал? Кому же я мешал жить? Что же я? Ну а если бы я закончил институт и был бы на Мишкиной или Володькиной должности, тогда бы что? Ну, чем бы лучше жилось? Чем бы я лучше был? Чем бы счастливее? А если не хочется, не лежит душа ни к каким наукам да начальственным должностям, если не хочется всего этого, теперь что? Топор держать дипломов-то не надо. Зачем он, диплом-то, да науки разные? Ничего не поймешь... — Он приподнялся, стал кидать камешки в воду. — Или уж судьба такая выдалась, что топчут тебя все: «Что он, твой рабочий класс? «Хрен» без ошибки написать не может. Пскопской ведь...»

«Ваня, надень галстук, человеком должен выглядеть... Не так вилку держишь, обед — это культурное времяпрепровождение. И когда ты отвыкнешь от своих мещанских привычек? Деревня!»

Вкалываешь, вкалываешь, из кожи лезешь, делаешь, чтобы хорошо им было, а они тебя по морде хлесь да хло-

бысь! То один, то другой. Ведь хочешь же хорошего, чтоб всем хорошо было, а никак, ну никак не получается. Или уж так жизнь устроена, что не проживешь, чтоб... чтоб дышать легко?»

Слез уже совсем не было, только щеки горели и во всем теле появилась неожиданная легкость, будто остывало все внутри. Руки были сухие и спокойные. «На доску Почета повесили... «нашему лучшему труженику и очень симпатичному парню», а на самом деле: «Ты опять, Михаил, со своим рабочим классом? С этими Гуталинами, Демидовыми да Магомедовыми?.. Пскопской ведь». Во как он нашего брата! — И хотелось опять зареветь. Но теперь уже не от обиды, а от злобы. От страшной, неудержимой злобы, которая пронзила все косточки, он стал кататься по земле и скрипеть зубами. — Попался б ты мне где-нибудь один на один, я б тебе показал, что такое рабочий класс, мокрого бы места не осталось!» А злоба душила, она была страшная. Хотелось ругаться. Заругаться так, чтоб все перевернулось... и на небе и на земле.

Но и злоба прошла. На душе было равнодушие и усталость. «А если б правда пришлось, ну хоть медведь бы на двоих напал, как тогда на них с Володькой, кинулся бы защищать или бы не кинулся? Да конечно кинулся, чего там. Хоть и свою бы жизнь подставлял, как Володька тогда... А интересно получается, пришел на ковчег с чемоданчиком, когда ушел с квартиры Чомбы: «Терпеть не могу куркулей». А какие анекдоты рассказывал: «Какой тут сон, товарищ профессор, одно мучение». И печку топил, и варил. Был как все. А потом — «Вот когда детей крестить будем, то ты «Леша», а я «Гена». А дальше, когда соберет у себя в кабинете инженеров да начальников участков — «Жмите на них: опоздал — выговор, еще раз опоздал — штрафуйте на треть зарплаты, а если он, каналья... полколхоза разгоню, но порядок наведу, у меня вон полон стол писем, к нам просятся... опять ты, Михаил, со своим рабочим классом?»

...Колхозный вертолет за коньяком в Оссору гоняет, на колхозном катере прогулки с бабами совершает в верховья речки, и не пикни. А как тут пикнешь, если он окружил себя своими кадрами: Виктор, главбух Петрунь, новый завхоз, что заместо Володьки, Торпеда... все свои... так оно и получается: рука руку моет, и чистые, то есть грязные обе. По ночам в преферанс зимой просиживают, все шито-

крыто. Ну как тут к ним подкопаешься, когда только в дурака одного и умеешь играть?!

А этот Петрунь вообще до наглости дошел, как он тогда пьяный ребятам на «Бегуне» хвалился, когда ездил устраивать своего сына в институт: «Я устрою своего Андрея не только в институт, но и в саму академию». Конечно, у него дружки-приятели там имеются. А наш замухрышка приедет, нахватает двоек — и назад...

Вот она жизнь, не усидишь в своем сарае, не сможешь, чтоб все нормально было... И ничего не поймешь». Он опустил руки, задумался.

В колхозе свет дали. Дранка, насуетившись за день, притихла. Разве собака где тявкнет да скрипнет, бросив сноп света в уснувшую улицу, дверь. Идти никуда не хотелось, даже не хотелось менять позу, хоть рука, подпиравшая голову, отекла и онемела. И не хотелось думать, как будет отчитываться перед женой за такое долгое отсутствие. Не было желания шевелить ни одной мышцей и ни одной клеточкой мозга.

А ночка ароматная, теплая, звездная — так и душила запахами и тишиной. Утихомирилась и Ванькина душа: жизнь, люди, детство, дедушка маячили расплывчатыми видениями как в далеком, неинтересном и ненужном сне. Даже на Геннадия Семеновича перестал злиться: «Что он? Псковским обозвал, надсмехнулся? Ну и что? Пусть ему лучше будет, пусть радуется. Он сам по себе, я сам по себе. Да и Зина... Не нравлюсь я ей, ну и что же теперь делать? Пусть им всем лучше будет...»

А ночь прямо душила тишиной и запахами, речка мягко искрилась. Было до дрожи благодатно. Ванька перевалился на спину, раскинул руки, прикрыл глаза и стал вспоминать.

Милое, милое детство. Он, Ванятка, в холщовых штанишках с одной помочей, белоголовый, несет дедушке обед в поле, узелок, где кринка окрошки, молоко, малосольные огурцы, вареная картошка, хлебушко. Идет по дорожке через рожь, что стеной склонилась над твердой, беловатой потресканной тропинкой. Идет, думает о чем-нибудь, например об орлах, какие у них большие крылья, или об зайчиках, как они в травке спят. Иногда поставит узелок на тропинку, полезет в рожь посмотреть перепеленков...

И сейчас у него было такое же настроение. Смотрел в беловатое небо. Духота усиливалась, запахи мутили разум. Захотелось вдруг отдать всего самого себя и этим

звездам, и траве, и речке, и людям. «А как все-таки хорошо...»

Упала первая капля. Он нехотя поднялся, пошел домой. Как только вошел в комнату, Мурашова вскочила с кровати, включила свет. Видно, не спала, губы так и подрагивают.

— Где шлялся?

— Не волнуйся, — тихо сказал он, присаживаясь на краешек тахты.— Сейчас все расскажу.

— Пьяный, — утвердила она и брезгливо сморщилась.

— Да ты что, Зина? Бог с тобою.

— У-у-у, шляется со своими бичами, расстаться не может, пьяный, по ночам, деревня!

Ваньку так и зазнобило, заклокотало все в нем, захотелось поднять оба кулака и тарарахнуть ими по столу. А потом разнести все, растоптать, разорвать... Но сдержался, сунул стиснутые кулаки между колен и стиснул колени. Склонил голову, сутулясь.

— Деревня, даже...

— А идешь-ка ты... — и Ванька такую фразу закатапул — самому Страху не снилась такая, — что она так и захлестнулась на середине слова. Так и замерла с открытой коробочкой — побелевшие глаза расширились, и бигуди зашевелились под косынкой — это Ванька, безответный Ванька, которым она распоряжалась как хотела, так мог сказать!..

Глава XXXV

Хоронили Леху Гуталина. Ужасная смерть, его придавило автокраном.

В последние годы Леха работал на электростанции, никакого, собственно, отношения к крану не имел. И вот три дня назад прибегает Магомедыч.

— Алексей, пойдем баржу разгрузим? Одному, понимаешь, ошшень плок.

— Пойдем. — Леха валялся на диване после дежурства. Книжку листал.

— По старой дружба.

— Хорошо, хорошо.

Стали они выгружать. Магомедыч по барже мотался, стропил да кричал на шкиперов, Леха сидел за рычагами. Когда перекидывали груз, кран вдруг стал валиться на-

бок — опора с досок соскользнула и пошла в песок. Леха повел стрелу с грузом быстрее, хотел, видно, перекинуть груз на берег, чтоб не замочить цемент, кинулся из кабины и только по пояс успел высунуться...

Магомедыч прыгнул с баржи, побежал за трактором. Трактора не оказалось, пригнал бульдозер. Связали они стропы, стали поднимать кран. Только приподняли чуть — стропы оборвались, Леху ударило еще раз. Но он еще жив был, советовал, как лучше завести стропы. Магомедыч второй раз стал поднимать — и опять стропы оборвались.

— Накрой меня, Магомедыч, — сказал Леха, — холодно что-то, — и закрыл глаза.

Хоронил весь колхоз. Когда вынесли, «Бегун», старый Лехин кормилец, дал сирену, подхватили другие суда. Потом, по шоферской солидарности, все машины и самосвалы.

Ванька шел позади всех. Ему жалко было Леху. Никого, кажется, так не было жалко...

Некрасивой Леха был внешности: худой, сутулый, с большими пролысинами и носом наподобие огурца. Вертлявый, непоседливый, в морщинах весь, правда, когда перешел работать на электростанцию, распростился со всякими выпивками, морщин вроде меньше стало — а вот тянуло к нему, хотелось если не поговорить, то хоть постоять с ним. Рядом побыть.

В последние годы Ванька ни летом, ни осенью не ездил за длинными рублями, ни по каким Пахачам да Лавровым — надоело, да и Мурашова заочным техникумом занялась, приутихла чуть насчет тряпья. Оставался дом, девочек стало уже трое, их надо в садик отвести, из садика забрать. Да и по дому всяких хлопот много, ведь Зина все время с учебниками.

По вечерам, когда дети укладывались — летом солнце садится только к полуночи, — он ходил на рыбалку. Не из-за корысти, конечно. Закидным неводом ее можно поймать хоть тонну. Нет, ему нравилось удочкой захлестывать ее и тащить к берегу — уж так она пружинит да удрать старается.

Вот на рыбалке они с Гуталином и сдружились.

— А на охоту ты не? — спросил как-то Гуталин.

Вопрос был серьезный, в колхозе почти каждый охотник: осенью собираются на сенокос, а можно подумать, что на охоту, с зарядами да ружьями возятся.

— Не пошла она у меня, — сознался Ванька и расска-

зал случай, из-за которого он бросил охоту, хотя в свое время обзавелся ружьем и всем к этому делу.

Года три назад брел он по тундре. Летом. Рассеянный что-то был — с устатку, да еще солнышко разморило, даже ружье лень было в руках нести, как это положено на охоте.

Вдруг метрах в четырех впереди выскочила куропатка. Выскочила из-за кустика и стоит. Повернула голову, смотрит одним глазом на Ваньку. Время от времени задернет глаз туманной пленкой. Подняла ногу, лапку сжала в слабый кулачок. «Вот так штука», — подумал Ванька, глядя на нее. А коричневые перышки на спине будто подсолнечным маслом смазаны, матово и мягко поблескивают на солнце. Такие гладенькие и пахнут так — Ваньке показалось, будто бабьей юбкой пахнуло. Ее захотелось погладить по серенькой в полосках макушечке.

Стоят они, молчат. Она опять мигнула глазом и будто шевельнула — сжала чуть — беленькими коготками, шагнуть, что ли, хотела? «Не убегает». Ванька снял ружье. Стоит. Разломил его, вытащил стреляные гильзы, стал шарить в карманах, отыскивая патроны. Вывалился, шумнув по траве, спичечный коробок. «Вот, дура, не улетает». Сунул патроны в ствол, щелкнул курком. Поднял ружье. «Стрелять или не стрелять? Лучше не надо», — и выстрелил. Послышался — как горохом по шубе — хлест, на коричневой спине вздулись, растаяв, бульки. Она ткнулась носом в траву, и ножка ее мелко-мелко задрожала. Он подошел к ней, смотрит. Ножка затихает... потом взял ее в руки. Она горячая, трепещет еще... как Зинина грудь, когда в первый раз обнимались на берегу речки. Точно такая же...

— И с тех пор не хочется что-то лазить по тундре, — закончил свой рассказ Ванька, — не интересно.

— У меня чуднее получилось, — сказал Леха, выслушав, — я лебедя застрелил. Даже двух. Вот так же брел. Ружье, правда, перед собой нес, правая рука на курках, как это и положено. Стал продираться через осоку, и прямо на меня — ветер от меня был — взлетают с озера два лебедя. У меня даже бакенбарды зашевелились от взмахов их крыльев. Не помню, как нажал на курок. И одному прямо в грудь, так и вырвал полгруди, дробь-то от ствола плотно идет. Сам не знаю, как получилось, с испугу, что ли...

Ну, вот. Вторая стала кричать, кружить надо мной, потом об землю биться. Ну, думаю, все равно пропадет. Закрыл глаза и эту шарахнул. Лежат они передо мною,

как две простыни, тянут крылья. С тех пор тоже, Ваня, на охоту я не ходок, — закончил Леха.

А вот рыбачить они любили. Еще с ними на рыбалку ходила Страхова Зойка с приемной дочкой, семилетней девочкой, тоже Зоей — совпадение такое получилось. Когда маленькой Зое попадалась рыбина, она кричала:

— Дядя Леса, дядя Леса!

Тут Гуталин бросал свою удочку, таращил глаза, делал трубочкой рот и так по-клоунски спешил к ней на помощь... спотыкался, падал, ну не можно смотреть! А когда помогал вытаскивать рыбину, уж чего только не выкидывал: и в удочке запутывался, и падал... Не только девочка, но и большая Зоя с Иваном покатывались от смеха. Насмеявшись, большая Зоя становилась серьезной, иногда останавливала на Лехе взгляд, становилась грустной. Ну, это уже другая статья, Ванька обо всем догадывался и всей душой хотел им добра. «Ничего тут плохого нет, — иногда думал он, глядя на них. Ну, когда, например, они тихо разговаривали или молча стояли рядом, — что ж тут поделаешь, раз в жизни так бывает...»

— Лех, — спросил как-то Ванька, — а по флоту ты не скучаешь?

— Конечно, скучаю, — признался Гуталин. — Первое время вообще не мог. Но сейчас на «Бегун» или на старые сейнера не пойду.

— Помуроводиться с парнями разве не хочешь? — спросил Ванька и тут же пожалел: «Про эти дела-то зачем намекнул, человек вроде покончил со всеми выпивками, а я напомнил».

— Ты имеешь в виду выпивки? — спросил Гуталин.

— Да. Ты только не сердись.

— Ваня,— как-то проникновенно начал Гуталин, — ведь там без этого нельзя, работа такая. Ведь это каторга, а не работа. Может, в шахтах людям так же приходится — не знаю, не работал в шахте, но, говорят, там тоже не сладко, а нам на рыбе! Вот смотри: вахта двухсменная, а когда рыба идет — ведь не уходили с палубы. Как в три часа поднялись и до нуля. Это когда сдачи нет. А когда сдача? Ведь двести сорок центнеров, а команда восемь человек. И сам невод таскаешь. Спустишься за двое суток, может, раз в кубрик, а там повернуться негде. Даже портянки негде повесить.

— Представляю вашу работу.

— А на вахте... Чего только на себя не натянешь. Осо-

бенно осенью, когда холода. Сорвешься на берег — скорее очуметь. Потом Никола Страх, сам знаешь, какой это человек.

— Железный мужик был, — засмеялся Ванька.

— В том-то и дело, что был, — согласился Гуталин.

— Нет, наверно, молодца, чтоб посильнее винца.

— Нету, Ваня, нету. Сейчас только на таблетках и держится. Ему ведь на море уже нельзя работать.

— А как же он?

— Да как же. Вот хотел уйти из колхоза и не ушел. И никогда не уйдет. И у нас его держат за старые заслуги, а на новом месте еще как сказать... вот и ползает на «Бегуне» по речке. Такой рыбак.

— Кончился «коверкот».

— Кончился, Ваня. А какой Никола был, — с грустью продолжал Гуталин. — Один раз шлюпку на спор от склада до берега на спине нес.

— Шлюпку? — удивился Ванька. — Да ее и два человека не поднимут.

— Да где два? Мы тогда вшестером взвалили ее, она же обледенелая была.

— Ничего себе! Да-а-а...

— А вот на новые сейнера, — возвратился Леха к старому разговору, — я бы с превеликим удовольствием. Почти все работы там механизированы: сетевыборочные машины стоят, рыбу из трюма рыбонасос сосет. Правда, тоже не мед, на то она и рыба, но все равно. Хоть обсушиться есть где да живешь по-человечески. Да нет, там все нормально. Вон они вахту на переходе в шлепанцах да сорочках ходят, не то, что мы... укутаешься и дубеешь на ветру, а тут тебя волнишкой подхлестывает. А лед скалывать?

— Ох, вы тогда и отмачивали фокусы, — засмеялся Ванька. — Помнишь, как ты бичей «бараниной» накормил?

— А-а, — засмеялся Гуталин. — В общаге-то? Сильные у нас тогда кадры были: Краб, Моль...

— А где они сейчас? Никого что-то не видно.

— Краб на материке, на пенсии. Недавно письмо прислал. Пишет: «Воюю со своей старухой из-за черноморского климата, никак его бросить не может, но я ее сагитирую. И к бабке не ходить, сагитирую».

— Глядишь, еще завалится. А Моль?

— Моля, Ваня, сейчас не узнаешь. Там такую кокарду на мичманке носит, да и сама мичманка... Вторым штурманом на БМРТ в Индийский океан ходит.

— Ты смотри!

— В Питере на Ленинской столкнулись, — продолжал Гуталин, — смотрю, идет джентльмен, еле узнал. Чудачка с ним, в лаковых красных сапожках, коготки перламутровые, волосы пепельные...

— Ты смотри! Правда, что джентльмен.

— Ну! Пьет только сухое вино, чудачка вообще одно шампанское. Шоколад ломает в бокал с вином.

— Вот еще как! И закуска в стакане.

— Целый день в «Вулкане» прозаседали, наговориться все не могли.

— Все старину небось вспоминали?

— Ну. — Гуталин задумался. Потом сожалеюще добавил: — Теперь, Ваня, таких кадров нету. Вывелись. Вон они с моря придут: нейлоновые сорочки, галстуки, плащи... В кафе коктейли тянуть да танцевать. Не верится, что это матросы или мотористы. Пижоны. Не те кадры, как сказал бы Краб.

— Да-а-а... в общаге сейчас попритишало. А вы тогда здорово.

— Что ты! — оживился Гуталин. — Придем с моря, ящиков пять шампанского, спирту... расположимся всей толпой прямо на площадке, на кошельке. А какие «козочки» в Питере отмачивали?! В фонтане один раз купались. Сержант бегает вокруг фонтана, а Моль: «Купырь», — и на другую сторону. Только сержант догонит его, вот-вот схватит, а он опять: «Купырь» — и под воду. Краб стоит рядом и: «Ас-с-са-а!»

— Это когда на слет вас посылали?

— Ну. Хорошо хоть Краба отправили. И то милиция помогла.

— Дикари, — задумчиво сказал Ванька.

— Пожалуй, — согласился Леха. — А вот сейчас, — продолжал Гуталин, — как только стал по-человечески жить, и на выступления не тянет, и никакие фокусы отмачивать не хочется. Работка у меня хорошая, квартирка тоже. Приду с работы, помоюсь в душике и, если никаких дел нету, возьму книжечку или журнал... вот на учебу думаю податься.

— И ты на учебу? — удивился Ванька.

— А что здесь плохого? — в свою очередь удивился Гуталин. — Видимо, в учительский институт поступлю. В педагогический.

— Ну что ж... раз тянет к этому делу. А вот меня нет. Даже книги не хочется читать. Особенно толстые.

— Есть и толстые хорошие.

— Не попадались.

— «Анну Каренину» недавно прочитал. — Гуталин посерьезнел, даже погрустнел. — Боже мой, сколько удовольствия. «Тихий Дон», «Дон Кихот»...

— Я говорю про правду, чтоб правда в них была.

— Есть и про правду.

Так и болтали они целыми вечерами, забыв даже про рыбу. А когда под выходной забирались вверх по речке форель и хариуса ловить, то и ночью у костра все никак наговориться не могли.

* * *

Хоронил Леху весь колхоз. Шли каюры, трактористы, токари, слесари, плотники — ни механический, ни деревообделочный, ни стройцех не работали. Ребята с сейнеров, что пришли с моря по каким-то делам, держались грузной — почти все по-рабочему, в сапогах — толпой. А суда и машины гудели.

— ...на кого ты нас покинул, на кого обиделся... — заголосила какая-то из баб.

Ваньке не по себе стало, Зойка Страхова заплакала в голос, ее под руки вели. «Эх, Леха, Леха... как по тебе даже чужие... — Родственников у Гуталина в Дранке не было, отчим где-то на материке, о котором он никогда не вспоминал, — не чужой ты был... хоть бабам и доставалось от тебя когда...»

Бабам иногда действительно доставалось от него. Особенно одно лето, когда Леха на «Бегуне» работал. Они тогда один раз посмеялись над ним в магазине, Гуталином назвали.

— Прошу прощения, бабоньки, не Гуталин, а Алексей Василич.

— Это на слете передовиков ты был Алексей Василич, когда речи произносил с большой трибуны, — сказала одна из них.

— Не Гуталин, а Гуталинчик, — подтолкнула его другая.

— Бабоньки, каяться будете.

— Ух ты! Уж не «баранинки» ли приготовил?

— Да бросьте, бабы, что вы напустились на парня, — язвила третья, — он уже давно не гуталинит.

В общем, выскочил из магазина под общий хохот. Но им после пришлось покаяться: как только «Бегун» вползал в реку, они спешили снимать белье — Леха шуровал форсунки, и черный дым обволакивал всю Дранку. А хаты хоть не бели.

«На кого обиделся, — звучало в ушах у Ваньки. — Эх, Леха... Леха...»

А день стоял великолепный: тихий, осенний. Солнышко, нажарившись за лето, грело ровно, застенчиво, будто каялось за весеннюю и летнюю беспощадность. Сама природа, отбушевав в неистовой любви весной и в щедром материнстве летом, грустила. Но это была приятная, хорошая грусть. Радостная. Грусть полной удовлетворенности и внутреннего достоинства.

Перед опусканием в могилу вышел, пошатываясь, дядя Саша.

— Это был... — дядя Саша закашлялся. Кашлял долго. Стоять ему было трудно, его покачивало. — Это был... Алексей... Алексей... безотказный... безотказный... — дядя Саша смахнул слезу — не получилось речи.

А Ваньке было невыносимо, он плакал, не стесняясь.

— Бежал он утром на работу, — басил над Ванькиным ухом Чомба. — Да. Бежал он, Ваня. Бежал. А я из магазина иду, с пузырьком. Он подлетел: «Дед, дай глотнуть! А тебе на три рубля, еще купишь». А мне, ангел мой, жалко стало пузырек открывать. «Нет, — говорю, — сам сбегаешь». — «Да не успею, вон Торпеда карандаш достает...» — «Успеешь, — говорю, — ноги молодые». Давно дело было, а забыть не могу. Это когда он еще выпивал...

— И ты не дал ему глотнуть? — удивился Ванька.

— Не дал, ангел мой, не дал. И чего это я не дал? Пузырек отпечатывать не захотел.

«Ну и куркуль. — Ванька отвернулся от Чомбы. — Так куркулем и останется».

— Ну, давай, Ваня, выпьем за упокой Лешкиной души! — Дед совал Ваньке бутылку, сам уже приложился. — Хоть ты и не прикладываешься к этому делу, но все равно.

— Не хочу.

— Чего это, Ваня?

— Да не хочется же!

— Эх! — сокрушенно произнес Чомба. — Никто со мною выпить не хочет, даже ты.

— Не обижайся, но вправду не хочу.

— Чего, ангел мой, обижаться? Обижаться нечего... меня, видно, так хоронить не будут, обижаться нечего,— разговаривал сам с собою дед.

— Товарищи! — раздался голос председателя. — Мы провожаем в последний путь хорошего труженика, нашего товарища...

«Товарищ он тебе был... ох, хо-хо, хо-хо. — И Ванька пошел, не стал слушать. — Вот так и нету человека. — Ванька вспомнил Лехину жизнь от «козочек» в общежитии до вечерних разговоров на рыбалке. — Жил человек... и нету. Как все просто».

Пришел домой. Зина еще не возвратилась. Дети в садике. Тишина и прохлада в доме. В окно падают красноватые лучи заходящего солнца. Умиротворение и покой над Дранкой.

Когда пришла Зина, тоже молчаливая, печально притихшая, он задумчиво лежал на диване.

— Заболел?

— Да нет... так.

— Пойдем в кино?

— Не хочется что-то.

— Кино, говорят, очень хорошее.

— В другой раз.

— Ну, отдохни. — Она наклонилась к нему, прикоснулась крашеными губами к его щеке. Потом стала собираться. Плавно поворачивалась перед зеркалом. Слегка хмурилась, подправляя прическу. «А какая красивая стала, — отметил Ванька, любуясь женою, — и откуда что взялось?»

Зина после рождения троих детей расцвела, как поговаривали в колхозе, помолодела будто — учеба кончилась, забот меньше стало. Да ей и всего-то двадцать шесть. Пополнела, осанистая стала, округлились бедра. Ходит плавно, чуть покачивает бедрами. Хорошо убранную голову держит высоко. Ногти точеные, лаком поблескивают, перстенек с красным маленьким камешком на одной руке. Лицо, если сбоку смотреть, тонкое, а волосы так здорово копешкой назад сбиты.

«Как из журнала «Огонек»...

— За детьми сходишь, ладно? — Она щелкнула замком сумочки.

— Ладно... — «Королева, да и все... — Ванька никак не мог налюбоваться женой. — И платье-то? Без всяких финтифлюшек, и стекляшек ни одной нету, а как здорово...

грудь, живот, ноги. Ноги вообще... — думал он, наблюдая, как играют мышцы под капроном на ее слегка полных ногах. Она почувствовала взгляд, улыбнулась. Еще раз качнулась перед зеркалом... — Специально, наверное... — плавным жестом поправила волосы. — Да-а-а...»

— Посмотри, Ваня, вот интересная книга. — Она положила перед ним толстую книгу. Четко постукивая каблуками и покачиваясь, пошла к двери.

«Щит и меч», — прочитал Ванька. Кирпичик! За год, наверно, не прочитаешь... про рыцарей, наверно. Может, даже про самого Александра Невского. А может, и про нас что есть? Интересно. А может, и не про нас, да интересная. Лехе же попадались... надо почитать». Стал листать, картинок не было. Отложил.

Задумался. Вечерело уже. Косые лучи перед диваном на ковре меркли.

«Леха... Леха... все бегал по колхозу... спешил все... все некогда тебе было».

Так и пролежал весь вечер. Потом пошел за детьми в садик.

Глава XXXVI

Ванька сидел на колхозном собрании. Собрание было юбилейное, в честь десятилетия объединения колхоза, проходило в новом, только что выстроенном Дворце культуры. Глухо постукивали кресла, ярко горели люстры, молчаливо покоился тяжелый бархат на проходах, лестницах и оконных шторах.

Молодежь, вся модно разодетая, галдела на задних рядах — там даже гитара бренчала, — старики, одетые «по-чистому», разместились в основном на передних. Спокойные, тихие, будто после бани. Будто торжественности стеснялись.

Ванька сидел почти на заднем ряду, возле стенки. Плохое настроение было у него. Такое, что хуже некуда: голова разламывалась, в глазах резало.

А произошло вот что. Дня три назад на вечеринке у Османа Магомедовича произошло такое, что всю ночь после этого он пробродил сам не знает где, потом еще два дня как в кошмарном сне, а вот сегодня, сам не знает как, попал на собрание.

На гулянке, естественно, пели песни, танцевали. Был дядя Саша со своею гармонью, смешил всех заковыристы-

ми частушками. Были и незнакомые ребята, командированные. Особенно выделялся художник, что Дворец приехал оформлять: высокий, с длинной гривой, в очках, одетый очень здорово — пиджак без плечиков, навроде рубахи, галстук, завязанный кушаком, коричневые ворсистые с обрубленными носами ботинки. Он почти весь вечер отплясывал с Мурашовой. А она будто расцвела, еще красивее стала. Вся так и дышала, щечки зарумянились, глаза блестели. Откинула красиво убранную голову, прикрыла глаза и кружилась, кружилась с художником... «Нашла стихия на бабу, — подумал Ванька, любуясь женою, — дает прикурить».

Ванька танцевать что-то не очень стремился, они с Володькой разговаривали, Володька грустил. К концу вечеринки он загрустил всерьез — они разводились с Клавдией, и он тяжело переносил это жизненное изменение. Все эти дни хоть и грустный ходил по колхозу, но вроде держал марку, а тут...

— Что такое, никак не пойму, Ваня, — тихо говорил он. — Ну не везет мне в жизни с женщинами, второй раз горю... Дети где-то на стороне, безотцовщина. Опять одиночество, скоро старость. Хорошо, что здесь детей не остается.

— Да не пара она тебе,— успокаивал его Ванька,— понимаешь, она ведь совсем другой человек. Финтифлюшка... только что красивая, а так... Тьфу!

— Все так, все так, — мрачновато соглашался он. — Но тут... в этих делах законов ведь нету.

— Не расстраивайся. Переживем. Куда мы денемся?

— Ну, в первый раз — ладно, сам негодяем оказался, — продолжал Володька. — Ну а тут? Чего не хватало? Эх! Выпьем, что ли, Ваня...

— Не надо. Никогда не пил и сегодня не пей, еще хуже будет.

— Сегодня, Ваня, можно. С холода да с горя... Ты стихи любишь?

— Да читал кое-когда. Забыл уже...

— Напрасно. — Володька положил Ваньке руку на плечо и продолжал:

Выпьем, что ли, Ваня,
с холода да с горя,
говорят, что пьяным
по колено море.
Стар теперь я, Ваня,
борода седая.

А судьба все та же,
злая да лихая.

— Хватит бормотать, — прервал его Ванька. — Ну зачем ты терзаешь душу? И больше не пей.

В общем, пришлось его на улицу выводить. На морозе он побродил чуть, успокоился. Собрались закурить, спичек не оказалось.

— Сейчас принесу, — сказал Ванька и вошел в дом. Только открыл дверь в коридор — художник целует Мурашовой руки. Одну, другую. Она откинулась к стенке, прикрыла глаза, теребит художникову длинную гриву. Ванька так и одеревенел. А художник грудь уже целует, до шеи добрался, обнимать начал... Она, целуя его в висок, повернулась чуть и увидела Ваньку — вскрикнула и бежать. Художник тоже увидел Ваньку, открыл коробочку и хлопает глазами. Затем прислонился к стене, к тому месту, где она стояла, снял очки. Потом опять надел их, испуганно смотрел на Ваньку — Ванька стоял перед ним. Поправил очки — это вывело Ваньку из оцепенения.

— А ну! Скидывай очки.

— Гм... вот... я, собственно, ничего не имею... вот... обстановка...

— Скидывай! — рявкнул Ванька, очки так и смахнулись с художникова лица. Он близоруко, жалко, подрагивающе смотрел на Ваньку. — У нее же трое детей! — И Ванька поднял руку — у художника лицо скривилось, губы запрыгали, а пятиться некуда. Но особенно беспомощно задрожали губы, когда он увидел Ванькину ладонь, то место, где она до желтизны отшлифована рукояткой топора и твердая, как сама рукоятка. «А ведь зубы хряснут», — подумал Ванька, простонал и опустил руку в карман.

Повернулся и побрел в комнату...

Мурашова лежала на Надькиной кровати, уткнувшись в подушку, хлюпала.

Ванька постоял-постоял перед нею и пошел одеваться. Возле вешалки она обогнала его, схватила доху, накинула платок и, всхлипывая, кинулась в дверь. К дому лезла по сугробам впереди него, когда он вошел в дом, дверь спальни закрыта, оттуда доносились всхлипы.

Он посидел-посидел на диване... Достал бутылку спирта. Налил стакан... пить не стал.

Все сидел. «Даже на спящих детишек посмотреть не хочется...»

Потом пошел бродить. Ходил по морскому берегу, смотрел, как громыхают под луной вздымаемые барами жернова торосов. Был в тундре, забрел даже на кладбище, посидел на Лехиной могилке. «Эх, Леха, Леха... загуталиним».

Опять возвратился на морской берег, пристроился на льдистом валуне, завернулся в шубу и смотрел на туманную полосу горизонта.

...Тускло поблескивали торосы. В ушах звучала мелодия, что Володька у Магомедыча весь вечер ставил. Так и жег душу голос из радиолы.

Ой вы, братцы мои,
Вы-и, товарищи,
Сослужите вы мне-е-э...
Слу-у-жбу верну-у-ю-у...

Перед глазами искрилась широкая Волга с зелеными берегами, белыми хатами, белыми и золотистыми колокольнями церквей. Положив могучие руки на борт стружка и опустив на них русоволосую голову, сидит парень...

...Киньте-е-бросьте-е меня-а
В Волгу-матушку-у-у...

У этого парня пропадала душа.

...Лучше в Во-о-лге лежать,
Утопимому-у,
Чем на свете мне-е жить...

* * *

Утром возвратился домой. Мурашова вытирала слезы, на него не смотрела.

Лицо у нее припухшее.

Прилег на диван, отвернулся к стенке. Голова гудела, в ней все дрожало и путалось, на глаза сверху давило, а над бровями, где-то под глазницами, внутри черепа поворачивался еж.

Так и лежал... К нему подбежала младшенькая, самая любимая его «оладушка», стала теребить за плечи.

— Не надо, — подошла Мурашова и забрала девочку. — Папа спит.

— Он ноцью балжу лажглужал, — лепетала девочка, — у них авлал был?

— Разгружал, разгружал.

Мурашова собрала детей, увела, наверное, к бабушке, а может, к Торпеде.

До обеда лежал. Потом голова стала болеть невыно-

симо. Махнул ночью налитый стакан, пошел бродить. Был у дяди Саши, был у Магомедыча. Надька, поняв все, успокаивала.

— Жизнь прожить, Ваня, не поле перейти, — говорила она, гладя его по голове, — ведь так, Ваня, она устроена, эта жизнь, что человек слаб против нее... И на Зину ты сердца не имей, может, и сам где виноват. Ведь чтобы все без сучка без задоринки — так ведь не бывает... у нас с Османом еще и не такое было.

— Нишшаво, Вань, — вертелся тут же Магомедыч, — у нас куж был.

Опять ушел бродить, бродил сам не зная где...

* * *

Народу набилось уже полный зал, но красные столы на сцене были еще пустые. Ждали, когда зачитают президиум. Ванька рассеянно озирался по сторонам, машинально кивал входящим.

«Как же это так получилось? — стучало в голове. — То ложку не так держишь, некультурно, то еще что. Все не так стало: и ем не так, и хожу не так... даже занавеску на окне задергиваю не так. А чем я виноват? Что не так-то? Бегали с Торпедой по университетам, ведь не мешал им. Бегайте, изучайте на здоровье этику да кибернетику, становитесь культурными. А в техникуме когда училась? Ведь весь дом на мне лежал. А теперь? Вот и Володька со своей Торпедой разводится, опять началось: бич, пьяница, алиментщик, а было-то: «Мы с Володей...» Но у него... с завхозов сняли, в разнорабочие перевели, а я? У меня же ничего не произошло, я такой же и остался, чем я виноват? Ну чем?»

А клуб наполнялся и наполнялся, уже и садиться негде стало. Наконец кто-то из флотских встал, повернулся к залу и по бумажке зачитал президиум. Названные пошли на сцену. Поднялась и Торпеда. «А ее-то зачем? Протокол, наверно, писать. — Торпеда пробиралась по рядам, губы у нее плотно стиснуты, удерживают покровительственную улыбку. Потом шла по проходу: руки скромно скрещены на животе, голова приопущена, покровительственная улыбка еле удерживается. Семенила маленькими шажками. — Ну ничего у нее без фокусов не получается».

«Ну, а если разводиться? — мысли опять возвратились к прежнему. — Как же это? Как же тогда? Да и зачем это! Кому это нужно? А жить тогда как? Может, как Надька говорит, сам что делал не так. Ну а что? В садике воспитательницы «мамой-уткой» прозвали. А когда маленькие были, возни, особенно со средней, было... Есть не хотела, а пеленки? Не считался, какая работа мужская или женская. И варил, полы — само собой, а когда болели...»

На сцене за красный стол усаживается президиум. И Магомедыч попал туда, топтался позади всех. Для такого торжественного случая он нацепил все медали и ордена. Причесанный.

«А как же тогда жить, если разойтись? Но и по-другому нельзя... Ничего не получится по-другому. Ну, пусть одну, а может, двоих даже девчонок судьи оставят, там тоже люди... поймут. Да и не в этом дело. Девочки-то как? Старшая вон уже все понимает, глазенки серьезные, утром и не подошла даже, большенькая уже. Как же они? А «оладушка» как без меня будет? Что же делать, что придумать?»

И вот на трибуну вышел председатель с папкой. Сияющий. Ванька рассеянно глянул на него, на президиум. «Ненаших много, подвалило начальство из района да из области... Может, с проверкой какой приехали?»

Геннадий Семенович разложил перед собой бумаги, отхлебнул водички, окинул всех сияющим взглядом... «Как артист какой»,— подумал о нем Ванька.

— Товарищи! — начал он. — Мы собрались... — Он говорил красиво, гладко, цветасто. «Вот шпарит, вот шпарит... Небось ни в каком слове ошибки не сделает». — ...несмотря на короткую биографию нашего колхоза, несмотря на условия Крайнего Севера, мы с вами, товарищи, построили... — и он начал перечислять, что и в каком году построили.

«А как строили, — думал Ванька, — особенно после Василия Васильевича... хоть цемент, когда этот Дворец строили, хоть стекло или тес... стекло особенно: то пургою побьет, то при выгрузке. Откроешь ящик, а там одни куски. Куда их? Конечно, списать, колхоз-то богатый, миллионы в банке лежат, другим колхозам взаймы дает на покупку флота. А толь? Кто только не тащит? Сам собирается в тундру на охоту, берет рулончик, там и оставляет, не тащить же этот толь назад? Да что там... вон Чомба тащит что ни попадя. И дом, и сараи, и заборы из всего

колхозного. И себе и Федору... Да Чомба — ладно, перевозчицкая зарплата шестьдесят рублей, а сам-то! Он не утаскивает, а так берет. Что захотел, то и взял, хозяин же. И зарплата семьсот рублей, в два раза больше, чем у простого колхозника, а все равно... и себе и своим дружкам-приятелям. Мишку через это и выжил из колхоза».

Это года три назад подлетел Геннадий к Мишке, Мишка поликлинику вел:

— Михаил, сюда.

— Слушаю, Геннадий Семенович, — подошел Мишка.

— Пару кубометров теса приготовь.

— Вам я уже отвозил. Там и террасу обшить хватит и на забор. Плотников через пару дней пришлю, как договорились.

— Не мне, в комбинат.

— Ихнему главному инженеру небось?

— Небось да.

— Горбыля могу, а теса нет. На приемный покой не хватает.

— Такой пустяк.., что ты за строитель, если изыскать не можешь?

— Да где же изыщешь, если нету. Хоть и пустяк. Горбыль вон пусть берет. Потом... ведь это все колхозное.

— Ну... — Геннадий замялся, при всех неудобно было говорить подробно об этом. — Зайдешь в контору, потолкуем.

— Если за этим, то и толковать нечего.

— Миша, не для себя стараюсь. Для колхоза, понимаешь? В комбинате есть бочкотара, знаешь, весною как она нам нужна? Это, надеюсь, ясно?

— Да ясно, — поморщился Мишка, — чего ж тут неясного? Бочкотара государственная, тес колхозный, бочкотара нужна колхозу, тес — главному инженеру на забор. Чего ж неясного? Наливай да пей.

— Миша, ты упускаешь одно: это все для колхоза. Ты это упускаешь.

— А ты упускаешь устройство нашего государства.

— Боже мой! Куда хватил. Уж не учить ли меня собираешься?

— Не.

— Тесу два кубометра отвезешь.

— Не. И мастерам скажу, чтоб не отвозили.

Так и не отвез... но на другой год Геннадий послал Мишку в командировку в Пахачу, причалы строить. Когда

Мишка возвратился, на его месте — начальником строй-цеха — работал другой человек. Мишка остался в мастерах...

А через полгода они поцапались капитально, не из-за пустяка уже. Мишка вел теплоцентраль по «Черемушкам». Тут к возвращению флота с путины должно было подъехать районное да областное начальство — вручать знамя переходящее за первое место, грамоты разные.

— Михаил, — прибежал Геннадий на участок, — сворачивайся! Давай зальем площадки возле складов, спуск к причалам, тротуар возле конторы. Это надо срочно... используешь быстростановящийся раствор.

— Погоди, Геннадий Семенович, — остановил его Мишка. — Ведь скоро морозы, пурги. Если я сейчас теплотрассу не проведу, зимой одна морока будет. Ведь замерзнет все, грунт придется бить отбойными молотками, над рабочим местом сооружать навесы. Представляешь, сколько канители? А начальство и по грязи протопает. Мы же ходим. А может, и подморозит.

— Миша, мы не понимаем друг друга.

— Конечно нет.

— Тогда по-другому: я приказываю, ты исполняешь. Я председатель в конце концов, я командую.

— Выбрали, вот и командуешь. Давай рассмотрим этот вопрос на правлении?

На правлении этот вопрос, конечно, не обсуждался. Мишка не стал возиться с тротуарами, но после постройки теплоцентрали Мишкина должность сократилась. Пару месяцев помотался Мишка в бригаде и ушел в «Тумгутум» сразу на должность начальника участка.

«Эх, хе-хе, хе-хе, — грустно подумал Ванька, вспоминая своего друга. — Нету верного товарища, и душу не с кем отвести. Был бы Мишка рядом... гляди, еще и Володька из колхоза уйдет. Но Володька не уйдет, его никакими пряниками не заманишь, не та кадра... А с ним тоже как обошелся? Еще хуже, чем с Мишкой. Нагрянул с инвентаризацией, когда у Володьки завал работ был, хорошо хоть растраты не обнаружилось».

— ...досрочно, из года в год на протяжении десяти лет управляемся с полевыми. Наша продукция...

«Ведь врет... после Василия Васильевича то и дело какие-нибудь неполадки... то вовремя не уберем, дожди прихватят, то помещение для зимовки не готово...»

— ...наша птицеферма расцветает с каждым годом. Я позволю себе привести некоторые цифры...

«От дает, — грустно думал Ванька, — расцветает... показатели... в прошлом году ракушкой не запаслись, яйца всю зиму без скорлупы были. В тундру Магомедыч вывозил, чтоб территорию не гадить...»

— ...увеличили флот до двадцати трех единиц, освоили новые места промысла и добычу новых пород рыбы. Наши суда бороздят воды трех морей и самого большого в мире океана. Валовая добыча продукции...

«Да-а-а... ну кому глаза замазывает? — думал Ванька. — Красная рыба почти перевелась, рыбнадзор запретил ловить ее. А сколько ее было, сколько ее было! Пацаны крючками за бок ловили, на поддев. И зачем надо было ее в речке-то ловить? Да еще по четыре плана. Навыхвалялись. Да и селедка, хоть жировая, хоть нерестовая. Где она? Уж сколько лет в Анапку да и Пахачу на путину не ездили. Теперь по океану гоняются за какой-то саблей, а эту саблю, наверно, никто не ест. А в Пахаче как душили селедочку сначала, когда только открыли добычу! «Главное, Проскурин, деньги, они погоду делают... результаты». Юрия Алексеевича с дядей Сашей чуть не съел за то, что они запретили выкидывать нестандартную, хорошо, что комиссия приехала из министерства, а то бы досталось... А теперь и на удочку не поймаешь».

— ...ведь нельзя не учесть тот факт, что на строительстве этого прекрасного Дворца, этого храма культуры, мы сэкономили...

«Да это уж совсем... ни стыда ни совести... — Ваньке противно стало. — К юбилею ж спешили... покою никому не давал... цемента небось раза в два больше пошло, чем надо. А растворы? Сколько их в сугробах осталось... никого ж не слушал, сам хозяин... Да Василь Василич за такую бы безхозяйственность...»

— ...благодаря нашему с вами труду, товарищи, эффективному использованию техники, экономии материалов мы с вами, товарищи, создали мощную материально-техническую базу, и не далек тот день, дорогие товарищи...

— И все это неправильно! — вдруг произнес Ванька. И сам не знает, зачем произнес, вроде и не собирался. Тишина, что ли, натолкнула?

Геннадий, щурясь от света, посмотрел в ту сторону, откуда донесся этот голос. Некоторые из сидящих в зале

тоже повернулись в Ванькину сторону, наступила еще большая тишина.

— Да. Неправильно! — тверже повторил Ванька, а про себя подумал: «А-а, была не была, пропадать, так с музыкой».

— Вы, Проскурин, что-то хотите сказать? — Не меняя торжественности на лице, обратился к нему Геннадий. — Кстати, товарищи, я закончил. Товарищ Проскурин, давайте сюда, чего вы там? Сюда давай!

— Могу и туда. — И он стал выбираться из своего угла. Наступал на ноги, не извинялся. Все со смешком уступали ему дорогу, а Славка Бондарь подтолкнул дружески:

— Давай, давай, Ваня, толкани речугу.

Потом шагал по мягкому ковру, шагов совсем не слышно. «А наверно, ничего и сказать не сумею, смеяться будут... но все равно... насочинял тут...»

— Товарищи! Это наш ударник коммунистического труда, — представлял Геннадий Ваньку и улыбался ему как самому лучшему другу. — Проскурин Иван.

«Да... да... так я тебе и поверил, — думал Ванька, глядя прямо в приветливые глаза Геннадия Семеновича. — Жди... в обе руки».

Глава XXXVII

И вот Ванька на трибуне. Яркий свет бьет в глаза, потеют ладони, течет под мышками. Дрожат колени. «Да что же это?» — мелькнуло в сознании. Глянул на зал — черт возьми! Тысяча глаз уставились и притихли... Ждут. «А что же говорить?» Повернулся к президиуму, Геннадий Семенович, улыбаясь, с любопытством смотрел на него, но это только губы улыбались, а глаза настороженные и колючие. Торпеда тоже сощурилась, карандашик приготовила, а улыбается... так это... будто у ней на уме, что сейчас, мол, произойдет что-то ужасно интересное. «От зараза, еще ничего и не сказал, а она уже готова рассмеяться». Магомедыч, он сидел на самом конце длинной скамейки, скреб ногтем штаны на коленке, медали колыхались. Голову опустил, брови насупил. «Ну что ж? Раз на то пошло, повоюем!»

— Я никогда не выступал, — дрожащим голосом начал Ванька и сам удивился, какой у него тихий и слабый голос. Да еще прыгает весь. — Но все равно, что тут говорил

председатель, это все не так. Да. Не так. Неправильно это. Когда строили этот Дворец, сколько цемента, растворов, стекла да шифера пропало? А? Сколько?! А зачем спешили? Можно б до лета оставить, ведь зимой у нас от работы десять процентов всего толку. Все хотели подождать, а председатель не хотел, загубил сколько добра и теперь про экономию распространяется. Экономия... А рыба? Когда она, селедка, в Пахаче была, сколько ее зазря передушили? А на берег выкинули, от гнилья не пройдешь. И не сосчитать. — Голос немного окреп, но подрагивал еще, дыхание от непривычки говорить сбилось. Он заикался иногда на середине слова. — А нерестовую в Анапке зачем флотом брали? А теперь... где она? Да и уборочная тоже, про которую председатель распинался... Зачем он неправду говорит? Ну он, конечно, не в курсе дела, потому как каждую осень со своими дружками гусей по тундре гоняет. Яйца вот тоже... почему они в прошлом году без скорлупы были, а? Почему? А заведующему фермой до этого нет дела никакого, тоже в тундре осенью. С председателем. А почему у нас одну весну куры друг дружку поклевали, а? А потом опять цыплят приобретали. С красной рыбой вообще... в речке закидниками брали... все выхвалялись, что только себе да себе. При Василь Василиче такого небось не было, а сейчас... чтоб себе... — и у Ваньки заело, он не знал, что говорить дальше... — Да, да, себе... как все равно дед Чомба.

— Мирошников, вы хотите сказать? — поправил его Геннадий Семенович.

— Да, Мирошников. Да вот. Ну, вот, когда Чомба через речку перевозит, — в зале засмеялись, — и когда мотор у него скиснет, как он его ругает, а? «Был бы ты мой, так за один вечер перебрал бы». Был бы мой... — Ванька передохнул. — И мы тоже старались не хуже Чомбы, добро переводили, чтоб себе лучше было. Да.

— Ну, Иван Евсеич, — повернулся к нему Геннадий и начал серьезным тоном: — Это еще наши недостатки, которые мы, конечно, исправим. Утечки движения, так сказать.

— А я про что говорю? — И Ванька повернулся к нему. — Я про это и говорю, что течет все: хоть рыба, хоть цемент, хоть стекло, хоть та же толь. То в море, то в речку, то в береговой песочек, как селедочка когда-то. Разбогатели ж... деньги некуда девать. А Василь Василич даже уголь...

— Постойте, постойте, — поднял руку Геннадий. — Но

создали-то мы сколько? Ведь недавно здесь медведи ходили.

— А сейчас их нету.

— ...постойте же! Дворец культуры, кафе современное. Вы ведь не раз там, надеюсь, бывали.

— Бывал, — выпалил Ванька. — Да я-то ни при чем. А пастухи в этот стакан не ходят. Как приедут из тундры, так и заседают на лужайке за магазином.

— На травке оно сподручнее, — донеслась реплика из зала.

— Там же у них «Золотой Рог», — донеслась другая. В зале смеялись.

— Хорошо, хорошо, — смеялся и Геннадий Семенович, — кому нравится, пусть посещают «Золотой Рог». Но дома-то? Ну-ка, сколько вы сами домов построили?

— Да я же не про это говорю, — поморщился Ванька. «Или я уж объяснить не умею», — мелькнула мысль. — Я говорю, что много добра пропадает, — продолжал он. — Хоть и дома. Ведь в двухэтажные оленеводов и силой не загонишь. И даже в одноэтажные... вон что со своим коттеджем на улице Гагарина Эгель сделал?

— Ты имеешь в виду Эгеля Айтарова?

— А кого ж? Он же в доме чум ставил и потолок с крышей попробил. А пол весь костром пожег и все равно в тундру ушел.

В зале смеялись еще больше. Смеялись и в президиуме. Хихикала в платочек Торпеда, закатывался Геннадий. Он повернулся к ней — она вытирала глаза — и начал говорить что-то. Ванька расслышал только несколько слов: «...бескультурье... еще лаптем щи хлебают». «Надсмехаются... и даже не слушают, пскопской для них...»

— А воровство! — крикнул он и повернулся к президиуму. А трибуну так стиснул, что она заскрипела. Геннадий даже отпрянул, а смеющегося выражения на его лице как не бывало. Теперь оно было настороженное и сосредоточенное, будто он собирался с мыслью или припоминал что-нибудь. — Да нет, я ошибся, — задыхаясь, продолжал Ванька, — так берут... среди белого дня. И кирпич, и тес, а толь или стекло так вообще за материал не считают. Вон Чомба и себе и сыну дома отгрохал... а из чего он их делал? Что, он за кирпичом в Петропавловск или Владивосток летал? Да Чомба — ладно, а кто повыше? — Геннадий Семенович опустил глаза и покраснел будто. «Знает, чье мясо съела», — подумал о нем Ванька и продолжал: — Да еще отвези им... распоряжаются как хотят.

Хоть катером, хоть колхозным вертолетом, хоть еще чем колхозным... а почему они этим всем распоряжаются? — крикнул Ванька. А дальше не знал, что говорить. Заело. — Да. Вот... и выгоняют из колхоза, вон как Михаила Снедкова. Или Прокаева. Или Макаренку.

— И тебя бы надо, — шепотом ляпнула Торпеда. Она произнесла это тихо, но Ванька услышал. Услышал. Так и задрожал весь, даже дышать было нечем.

— Как это? — тихо, дрожащим голосом почти прошептал он. А внутри все рвалось. — А за что меня-то? Разве я плохо работаю? Или опаздываю на работу? Или что? — Он так стиснул трибуну, что она, прохрипев, разъехалась.

— Не калечьте колхозное имущество! — крикнул, вставая, Геннадий.

— А-ах! — Ванька еле владел собой. — Пустяками зубы не заговаривай... новую сделаю. — Он сдвинул трибуну. А дышать было нечем. — Дак за что меня выгонять? Я вам не Михаил. Это его вы понижали, пока человек сам не ушел из колхоза. А меня понижать некуда — мешки буду таскать, а из колхоза не уйду!

— Товарищ Проскурин!

— Что Проскурин? — в тон ему гаркнул Ванька, а настроение было такое, что перемесил бы все, растоптал... даже локти дрожали. — Товарищ, — передразнил он Геннадия. — Никакие мы с тобой не товарищи.

— Пыравылна! — взлетел со своего места Магомедыч. — Пыравылна! Моя понижай, моя повышай, моя суравно тырактур верти! Чито это? Э? Как это? Э? Пошшему сыразу гон из колхоза? Э? — Он стучал себя по звенящим медалям. — Я колхозник, но я на колхозный вертолет личным делам не летайт. Кырасын нэ пустак, бензин нэ пустак, это общественный добро. Моя баб общественный деньки растратил — турьма сидел. А тут как, э? Пошшему так, э? Ты, дорогой, — Осман Магомедович стрельнул пальцем в Геннадия, — уезжай откуд приекэл, такой шшеловэк наш колхоз не надэ.

— Подожди, Осман Магомедович, — послышался чуть насмешливый Володькин голос. Он поднимался на сцену. — Кричать не надо.

— Надэ, Прокоров, надэ. Он говорит, — Магомедыч опять пальцем указал на Геннадия, — говорит, надэ строить коммунизм, а сам ломает коммунизм. Ломает, э?

— Осман Магомедович, — взял его за плечи Володька

и повернул к залу.— Погоди. Мне, как бывшему завхозу, тоже есть что сказать по этому поводу.

— Надэ сказать, Прокоров, надэ. Он ломает коммунизм, ломает колхоз. Э?

А Ванька, ни на кого не глядя, шел по залу. «Сейчас им Володька выложит... язык подвешен, все скажет». Вдруг его схватили за руку, да так крепко цапнули, что он чуть не поскользнулся на коврах. Глянул — держит его за руку... районный начальник, что знамя недавно за первое место вручал. Самый главный. И улыбается. Да так хорошо улыбается, будто сказать хочет: «Молодец, дружок. Какой же ты молодец!»

— Кем работаешь? — Он смотрел Ваньке прямо в душу, а Ванькину руку тряхнул еще крепче. А глаза так и говорили: «Держись!»

— Плотником, кем же! — сказал Ванька и согнул руку, пальцы районного начальника, попавшие между Ванькиным бицепсом и предплечьем, хрустнули.

— Ну и силища у тебя,— засмеялся он. Потом лицо его стало серьезным, он поднялся и пошел потихоньку к трибуне.

— Нет, Прокоров,— кипятился Магомедыч, — я еще буду сказать. И мне слово дайте, товарищи,— обратился он к президиуму.

А Ванька влетел в раздевалку, сдернул шубу с гвоздя, кинул шапку на голову и уже ломился по сугробам. Он не слышал, что происходило на собрании, о чем говорил районный «самый главный начальник». Он ломился по сугробам, разрываясь от злобы: «Выгоним из колхоза. А это?» — Он показывал кому-то кукиш.

— Ваня-а! — услышал он голос жены. Утопая в снегу, лезла к нему Зина. На ходу застегивала доху, заправляла платок. В руке держала его шарф. — Простудишься, — сказала тихо. Она глубоко дышала, слезы катились по ее щекам. — Дай-ка. — Она укутала его шарфом, застегнула.

— Уф! У-у-уф! — Ванька уже не владел собой. — Выгоним. А это?

— Ваня, — удерживала она его, обнимая и прижимаясь к нему, — не надо, все хорошо будет, успокойся.

— Уф... у-ууу-ф... — Он рванул на себе шубу вместе с рубахой.

— Не надо, хороший мой, не надо... у нас же дети.

* * *

Ванька сидел на бревне, обрабатывая торец под замок. Дул колючий, сырой, весенний ветер. Прохладно.

Подошел Володька. Он ждал «Бегуна» с баржей от парохода — Володька опять работал завхозом. Закурили. Володька щурился, прикрываясь воротником от ветра.

— Ты, я слышал, учиться пошел?

— Ну! — И Ванька так ломанул по бревну, что оно запело. «Пой, пой... Никуда не денешься, запоешь!»



КРАСИВОЕ МОРЕ

Часть первая

КО МНЕ ПРИЛЕТЕЛ КУЛИК

Сидел я в сенях перед раскрытой дверью и бездумно смотрел на кучу мусора, которую, прибираясь, выгреб из зимовья. Мусор накопился за зиму, охотники тут жили.

И было мне грустно. Невыносимо. До боли. Вот уехал из городской толчеи, убежал от житейских забот и семейных хлопот, от всяких литературных разговоров, сбежал в тундру, в Степанычеву избушку, чтобы писать. Но слово из меня не шло. Уж какой день смотрю я на чистые листы бумаги и, обманывая себя, занима-

юсь пустяками. Собирал вот консервные банки да бумажки вокруг зимовья, а за ручку взяться боюсь. Не пишется. И от этого тяжко.

Всякие печальные мысли душу терзают, что вот взялся за писательское дело, а оно, выходит, мне не по плечу. А ведь из-за нее, из-за писательской работы, в жизни я потерял многое. Совсем оставил судоводительскую специальность, бросал хорошие должности на хороших судах — все мои товарищи, с кем учился или работал когда-то, получили пароходики и плавают себе, — на берегу попадались хорошие работы, и их бросал. С первой женой из-за литературы жизни не получилось, да и сейчас не все нормально, никакого толка от моего писательства нету в настоящем, и неизвестно, что получится в будущем.

Писатель... Четыре года назад похоронил мать. И попал в больницу: почка разболелась. В палате нас было девять человек — слесари, шоферы, со стройки ребята. Подружились, естественно, всякие разговоры... Парни рассказывали о своей работе, какие, например, приключения были у шоферов в дальних рейсах, строители — про стройку, я про рыбу рассказывал, про работу на море. Все у нас дружно и хорошо было. И вот пришли врачи, стали больничные закрывать. У одного место работы — автоколонна, у другого — СМУ, у третьего... «А у вас?» — спрашивают меня. «Союз писателей СССР». Конечно, не поверили, пришлось предъявлять писательский билет.

Но дело не в этом. Когда после обхода врачей вышли на перекур, ко мне никто не подходит. Потом один осмелился, робко подсел. Прокашлялся и тихо спрашивает: «А у вас машина есть? А дача?..»

Этой зимой в городе мне тоже не писалось. И было еще хуже, ведь на виду у всех... О своих муках рассказал товарищу. Он отвечает: «А тяжко, братка, оттого, что путь писателя — это его добровольная каторга. Он крест несет людской. Он в дерьме копается человеческом, как мясник в потрохах, когда он их выворачивает наизнанку. Так и писатель души людские. Грустное это занятие, невыносимое».

Ох, как же сейчас я его понимаю! Трубка потухла, а я тупо смотрю на кучу мусора. Завтра надо будет, что горит, сжечь, остальное в ручей, пусть уносит...

Вдруг на кучу плюхнулся кулик. С хода так и установился на свои параллельные ножонки, вдавив лапки в мусор. Он из породы больших, с молодую курицу, круглый, как шар. Брюшко серое, а спинка, шейка с затылочком и

кончики крыльев с хвостом золотистые. Красавец. Носище длинный, с шариковую ручку, с загогулиной на конце, как и у всяких куликов. Меня он, конечно, не замечает, да и вообще ни на что не обращает внимания, будто для самого себя все делает, будто себе на уме он. И начал шуровать своим носищем кучу, по глаза нос туда засовывает и вертит головой от стараний. Вывернул консервную банку, погромыхал ею, потом тряпку какую-то потащил, оседая назад. Кучку опилок стал кидать за себя. Да так это у него все здорово получается. Земля скорее перестанет вертеться, чем он бросит разгребать мусорную кучу.

Перескочил к каким-то бумажкам, ими стал шебуршить, потащил хворостинку... Ну и дает! С другой стороны кучу обпрыгал... Ну и ну!

Любуюсь им. Как же у него все здорово! И вдруг на душу нахлынуло — сам не знаю, что нахлынуло. Что-то необыкновенное. Что-то сладкое и хорошее. «Ковыряй, ковыряй, мой хороший, исследуй, что люди оставили после себя. Молодец! И какой же ты молодец! Ты даже сам не знаешь, какой ты молодец...»

САПОГИ ВСЕГДА НАДО СНИМАТЬ

— Сапоги всегда надо снимать, — сказал один из моих гостей, они на весеннюю охоту выбрались, чаюют у меня. Сказал сожалеюще и со вздохом. — Сними я тогда сапоги, мои бы гуси были.

Разговаривали мы, как это и всегда бывает, когда охотники соберутся покушать, почаевать, не только об охоте и охотничьих приключениях, но и жизни вообще, о специальностях и призваниях, о семейных делах, о дружбе, о любви. И вдруг один из парней:

— Сними я тогда сапоги! Эх! — он это произнес прямо сокрушительно.

А с ним вот что приключилось. Сидел он в скрадке, уток поджидал. Но день выдался до невозможности неудачный, резиновые подсадные так и скучали в одиночестве. К вечеру же повалила метель, крупными хлопьями, совсем плохо стало. Он собрался уже уходить, как слышит свист крыльев. Выглянул из скрадка: плюхается в сугроб стадо гусей. Они были, наверно, очень усталые — тут же при-

спосабливаются спать, снег разгребают, головы под крылья засовывают. У него сердце запрыгало от такой невероятной удачи... Но немного далековато, из скрадка выстрелом не достанешь. Надо бежать наперерез, когда будут взлетать, и бежать как можно быстрее, рвануть прямо. А снег выше колен и мокрый. Надо снять плащ, шубу, сапоги и рвануть.

Плащ-то с шубой он снял, а вот сапоги... Сапоги не стал снимать. Плюх, плюх по снегу, сапожищи-то большие. Гуси взлетели. Пах, пах — не достал.

— А сними я тогда сапоги...

МУХИ ВЫ МУХИ!

Про мух хочу написать. Они живут у меня в зимовье. Летают, жужжат. Когда я надолго ухожу, изба настывает, и мухи засыпают. Но я прихожу, затопляю камин, они согреваются, просыпаются, выползают из своих щелок и начинают радостно носиться по избушке — отогрелись же! — возле и вокруг камина. А там тепло. И светло. От камина так и пышет жаром. А я зажигаю свечи и сажусь за стол.

И вот некоторым мухам мало благодатного тепла, что идет из камина, им хочется еще большего тепла и света, ну прямо... еще самого-самого счастья, что ли, им хочется. И те, кому самого счастья хочется, летят к пламени свечи — р-раз, и зазвенела об одном крыле или свалилась тлеющим угольком...

ЖАВОРОНКИ

Вот висит он в теплом от солнечных лучей весеннем воздухе и, закрыв в забытьи глаза, поет и поет... Когда он напоется — а поют они радостно, весело, прямо не вмещается в их грудках превеселая песенка, — то опускается отдохнуть перед моим окном. Иногда ищет что-нибудь в щепочках возле пня, на котором я рублю дрова. Хохолки у них на затылочках — от этих хохолков головки похожи на топорики, очень милые. Смотрю я на их беззаботные хлопоты, и мне вспоминается моя бабушка, детство вспоми-

нается. Как бабушка на какой-то весенний праздник, кажется к прилету жаворонков, пекла «жаворонки» — пышки и коржики, похожие на этих птичек, с такими же топориками-головками.

— Бабушка, а бабушка, а почему они не летают?

— Эти... Эти, унучик, хлебушко.

— А те, что летают, тоже хлебушко?

— Нет, унучик, те не хлебушко.

— Хлебушко, бабушка, хлебушко.

— Да нет, унучик... те божьи пташки.

— Да хлебушко, бабушка, хлебушко, — в детстве я был очень упрямый. — Они и цвета такого же... Хлебушко, только живой хлебушко.

— Ну и хай, коли тах-та...

ДЯТЕЛ

Ну что бы такого, казалось, в этой черно-красно-белоперой, с длинным носом и крючковатыми цепкими коготками на серых лапчонках птичке? А сколько вызывает во мне она радости! И грусти...

Стучит она по стволу березы, что под окном, и мне вспоминается деревенское детство, осенний сад — этот сад дедушка мой растил. Листьев на деревьях уже нет, стволы темные от влаги, трава поникшая, туманчик между голых ветвей. И то там, то здесь слышен стук этих птичек.

А как хорошо в теплой хатенке у сторожа деда Василия, когда вдоволь набродишься по саду!

Сам я совсем маленький, в сапожках с высокими голенищами в обтяжку — это дедушка мне такие сшил, — в пальтишке, с хворостиной брожу по саду, смотрю на эту перелетающую с яблони на яблоню птицу и мысленно представляю, какая она вблизи, какие у нее перышки. Если бы их потрогать...

И мне пришлось их потрогать.

Как-то пришел я к дедушке Василию в сторожку. На лавке лежала птичка. Глаза у нее были закрыты, одно крылышко вывернуто на сторону и распущено, по нему рядками шли белые, черные и красные перышки. Цепкие коготки на серых тонких лапках равнодушные. И холодные.

Я распускал перышки и любовался ими, особенно крас-

ными, я был настолько маленький, что не понимал случившегося.

— Дедушка, а дедушка, а дятлик уснул!

— Уснул, уснул... Дурак я старый, доверил ружье охламону, дяде твоему.

...Дядя был щеголь, носил хромовые сапоги с отвернутыми голенищами, белую кубанку и завитой чуб.

У ЗАЯЧЬЕЙ ПЕТЛИ

Стоял я у заячьей петли. Ее оставили, забыли про нее охотники, жившие зимой в Степанычевой избушке. На петле — там, где узелок затяжки, — желтел маленький клочок шерсти. И все. Лисы, росомахи, вороны не оставили от зайчишки даже его короткого хвостика, да что там хвостика — коготка не оставили или хоть бы передний смешной зуб, что всегда выглядывает из рассечины на верхней губе. Даже снег, что был обрызган кровью, подлизали и склевали.

Несколько дней назад косой спешил куда-то. Летел по знакомой до каждой вмятины дороге поглодать тонких веточек в заветном месте или посидеть, параллельно поставив передние лапки и выстрелив уши в небо, с друзьями на лунной поляне. Да мало ли какие дела у него были! Хлопот и забот хватало, как и у всякого, живущего на земле.

Бежал счастливый, оттого что ночь стоит чистая, светлая, морозная, снег синевой и серебром мерцает под белой луной, тихо вокруг...

Спешил. И радовался — сердчишко, наверно, так и подпирало от счастья...

И почему же ты, дружище, плохо смотрел под ноги? Не увидел того, что у тебя под носом.

А КУДА ТЫ САМ СМОТРЕЛ?

Шел я по тундре. Весной. Было это давно, двадцать пять лет назад, я только приехал на Камчатку после мореходного училища. Очарован был всем, особенно тому удивлялся, сколько здесь дичи. Выпросил у кого-то ружье, на

лыжи — и подался в тундру. День был солнечный, снег помокрел, и лыжи вязли в нем. Но сила во мне не вмещалась — эх! — если уж говорить, то говорить до конца — я тогда добеспредельно был влюблен, бумаги на письма не хватало...

Ну вот, хоть дичь и непуганая, ни одна стая куропаток на выстрел меня не подпустила. Или я скрадывать не умел, или стаи какие-то заколдованные попадались — только подкрадусь, улетят. А ведь перед этим ходил я без ружья, и они на пять шагов подпускали, а вот с ружьем ничего не получается...

И так я в конце концов изнервничался и устал, что думать уже о куропатках не хочется. Иду, утопаю в снегу, безразличный ко всему. Скорее бы до поселка... И вдруг: «Го-го-го!» Я даже вздрогнул — слева, метрах в пяти от меня, сидит стая. Как белые куры. Правда, головки и кончики хвостов стали уже чернеть, и на шейках начали пробиваться коричневые перышки. Только за ружье — полетели. Перелетели через ручей и опустились на том берегу за кустами. Недалеко. Я присел и стал как можно осторожнее и незаметнее скрадывать их. Опустился на корточки, взвел курки, ползу гусиным шагом, подминая коленками влажный сугроб, прячусь за ветки. Они сидят кучкой, чернеются головками в пролете между веток. Эх, сейчас бы поближе да дуплетом... Стал перебираться через ручей, сугроб, нависший над берегом, обрушился вдруг, я шмякнулся в воду... поднялся — сидят! Ну и хорошо. Осторожно вскарабкался на тот берег — сидят! Согнулся еще больше, двигаю коленками снег, крадусь. Сидят, чернеются. И близко друг к другу, сейчас еще пару шагов — и жахну... Подлез ближе, еще чуть и — бабах! Сидят! Судорожно перезарядил ружье, опять — бабах! И опять было начал перезаряжать... Потом снял снеговые очки, присмотрелся: а это вытаявшие из снега травинки, головками похожие на куропаточьи.

Эх! Письма, письма...

ВЕСНА

Когда я хожу по тундре или по лесу, я люблю смотреть на следы. Встречу заячий след — и сразу ясно, по каким делам бежал косой: то ли удирал, дрожа от страха, то ли бездельно прогуливался, прыгая от одного куста к друго-

му, или совершал марафонский переход. У лисы следы труднее отгадать, но когда она под снегом мышей вынюхивает или гонится за зайчишкой, понять можно. Так она ведь и куропаток скрадывает, и за воронами охотится, и выслеживает уток по протокам... В общем, хитро у нее все.

Горностаевый след всегда двоеточиями — две передние дырочки, две задние, этот зверек по всей тундре носится, и если смотреть со стороны, как бежит он, то будто белая дуга мелькает — тельце у него длинное и прыжки большие. Куропаточьи «крестики» трудно разгадать, там все как на базаре натоптано.

А вот когда наступает весна, трудно отгадать, что зверюшка делал, по каким делам спешил. Все следы перепутаны и наверчены, только одно можно заметить: все следы парные, одиночных уже нету, хоть заячьи, хоть лисичкины... Даже куропаточьи крестики рядом стелятся, один возле другого.

И во всем весна виновата, это она напутала, наперепутала, сплела все следы по лесу.

ВЫДРА ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Как-то осенью возвращался я из поселка. Снега еще не было, но по утрам уже морозило и трава как сахаром покрывалась. Солнышко светило мало, и природа, хоть и в лучших своих нарядах, стояла печальная. В такие дни хорошо бродить по лесу или в поле. Думается легко, и на душе какая-то сладкая печаль... Может, это воспоминания по прошедшему лету?

Вот и Степанычева избушка завиднелась, от нее бежит ручей, дорога вдоль него.

Этот ручеек, шириной в три ступни и такой же глубины, будто прорезает дерн тундры. Над ним переплетенная трава и кусты. Летом, во время нереста, в нем бушевал лосось, горбуша в основном, гольцы и сейчас шныряют. Обычно я их ловлю сачком.

Иду. И вдруг вижу: против течения идет что-то большое, наверное кижуч или кетина, даже волну гонит. Странно, почему он здесь? Летом еще попадались штучные кетины и кижучи, но сейчас уж зима скоро. Нагнулся, присмотрелся — а это выдра старается, усы так и извиваются

в струях. Склонился, иду за нею... Она умело обходит повороты и изгибы ручья, всякие коряжины и заломы из хвороста, мели всякие и запруды, на водопады шустро взбирается, поднырпвает под «мосты» из травы. Да так шустро все это преодолевает. Иногда, если встретится мелкое место, бежит по дну — сунет нос в воду, а спина наружу. Потом опять прячется в воду.

Иду и думаю: сколько же у нее было этих тупиков, завалов и водопадов? Могла вообще угодить куда-нибудь, попасть в какую-нибудь беду...

И что ее сейчас гонит? Страх, голод, нужда?

И сколько у нее впереди этих препонов... и кончатся ли они когда-нибудь?

ПРО БЕРЕЗЫ

Эта береза стоит в стороне от всего дружного и густого леса. Нет у нее ни родни, ни друзей. Совсем на краю. И вся она изломана, перегнута ветрами и буранами. После непогоды срасталась кое-как, ствол треснут, ветки корявые, некоторые опираются на землю. Некоторые, не получив соков, отсохли, возле валяются, уже сгнившие...

А возле этой березы я всегда отдыхаю, когда иду с прогулки или когда из поселка возвращаюсь. Она отличается от остальных берез — ствол у нее в несколько обхватов. На высоте двух метров он расходится пучком на восемь одинаковой толщины ветвей. Как чаша.

Ну а комель у нее — прямо страшно делается, как посмотришь. Раз в семь или десять толще, чем у всех других берез в лесу. Не комель, а комелище.

И сколько бы раз я ни встречался с нею, всегда вспоминаю своего отца. Нас у него было шестеро — и на каких только побочных, «шаровых» работах он не работал, чтобы нас прокормить!

Шея у него была тонкая.

БОЛЬШАЯ РЫБА

Вспомнился мне один случай. На лососевой путине это было. И тут же вспомнился другой... Ну, ладно, про первый сначала.

Сидели мы с Колей Сысоевым на борту желонки, опустили босые ноги к воде, разговариваем, смотрим, как в ловушке невода прохаживаются косяки рыб — кеты, горбуши и кижуча. Стайки мелких гольцов шныряют в невод и из невода, проскакивают через ячеи. Селедки с навагой тоже проскакивают, туда-сюда ходят. Вода же такая чистая, так просвечена солнцем, что кинь пятак — и он будет виден.

Не только мы с Колей блаженствуем на солнышке, но и рыбы. Они так лениво ходят по неводу, некоторые совсем перестали шевелить плавниками, только жабрами двигают, уставились перед собой, разомлели. И мы с Николаем разомлели, разговариваем — то в час по слову, то в два часа по слову, только рыбками любуемся.

И вдруг косяки как метнутся в разные стороны, как понесутся вдоль стенки невода, а малышки — селедки, гольцы и наваги — р-р-раз, и пропали. Что такое? Что за пожар? А вот и причина — входит в ворота невода исполинская красавица чавыча...

ЗАБЫЛ ЖАКАНЫ, ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК Я НАПИСАЛ «СВЕТЛОЕ МОРЕ»

Случай этот странный, «из ряда вон выходящий», как говорят некоторые люди.

Три года назад, осенью, вдоволь насидевшись в Степанычевой зимовьюшке, вдоволь напортивши бумаги, возвратился я в поселок и собрался лететь в город, домой. На аэродроме сказали, что самолет на Оссору будет через три дня. Я обрадовался, потому что осенью он бывает и через двадцать три дня.

Пошел в душ. Разворачиваю газету, в ней белье было завернуто, и вдруг мелькнул заголовок: «О целебных свойствах рябины». Стал читать. О-о-о! Да тут, оказывается, пол-алфавита витаминов, от половины болезней спасает. Ну и рябина! А ведь вокруг зимовья ее разливанное море,

миша-медведь обнимет куст и ест. Степаныч говорит, что у него здесь столовая. А грозди-то какие! В ладонь не вмещаются. Ее ведь за день можно бочку насобирать, и бочка есть, я из нее обливался холодной водой, ведром черпал — и на себя. А что, если эту бочку насобирать да засыпать сахаром? И пусть стоит до весны. Мне на это дело надо затратить всего лишь один день, и ожидание самолета быстрее пролетит. Хватаю рюкзак, ружье, продуктов на день-два — и к магазину. Наполнил рюкзак сахарным песком и подался к зимовью.

Вышел за поселок, присел покурить и вспомнил про жаканы. Вот все продумал, даже свечи взял, а жаканы забыл. Как без них? Ведь миша-медведь ходит вокруг зимовья, возможно — да и наверное — с ним на пару придется собирать рябину. Хоть наш камчатский медведь на людей и не кидается, но черт его знает, что у него на уме, ведь это не зайчишка... Нет, без жаканов нельзя. Никак нельзя. Правда, всем известно: если, собираясь куда-нибудь, забудешь какую-то вещь, то не повезет, не состоится задуманное предприятие. Сижу на рюкзаке и голову ломаю. Возвратиться за жаканами? Не насобираю рябины. Без них идти? Ой, нет...

Вспомнил, как Пушкин трижды возвращался, собираясь из Михайловского на восстание. В первый раз заяц дорогу перебежал — возвратился, второй раз попа встретил — не поехал, в третий раз забыл дома что-то... В четвертый раз судьбу испытывать не стал.

Так-то. Не зря, видно, люди верят в эти предрассудки. А может, и зря... Может, совпадение, случай. Ладно, проверю. Поднялся и пошел за жаканами.

В избушку пришел уже потемну, устал: рюкзак до самого верха сахаром набит. Напился чаю и — спать.

Проснулся — мамочки! — в окнах бело, снег валит большими хлопьями. Так густо валит, будто небо опрокинулось. Вот тебе и рябина!

Снег шел семь дней. У нас хоть снег, хоть дождь, хоть пурга — если через день не перестанут, то три дня будут идти, а если через три дня не перестанут, то семь дней будут идти. Это закон.

Все семь дней я не мог выйти из избы. Куда там идти — руки протянутой не видишь. Сидел и писал. Чай был, сахару целый мешок. Были свечи, еда была. И по первому разу — самое главное рыбу в невод поймать, мысли уловить и записать, — нацарапал целый сборничек, назвал

его «Светлое море». Малюсенькие рассказики сыпались из меня тогда, как снег с неба. Вышел он в этом году.

Когда снег кончился, тоже ни о какой рябине речи не могло быть. Ее завалило сугробами до двух метров высотой. И самое страшное: снег такой мягкий, что по нему не проберешься. Проблемой стало попасть в поселок. И еды уже не было.

Но человек необыкновенно находчив, когда попадает в беду. Отодрал я в сенях две самые широкие и длинные доски, разрубил ведро и половинки ведра приладил к концам досок. Навроде загнутых лыж получилось. Порезал сапоги, соорудил крепления.

И на этих лыжах-досках, тяжелых-претяжелых, я шел около суток. Хоть они и исполинские, но все равно утопали в этом необыкновенном снегу. В поселок пришел еле живой. Вот тебе и предрассудки. Хотя... а где рябина?

ОЛЕНУХА

Под вечер вышел из зимовья побродить по тундре. Смотрю: по распадку, километрах в пяти, бродит кто-то. Человек ли, зверь ли? Присмотрелся — будто корова. Но как она тут очутилась? Из поселка ей не добраться, слишком много на пути ручьев глубоких и зарослей кедрача непроходимых, и не только для нее. Еще внимательнее всматриваюсь — рога ветвистые разглядел. Олень. Щиплет травку.

Ни разу вблизи не видел дикого оленя. Схватил ружье и подался к нему. Дорогу выбираю так, чтобы он меня не видел, прячусь за кусты и сопочки.

Подкрался поближе — олененок маленький рядом, тоже щиплет травку. Вот так штука! Трется иногда об ноги матери и об живот ее, оба белые в черных пятнах. Малыш совсем тоненький.

А мама-то какая красавица! Молодая, видно, уж очень фигуристая, хребет прямой, круглая, осанистая. Шерсть переливается под заходящим солнышком. Увидела меня, повернула голову и смотрит. Взгляд равнодушный, как у коровы. Потом толкнула носом малыша, и побежали они. Топ, топ, топ, с кочечки на кочечку. И опять травку щипать. Я, путаясь в траве, опять стал подбираться к ним. Тяжело в сапожищах, мокрый весь. Они опять заметили

меня и опять — топ, топ. Как по воздуху, так легко у них получается. Вдруг малыш заметил меня и ко мне было... Она как поддаст его носом, и опять они побежали. На этот раз далеко. Она еще оглянулась, коленками подтолкнула его, и они убежали очень далеко. И больше она не смотрела на меня.

ОЛЕНЕНКИ

В прошлом году ездил я с группой писателей по Камчатке, выступали перед пастухами.

Как-то стоим мы в сторонке с поэтом Каянто, курим, смотрим на табун, который столпился под сопкой, — лес рогов, откуда доносится тревожный рев.

— Ох и злые же самцы весной, — говорит Каянто. — Не подходи... Не подпустят к стаду.

— Забодают?

— Забодают.

— Это они ревут?

— Нет, это самки. Малышей ищут.

— А куда они могут деться? Стадо вон...

— Да это же как дети. Соберутся компанией и убегут в кусты, а матери мечутся, ревут...

ДУРАК

Сошли на берег с Валентином, вытащили и закрепили шлюпку. Сделали несколько шагов — и повело на стороны. Вот что значит долго не ходить по твердой земле.

Идем, песочек хрустит под сапогами. Валентин ружье несет в одной руке. На охоту к ближайшим озерам собрался. Я — побыть на природе, поваляться на травке, посмотреть, как плывут по небу облака. Они плывут, изменяются, а ты думаешь о чем-нибудь... Или по зарослям походить, полюбоваться на всякие лесные чудеса. Вот как бы тяжко на душе ни было, а посидишь ночью у костерка или на бережку ручейка выкуришь папиросу — и как рукой сняло. Все жизненные хлопоты и расстройства покажутся мелочными и пустыми.

Идем. Молчим. Каждый думает о своем. С тундры в нашу сторону идет чаечка, вот уж над нами скоро будет. Вертит головкой и почти не шевелит крыльями. Любуюсь

ею. Вся она — красота и гармония, и никакими законами искусства не объяснишь эту красоту, как не объяснишь красоту женского тела. Это неподвластно разуму.

Всегда любуюсь чайками, наблюдая их полет. Может, потому, что вся моя жизнь связана с ними, впрочем, как и жизнь всякого моряка. Они ведь вечные спутники в наших скитаниях по морям. Они да еще небо и море.

Чайка смело пролетела
Над седой волной...

Нет, я не мыслю жизни моряка без чаек. Говорят, это души погибших моряков, навечно оставшихся в море.

И вдруг — бух! Чаечка вздрогнула и сломалась.

— Офонарел!

— Влет учусь...

ЧИРОЧКИ

Что же делает она, эта страсть, этот азарт, это увлечение, которое называется охотой!

Вот открылась она, весенняя. Все две сотни членов местного стреляющего общества выбрались в тундру, высыпали на «Буранах», лыжах и просто пешком — ведь зиму напролет ждали, мечтали, готовились, чистили ружья, заряжали патроны, собирали рюкзаки...

Сейчас охотники расселись в скрадках из снега по берегу лимана, по протокам и ручьям, на берегах озер. Или на лыжах белыми тенями бродят от одного ручья к другому, ружья у многих пятизарядные или даже семизарядные, модернизированные. И канонада в это утро — в самое первое утро — стоит в тундре как при взятии Берлина. Перепуганные стаи дичи носятся от одной «воды» к другой, а на них то с одной стороны: бух-бух-бух, то с другой... И куда они ни кинутся, везде засада: бух! бух!..

Я в это утро бродил по распадку, что перед Степанычевым зимовьем, и отовсюду слышалось: «Не пугай дичь! Хоть бы халат надел». Вдруг вижу: в одной протоке под крутым, обрывистым бережком прижалась к самому снегу стайка чирков. Маленькие, черненькие... Прижались и никуда не летят.

Воробушки игривые,
Как пташки сиротливые,
Прижались у окна.
А вьюга с ревом бешеным...

ЗАЙЦЫ НА ДОРОГЕ

Зайчишки, между прочим, сами виноваты, сами дураки — ну зачем им ночью выходить на шоссейную дорогу, что недавно проложили к Ключам? Разве мало лунных полян, где можно неподвижно посидеть друг перед другом, кося и без того косые глаза на кончики собственных усов? А они выходят на дорогу: асфальт им, видите ли, нравится.

Вот сидят они на дороге, о чем-то думают или ни о чем не думают, а тут свет от фар. И вместо того чтобы скакнуть в темноту, зайчишка взметывается и шпарит по дороге, а по нему шпарят из ружей из кузова машины или из люльки мотоцикла. И пропал зайчишка!

Теперь дорогу на Ключи очень любят. Надо тебе зайцев настрелять — садись на мотоцикл, как стемнеет, и кати туда.

ГОРНОЧКИ[1]

В Степанычевом зимовье жили два горночка. Ну и препотешные же ребята, как посмотришь на них! Сижу я, к примеру, за письменным столом. Они вбегут в избу — бегают они один за другим где хотят и когда хотят, везде понаделали своих «дверей», производят много шума: то банку с гвоздями перевернут, то миски с ложками скинут с посудной полки, то кастрюлями загремят, — вскочат на стол, сядут на углу и смотрят. Носы и кончики хвостов у них черные.

— Ну, што? — спросишь.

Они фыркнут и опять один за другим понесутся куда-то. Еду у меня таскали — кстати, едят они очень мало,— бумагу и даже патроны. Бывало, придешь с прогулки, разрядишь ружье, чтобы курковая пружина отдыхала, патроны бросишь на стол или на нары. На другой день нету патронов. Сначала я думал, что по рассеянности забывал, куда клал. А однажды увидел, как они красный папковый патрон катили к своим «дверям».

— Эй! Эй!

Они бросили патрон и бежать. Полез я в «дверь» рукою

---

[1] Горночки — горностаи.

и на «склад» наткнулся. Там вместе с печеньем, картофелинами, конфетами мои пропавшие патроны, причем все красного цвета.

Теперь о том, как мы подружились.

Один раз в сенцах слышу возню. Заглянул — а они к своей «двери» уже подтащили большой кусок мяса. И никак этот кусок не затолкнут. Я взял нож и стал отрезать кусочки, они их выхватывали у меня из рук и, отпихивая друг друга, неслись к «двери». А в скором времени совсем перестали бояться меня, вообще не обращали внимания. Впрочем, как и я на них.

Так мы и жили. Каждый занимался своим делом.

Один раз ко мне пришли двое ребят на выходные, из 8 «Б». Туристическую прогулку они совершали, попросились переночевать. А мне в этот день надо было в поселок.

— Не побоитесь одни? — спросил я ребят.

— Не побоимся, — сказали они, — мы большие уже.

И все-таки они боялись, и очень здорово, потому что когда я возвратился, обнаружил пристроенный к дверям засов, а из-под подушки на нарах торчал топор. Я не стал подшучивать над ребятами. Ничего тут удивительного нет, когда-то и я ночевал с топором под подушкой, потому что по ночам из леса доносятся крики ночных птиц, мыши в стенах шебуршат, и кажется, что кто-то ходит вокруг зимовья. И еще я заметил, что ребята уж очень спешили уйти, смущались, не смотрели в глаза.

Я понял, в чем дело, когда после их ночевки шумы и громы в избе по ночам прекратились. А отгребая снег от избушки, нашел в сугробе трупики своих бывших «квартирантов». Что же, страх еще и не то заставляет людей совершать...

ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ

Лебедей у нас на Камчатке не стреляют. Поверье есть, что если убьешь лебедя, в дом придет горе.

А этот лебедь всегда один. Ходит по отошедшему от берега льду лимана и кричит. И как кричит... Хоть уходи, только чтоб не слышать его крика. В полынье кувыркаются утки, чайки, гагары, ныряют, перелетают с места на место.

Лебеди среди этого «базара» выделяются, ведут себя степеннее, почти не ныряют, только охорашиваются да плавают. А этот лебедь стоит на одном месте и плачет...

Он это или она, понять невозможно. Когда лебеди парой идут, то различить просто: он всегда впереди, шея у него длиннее, он осанистее, горделивее. А в ней больше покорности, плавности.

Вот и лед растаял. Лиман опустел, весь «табор» разошелся по тундре и лесу, по гнездам. А лебедь все ходит по берегу лимана и кричит.

О нем знают не только охотники, но и все в поселке. Когда о нем узнал Лешка-участковый, стукнул кулаком по столу:

— Уф!

Лешка-участковый и Николай Ефремович Гейченко, председатель поссовета и председатель общества охотников, заехали ко мне в пургу.

Ну и пуржища была на 9 Мая, особенно ночью! Майские пурги бывают раз в три — пять лет. Снег липкий до мокрости, валит большими хлопьями, густо-густо. И наваливает его невероятно много, в городе останавливаются машины на несколько дней, пока бульдозеры не поработают.

На этот раз пурга была семидневная.

В ту ночь мне хорошо работалось, я писал о своем дедушке, рассказик о нем, и мне было так хорошо, что когда укладывался спать, прыгать через стулья хотелось.

И вдруг слышу сквозь вой пурги отдаленный шум машин. Не поверил. В такую ночь только сумасшедший поедет в тундру. Но шум моторов нарастал. Различаю два «Бурана». «Двое чокнутых», — подумал я. Шум заглох, и из пурги донеслось:

— Есть кто?

Открыл дверь — ее чуть не унесло:

— Есть! Есть!

И вот вваливаются две снеговые фигуры: Лешка Шевелев, наш участковый, и Николай Ефремович. Ну и видик же у них! Даже ресницы снежные. Выносят из «Буранов» поклажу. Бросили на нары мешок, он брякнул железом. Присмотрелся: из мешка торчат стволы и приклады ружей. Всяких марок и калибров.

— У заготовителей леса были, — сказал Николай Ефремович.

— В гостях, — добавил Лешка.

— Никешку Серафимова? Ну как же! У меня студентом практику проходил.

Это мы со Степанычем разговорились о Никандре Никандровиче Серафимове, областном охотоведе.

— Хорошая о нем слава по Камчатке идет, — говорю я. — Любит он свое дело.

— Ревнивец, что и говорить. — Степаныч задумался. — Так ведь все одно...

— Если бы все охотоведы такими были!

— Ну и што?

— Как что?

Сейчас Серафимов живет в Петропавловске, занимается в основном научной работой. А когда работал простым охотоведом, браконьерам от него спасу не было. Вот они завалили, например, оленя или медвежью шкуру делят, и вот к ним подходит дамочка с корзиночкой, с цветочками, в парике и... вынимает из ридикюльчика пистолетик с удостоверением.

— Ваши документы?

Или они наварили шурпы из только что настрелянных уток, достают бутылочку, готовят миски и ложки, закуску нарезают — и опять дамочка появляется... Браконьеры при виде женщин, собирающих ягоду в тундре, убегали на пятьдесят километров.

— Как что? — переспросил я и удивился. — Как что? Если бы все охотоведы так охраняли природу, так берегли, как Никандр Никандрович, сколько бы дичи было?

— Столько же и было бы, — не только равнодушно, но и с печалью сказал Степаныч.

— Не понимаю. Как так?

— Да так... Тут дело посурьезнее, чем браконьеры. Хоть и они дичь изводят, но все одно... Тут надо охоту вообще запретить. Хоть бы весеннюю.

— Она всего неделю.

— Ну и что?.. А сколько дичи выбьют за неделю? Что браконьеры? Ну, десяток их. Ну, два десятка уток изничтожат. А ведь охотников две сотни. Ну, поймает за сезон Никешка пяток браконьеров — велика ли польза? И толку от твоего Никешки, как подумать...

— Он ваш, ведь он у вас практику проходил.

— Пусть и мой... — и Степаныч стал еще грустнее.

ПРО ОРЛА

Три раза в жизни мне приходилось встречаться с этой необыкновенной, в каком-то смысле страшной птицей.

В первый раз я увидел орла на Русаковской косе. Ждал катер, который должен был подойти за мной. Лежал вниз лицом, для удобства разгреб песок, дремал слегка. На берег я сошел посмотреть охотничье зимовье, что в устьях Русака — можно ли там жить, а если ремонт нужен, то какой.

Был я очень усталый. Под голову подложил куртку, песочек теплый, вот-вот усну. И уже дремал, как чувствую — кто-то смотрит мне в затылок; бывает ведь так, что чувствуешь чужой взгляд, да еще если смотрит сильный, волевой человек. Биотоками или каким-то органическим магнетизмом в науке объясняется это явление. Поднял голову — идет надо мной орел. Низко. Видно каждое перышко и крючки когтей на репчатых лапах, прижатых к хвосту. Наши взгляды встретились, и я не выдержал его взгляда, отвел глаза — неумолимая, не знающая никаких пределов злоба и гордость вместе с презрением и отвращением ко всему, что не он сам, пронзила меня. Будто знал он самую великую тайну на земле, и эта тайна доступна ему одному.

Во второй раз видел я орла прошлой весной здесь, в Степанычевом зимовье. Сидел, писал. Было утро. Солнышко, искрясь блестками на сугробе, попадало на стол. Тишина и светлость и в природе, и у меня в избушке, будто праздник. Писалось хорошо, я даже не обращал внимания на своих шумных жильцов, двух горночков, шнырявших по зимовью.

Вдруг по крыше будто исполинской кувалдой бухнули, даже изба задрожала вся. Я скорее за ружье — ведь на полсотни километров ни души. С писком влетели перепуганные «квартиранты», толкая друг друга, кинулись к «двери», что под пол идет. А перед окном метнулось что-то. Подошел к окну — на сугроб усаживается орел, старательно укладывает крылья. Наши взгляды снова встретились, и опять я отвел глаза. Тайна и достоинство... Он кинул могучие крылья на стороны, и когда я выскочил из избы, удалялся уже к своим владениям.

Этим летом, на сенокосе, орел три дня жил у нас в стане. Подраненный был: крыло тянул и припадал на одну ногу.

Пытались его кормить и поить — он даже не смотрел на еду, жался в угол. Только ночью хромал к мисочке с водой. Булан видел, он раньше всех встает.

Орел был смертельно усталый. А может, боль от ран такая сильная была. Как только его оставляли в покое, он прикрывал глаза. Но стоило кому пройти мимо, эти глаза бросали молнии.

Отпустили его. Похромал в тундру, горбясь и таща крыло. Ни разу не оглянулся.

Часть вторая

НАТКНУЛИСЬ...

Осенью шли мы с нашим новым охотоведом, Толей Горьковым, на Русак. Я шел в охотничью избушку, с месячишко пожить там, он — осмотреть свои владения, да еще ему нужна была для обивки лыж шкурка нерпы, на Русаковской косе их лежбище.

Дорога тянулась берегом моря по увалу. То в овраги спускаешься, то выкарабкиваешься из них. И заросли иногда почти непроходимые. Пробираемся, за спиной у нас рюкзаки, я несу еще карабин и ружье: мой мешок поменьше. Впереди Толя раздвигает заросли и придерживает их, чтобы они меня не хлестали.

Спускаемся с пригорка, держась за ветки, почти не разговариваем — дорогой заняты. Только вылезли из кустов — прямо перед нами, на усыпанной до сплошной красноты брусникой поляне ползает боком медведище, гребет к себе ягоды. У нас дыхание хлоп — и остановилось. А он поднимается — ну и ну! — задрал нос и нюхает воздух. Ветер с моря раздувает шерсть на груди, лапищи с когтями свисают...

Мы засуетились, я никак карабин не сниму — зацепился где-то за рюкзак и с ремнем ружья перепутался, а Толя дрожит, протянув руку ко мне. Михайло нюхает воздух — медведи видят на очень коротком расстоянии, плохо, почти не видят ничего, а вот обоняние у них до двух километров. Я сунул Толе карабин, а сам жаканы ищу,

чтоб ружье ими зарядить, не найду, в каком кармане они, и Толя не стреляет.

— Бей же!

Толя что-то медлит, а миша стоит, шерсть раздулась. Я выкинул дробовые патроны из ружья — миша стоит, — сунул жаканы, и тут Толя — бух! Медведище как сиганет в кусты исполинской дугой по воздуху, я вслед ему — бух! Толя — бух!.. Ушел.

Наконец, мы немного пришли в себя.

— Промазали.

— Промазали.

— Чего долго не стрелял?

— Ветер ветки клонит на ствол и на лицо, ничего не видно. А ты?

— Ружье перезаряжал.

— Эх!

— Эх!

Весь остаток дороги говорили об этом. И как только вспоминался чудо-медведь, со своими лапищами, висящими вдоль тела, мордой задранной, которой он крутил из стороны в сторону, — как только он представлялся, охватывало душу необыкновенное чувство и дыхание захлопывалось..

Ну и ну.

ШУТНИК

И когда пришли на Русак, об этом медведе разговоры только и были.

На другой день Толя добыл нерпушку, освежевал ее, шкурку натянул сушить, а тушку оставил на берегу речки. Наутро — нет на берегу нерпушки, зато исполинские медвежьи следы и полоса по песку от нерпы между следами. Толя засуетился, обрадовался:

— Ну, от нас он не уйдет!

И пошел на косу добывать еще одну нерпу. В этот же день и принес. И в эту же ночь мы сделали на берегу реки засаду, положив нерпу на то место, где лежала первая. Засаду сделали капитальную, с подветренной стороны, и чтобы удобно стрелять было, упоры для ружей поставили.

Просидели всю ночь, но миша не пришел. Днем отоспа-

лись и пошли вахтить еще на одну ночь. Не пришел... Не пришел он и на третью ночь. Наверное, что-то учуял.

Тогда Толя предложил другое решение: самим сидеть в избушке, а к нерпе привязать шнур, другой конец его — в избу. Как только шнур потянется, выскакивать и стрелять. Изба почти на берегу реки, у нас к тому же карабин. И не надо целую ночь продавать дрожжи под луной, а сиди и пей чай. Жди, когда миша за шнур дернет.

И вот мы сидим, теплу радуемся. Потихоньку переговариваемся. Свечи не зажигаем, чай греем на камине. Потемну чаюем. Шнур пока не натягивается.

Вот и утро уж скоро, а толку пока никакого нету из нашей придумки. Мне спать захотелось, и Толя уже носом клюет.

— Толя, я засну.

— И мне хочется...

У меня вспыхнула еще одна идея:

— Толя, привязывай шнур к ноге, и — спим.

— Оригинально, — обрадовался Толя.

Оба задремали. И слышу сквозь сон:

— Эй! Эй! Эй!

Открыл глаза: уж светло в избе, Толя прыгает на одной ноге к двери... Ухватился за косяк.

— Да стой же!

Сапог, на котором был намотан шнур, сдернулся с Толиной ноги и пропал из избы. Хватаем ружья, выскакиваем — миша улепетывает с нашей нерпой, а за ним на веревке по кустам и траве свистит Толин сапог. Несемся за ним, портянку Толя потерял, стреляем то с колена, то на бегу, да где там — медведи и лошадей догоняют. А что мы? Даже сапог не догнали.

ПРО ЗАЙЧИШКУ

И как же это получилось? Два взрослых человека, уважаемых в колхозе, два капитана сейнеров оказались такими шутниками, способными на такое несерьезное дело! Смех, да и только.

Случилось это в Уке. Зашли туда брать пресную воду, и я встретил своего друга, Вовку Джеламана, три года у него старпомом работал. Пока парни возились со шлангами да промывали цистерны, мы с Володей для хорошего

разговора отошли к бывшему поселку, выбрали живописную полянку, расположились удобно на ней, разговариваем. Вспоминаем прошлые плаванья, всякие происшествия, толкуем о теперешней работе.

Вдруг метрах в пяти от нас из кустов выскочил зайчишка. Выскочил, сел и сидит. Небольшой. Смотрит на нас, может, и не видит по причине косоглазия, но дело не в этом.

— Наверное, молодой и глупый, — сказал Вовка и поднялся.

— Наверное, — сказал я и тоже встал с травы.

Косой сидит, двигает ушами.

— А не поймать ли нам его? — говорит Вовка. — Заходи с той стороны.

Вовка кинулся к нему, заяц прыгнул в мою сторону, я чуть не схватил его за уши — он к Володе, Володя вратарем на него:

— Держи!

Но тоже не поймал. Косой опять ко мне, я тоже футболистом на него, но он меня надул, вместо того чтобы прыгнуть от меня, нырнул под меня, и я схватил пустую траву.

— Эх! — не выдержал Джеламан, глядя на мою промашку, и еще яростнее кинулся за косым.

— Падай!

— Держи!

Носимся, прыгаем, падаем, а косая бестия так умело уворачивается от нас, даже к своему хвосту дотронуться не дает. И не поймали. Но если бы кто посмотрел на нас со стороны, непременно подумал бы, что мы чокнутые.

И все это охотничья страсть.

СТАРМЕХ С «НИКОЛАЕВСКА»

А вот тоже человек, пораженный охотничьей болезнью, раб этой страсти. Страдалец. Каждую осень я его вижу сидящим по-турецки на берегу Русаковского лимана перед неподвижной стайкой резиновых подсадных. Хоть в дождь, хоть в метель, хоть по морозу. Простуживается, получает радикулиты, насморки, мигрени, но не сдается... Сидит.

Для него не существует — впрочем, как и для всех

охотников — ни праздников, ни выходных. И даже отгульных дней. Отгулы он просиживает на берегу лимана.

Он работает старшим механиком на теплоходе «Николаевск», который развозит пассажиров по побережью Камчатки. Как только «Николаевск» идет на север, он сходит у нас на берег и направляется на Русаковский лиман, обвешанный рюкзаком, ружьем, подсадными. Приходит на свое, насиженное годами место, выставляет безжизненных подсадных, садится и сидит. Сидит до тех пор, пока теплоход не придет обратным рейсом. Иногда мне кажется, что даже если бы мир перевернулся, он все равно бы сидел.

С МАЛАЩЕНКОЙ НА МЕДВЕДЯ

Мне как-то еще раз пришлось испытать это счастье: сидеть, ждать медведя. И не одну ночь. Тяжелая это работа, особенно если ночи холодные.

Жена Володи Малащенки, Люба, работает дояркой. Летом коровы у нас находятся в тундре, во временном загоне. Там же организуется и стан — доярки живут и пастух, — устроено хранилище под молоко, за которым каждый день приезжает машина-молоковозка.

И вот туда, к дояркам, повадился по ночам ходить медведь. Безобразничал, бидоны переворачивал, разбрасывал их и даже уволакивал в тундру. Игра для него, что ли, — катать бидоны? Свободно, конечно, разгуливал по стану, дояркам ночью даже на улицу выйти страшно. Да и был случай. Люба, например, стала открывать дверь — и не откроет, что-то мешает. Наконец открыла, а это медведь на крыльце сидит, привалился к двери. Отдыхает.

Мы с Вовкой решили отучить этого медведя от безобразий. Если не застрелим, то хоть напугаем. Миша в стан ходил по одной и той же дороге, переправлялся через речку в одном и том же месте — там, где остров. Вот напротив этого острова мы и устроили засаду. Притащили туда одеял, телогреек старых, бревно перед собой положили, с которого, как с упора, стрелять можно.

Первая ночь — когда, кстати, он не пришел — была лунная и холодная. Мы прямо позамерзали, сколько ни накручивали на себя одеял и ни наваливали телогреек.

Решили вторую ночь повахтить. Эта ночь выдалась еще холоднее. И мы не выдержали, покинули пост. А утром он приходил. И наделал еще больших безобразий. Все бидоны скатил в речку. Доярки прямо в слезы...

Собрались на третью ночь. Побольше одеял набрали, даже брезент какой-то Вовка приволок, чтобы укрыться им.

Сидим, ждем. Ночь еще холоднее. Сидим. Смотрим на тот берег, откуда он должен появиться. Ружья наготове. Вот уж и утро, уже и туманчик над речкой, а миши нету. Но мы не сдаемся, сидим. Даже не курим. Вовка от холода стал ворочаться с боку на бок и вдруг как замычит и полез под брезент. Я обернулся — миша стоит позади, смотрит на нас. Я, ничего не соображая, покатился в кусты. Встать не могу, закутанный одеялами был, в кустах уж еле-еле сбросил с себя одеяла. А Вовка орет из-под брезента:

— Караул! Спасите!..

ПАПА, А ТЫ ГОВОРИЛ...

Мой Ваня, ему десять лет, очень любит животных. Еще когда в садик мы с ним ходили и из садика, не мог пройти мимо встретившейся собачки, особенно если она была из маленьких. Приседал, протягивал ручонку и звал ее к себе. И собаки всегда к нему подходили, нюхали ладошку, потом он гладил их. И что удивительно, сами животные, хоть собаки, хоть кошки, чувствуют, что к ним он ручонку протягивает с добром. Никогда не убегают. То же самое делал и я, но ко мне не все собаки подходили, а к нему все.

Он любит очень маленьких щенков и котят. Котят, сколько у него ни было, он всегда называет Бонифациями. И все просит меня, чтобы я ему из Степанычева зимовья привез маленького лисенка. Я все обещаю, да как-то случая не представится, хотя это не проблема, если попросить охотников.

Очень любит Ваня слушать мои рассказы про животных, которые живут в лесу возле зимовья и которых я встречаю. А уж про Степанычева Валета когда начну рассказывать, он не нахохочется. Особенно нравятся ему те

случаи, когда Валет попадал впросак: у одного зазевавшегося охотника подсадных резиновых уток утащил, или когда рыбина за нос укусила Валета — он пытался в ручье поймать эту рыбину.

Если мы с Ваней гуляем по лесу, он всегда смотрит, как дятел долбит сосну или как перелетают синички с дерева на дерево. А еще, когда он был совсем маленький, мы любили в старых пнях отыскивать «домики» всяких букашек-таракашек.

— Папа, а вот мой тезка, — говорил он, глядя, как по его пальчику карабкается божья коровка. — Его тоже зовут Ваней.

Зашли мы однажды к моему приятелю. Конечно, всякие разговоры, как это бывает при встрече, и тут Ванюшка увидел книгу про собак. Мой приятель собирался заводить собаку, а в этой книге описаны все породы собак, есть даже фотографии и коротенькие рассказы про то, какие, например, подвиги совершали овчарки, или там английские доги, или гончие. Словом, книга сделана очень интересно. Ваня зачитался — и вдруг, смотрю, он плачет.

— Ты чего, сынок?

— Собачку жалко...

Но вот что меня заставило о многом задуматься. Совсем недавно зашли мы с Ваней опять к моему приятелю. У него уже был четырехмесячный щенок, Инга. Ваня и Дениска, сынишка моего друга, играли с Ингой, а мы с другом разговаривали.

— Да, много возле твоей избушки дичи, — сказал мой приятель, когда я ему рассказал, как я месяц провел в Степанычевом зимовье.

— Пока есть, — говорю я.

— Охотишься небось?

— Да нет... Не заразился этой болезнью. Но один случай был.

И я рассказал о несчастном зайчишке, которого застрелил, когда утром вышел зачерпнуть воды из ручья.

— До чего жалко было на него смотреть...

Побыли мы с Ваней в гостях, идем домой. Ваня молчит и отворачивает лицо от меня.

— Сынок, ты чего? — склонился я над ним.

— Эх, папа...

ДЕЛЬФИНЫ

Этим летом мы с Ваней ездили по путевке на Черное море. Прогулочный теплоходик, какие теснятся возле всех причалов на пляжном Черном море, шел от Алушты до Коктебеля. Мы с Ваней ехали на нем, сидели на скамейке возле борта.

И вдруг на эту людную палубу как ураган налетел.

— Дельфины! — закричало сразу несколько голосов, и все кинулись к противоположному борту. И мой Ванюшка кинулся туда, стал протискиваться между взрослыми. Я остался на месте.

А на палубе аврал.

— Мама, мама!

— Папа, папа, вон они, дельфинчики!

— Вон, вон...

— Мама, я хочу...

Дельфины, как и на всех морях, — сколько за свою моряцкую жизнь мне приходилось встречать их! — обгоняли судно, подныривали под него, играли с пенистыми усами, что бурлили от форштевня, громко фыркали, выскакивали из воды или показывали спины до полкорпуса. И как же ликовали дети, глядя на кувыркающихся у борта дельфинов! Восторг, крики, смех, удивление, радость... и все это в детских голосах.

Дельфины, наигравшись, ушли, а на палубе не утихало ликование. Прибежал и мой Ванюшка, я его не узнавал...

ЕВРАЖКИ

Они мне всегда напоминают почему-то озорных ребят.

Летом, когда случается заходить в поселок, идешь по речке, а они, прижав передние лапки к животам, стоят столбиками по берегам, мордашки вверх задраны. И посвистывают. Стоят на бугорках обычно.

— Эй! — крикнешь.

Он тебе присвистнет и — нырь в траву, и нету его. Через секунду рядом на бугорке выскочит. И опять лапки прижмет. И опять присвистнет.

— Эй! Эй! Эй!

РОБИНЗОН

В тот год, когда я приехал на Камчатку, со мной приключилось нечто удивительное — я побывал Робинзоном. Настоящим, на настоящем необитаемом острове.

Осенью зашли мы прятаться от шторма в Апуку. Это север Камчатки, места совершенно необжитые. Сама речка, как и все реки на Камчатке, прежде чем впасть в море, разливается лиманом. И можно представить, что творилось на этом лимане осенью, когда дичь табунится перед улетом.

Шторм зарядил на несколько дней, по судну работы не было. Я спустил ботик — это шлюпчонка, положенная по снабжению, но мы ею никогда не пользовались, она непрактична оказалась для работы с кошельковым неводом. Пользовались кустарной плоскодонкой. Ботик же так и висел все лето на верхнем мостике, укутанный брезентом. Аварийное снабжение, что положено к нему, было цело — от анкера с пресной водой и лейки до нетонущего ножа и топора.

Я спустил этот ботик на воду, взял продуктов дня на три, палатку, ружье, карабин — тогда еще разрешалось на сейнерах держать нарезное оружие, шубу, курево. Поднял парус и поплыл...

Чувствовал я себя, конечно, Робинзоном. Эх! Испытать бы еще раз такое, пережить бы то настроение и те чувства, что охватили меня, когда я натягивал шкоты, сидя на корме ботика.

Забрался вверх по речке черт знает куда, нашел живописный островок и поселился там. Палаточка, костер... На сопке — их хорошо видно — бродят олени, лиса-огневка под берегом ходит, пытается уточек поймать. Медведи рыбачат...

Иногда мне без всякой причины хотелось петь.

РЫСЬ ЗАБЕГАЛА

Более значительные происшествия: ну хоть когда медведь в школу забрел (ребятишки выскочили на перерыв, а он бродит по коридорам), или когда Лева-охотник один раз белого медведя с крыши увидел — проходной был,

случайно появился в наших местах, — те не помнят, а про рысь помнят.

Она забежала в рыбцех. Говорят, что по столам обработчиц она расхаживала, как красивая манекенщица. Обработчицы же — те, что не успели убежать, — сидели под столами. Она ни на кого не обращала внимания. Она просто прохаживалась...

Прошло уже лет двадцать, чуть побольше, может, а эту историю помнят. Если разговор коснется минувшего — Дранку начнут вспоминать или Уку, как жили когда-то там, — то непременно: «Это было, когда рысь забегала...»

Говорят, очень уж была она красивая.

ДРУЖОК НА СЕНО ПОПАЛ

— Чи думал, не дождусь, — говорил Дружок, или, как его еще называют, Дружочек, радостно озираясь. Он небольшого роста, круглый весь, с короткими и тоже круглыми ручками и ножками — ну, обрубок, и все. И прозвище к нему подходит как нельзя более точно. Говорит он с сильным украинским акцентом и тоже как-то кругло, от него не услышишь ни бранного слова, ни громкого. Работает он в колхозе сварщиком, а вот настала пора сенокоса, и он записался в сенокосчики.

— Надоело сварным? — спросил кто-то из ребят. Все мы только приехали, разгружаемся, оборудуем стан. Собрались покурить, кто-то присел, кто-то привалился на поклажу. А Дружок все прохаживается, все посматривает по сторонам.

— Та вона неплохая, — продолжает он, разглядывая сопки и тундру. — Но дело не у том.

— А в чем?

— Та ты дыви? — он повел своей круглой толстенькой рукой в сторону зарослей рябины, показал на противоположный берег речки, там живописные кусты склонились над водой.— Благодать... — Он вздохнул. Достал папироску, дунул в нее. — Чи не так?

Кое-кто из ребят, распаковывая вещи, достал ружья, прихваченные контрабандой. Наверное, вечером на охоту подадутся.

— А скока же тут дичи усякой,— продолжал Дружок.— А там вон гуси табунятся.

Над сопкой, почти на горизонте, вилась стая гусей.
— Да тебе-то что? У тебя и ружья-то нету.
— Николи, хлопцы, никакой птахи не убивал и убивать не собираюсь.
— А про гусей говоришь.
— Та я ж и кажу про то, що в тундре и без ружья хорошо. Коли я хожу по тундре или по сопкам или по другим каким кустам и зарослям, у меня душа радуется. Вот похожу по природе — и другим становлюсь. Будто другой я.
«Будто другой я...» — мне вспомнился Петр Осадчий, с которым раньше плавали вместе. Сейчас он главным инженером в соседнем колхозе.
Года два назад заскочил я к нему в гости. Он был настолько усталый — председатель в отпуске, он один тащил этот в общем-то серьезный воз, — что веко левого глаза со щекой дергались.
— Скорее бы в отпуск...
— Укатали сивку?
— Частично.
— На курорт поедем, — сказала Варя, его жена.
Я не знаю, как прошел его отдых на курорте, но вот в прошлом году я у него опять был, и он тоже был усталый и тоже собирался в отпуск. Я спросил:
— И сейчас на курорт?
— Ни-ни. Избави бог, разве там отдых?
— А где же еще?
— Мы дома... — начала Варя.
— Отдых, — перебил он жену, — на природе. С ружьем по тундре полазишь, у костерка посидишь... Вот где отдых. Другим человеком становишься.
— Мы теперь как туристы, — сказала Варя. — В тундру берем палатку, еды всякой. И целый месяц живем там, грибов, ягод заготавливаем.
Николай Ефремович Гейченко, наш председатель общества охотников, — кстати, хоть и главный охотник и стреляет без промаха, но больше одной-двух уток за сезон не убивает, — тоже говорил, что природой только и спасается от своих болезней.
— Полажу хоть за тем же медведем,— говорил он как-то,— напереживаюсь, нанервничаюсь—отпустит немного. С недельку поживу в тундре, посижу у костра — легче становится.

УТКИ У КОРОВНИКА

А вот про уток, что в нашем поселке у коровника живут.

Коровник находится на краю поселка, на берегу лимана. Возле него протока, впадающая в лиман и заросшая бог весть чем — на лодке не проедешь. Да и вообще это место лимана зовется «травяным углом». Там живут утки и никого не боятся, потому что их никто не трогает. Рядом проходит дорога, по ней туда-сюда снует машина-молоковозка, трактор таскает волокуши с сеном, а он еще без глушителя. Через сам «травяной угол» переметнулась подвесная дорога, ящики с навозом отправляются в тундру по ней, ходят люди и охотники. И утки не боятся даже охотников, хоть с ружьями, хоть вообще в полном снаряжении, утки плавают себе.

Под вечер эти утки, как и все утки, любят сидеть на берегу. Идешь в двух-трех шагах от них, а они сидят. Прилетают они весной, выводят малышей, выучивают их летать и осенью исчезают до другой весны.

В деревне к этим уткам так привыкли, что считают домашними. Ну, домашними, может, не совсем, но как-то своими. Даже ребятишек, что пускают кораблики на берегу лимана или рыбачат или делают «блинчики», не боятся эти утки. В своей компании будто...

Когда я иду в Степанычево зимовье мимо этих уток и вижу, как они не обращают внимания на меня, мои мысли уносятся во всякие мечты и фантазии... в другой раз о них расскажу.

ЕЩЕ ПРО ОДНИХ УТОК, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ТРОГАЕТ

Мой брат живет в Ленинграде, точнее, в Металлострое, который теперь, можно сказать, стал окраиной Ленинграда. Когда его дом строился, рядом было проточное озерко. По современному принципу строительства это озерко трогать не стали, как не трогают теперь деревья, — дом построили, а ветки на балкон протянулись.

В этом озерке жили дикие утки. Естественно, что и уток строители трогать не стали. И утки, раз их никто не трогает, продолжали жить.

Дома все строили. И по ту сторону проточного озера, и по эту. И построили микрорайон. Как и во всяком микрорайоне, в его середине понаделали волейбольных площадок, даже футбольное поле и летнюю эстраду. Еще деревьев понасажали. Конечно же, детский садик построили. Озерко пришлось на детский садик, на берегу его поставили всякие беседки, качели, голову Черномора с Русланом и богатырями, домик Бабы Яги, Серого Волка с царевной. А утки живут себе... Никакого Черномора не боятся и даже Бабы Яги.

Когда племянница Таня повела меня к себе в садик похвалиться, как она катается на качелях, я обратил внимание на уток, вспомнил своих уток у коровника, и моя фантазия нафантазировала всякие чудеса.

Хорошо, если бы не трогали всех уток и гусей, что живут в тундре, росомах и зайчишек, оленей и медведей. Шел бы я, или кто другой, по тундре, а рядом бы плавали серые гуси. Я бы проходил мимо них, а они: «Го-го-го». Или медведь: я бы шел по своим делам, а он бы занимался своим делом. Лисичка бы хитренько щурилась на меня и никуда бы не убегала, и зайчишка бы сидел, чинно составив лапки, а не превращался в страх, и душа бы его была на месте, а не переселялась в пятки при виде человека. Как здорово бы жилось! Как в детских книжках...

ПУРГА

I

Про пургу хочу написать, это ведь тоже природа, одно из свойств ее. Во время пурги чувствуешь себя как-то необычно, будто находишься в другом мире. Вот недавно она была нежданная — май ведь уже, — семидневная. Я сидел у окна, слушал ее, подбрасывал сучья в камин и пил чай. В избе тепло, уютно, мерцают зайчики на полу от камина, подсвистывает чайник...

Мне вспомнилась далекая деревенька, дедушка, стоящий у верстака с карандашом за ухом и подправляющий рубанок. В хате тепло от гудящей грубки — плиту так называют в наших краях, — уютно от рассеянного света керосиновой лампы под потолком. За окном воет метель. Я сижу с ногами на лавке, натянув подол рубахи на колени, о чем-то расспрашиваю дедушку. Он отвечает односложно,

он не любит разговаривать, хотя в компаниях слывет интересным рассказчиком.

Дедушка всегда что-нибудь делает. Не помню, чтобы он хотя бы минуту посидел просто так, с цигаркой. Разве что за столом, в ожидании миски борща, когда он положит голову на свою ладонь-лопату и о чем-то думает. Все же остальное время он в работе: веревки сучит, возится с каким-нибудь хозяйственным пустяком, матери моего друга детства Митрошки Левого мастерит грабли, крошит табак или веники вяжет. А чаще всего он столярничает. Он был отменный столяр.

В колхозе он работал садоводом, был бригадиром садоводческой и овощеводческой бригады, или, как ее называли, «садовой» бригады.

II

Если вспомнить мысль Хемингуэя, что жизнь человека ничто по сравнению с его делом, то это полностью относится к моему дедушке. Он жил для колхозного сада. Летом и зимой, в страдную пору — она всегда там страдная, от парников и редиски до арбузов и винограда — он не приходил домой ночевать, оставался на работе. Он вырастил семьдесят гектаров нового сада — там был еще старый сад, расположенный в трех балках: заросли слив, вишни, терна, бузины, калины, — развел лучшие сорта яблонь, которые он выписывал из мичуринского питомника. Привил — в Белгородской области не думали, что это возможно, — виноград и грецкий орех. Собственно, он вырастил новый сорт винограда, которому хватало тепла для вызревания в этих краях. А какими исполинами стали деревья грецких орехов через сорок лет!

И как он работал, как работал!

Все это совершалось на моих глазах. В нашей семье получилось так, что мое детство прошло с дедушкой и бабушкой. После войны времена были голодные, нас в семье было много, и младшие братья, погодки, уехали с отцом и матерью в Подмосковье, где работал отец, а я остался в деревне. Лето находился в саду, с дедушкой, в деревню ходил только за едой. Приносил окрошки, молока, хлеба, вареных картох и малосольных огурцов — словом, что собирала бабушка в узелок. Впрочем, трудно сказать, с кем я был, потому что ночевал я то у сторожа деда Васьки в

курене на бахчах, то в зарослях вишен и терна, то в копне сухой травы, то на мягкой и теплой земле в винограднике — июньские ночи у нас теплые, душистые. Это несколько необычно, но я после скажу, почему это так.

Садовая бригада состояла почти из одних девушек и женщин — откуда же после войны взять мужиков? Те, что вернулись, работали в полеводческих бригадах, хлеб выращивали. Из мужиков в бригаде, кроме сторожа деда Васьки, было двое подростков, Мишка с Илюхою, под началом которых находился бык Ворон — на нем обпахивали сад — и две лошади: меринок Петрусь и Мулица, мадьярский мул, оставшийся от войны.

Работы в саду начинались еще при снеге. Чистились парники, разводилась в них рассада, а как только снег сходил, шли уже редиска, потом клубника, вишня, смородина, помидоры, огурцы, сливы, яблоки, груши, арбузы, дыни, виноград, капуста... И заканчивались работы глубокой осенью, когда сад был уже облетевший, а трава пожухлая от утренних заморозков. Возле хаты, что под тополями в старом саду, стояли исполинские деревянные бочки — чаны. В них давился томат, добывались семечки из огурцов и арбузов.

Летние вечера... Перед хатой выстроился обоз из телег и гарб, загруженных корзинами клубники или смородины, яблоками, грушами или виноградом. В полночь он тронется в районный центр Алексеевку. Туда восемнадцать километров, к утру будет там. Дедушка бегает от телеги к телеге, подправляет сено под корзинами, накрывает их, проверяет оси и колеса. В руке молоток, в губах гвозди. Целый день он мотался своей размашистой походкой по всему саду, помогал девушкам окучивать или окапывать грядки, сорняки убирать или корзины к телегам носить. А чаще хлопотал возле маленьких яблонек. Когда уставал — мне кажется, он просто выдыхался, — ложился вздремнуть на сухой бугорок или под яблоней, ложился всегда на грудь, уткнув лицо в ладони. Ненадолго. В страдную пору он спал не раздеваясь. Вздремнет — и опять по саду ходит.

По вечерам для тех, кто оставался ночевать в саду, дед Васька варил борщ в ведре, я и сейчас помню эти борщи. До чего же они были вкусные! Их отведать даже председатель на вечер оставался, если приходилось ему наезжать в сад. Ездил он на жеребце, запряженном в легкую линейку.

В те минуты, когда ждали борщ, дедушка выстругивал мне игрушки: прыгающего кузнечика — дернешь его за хвост, он двигает ногами, — или свистульку-жаворонка. Кстати, после я узнал, что привычка мастерить детские игрушки у него осталась от плена. Он был семь лет в плену, в Австрии, с четырнадцатого по двадцать первый год, три раза бежал, два — неудачно, в первый раз полиция в овсе нашла, во второй раз, уже через Польшу пробирался, шляхтич какой-то выдал. Так вот, когда был пленным, в свободное от работы время изготовлял детские игрушки, обменивал на еду, картофельные очистки обычно, отчего и уцелел от голода.

Строгает дедушка мне свистульку, а сам посматривает на ласточек, которые, как всегда к вечеру, облепили сухую вершину яблони, что около хаты. В хате их гнезд видимо-невидимо, и еще в сарае, где обитают Петрусь и Мулица. Все стропила под соломенной крышей залеплены.

III

С самого моего детства, с того момента, когда я научился ходить и воспринимать внешний мир, дедушка объяснил мне — втолковал, что ли? — что ни зайчики, ни лисички, ни волки, ни медведи людей не трогают. По этой самой причине я и не боялся ночью, например, бродить по самым диким зарослям, ночевать там оставался.

Однажды столкнулся с волком и не испугался его — вообще я трижды в детстве встречался с волками. А было так. Нес я дедушке еду, узелок, что соорудила бабушка, тропинка шла через рожь. И слышу — колосики шелестят и колышутся. Подумал, что это перепелка с перепелятами, я любил на них смотреть. Поставил кувшин с окрошкой на дорогу и раздвигаю колосья, пробираюсь к шуму. Вижу, стоит передо мной большая рыжая собака с бакенбардами. Язык длинный и белый, свисает. Я догадался, кто это, но не испугался. Руку к нему, правда, протягивать не стал, инстинкт не дал это сделать. Волк скоком повернулся и пошел. Хвост у него прямой, поленом.

Помню одну весну и арбузное поле, которое грабили грачи. Их были тучи. Они выдергивали арбузные ростки: то ли этим способом выворачивали червей из земли, или же самые маленькие ростки считали за червей... Словом, дед Василий целыми днями сидел на середине поля и палил из немецкой винтовки по орущим стаям.

И вот как-то дед пришел к хате обедать. Грачи кинулись на поле. Дедушка не выдержал, схватил винтовку, две обоймы и побежал на поле. Я за ним — интересно же, ведь по грачам будет стрелять. Но дедушка по грачам не стрелял, палил мимо.

— Дедушка, а ты по грачам!

— Абы там...

Когда я завел рогатку, чтобы помогать деду Василию охранять арбузное поле, и похвалился ею дедушке, он, выстругивая «жаворонка», поморщился:

— Абы там... выкинь...

IV

Так вот, к Хемингуэю.

Прошло уже сорок лет. Дедушки нет давно, но когда я бываю у себя на родине, в той деревеньке, что затерялась среди хлебов — конечно же ее сейчас не узнать, как не узнать любую из деревень, — то слышу, как про дедушкин сад говорят:

— Трофима Павловича сад.

Или:

— От Трофима Павловича возят яблоки.

Или:

— У Трофима Павловича были...

— К Трофиму Павловичу ездили.

В позапрошлом году я возвращался из дедушкиного сада. Уже потемну меня догнал мотоцикл с коляской, посветил:

— Садись.

— Спасибо.

Разговорились. Я этих ребят не знаю, и они меня не знают.

— Значит, у Трофима Павловича был?

— У него.

— Вот человек... Какую махину вскохал, а?

— Всю жизнь положил там.

— Это уж точно, всю саду отдал.

— Поглядел бы он сейчас на свой сад.

— Да-а-а, человек был.

После этих разговоров мне уже неудобно было представляться. А ребята все про дедушку говорили. Я молча

вспоминал, как дедушка ухаживал за садом, как на зиму все стволы яблонь обматывал тыквенными плетями, чтобы зайцы не обглодали кору. Весной их приходилось опрыскивать всякими растворами от червей, мотыльков и тли, маленьких зеленых букашек.

А сколько труда и хлопот было у дедушки с виноградом! Его надо было на зиму утеплять, чтобы не вымерз, каждый куст укутывать соломой.

Да и с чем не было хлопот? Ведь рассада в парниках сама не росла и не переселялась на грунт...

Через тридцать—сорок лет стал сад могучий. Яблоньки обпахивают уже не дед Василий с Мишкой и Илюхой на Петрусе и Мулице, а современная техника.

«Были у Трофима Павловича... к Трофиму Павловичу ездили... у Трофима Павловича набрали...»

V

Мать моего друга детства Митрохи Левого — он был левша, — тетка Полькя (у нас так произносят: Васькя, Колькя), умирала. Она уже не вставала, говорила с трудом. На табурете рядом с ней теплилась свеча и лежала какая-то церковная книга в черном переплете, поверх этой книги — очки с одной тряпичной дужкой. С поезда я сразу к ним и зашел. К кому же еще, если не к другу детства: дворы рядом, спали вместе на повети, его отец перед уходом на войну учил ездить нас на лошадях, он конюхом работал, в ночное брал. Вместе пропадали в дедушкином саду и даже — чего уж там! — у своего дедушки утаскивали корзины с виноградом или клубникой для деревенских друзей, когда возы готовились к отъезду в Алексеевку.

Его отец, дядя Ваня, погиб в первые дни войны. Тетка Полькя осталась одна, сама-шестая, кроме Митрофана еще четыре девчонки у нее, Митроха один из мужиков... Уже в четвертом классе прицепщиком на тракторе работал.

И вот я сижу перед теткой Полей, разговариваем обо всем.

— Прожила... ну и слава богу... дай бог всякому так прожить... детей взрастила. — Она говорит с трудом, с одышкой. — А какие же времена были, опосля войны-то... что мы, бабы, одни, без мужиков могли? Грабли некому наладить... Спасибо Павловичу, дай бог мягкой земли его косточкам... За чем ни придешь, николи не откажет. Дети

маленькие, топки нету... прихожу один раз с поля — лежит вязанка дров на дворе.

Ее безжизненная рука в синих утонувших прожилках с трудом поднимается, тянется ко лбу.

— Дай бог ему... какой же человек был, какой человек...

Я отложил очки, взял книгу, листаю. Нахожу знакомые фразы: «Лучше жить на краю крыши, чем со сварливою женой под одной крышей...», «Грязные руки при еде не оскверняют человека...», «Тайн не бывает, сказанное слово разносят птицы небесные...», «Все пройдет, а любовь останется...».

— А ты не верушшай, — вздохнула она. Потом утвердила. — В бога не веришь. Коммунист жа?

— Коммунист.

— А Павлович был верушшай...

Эта фраза поразила меня: мой дедушка не то что верить в бога — он даже не думал о нем. Ему было просто некогда.

— Павлович, — скажет бабушка, когда он задумается, положив голову на ладонь-лопату, в ожидании миски борща, — хучь бы лоб перекрестил.

— Абы там...

Или вот еще одна деталь. Наши места были в оккупации. Газет не было, и дедушка искурил, заворачивая самокрутки из самосада, бабушкино Евангелие. Точно такую же книгу, что сейчас лежала перед теткой Полей. До сих пор помню их с бабушкой перебранки:

— Верка, дай бумажки, — скажет дедушка, откладывая рубанок и доставая кисет.

— Ох, Павлович, да на том свете и в аду места тебе не найдется. Хучь бы бросил свой табачишша.

— Абы там... Дай?

— Да уж усех апостолов покурил.

— Давай проповедников.

— Да Лука с Марком тока и остались, — бабушка каждый раз, вырывая страничку из своей книги, расстраивалась по-настоящему. Но страничку всегда отчисляла. — Ох, господи... Кого же табе?

— Да хоть кого... усе одинаковые.

Я тетке Поле не стал говорить об этом, не стал ворошить прошлое. И, чтобы как-то смягчить разговор, сказал:

— А ты, тетя Поля, верующая... Вот в церковь ходила. Евангелие читаешь...

— Да какая же я верушшая? — с трудом дыша и пы-

таясь своему голосу придать возмущение, произнесла она.—Да я как вспомню свою жисть... Ох, господи!—И она перекрестилась немощной рукой.—Прости меня, грешную... какая же я верушшая? У меня если ще было, я ишшо подумаю, отдать человеку чи нет. А Павлович все отдавал... вот он был верушшай.

VI

Физически дедушка был очень сильный, хотя об этом мало кто знал. А по внешнему виду нельзя было предположить: ни широких плеч, ни спины, только ладони-лопаты да худой затылок.

Вот один случай. Дед Василий с подростками выкорчевывали засохшую яблоню. Яблоня была престарая, с тремя расходящимися сразу от комеля стволами. Стволы толстые, я с трудом их обхватывал ногами, когда лазил за яблоками. Росла она на мочаке.

Выкорчевали, а на дорогу вытащить не могут — тяжелая. Пилить на мокром месте неудобно. Решили выволочь ее с помощью Петруся и Мулицы. Или быка Ворона.

— Абы там... — поморщился дедушка, взял и вынес яблоню на дорогу.

О своем пребывании в плену, о трех побегах дедушка мало рассказывал. Об этом я узнал в какой-то зимний праздник, когда у нас в хате собрались дедушкины однокашники — одного года присяги — и вспоминали царскую службу. Свесившись с печки, с необыкновенным вниманием слушал я их разговоры. На этот раз я узнал, что у дедушки был «Егорий» — Георгиевский крест, который у него отобрали.

А было так. Три наших солдата сидели в секрете в пустом доме, который находился между русскими и австрийскими окопами. Стрельба с обеих сторон была запрещена, перемирие, что ли, или какие-то переговоры. В другой половине дома оказались австрийские солдаты. Сколько их, неизвестно. И наши решили перебежать к своим окопам; подоткнули полы шинелей под ремни и дунули. Смотрят — за ними вдогонку бегут австрийские солдаты, пятеро. Догоняют. Рукопашная неизбежна — стрелять-то нельзя. И в этой рукопашной один из наших, он был необыкновенно сильный и ловкий, заколол троих австрийцев — все это дедушка показывал, орудуя ухватом посреди

хаты. Дедушкино участие невелико было: он по штыку ударил одного австрийца, когда тот хотел заколоть нашего силача. Но оставшиеся двое австрийцев все-таки закололи богатыря, который перед смертью успел еще одного из них прикончить. И тогда уцелевший австриец заколол последнего дедушкиного товарища. И вот дедушка очутился один на один с австрийцем, а винтовки нет, выбили ее. Австриец налетел, угодил штыком дедушке в пряжку, дедушка винтовку у него отнял. Австриец упал на колени, просит пощады.

И дедушка не стал его колоть. Больше того, он отпустил его, а сам потащил погибших товарищей к окопам. Ему австриец не нужен был, ему товарищей надо было принести. И вот за то, что отпустил он австрийского солдата, у него отобрали «Егория».

VII

Когда я подрос и стал ближайшим дедушкиным помощником, то каждое утро — если с утра учился, то после обеда, — отправлялся на лыжах в сад. Там замеривал температуру в ямах, где на зиму оставались корнеплоды: отборные клубни редиса, редьки, свеклы, капусты. Весной их будут высаживать в грунт, они дадут семена, а из семян уже на другой год будет выращиваться в парниках рассада. Корнеплоды в ямах закапывались наглухо, оставалась только отдушина — деревянная труба, которая затыкалась пучком соломы. Термометром, вделанным в конец длинной, красиво обтесанной палки, я замеривал температуру в ямах, записывал в тетрадку и, в зависимости от того, какая она, уменьшал или увеличивал количество соломы в отдушинах. Этот термометр — он, кстати, тоже был в деревянном чехле — я носил за спиной наподобие ружья.

Ох, как же утром не хотелось вставать и бежать в заваленный снегом сад! За окнами еще черно, а дедушка будит:

— Ну, вставай, Колик. А то к школе не успеешь.

— Да хай ишшо поспить, — ворчала бабушка, ставя на стол сметану и мятую картошку. — Вырастет, ишшо нахлопочется.

Но вот вышел во двор — мороз, синие сугробы, темные сараи и хаты, кое-где лишь светятся окна, дым из труб идет. Приладил лыжи, поправил за спиной «ружье».

— Тетрадку не забыл?

— Нет.

— А карандаш?

— Нет.

И пошел... Вышел за деревню, а там сугробы закраснелись.

Конечно же мои маршруты затягивались, потому что по дороге в сад или обратно я обязательно сворачивал к занесенным снегом скирдам соломы и копнам половы, особенно к этим копешкам, еле заметным, где лисы мышей промышляли и понаделали бесконечное число дыр. Подъедешь, постоишь над дырой, пошуруешь там палкой — и вдруг оттуда выскакивает перепуганная лисица. Один раз очень злой лис попался, за палку кусал...

По саду тоже было интересно ездить, там зайцы не то что тропинки — целые дороги протоптали.

В такие же поездки я два раза натыкался на волков. В первый раз пронеслась волчья свадьба, семь штук, они не обратили внимания на меня, а вот во второй раз...

Уже весна наступила, снега на полях почти не было, и я поехал на Петрусе. Объехал хранилища, замерил и записал температуру, повытаскивал солому из отдушин, и захотелось мне поездить по саду. Уже к вечеру было, темнота подступала. В саду снег еще сохранился, заросли бузины и терна были в сугробах. Поехал я по заячьему шляху, и тут Петрусь провалился почти по спину в снег. Я скатился с него, чтобы ему легче выбраться было, но он, бедняга, никак. По сугробу его за повод тащу, а он лежит на сугробе, бьется — и ни с места. Вдруг он поднял уши, заводил ноздрями да как рванет, еле успел я вкатиться ему на спину, хорошо, что повод был намотан на руку. До самой деревни нес галопом. Видно, рядом были волки.

Дедушка... Еще и сейчас он видится с карандашом за ухом перед верстаком или стоящим на коленях перед яблонькой, обрезая ненужные веточки на ней да огребая ее корешки.

— Павлович, хучь бы штаны сменил, — ворчала бабушка, — одна срамота.

— Абы там...

— Да тебе ж на правление иттить, посыльная прибегала.

— Дак вечером?

— Вечером.

— Тады и сменю.

Вот и прошла майская пурга. Вышел я из избы и... не могу: снега светятся, хоть солнышко еще не вышло, только облака на горизонте зарумянило. Воздух как хрустальный. А лес-то! Его метели так разукрасили, что прямо чудеса. И все вокруг дышит чистотой и радостью, ожиданием чего-то необыкновенного.

Все живое проснулось и уже трудится. Перестукиваются дятлы, «ныряют» от дерева к дереву. Трясогузки — несправедливо все-таки прозвали так эту красивую птицу, а все из-за того, что она, сидя на ветке, постоянно колышет длинным хвостом, — прыгают туда-сюда. Свешивая головку вниз, суетятся синицы, на самых верхних ветках охорашивают розовые грудки снегири. Солнышка ждут... Коготнули в последний раз куропатки, над вершинами берез спешно пролетела сова, жаворонок повис в хрустальном воздухе, осматривается, сейчас запоет.

А вот и лучик солнышка заулыбался. Так и идут на ум слова Лермонтова: «Весело жить в такой земле! Какое-то огромное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка, небо сине — чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора...»

Часть третья

НАПИШИ ПРАВДУ

I

— Все пишешь? — Степаныч, румяный после лыжной ходьбы, расстегивает куртку, присаживается.

— Пишу.

— Про зверюшек?

— Про них, — недавно я ему подарил свое «Светлое море», которое написал три года назад в этой вот его избе. — Ну, как тебе «Светлое море?» Про Валета-то понравилось?

— Ничего... хорошая статейка, — он погрустнел, хотя я ждал, что он похвалит меня, радостно заговорит о моей книге. А то: «Статейка...»

— Правды там нету, — продолжал он. — Не как на самом деле... расхваливаешь...

— Понимаешь, Михаил Степаныч...—я задумался, подбирая слова. Как объяснить ему, что литература — это не фотографирование действительности, что кроме правды жизни есть еще художественная правда и она возвышается над жизнью?

— Не знаю, не знаю, кто над кем возвышается, — не дослушав, перебил он меня, — правда одна есть...

— Тут ведь, Михаил Степаныч, дело не в твоем Валете. Я старался написать так, чтобы в нем были все Валеты, отобрал определенные качества у других таких же собак, случайное выкинул. Я создавал образ, чтобы он интересный был. И это еще не все. Ты помнишь рассказ про мышонка? Как выбрался он на первый снег и как ему было тяжело идти?

— Ну?

— Так это ведь рассказ про маленького ребенка, который учится ходить, который только знакомится с окружающим миром. Или вот про зайчишку, который в кочках прятался от меня?

— Ну?

— Это ведь про озорника школьника.

— Эх! — вздохнул Степаныч. — А правды-то нету...

— Разве я наврал? Ну, а про росомаху? При тебе же меня ограбила.

— Ты про настоящую росомаху напиши! — Он протянул ко мне руку, в голосе его звучало возмущение. — Как двуногая росомаха грабит природу?

— Про Ивана Ивановича, что ли?

— Хоть и про него. И про других.

— Так Иван Иванович погиб.

— Другие остались. — Степаныч поднялся с пня, служившего вместо табуретки, прошелся по зимовью. — Да и кто ее только не изводит! — Он вздохнул. — А ты пишешь...

Я растерялся и, чтобы скрыть это, стал возиться с чайником. Степаныч опять опустился на «табуретку».

— Видно, ничего не думал?

— Ну почему же? Думал, конечно...

— Пишешь... А как дичь и все живое пропадает, это ты не описываешь. На твоих же глазах все получается. Ты вот

три года назад в эту избу приехал. Ну-ка, вспомни, сколько на лимане уточки было? Или хоть тех же куропаток? Ты сам их палкой гонял.

Было такое. В ту весну я впервые не пошел в море, решил серьезно заняться литературой. На май и апрель забрался в это вот зимовье, роман пытался начать. Роман у меня тогда «не пошел», само собой написалось «Светлое море».

— И только три года прошло... — говорит Степаныч. Чай остыл, да он и забыл про него. — Выведут дичь, пустая тундра станет. А сколько ее было в этих местах, сколько было!

— Помню... Сам в Дранке жил. Когда в первый раз приехал на Камчатку.

— Ну? Разве сравнить, что сейчас?

Сравнения, разумеется, никакого. А Степаныч не только грустный, но и усталый. Я не раз замечал: как только разговор коснется природы или его прежней работы охотоведа, он всегда становится таким. Он на глазах превращается в печального старика.

II

— А зачем изводить? — в раздумье продолжает старик.— Што у людей, пишшы нету? Ведь снабжение северное, полки в магазинах ломятся от мяса да молока. Да его, это молоко да масло, девать некуда. Оно же у нас свое, никуды не отвозим. А еще консервы всякие! И мясные и рыбные. А самой рыбы... как грязи вон ее... эх!

Я сидел, и настроение мое было не таким, как минуту назад. Я все прикидывал в цифрах, сколько же уничтожается охотниками дичи, ну хоть на весенней охоте. Осенью же... Спину знобили мурашки.

— Вот «Буранами» обзавелись, — с тихой грустью продолжал Степаныч. — Сейчас хоть и запретили в частное пользование продавать, но все равно... Стрянулись, да поздно.

«Буран» — это снежный, сугробный мотоцикл. Он и похож на мотоцикл, только вместо задних колес — широкие резиновые гусеницы, а вместо переднего колеса — лыжа. Очень удобно: зайчишка по сугробу не проберется, а «Буран» пролетит. Скорость у него как у мотоцикла.

— Раньше, чтобы охотнику на нарте или лыжах попасть к горам, два дня надо было. А сейчас он чик — и там. То он трое суток обходил капканы, а сейчас за полчаса. Лису или росомаху ему надо было скрадывать, а сейчас он ее догоняет. Даже не стреляет, а ждет, когда она свалится.

— На прошлой неделе перед пургою был я на теплых озерах возле гор, там следы от «Бурана»...

— Всю зиму Серега Мещеряк да Бружжаков там паслись. Зима, а они уточек постреливают. Хорошо!

— И дичи там совсем не столько...

— А-ах...

III

— Так ты что, хочешь, чтобы охоту запретили?

— Хоть бы передохнуть дали, — Степаныч ходил по избушке, раздражение не вмещалось в нем. — Вишь ты, он, чтобы не стрельнуть по утчонке или зайчику, прожить не может, а? Без работы человек прожить не может, это понятно, работа человека кормит, а это?

— Но ведь...

— То-то и оно-то, что в тундру или в лес он тебе без ружья не пойдет. Хоть турист, хоть прогулочник какой. Хоть кто. А раз с ружьем, кого-нибудь застрелит. Не утерпит. Да те же учителя или врачи. Или бухгалтеры с инженерами. А уж про других... И все лезут в охотники.

Впрочем, над тем, что «лезут в охотники», надо немного поразмышлять.

У нас — тех, кто давно живет на Камчатке и не собирается уезжать на материк,— есть неписаный закон: если жить, то жить в поселке, а не в Петропавловске. В городе почти не ощущаешь особенную прелесть этой необыкновенной страны, в городе — как и во всех, впрочем, городах,— автобусы, машины, витрины, рекламы, театры... Теснота и шум.

Но что такое жить в поселке, за тысячу километров от города? Это первозданная, буйная природа, это всякая ягода и дичь. Вулканы, пурги и горячие источники. Реки и ручьи, бушующие рыбой. И поселок от поселка — на сотни километров, ведь поселков мало, а полуостров большой. В городе у нас живет двести двадцать тысяч жителей, а по всей Камчатке, которая больше любых, самых больших че-

тырех материковых областей — всего сто шестьдесят тысяч. Середина Камчатки вообще еще не обжита, и людей там совсем мало. Поговорка есть, что для камчадала сто рублей — не деньги, сто километров — не расстояние. Двадцать пять лет назад, когда первую зиму остался в Дранке, я удивлялся, когда кто-нибудь из рыбаков налаживал нарту: «К куму в Оссору съезжу, вечерок почаюем», — а до Оссоры сто тридцать пять километров. «В город слетаю», — и произносилось это таким тоном, будто до города сто километров, а туда тысяча триста, как от Москвы до Сочи. Но там проблема съездить на другой конец страны. А на Камчатке...

— Страшную ты мне загадку загадал, Михаил Степаныч. Море-то получается отнюдь не светлое.

— Какая там светлость! Одна печаль с природой получается. Красота-то в ней есть, — продолжал Степаныч. Он смотрел в камин, и в глазах его таяла радость. — Что верно, то правильно...

— И вечность.

— Ой ли?

— «Красою вечною сиять...»

— Так красота ее вечная, а не она сама. Так-то вот.

— А все равно красивое оно, море...

— Красивое-то красивое, — он продолжал смотреть на огонь. — Да некрасиво с ним получается.

IV

— Так ведь за этим следят. Это же под контролем, природу охраняют.

— А игде дичь? — Степаныч смотрел мне прямо в глаза. Как кинжалом уставился взглядом. И в нем ничего не было светлого, что секунду назад переговаривалось с огоньком в камине. — Игде? Или ты ничего не видишь? Не так, что ли?

— Так, конечно...

— То-то и оно.

— Я, Михаил Степаныч, был в нашем охотоведческом и звероводческом НИИ, встретился с твоим питомцем, Никандром Никандровичем...

— Никешкой-то? В начальниках теперь, в науку ударился.

— Они там большую работу делают. Никандр Никан-

дрович рассказывал мне, сколько они выдры, бобра, нутрии прижили и развели. Даже лосей переселяют из Сибири, уже сорок две головы есть на Камчатке. Бобров сто двадцать, около сотни нутрии... У них все эти показатели в коридорах развешаны.

— Ой-ей-ей, ой-ей-ей, — ехидно сморщился и закачал головой старик. И даже ладонь приложил к щеке. — Мамоньки мои! Вот это дела-а! Полсотни лосей привезли, сотню бобров вывели. Во деятели! А то, что кажин год тысячи оленя да медведя пропадают, они не видят. А лисы сколько? Чернобурка-то уже редкость, скоро и огневки не будет.

— Женские шапки...

— Дак помешалось бабье на них! А что с соболем? А? Ты смотри... Говоришь, по коридорам картинки понавешали? Про восемь глупышей, что на Карагинском острове живут, Никешка статейки пишет, а то, что на этом острове лису, медведя и росомаху извели, про это он не пишет. Ведь госпромхоз по его разрешению там орудовал, участки охотничьи держал. Сейчас госпромхозовцы нерпу в Ложных Вестях гвоздят. Эх! Про восемь птичек статейки... Такой же, как и ты, статеечник...

V

— Хорошая избушка у тебя, Степаныч!

— Строил-то я ее, штоба люди отдыхали, ягоды там собирали, в ручьях гольцов или лососей ловили, уху варили. Сюда же и школьники прибегали, вон раскрасили, — он показал на надпись, вырезанную на стене ножичком: «Витя+Вера=Любовь». — А получилось што? Разбойничий стан. Спалю.

— Эту избу?

— Как только ты уйдешь, и запалю. — Степаныч пошел в сенцы за дровами, принес несколько поленьев, оживил огонь, сходил за водой, чайник поставил. Делал все как-то отрывисто, с сердцем, будто хотел подавить то, что будоражило его, не давало покоя. Чтобы его как-то развеселить, я начал насмешливым тоном:

— И не будет приюта бедным туристам, и обогреться-то им негде будет, и чайку вскипятить не на чем. Несчастными станут любители природы.

— Што-то они, твои любители, без ружья не могут лю-

бить природу, — ворчал старик. Мой шутливый тон он, кажется, не уловил.

Ушел он только под вечер. Проводил я его до самого лимана. Дорогой он был молчалив, на мое пожелание доброго пути только кивнул головой.

Когда я возвратился в избушку, камин еще горел. Стемнело. Я зажег свечу. На столе лежали чистые листы бумаги, но писать о том, что писал до этого разговора, я уже не мог.

РОСОМАХА

Ивана Ивановича Ряхова Росомахой товарищи прозвали, когда он в госпромхозе работал. Потом перешел работать в колхоз, но кличка так и сохранилась.

Погиб он два года назад, и погиб как-то несимпатично. Собирался на лодке ехать браконьерничать, заводил мотор, был выпивши. Дернул за шнур, лодка рванулась, его и выкинуло за борт: мотор на скорости стоял. Лодка стала ходить кругами, она всегда ходит кругами, если без управления останется. Налетела на него...

Помню, как несколько лет назад подвозил он меня на сенокос. По реке Дранке ехали, он лодкой правит, я на носу сижу, любуюсь видами. Июнь стоял. По реке плавают выводки уток, эдак идет впереди мама-утка, а за нею шеренгой или клином утята, иногда совсем маленькие. При появлении лодки поспешно прячутся, нырнуть стараются, да не научились еще как следует, головенка уже в воде, а лапки все еще кидают воду. Мама-утка заныривает последней.

Вдруг видим — под берегом серая утка с малышиками. Росомаха подруливает, тянется к ружью.

— Не бей!

— Что природа создала, все для человека! Кх-х-х...

Дробь прошлась по спине матери, прорезала этот утиный детский садик. Утка перевернулась, вокруг нее плавали порванные дробью утята...

ЛЕПИЛО

Коля Лепилин, Лепило, госпромхозовский охотник, знаменит на всю Камчатку.

Особенно хорошо я узнал и рассмотрел его, когда после путины отдыхал на Ключах, а бригада строителей, где и Лепило работал, достраивала шестнадцатиквартирный дом для отдыхающих. У Лепилы тогда было «окно» на основной работе: осенняя охота закрылась, зимний промысел еще не начался. Наша палатка, где я отдыхал вдвоем с другом, стояла напротив строящегося здания, все строительные хлопоты на наших глазах. С лесов, которые венцом уже подходили к крыше, часто слышалось:

— Коля, миша на сопке показался, ягоды лопает.

Лепило прыгает с лесов, хватает ружье — и подался. Через какое-то время доносится выстрел, иногда два. Тогда строители кричат Витьке Давыденке, трактористу:

— Витя, закладывай «стилягу»!

«Стиляга» — это трактор «Беларусь», тот, у которого передние колеса маленькие, а задние большие и который очень быстро бегает.

— Помощников давай, — откликнется Виктор, прицепляя к «стиляге» тележку, на которой он возит песок и гальку для замешивания раствора. Кто-нибудь спрыгнет для помощи.

После работы, когда вся усталая бригада ужинает, чают или купается, Лепилы нету. Он с ружьем где-нибудь в тундре или лесу. Отдых ему не нужен.

Роста он среднего, со спины широкий и плоский, ноги короткие и чуть кривые. Но какие же скорые и неутомимые эти ноги! Он может трое или четверо суток шагать и шагать. Шаг длинный и быстрый, угнаться за ним невозможно. На лыжах он еще неутомимее. Он, как и Росомаха, рожден охотником. Без охоты, без тундры и леса он жить не может. Почти не разговаривает — это, впрочем, у многих встречается, кто подолгу бывает в одиночестве на природе, — или разговаривает сам с собой. Лицо у него широкое, борода лопатой во всю грудь, в бороде блуждает неживая улыбка. Глаза стеклянные, вместе с постоянной улыбкой на лице такое выражение, будто хочет сказать: «Гы!» За уничтожение медведей, оленей, лис, росомах его наградили именным оружием...

Кстати, сколько же дичи было, когда прокладывали дорогу на Ключи? Медведи, как лошади, паслись по тундре, и бульдозеристы, что пробивали дорогу через заросли кедрача и березовые кущи по сопкам, оврагам и распадкам, прямо на бульдозерах гонялись за ними. Гнездалов одного даже к отвесной скале прижал. Ну и всякой мелкой ди-

чи, конечно, тьма-тьмущая была, ведь в эти места люди не могли проникнуть, только с появлением дороги попали туда. А природа там, хоть трава та же? Папоротники толщиной с руку, заросли непроходимые. Душистые тополя, которые обычно рядком растут по берегам речек и ручьев, под небо. Все это оттого, что почва там благодатная, намыта и вынесена горячими источниками из нутра земли.

Так вот, про Лепилу. Сейчас он ушел из нашего госпромхоза на север, в Олюторский район. Там дичи побольше. Инка Курковская, она работает в поссовете, говорила как-то, что в прошлую зиму Лепилин Олюторскому рыбкоопу сдал пятьсот зайцев.

ЧЕМ ХВАСТАЛСЯ САШКА НЕПОМНЯЩИЙ

Все мы любим похвалиться. Кто чем. Где-то я читал, что умный хвалится отцом и матерью, добрый — детьми, а дурак — красивой жизнью.

А вот чем хвастается Сашка Непомнящий — вообще-то у него фамилия другая, да уж так прозвали...

На сенокосе дело было. Пришли мы всей бригадой на обед, с мисками хлопочем возле бака с борщом, Булан, наш повар, подсказывает, где что лежит, ну, там перец где или горчица, или советует черпать с «показаниями».

Выскочив с быстрого хода прямо на полкорпуса на берег, пришла шлюпка с добытчиками. Генка Быков и Вовка Малащенко ездили стрелять дичь на еду. Подошли к общей толчее, бросили Булану связку уток.

— Чего так мало? — спросил Непомнящий.

— Да мы которых без цыплят, — ответил Быков.

— Почти все с выводками попадались, — добавил Вовка Малащенко.

— Ну что? — сказал Непомнящий. — Били бы цыплят. Охотники...

Усаживаемся за стол, уплетаем вкуснейший борщ, Булан в этом деле прямо гений, и как он только так может?.. От стола отходим с трудом. Разговариваем. Непомнящий все еще возмущается:

— Зря только ездили!

— Сам и поезжай, — не выдерживает Быков, — раз ты такой охотник.

— И поеду. Я с одного выстрела до тринадцати брал. Только стволом надо повести.

— Цыплят?

— Ну и што?

НА НАВАГЕ

Витька Медведев очень симпатичный парень. Хоть и молодой, но рыбак толковый, на лососевую путину его всегда звеньевым выбирают, а зимой на навагу — бригадиром. Навагу у нас ловят в Дранке, где когда-то жила семья Медведевых. Отец у них, дядя Саша Медведев, знаменитый рыбак, Витька по рыбацкому делу в него пошел. На лососевой путине я три лета рыбачил в Витькином звене.

И вот как-то на путине, когда перед сном все дела поделаны — с переборкой невода управились, рыбку в садок запустили, ворота в ловушки закрыли, поужинали, — разговариваем о том, о сем. За этими разговорами время интереснее проходит, ведь целых два месяца качаемся на волнах в одной желонке, чем еще время скрасить?

Витька всегда рассказывает, как они навагу зимой ловят, как пережидают пурги, как в свободное время ходят на охоту на зайцев да куропаток. Один раз в лесу соболя встретили, он в дупло спрятался, оттуда его не достанешь и не выгонишь. Они заткнули дупло, спилили дерево и притащили в стан. В стане дерево распилили на куски и покололи, но соболя не оказалось.

Еще у нас на желонке был Валера Мостовой, это Витькин помощник на наваге, он на тракторе вывозит рыбу. И вот как-то между воспоминаниями о наважной зимней путине Витька спрашивает Валеру:

— Ты в прошлом году сколько взял?

— Пять. Чернобурка одна попалась. А ты?

— Десять.

— Чернобурки ни одной?

— Ни одной... А заказы были на чернобурку.

— Ох, надоели эти заказы!
— Ну!
— Я врачихе отдал чернобурку.

Я догадался, что это были за заказы, тем более, женщины заказывали...

— Вы их стреляли?
— Капканами.
— В лесу?
— Ну что ты?! Возле вентеря.
— А крепили как?
— К палке. Палку вморозишь в лед возле майны, а к палке цепочку.
— Я один раз,— засмеялся Валера,— прямо к волокуше с рыбой капкан привязал...

БОЧКА УТОК

Самое первое воспоминание об этом острове осталось от той поры, когда я только приехал на Камчатку. Наш сейнер председатель послал к рыбакам соседнего колхоза «Ударник», они там нерестовую селедку ловили. Этот остров считается угодьем «Ударника», сейчас здесь, правда, только сено косят.

Пришли, всей командой перебрались на желонку их ставного невода, дядя Коля Соладчук бригадиром был, тогда он был еще не старый. Сейчас он на пенсии, Герой Соцтруда, кстати.

Ну вот. Делаем мы переборку невода все вместе, дядя Коля ходит за нашими спинами, кричит-командует, то одному, то другому рыбаку поможет дель тащить. И мне помог — на всю жизнь запомнилось: он в свою лапищу прихватил мои пальцы вместе с делью и тащит. Пальцы хрустят и мнутся, боль страшенная, а он не видит, кричит на кого-то. После этой процедуры я был уже не работник.

Тогда еще меня поразило, что все здесь на острове друг с другом здороваются. Я только приехал с материка, никого не знаю, а со мной здороваются. И, главное, дети. Идешь по Ягодному — был там такой поселок Ягодное — а дети: «Здрасте», «Здрасте», или: «Мэй», или: «Амто». Это по-корякски и по-чукотски.

Позже на этом острове приходилось бывать каждую осень. Когда ловили треску, камбалу и навагу, бегали туда прятаться от осенних, очень страшных штормов: хоть в Ложные Вести, хоть к Северо-Западному. Я всегда любил бродить по острову — может, юность вспоминал, да и вообще осенью хорошо бродить по природе, уж очень красивая она в это время года. Бояться же некого, медведя госпромхоз выбил, а лис или росомах, зайчишек или гусей я не боюсь.

Один раз в верховьях речки Маркеловской двух журавлей встретил. Сначала думал, что это два человека по берегу ходят, наклонились, с сеткой возятся. И вдруг они взмыли, надо мною круг сделали, крыльями волнисто так машут. И пока они кружили, мне вспомнился мой друг Сашка Макаровский, наш местный поэт. Один сезон он от госпромхоза охотился на лис на этом острове. Он писал про журавлей:

Журавлиха со мною прощалася,
Прокричав на последнем кругу:
«Подожди! Мы с тобой повстречаемся.
Пережди только злую пургу...»

Вообще-то чудак этот Сашка. Один раз в Оссоре попал в вытрезвитель, старшина Пахомов говорит ему: «Саня, напиши стих, отпущу». Сашка на другой день подает ему в окошечко два стиха. «А два зачем?» — спрашивает Пахомов. «Авансом», — отвечает Сашка.

А стихи Сашка писал все-таки хорошие.

Замутило душу кручиною,
Ветер тоскливые песни поет,
А вчера над долиною...

Ну, ладно, отвлекся я. Так вот, об этом острове. Карагинский он называется. В прошлом году судили там сенокосчиков, охотинспектор у них нашел бочку уток...

ГЕОЛОГИ

Фраза Степаныча на ум пришла, что в последнем разговоре он обронил: «И кто ее только не изводит!»

На сенокосе это было. В Дранке сено мы косили. Сами

тоже, что и говорить, постреливали дичь на еду. Непомнящий обычно ездил, он же не может, чтобы не стрелять.

Один раз приходим на обед — в стане двое незнакомых парней, один в очках. Геологи, оказывается. Одеты по-полевому, исполинские рюкзаки на траве лежат, к рюкзакам приложены промывочные лотки, складные лопаты, спальные мешки. Булан пригласил их отобедать с нами.

Едим, разговариваем. Они руду ищут по Камчатке, у нас вот на Сухой речке пробы брали. Я слушаю, представляю их вольную бродячую жизнь. На природе она у них проходит. Пушкин вспомнился:

> По вольной прихоти скитаться здесь и там,
> Дивясь божественным природы красотам, —
> Вот счастье, вот права...

Вдруг один из геологов, тот, что в очках, встрепенулся, отодвинул миску:

— Впрочем... все равно ведь пропадут, — и пошел к рюкзакам. Приносит сумку недавно настрелянных уток, отдает Булану: — Вот возьмите, пожалуйста...

ВУЛКАНОЛОГИ

Однажды попал я к вулканологам, работал тогда на научно-исследовательском судне «Колесников», изучали мы подводную гряду вулканов, что идет под двумя океанами — от Алеутских островов до Маршалловых. Среди «науки», как мы называли научных работников, был молодой ученый Володя Воробьев. Мы подружились с ним. И вот между рейсами, когда неделю стояли в Петропавловске, решили вдвоем сходить на вулканологическую станцию, наблюдающую работу Корякского вулкана. Товарищ по институту у него там оказался. Добыли спальные мешки, рюкзаки, набрали продуктов и пошли. Двое суток шли — я, кстати, удивлялся, как Володя отыскивает тропу в тундре: она ведь под травою, незаметна. Володя находил ее ногами, на ощупь.

Добрались. С приключениями, конечно. Володя на перевале ногу вывихнул, последние десять километров шли ровно сутки, я его на себе тащил. Сначала отнесу рюкзаки, потом его. Но главное не это. Очарование природой

было у нас необыкновеннейшее, даже снежных баранов видели на перевале. А уж от всего остального...

На станции вместе со Славой Казаковым, Володиным однокашником, был еще ленинградский поэт Глеб Горбовский. Он при Славе исполнял обязанности полевого рабочего: колол дрова, варил обед, рыбачил, охотился, читал «Анну Каренину» и писал стихи. Словом, компания у нас собралась хорошая, жаль, что через неделю нам с Володей надо было в океан уходить.

Как-то смотрю: лежат роскошнейшие рога дикого оленя. Такие ветвистые, такие красивые... и большие такие, что на стену не поместятся, да и в дверь протаскивать — без проблемы не обойдется. И свежие, недавно еще были на голове секача.

— Ну, пожируем свежей олениной, — говорю я, рассматривая рога.

— А мы мясо не взяли, — говорит Слава.

— Как так?

— Дичи, что ли, мало?

НА МАЯКЕ

На маяке я работал, когда заканчивал Литературный институт. Забрался туда, чтобы в спокойной обстановке диплом написать. На малом рыболовном сейнере, где все восемь человек живут в одном кубрике и мечтают только отоспаться, когда рыба идет, здорово-то не попишешь. Да хоть и на траулере — рыба ведь... А тут в этом смысле сплошная роскошь. Сутки у приборов отсидел — и эти сутки можно писать, приборы ведь не рыба, никуда не уплывают, за ними надо только следить, — трое сиди и пиши, никто тебя под локоть не толкнет. Да еще домики отдельные у каждого работника.

Понятно, что сами мы охотились в неохотничье время, на еду добывали зайчишек и утчонок. Было у нас одноствольное кривое ружье, потребности кухни оно удовлетворяло, но охота пуще неволи считалась, принудиловкой по очереди, потому что надоела и неинтересно было. Зато интересно было наблюдать за приезжими гостями.

Гостили у нас моряки со снабженческих судов, раз в

месяц привозившие продукты, или командированные, всякие специалисты да проверяльщики.

За моряками наблюдать интересу не было, публика эта гульливая, шумливая, вольная и бесшабашная. Им бы побольше костер раздуть, ухи да семь капель к ней, чтобы лучше языки мололи всякий вздор. Они так и не научились стрелять из нашего ружья: в сторону оно брало. Другое дело командированные, которые не впервой направлялись на маяки и знали толк в природе, ценили ее. Костерки, уха и разговоры им были до лампочки, наше ружье — примитив. Они приезжали со своими.

Особенно мне запомнился один из них, он с карабином приехал. Жил с неделю.

В те времена входила в моду нерпа, золотисто-серебристые шапки и воротники из нее здорово ценились, а дамские сапожки, модель «казачок», цены не знали — какая же уважающая себя женщина откажется носить на ногах то, что другие, менее уважающие себя женщины, носят на голове? «Ах, ножки, ножки! где вы ныне? Где мнете вешние цветы?..»

Было лето. Нерпа еще не набрала жиру и сразу тонула, как только ее убьешь. Он их стрелял со шлюпки разрывными пулями. Как жахнет по голове — голова у нерпы любопытная, обязательно высовывается из воды, чтобы посмотреть, что творится вокруг, — полетели кусочки от головы в разные стороны. Скольких из застреленных он успевал выловить — пальба стояла весь световой день, — я не знаю, он, скромно потупив глаза, говорил, что одну из восьми успевал выхватить из воды. Он был на удивление скромный. Скромно признался, что шубу жене хочет, сапожки добыл еще в прошлую командировку...

ПРО РОСОМАХ

Однажды на Майские праздники дядя Яша Гутаров на нарте в Ключи меня подбросил. Праздников целых три дня, да дня три отгулов насобиралось, да еще на день раньше мы выехали — словом, недельку решил я поплавать в бассейне с горячей целебной водой, попотеть в купальне для радикулитчиков. Что скрывать — радикулит, эта прок-

лятая болезнь, которая ни одного рыбака не обошла, совсем меня доконал.

Приехали мы туда, а там трое наших: Иван Иванович Мурашов — рыбовод, Валька Гнездилов — бригадир невода и Трофимыч — пенсионер, тоже бывший бригадир невода. Лечат свои радикулиты. В свободное от потения в купальнях время Иван Иваныч с Валентином резались до одурения в дурака, а Трофимыч в углу плел сетку.

Дядя Яша уехал на другое утро в горы — смотреть, сколько медведей из берлог поднялось. Через пять-шесть дней будет возвращаться, за мной заедет. А я остался отдыхать, блаженствовать в целебной водичке.

Впрочем, речь будет не об отдыхе и не о прелестях Ключей, а о двух росомахах, которые жили по ту сторону бассейна в заваленной снегом палатке. Эту палатку бросили строители. Росомахи сделали дыру в крыше палатки и поселились там. К нам они привыкли, хотя на глаза не лезли. Но мы видели, как они возвращаются к себе в «дом» и как убегают.

Росомаха такой зверь, которого никто не любит, потому что они грабят охотничьи зимовья и добычу у охотников утаскивают. Когда я жил в Степанычевой избушке, меня росомаха грабила два раза. Совсем недавно я узнал: они такие грабительницы оттого, что живут большими семействами и делают запасы для своей многочисленной родни, иначе бы они не перезимовали. Медведь на зиму, когда в тундре и в лесу с питанием туговато, ложится сосать лапу, а росомахи не ложатся и зимой поддерживают жизненные силы запасами, награбленными и припрятанными летом или осенью.

Любить росомах не любят, зато ценят шапки из росомашьей шкурки. Особенно если женские, да еще если в этой шапке пройтись не по какой-то там Ивашке или Оссоре, а, например, в Москве или другом большом городе. О-о-о! Это уже другой коленкор будет. Да хоть и по Ленинской в нашем Петропавловске прогуляться...

Ну, ладно. Играем мы в подкидного дурака, Трофимыч в своем углу над сеткой колдует. И вот на самый Первомай приезжает с железным треском зеленый вездеход. На нем приехали покупаться два начальника из города. Поздоровались с нами, мы их угостили чаем, они нас кое-чем покрепче. Организовали домино, подружились.

И вот в одно утро они влетают голые в дом — из бассейна выскочили — и к своим вещам. Выхватили пистоле-

ты «ТТ» и побежали обратно. Слышим, открыли стрельбу по росомахам. Одну застрелили, другая убежала.

— Вы не представляете, что такое шапка из росомахи! — восторженно говорили они. — Ведь это...

— Представляем... — отозвался из своего угла Трофимыч. — Чего ж не представить...

ШОФЕРЫ ДАЛЬНИХ РЕЙСОВ

Шоферы дальних рейсов ездят по всей Камчатке — на Камчатке паровозов и вагонов нету, — развозят разные грузы, хоть продукты, хоть лес или тес вывозят или еще что. Камчатка большая, машины могучие: МАЗы, да КрАЗы, да японские — забыл их смешное прозвание — махины, где в кабине и откидная койка, и буфет с посудой. Эти машины не на бензине ездят, а на солярке, дизели у них вместо моторов. Колеса у этих тяжеловозов такие, что рукой не дотянешься до верха.

Дороги по Камчатке тяжелые. Зимой пургою все заваливает, хоть тоннель бей под заносом, весной ручьи превращаются в реки и размывают не только дороги, но и леса. Да и летом...

Машины ходят небольшими группами, по две самое малое, без поддержки шоферам никак нельзя. На горы друг друга втаскивают или когда ночевать — впрочем, в дороге им всегда ночевать приходится,— пургу там переждать или другую непогоду. А потом, всякие поломки да аварии... В общем, работка дай боже.

Трудная, но интересная. Шофер Володя, с которым я ехал из Козыревска до города, в восторге от нее.

— Ведь борьба! На пределе находишься. Что толку, что я работал начальником гаража? А здесь каждый рейс — путешествие. — Володя, кстати, заканчивает автодорожный институт, вроде бы и начальником надо быть, а он плюнул на все и ударился в «путешествия», в дальние дороги, в романтику. И никакими пряниками его теперь на «сидячую» работу не заманишь.

— «Дорога, дорога нас в дальние дали зовет...» — напевал он, держась за баранку и посматривая по сторонам,

на проплывающие мимо камчатские виды: леса с деревьями в обхват, сопки, скалы, ручьи. С каждой минутой, с каждой сотней метров все новое и новое. — Ты видишь?

— Вижу.

За стеклами кабины лежала Камчатка со всеми своими прелестями, и становилось как-то сладко на душе, и мысли приходили все новые и красивые, как виды Камчатки за окном. И я радовался, что не полетел самолетом, и слово дал себе без нужды никогда не летать на нем...

Впереди нас шел Виктор на МАЗе, концевым Женя, тоже на МАЗе. Встретился распадок. Виктор не смог одолеть его, раза два назад скатывался. Тогда Женя стал штурмовать горку, забрался, тросами вытащил нас и Виктора. Затем мы собрались, перекурили, попили чаю. На другой день у Жени дизель сломался. Даже я участвовал в ремонте, ключи подавал да факел держал. Ночевали посреди леса...

Так и едем. Я закутался в шубу, удобнее привалился к дверце, любуюсь видами. Вдруг Виктор останавливает свой МАЗ, выходит из кабины с ружьем. Володя тоже остановил свою машину, тянется под сиденье, достает ружье.

— Развлечемся немного...

ГАРАЖИ И МАШИНЫ

Ох и проблема же у нас с гаражами! С квартирами такой проблемы нет.

Я имею в виду гаражи не под МАЗы и КрАЗы, а под «Москвичи», «Волги» да «жигуленки». Места не хватает в городе для них, все окрестности ими уставлены. Ряд в ряд. И каменные, и железные, и деревянные...

Народ у нас на Камчатке нельзя сказать чтобы бедноватый, коэффициент северный один и восемь. Это значит, что при сторублевом окладе ты получаешь сто восемьдесят. Да еще надбавки за долгожитие.

Так что машины не являются проблемой. А вот гаражи... И что удивительно: с кем бы мне ни приходилось разговаривать — и с теми, кто уже заимел гараж, и с теми, кто еще мечтает о нем, — разговор сводился к самому

главному, к цели, к результату стремлений. А конечная цель — выбраться на лоно.

Лоно у нас за городом, сразу. И рыбалка, и кулики с утками летают. Рыбу «на поддев» ловят, без всякой наживы, и не каких-то там пескариков или плотвичек, а горбуш да кижучей, иногда и чавычина за бок поймается, а она до трех пудов и больше весом бывает. Ну и охота, само собой...

Вот и получается, что выезд на лоно без удочки или ружьишка немыслим. Ведь не интересно сидеть или бродить по природе — а мимо утки летят. Или сидят на озерках да протоках. Не из рогатки же их стрелять! А чтоб с ружьишком побродить, нужен гараж: машина-то не проблема, все дело в гараже...

Делаю совсем маленькое отступление и совсем не лирическое. Это об эпохе вещизма. Один из моих друзей с грустью заметил:

— Ковры, машины, материальные ценности... Это все хорошо. Да вот питаются они самым ценным продуктом: они питаются душой человека. Деликатесом.

Со Степанычем как-то разговаривали о войне. Он всю войну провоевал ефрейтором. Не раз был ранен, контужен один раз. Все четыре года прошагал с автоматом, каждый раз чистил его перед атакой, сидя в холодном окопе... Так вот, Степаныч как-то говорил:

— Ежели ты ищешь, где переночевать и обогреться, к примеру подошел к деревне и сырой весь да голодный, то выбирай самую бедную хату...

Ладно, хватит о вещизме, начал-то я с гаражей. Если начинаешь думать о гаражах, то получается, что гараж нужен, чтобы машину поставить, машина нужна, чтобы на природу выехать, а на природе утки да гуси — как бродить среди них без ружья? Вот и сводится все к проблеме ружьишка.

РУЖЬЕ

Если бы вы знали, какое счастье, какой восторг и детская радость играли на очках Генки Каретникова — Геннадия Александровича Каретникова, режиссера народно-

го театра, моего друга! Он ружье показывал мне:

— Французское... — гладил вороненые стволы, прикасался к ним, даже не прикасался, а делал вид, что вот-вот прикоснется, подносил ко рту расписанный зайчиками да уточками, летящими над камышами, казенник, дышал на полированный приклад. — Фирма «Ренуар».

— Ценная вещь...

— Дедушка по завещанию оставил.

— А к нему как попало?

— Работал всю жизнь лесником. За хорошую работу еще до войны премировали. Тут вот и надпись: «Каретникову Алексею Алексеевичу».

— На бой как?

— Что ты! Разве сравнить с теперешними?! Ты посмотри стволы! — он разломил ружье, прицелился им в абажур. — И на вершок длиннее.

Что же творилось у него в душе, если представить? Будто это и не мой друг, которого я знаю много лет. После самого удачного спектакля он не бывал таким...

ЛЯПКИН ЧТО ЗАВЕЛ?

И Андрей Ляпкин понял эту истину, что «лучше гайки грузила не найтить: и чижолая, и дырка есть». А ведь сомневался двадцать лет.

За восьмую пятилетку ему дали орден Трудового Красного Знамени. Можно представить, как он ловил рыбу, если знаменит был на всю Камчатку рыбацкую.

А жена его все время мечтала об Ессентуках, где сплошные курорты и растет виноград кустами. И они поселились возле этих Ессентуков и курортов, сто кустов винограда возле их дома росли. Ну и всякие черешни, абрикосы... Свой знаменитый сейнер со звездами на ходовой рубке Андрей передал по приемо-сдаточным актам другому капитану.

Раньше зимами, когда сейнера в отстое, Андрей на лыжах любил бегать. Сто километров для него — один раз плюнуть. Объездил все камчатские сопки и распадки, ов-

раги, ручьи, рощи и леса. Научился спать в кукуле на снегу, пережидать пургу в снежной яме.

И теперь можно представить, что у него вышло с Ессентуками и со всеми курортами. Ну, прежде всего, жара, а в жару камчадал себя чувствует как рыба на песке. При всем при том не только лыж, но и снега в Ессентуках не бывает даже напоказ. А теснота? Это ведь тоже для камчадала страшное дело. То он на сто километров один на природе, а то — на одном километре сто людей. Да где там сто, и в тысячу не уложишься! А где лисы и зайцы? Медведи и росомахи? Олешки и тюлени, гуси и лебеди? Где бескрайние просторы тундры? В Ессентуках только воробьи, да и то на базаре. И Андрей затосковал, да так, что жена скорее его перевозить назад, чтобы, не дай бог, чего не вышло.

Вернулся, вдохнул камчатского воздуха, в тот же день на лыжи — и по знакомым распадкам да сопочкам, рощам да лесам, где знает каждое дерево.

Да, тут я забыл отметить одну деталь. Конечно же, Андрей путешествовал по тундре не без ружья. «Ижевка» у него, двенадцатый калибр.

Захотел он купить «Буран». И купил. Естественно, к «Бурану» понадобился гараж, инструмент, чтоб технику ремонтировать. На другой год заодно и моторную лодку «Прогресс» с мотором «Вихрь» приобрел. В гараже уже прибавилось кое-чего, хоть тех же инструментов и запасных бачков с бензином. И верстачок понадобился, и точило, и тисочки, и шкафчик с зеркалом... И потянуло Андрея в сарай, и перешел он работать на катер, что хозработы обслуживает: баржу с углем от парохода, стоящего на рейде, приведет, сенокосчиков до сенокосных угодий вверх по речке перебросит, коров или телят с одного берега речки на другой перевезет...

А знаменитый когда-то капитан был, хорошо рыбу ловил, что и говорить.

ДВА КОСЫХ И ЛИСУ

Как же мне в ту зиму писалось, как писалось!

Квартира на втором этаже, дом на краю поселка, а

прямо от палисадника тундра. Бесконечной и широкой долиной, с лесами и сопками, вплоть до льдистых вершин Срединного хребта на горизонте, за которым спряталось солнышко. Ночью под белой луной тундра серебрится, видны все увалы и распадки, сопки и леса.

Работал я ночами, на кухне. Шумит чайник, ароматом тянет от заварничка, трубка с хорошим табачком, настольная лампа над чистыми листами бумаги... Выключишь лампу, подойдешь к окну, раздвинешь шторы — мерцают дали под белой луной. А в душе столько чувств и раздумий, что часто я даже не садился за стол, ходил по кухне и упивался мыслями.

Иногда Ваня, ему три годика было, нарушал мое блаженство, проходя к ведру. Обычно без трусишек, в маечке и материных шлепанцах, двигал их, как лыжи, и, прикрывая свое хозяйствишко, как стеснительный купальщик, отворачивался от меня: «Хе-хе-хе...»

Как-то в одну из таких ночей вышел я побродить по поселку. Уж так хорошо было на душе, что захотелось простора. Может, на увал сходить, что за деревней? Иду по улице, смотрю — у одного из сараев фигура в маскхалате зачехляет «Буран». Подошел — Вовка Артемьев, капитан «Четверки». Ресницы у него заиндевелые, лицо горит от ветра.

— Из тундры?

— Ну.

— И как?

— Два косых и лису...

ОТПУСК САМОСИНОВА

— В этом году я на материк не поеду, — сказал Петро Самосинов, тоже мой друг. Когда-то жили вместе в старом доме, квартиры рядом, по вечерам собирались семьями, чаевали, в «девятку» по копеечке играли. Дует пурга, бесятся снега за окном, а мы сидим... Книжки вслух иногда читали. Дом у нас был одноэтажный, и в один из буранов его занесло снегом по трубу. Наутро выбрались — следы вездехода проходят прямо через крышу. А Генка-вездеходчик спрашивает:

— Слышали, мы вечером через ваш дом проехали?

— Да, вроде, шумело что-то...

И вот в этом году Петро не собирается выезжать на материк в отпуск.

— Правильно капитан флота сказал, — рассуждает он вслух, — что лучше выйти на аэродром, положить пять тысяч и возвратиться домой. Спокойнее будет. И отдохнешь. А на этом материке с ума сойти от тесноты да толкотни. Куда ни пойдешь, везде люди...

— Не про нас материк.

— А я вот что сделаю: на «Буран» — и к Ключам или еще дальше, куда смогу забраться. Завезу палатку, бочку бензина, продуктов на месяц, капканы. Там соболь, лисичка, росомаха...

— А прихватят?

— Лицензии возьму. Месячишко проведу на природе... И пять тысяч сохранятся. И еще пять, как не больше, прибавится.

— Бизнес?

— Ну.

— Кто ж тебе разрешит столько пушнины забрать?

— Будто я спрашивать буду, сколько мне капканов ставить и каких! Или кто узнает, сколько я лисиц или росомах догнал? Кто будет считать мои капканы? Ну, кто?

— Никто, конечно...

УМЕЛЕЦ

У нас в Ивашке есть выдумщик, который «любит свое дело» и не знает ни сна, ни покоя. Энергии и неутомимости у него, пожалуй, больше, чем было когда-то у моего дедушки.

Раньше он баловался охотой. Но вирус охотника не прижился в нем: «навару» мало. Забросил он это дело, нашлось другое — любовь к растениям. Здесь поприбыльнее.

Наловчился этот выдумщик в своей квартире летом и зимой выращивать помидоры и огурцы. Во всех комнатах понаставил длинных ящиков с землей. Земля, естественно, отменная, все по науке: и поливания, и удобрения, и удаление пустоцветов. Когда поднялись и зацвели помидоры с огурцами, началось опыление спичкой, обмотанной ва-

той, — перенесение пыльцы с цветочков матери к цветочкам отца (а может, и наоборот). Когда же плоды повисли на заборчиках из палочек, он шприцем делал уколы какого-то раствора — все по науке, — отчего огурцы росли не по дням, а по часам, а помидоры наливались и краснели сразу.

Помидоры и огурцы — редкость на Камчатке, особенно у нас на севере. Пароходом везти их долго, не довезешь, самолетом — дорого, не повезешь. Их выращивают только в Паратунке, возле города, там специальные теплицы на горячих источниках. А у нас на севере теплиц нету. И огурчики пять рублей килограмм, помидорчики — одиннадцать. Хоть и в пять раз дороже мяса, а каждому хоть раз в год хочется салатом из помидоров и огурцов побаловать ребятишек...

Да, он был выдумщик и фантазер. Квартиры мало оказалось для этого предприятия, размахнулся по-настоящему. Выдумки хватило перейти на другую работу — построил теплицу, длинный-предлинный сарай из реек, обтянутых целлофаном. Туда провел паровое — не электрическое, ведь раскаленные спирали кислород будут выжигать — отопление, орошение сделал. И оранжерея зацвела, заискрилась ядреными плодами. Зима, жгучие пурги, а в оранжерее тепло, светло, улыбчиво от обвисающих красных помидоров.

Он был художник своего дела, его фантазия вкупе с неутомимой энергией открывала все новые горизонты, новые масштабы. Следующим предприятием оказались свиньи — ну что там какой-то огурец, за которым ухаживать да ждать, когда он станет весом в двести граммов, когда поросенок за полгода вырастает в большого стокилограммового кабана! Матки поросятся по два раза в год, а если малышам давать витамины — все по науке, — то они растут очень быстро.

Проблемы корма нет — рыбы много, только не ленись...

Но и свинарник скоро останется пройденным этапом. Сейчас он задумывается о пчелах — медок нынче в цене, цветов на Камчатке хватает, почему бы камчатоустойчивых пчел не вывести?

Об этом его новшестве мы разговорились с дядей Сашей Медведевым, когда на сенокос ехали.

— А о двух метрах он не думает? — хрипло спросил дядя Саша. — О двух квадратных?

— Не знаю...

Это он сам себя так называет: «Живу, как в ссылке».

Мы с ним хорошие приятели, познакомились и подружились, когда он заведовал домом отдыха на 97-м километре, а я там ноги лечил. Там родоновые источники очень большой целебной силы. При мне привезли старика рыбака, был скрючен так, что в купальню сам сойти не мог, смотрел, как гусь из-под шкафа. Дней через десять я увидел его посвежевшим и бодрым — шел прямо, гвоздем — и навеселе. Перед этим другого привозили на нарте (кажется, сын — отца), всего перекрученного простудными недугами. Через три недели бывший больной убежал на лыжах, оставив нарту с упряжкой моему приятелю, который, как он сам говорит, «балуется охотой».

Одним словом, 97-й километр у нас на Камчатке знаменит, но добраться туда невероятно трудно. Летом — только на попутных МАЗах и КрАЗах, а зимой — на нарте. Раньше ближайшим поселком был Лебединое — это когда там функционировал леспромхоз, — но сейчас леспромхоз закрыли, технику законсервировали, а люди поуехали. И 97-й закрыли: нет смысла держать штат кочегаров, магазин для обслуживания приезжающих, слесаря, прачку, если лечащихся нет. Переехал и мой приятель в Лебединое, сторожем лесосклада.

Когда я ехал из Козыревска с Володей на его МАЗе и узнал, что мой приятель живет теперь в Лебедином, мимо которого мы будем проезжать, я попросил подвернуть туда на минутку. Мне вспомнилось, как три года назад мы после родоновых ванн целыми ночами пили чай и разговаривали. В его кабинете на полу, разметнувшись от стены до стены, лежала медвежья шкура, на стене красовались рога оленя-дикаря, под рогами — набор ружей, карабин и малопулька.

— Балуюсь охотишкой, — заметил он, когда я, помню, залюбовался его арсеналом.

И вот Володя подвернул свою рычащую машину к добротному дому с обширным двором. Выходит мой приятель на крыльцо.

— Живой?

У меня привычка: когда много лет не вижу человека, то первое, что спрашиваю, это: «Живой?» — хотя прекрасно вижу, что человек жив и здоров.

— Как видишь. Зайдете на минутку?

Зашли в его кабинет — ну и роскошь, боже ж ты мой! По всем стенам ковры, на полу коврище, оружие тоже на ковре развешано, и на тахте ковер, камин...

Он сразу к секретеру, оттуда засиял хрусталь.

— Располагайтесь, ребята.

Посидели, поразговаривали. Выпили чаю. И еще бы хотелось посидеть в этом уюте, но надо было догонять другие МАЗы.

Вышли на крыльцо. В сенях по стенам развешаны капканы под всяких зверюшек, на крыльце стоят широкие охотничьи лыжи. А двор-то! Прелесть! Из приоткрытого гаража виднеется «Буран», рядом строится — только один скелет пока из бревен — еще гараж, более совершенный. Возле него стоят под чехлом «Жигули» или «Москвич»— не разберешь сразу.

— Вот так и живу, — сказал он.

— Как в пустыне, да? — спросил Володя.

— Как в ссылке...

ПРО НЕСЧАСТНОГО КУЛИКА

Как-то, уже глубокой осенью, в последние дни путины, заскочили мы на этот остров, убегая от непогоды. Все там было уже желтое и темное. Дичь поулетала, только синички суетились на оголенных веточках. Да ягоды... Особенно голубица, этот куличиный деликатес. Кочки прямо синие от ягод. Подставишь ладонь под веточку, шевельнешь ее — и полна горсть.

Вдруг из такой вот синей кочки тяжело взлетела и метров через пять плюхнулась в траву какая-то странная птица. Я к ней — она опять поднялась и опять шмякнулась, круглая, как футбольный мяч, к которому приставили два крылышка. Нос длиннющий, с загогулиной на конце — куличиный нос. Но как здесь кулик оказался? Ведь кулики давно поулетали. Побежал за ним. Он, удирая, взлетал, несся метров пять—десять и снова падал в траву. Падал как-то неумело, а перелеты с каждым разом становились все короче.

На пути встретился овраг, он, бедняга, полетел через него, но не дотянул, врезался в крутой склон и покатился на дно.

Спустился к нему. Он был мертв. По серединке круглого брюшка прошла трещина, обнажая толстый слой жира.

Подержал на руке — ну и увалень! Много же ты, дружище, деликатеса кушал в своей жизни...

Конечно, дело не в этом несчастном кулике — жалко ягод, что ли? Раздумья всякие на душу нахлынули.

Задумался о словах моего друга, который с грустью заметил: «Материальные ценности — это хорошо, да вот питаются они...» Пришли опять на ум слова Степаныча, когда он рассказывал о войне и о том, какую хату выбирает солдат, подойдя к деревне, чтобы обогреться...

Кстати, Ньютона вспомнил (ох, мысли, мысли, до хорошего ведь не доведут!). Ньютон ходил всю жизнь в одном кафтане. Его спрашивали: «Чего ты один кафтан носишь?» — «А меня тут все знают», — отвечал он. Встретили его в другом городе, он опять в этом кафтане. «Ты опять в нем? Хоть бы сменил». — «А меня здесь никто не знает».

САМОСТРЕЛ

Ну, ладно, хватит о Ньютонах, шибко большие горки, лететь с них долго придется. Я лучше напишу о Кольке Сугробове, как треснула его семейная жизнь.

Колька Сугробов — работник центральной кочегарки. Он пошел туда, чтобы сутки уголь откидать, а трое бегать по тундре, сопкам, лесам и распадкам на лыжах.

На лыжах он бегает как лось. Бежит за сто или больше километров к горам или к Ключам. Без рукавиц, без шапки, без палок. Только свитер, хорошо прилаженные, хоть и на мягких креплениях, лыжи да ружье, которое он перекидывает из руки в руку.

Раньше Колька бегал, потому что душа у него такая широкая, ей нужен был простор и раздолье. Ну, застре-

лит там встречного зайчишку, однако охотником он никогда не был.

А потом женился. Любаша из приезжих, из большого материкового города. Прехорошенькая, любит хорошо одеваться, и вкус у нее к этому делу имеется. Натуральный мех в ее гардеробе всегда имел немаловажное значение, да и болезнь века — впрочем, когда этой болезни не было?

В Степанычевом зимовье любители природы и лыжных пробежек обычно останавливаются отдохнуть, попить чайку, обогреться, просушиться, на выходные разве только переночуют. Осенью обитают те, кто собирает ягоды. Колька же после женитьбы стал захаживать сюда только зимой — ягоды его осенние не интересовали, весенние солнечные ванны тоже.

Этой весной иду я по распадку, смотрю — на ветке, торчащей из сугроба, привязана красная тряпочка. Кто-то заметил место.

Подошел. С ветки на капроновом шнуре свисает железный предмет, напоминающий стакан, только потоньше, сбоку скобочка с пружиной прилажена. Все ржавое. Выковырял из «стакана» снег — там торчит с развороченными от взрыва краями гильза ружейного патрона. Самострел... Значит, так: в цилиндрик вкладывается заряженный ружейный патрон, скобочка сбоку кривым своим концом бьет по дну цилиндра, выполняя роль бойка. Перед этой штуковиной кладется приманка — кусочек мяса, например, с ниточкой. Лисичка или росомаха потянет мясо, а в нее: бух! — и нету лисички. Зато Любаша теперь в шапке модной. Может, и не Любаша, может, ее подруга, да хоть и любительница подпольного рынка, это без разницы. Дело даже не в этой штучке — Колька молодец, современный человек, в ногу с НТРом идет, — а в том, что было дальше.

Принес я Колькино изобретение в зимовье, бросил на стол. На другой день, выходные дни как раз были, прибежали ко мне Андрей Ляпкин и Андрей Мирошниченко, мои хорошие товарищи, любители природы, неутомимые туристы. Увидели изобретение.

— А ну? — взял Андрей вещь. — Ты смотри, как придумано! А? Только из-за ржавчины не поймешь, как работает скоба. И бойка не видно.

— А ну, дай гляну? — потянулся второй Андрей к самострелу.

— Разобрать надо, — сказал первый Андрей.

— Ты не разбирал? — спросил второй Андрей меня. И сам себе ответил: — Конечно, нет.

— Слушай, — сказал первый Андрей, — тебе ведь она не нужна? Дай ее мне, на следующие выходные принесу.

— Мы тебе вернем, дома отмочим в солярке, разберемся и возвратим тебе...

Да, совсем забыл: Любаша-то от Кольки уехала. Не любила она Камчатку, она любила материк.

ЗОНА ТИШИНЫ

Пришел Степаныч, принес газеты.

— Не одичал еще?

Беру стопку «Камчатской правды», просматриваю. Мелькают знакомые фамилии капитанов, председателей колхозов. Пишут про знакомые совхозы и комбинаты: Мильково, Пахачинский комбинат, Атласово, баночная фабрика...

Вообще-то я люблю нашу газету. Когда долго приходится бывать на материке, скучаю по ней. Вкусная она какая-то. Это, наверное, оттого, что талантливые ребята подобрались в ней. Витя Кудлин, Саша Петров, Наташа Селиванова, Сашкина помощница... Да хоть кого возьми, хоть Игоря Науменко или Бориса Дзюбу. А фельетоны Паши Мамася всегда ждут с нетерпением: как завернет...

Читаю. Вдруг в разделе объявлений мелькнула фамилия «Серафимов». Заголовок объявления — «Зона тишины».

— Ого! Степаныч, твой пестун зону тишины объявил по полуострову.

— Никешка-то? А ну, читни!

— «С 23 мая по 23 июня по всему полуострову, включая и острова обоих морей, объявляется зона тишины. Запрещается ездить на моторных лодках...» Да и правильно, — продолжаю я, — дичь на гнездовьях.

— Хе-х! — желчно хмыкнул Степаныч. — Через несколько лет сплошная тишина будет.

— Жестокий юмор.

— А тебе какой нада?

ЕДУ В МОСКВУ

В Москву я езжу каждый год. Ну, через год во всяком случае. И каждый раз, как узнают, что собираюсь, бегут ко мне.

— Привези жаканы-турбинку!

— А мне бездымного.

— Слушай, посмотри там папковые гильзы, двенадцатого калибра. И бандеролькой брось несколько пачек.

— Знаешь, я решил завести пятизарядку. В фирменном магазине глянь там. И чтобы через посылторг... И какие справки им надо высылать.

— Пороху, пороху привези. Дроби я сам накатаю.

Один раз, в Литинституте еще учился, комедия получилась с этой дробью. Она же из свинца. Малюсенький мешочек, а весит десять килограммов. Купил я их штук семь или восемь, и в Хабаровске лямки вещмешка — хоть он и был туристический, из очень крепкого брезента — выдрались с мясом. Как быть? Я эти мешочки навесил на ремень вокруг себя — ну и мучение же было передвигаться от самолета к самолету...

Вот так и бегут с этими заказами, когда еду в Москву. Заказали бы колготки детям, жене кофточку или электробритву себе — нет, все охотничье, будто Москва состоит из одних охотничьих магазинов.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

В ту осень, когда я впервые поселился в Степанычевой избе, пришла туда целая экспедиция, девятый класс

во главе с учителем физики. Запланирован был у них тур-поход в тундру.

Как и все организованные путешественники, они за спинами в рюкзачках притащили картошку, мясо, крупу, лук, кастрюли, сковороды... Вплоть до волейбольного мяча и сетки.

Девчонки сразу, распаковав поклажу, начали мыть посуду, чистить картошку, мальчишки таскать и готовить дрова, волейбольную сетку натянули, гольцов некоторые пошли ловить по ручьям и протокам.

И тут увидели мое ружье.

— Дайте куропаток пострелять...

— Разрешите нам...

— При условии, что Анатолий Федорович позволит.

— Ни-ни, — засуетился учитель. — Вам не положено.

— А мне папа разрешает!

— А я уже ходил на охоту.

— Я даже гильзы заряжать умею.

— Ну, мы по разику...

Словом, дебаты — этой ведь публике ничего не докажешь, легче бабушке объяснить устройство паровоза — кончились тем, что учитель сам взял ружье, и мы всем табором двинулись за ним.

Из первой стаи — тогда куропаточных выводков много летало возле зимовья — он срезал двух, влет. И стрелял почти не целясь, будто нехотя кидал ружье стволом в сторону летящей куропатки. Из второй тоже двух. Потом сказал:

— Хватит.

— Я смотрю, вы как ковбой владеете ружьем.

— Так я же местный, в Оссоре родился.

— А институт?

— В Новосибирске заканчивал.

Тут забушевал табор:

— Анатолий Федорович, еще!

— Анатолий Федорович, разрешите один раз?

— Только один разик!

— Да мы же большие... Я во втором классе уже...

И на этот раз учитель не мог устоять, уступил ребятам. Да тут уж и никак нельзя было устоять, охотничьи страсти разгорелись сильно. Дал им по одному патрону, и вся ватага понеслась, зашумела кедами по траве. Мы с учителем, разговаривая, направились к зимовью.

Часа через два компания возвратилась, возбужденная

и раскрасневшаяся донельзя, мокрая, разумеется, — пот катил градом с неузнаваемых ребячьих мордашек, и в кедах хлюпало. Принесли одну куропатку. Героем, самым наисчастливейшим, был Коля Поздняков.

Поужинали, улеглись спать. Разговоры только и были что об этой куропатке. Оказалось, еще двое или трое не промазали, да вот подранков не нашли.

Наконец уснули. А я долго не спал. Думал, что вот еще заболело вирусом охоты несколько человек... Глядишь, и Лепилы вырастут.

Часть четвертая

МОИ ДУМЫ О ПРИРОДЕ

Зимовье горело. Сегодня утром Степаныч исполнил свою задумку.

Пришел сюда усталый — на лыжах ходить уже трудно, — молча уселся на пень-табуретку. По его виду я догадался, что пришел он с важным делом, да и ничего с собой не принес.

— Про все написал?

— Про все разве напишешь? Но написал, конечно, много.

— Ну вот, теперь в другом месте будешь писать.

— Сегодня!

— Жалко тебя, да что поделаешь...

— Будет тебе, Михаил Степаныч, разве я не найду места, где писать? Квартира у меня есть?

— Ведь строил-то я, штоба люди отдыхали. А получилось вишь ты што...

Я слушаю его, а в мыслях уношусь бог весть куда. Ну, вот хоть когда строил он эту избу — сколько ему пришлось натаскать досок, железа, толя. Двери и окна он изготовленные уже доставлял, на шлюпке через лиман, а там на себе. И когда строил, гвозди забивал или прилаживал доски, наверняка думал, что делает хорошее дело,

добро людям делает. Без всякой корысти думал.

— Жалко небось, Михаил Степаныч?

— Ты собрался?

— Собрался. Вот бумаги кину в рюкзак...

— И ладно.

Дальнейшая процедура была несложна. Он вынул из рюкзачка бутылку бензина, замотанную во много газет, расплескал ее, кинул спичку...

Обратную дорогу шли молча. Лыжи вязли в раскисшем снегу: мы не стали ждать вечера, когда подморозит и появится наст, тронулись в самую жару. А солнышко прямо палило. И тихо было вокруг.

У поселка, перед сопкой Колдуньей, мы расстались. Он не стал ни о чем меня спрашивать, молча поднял руку с лыжной палкой и, сутулясь, побрел к поселку. Я стал взбираться на сопку. Солнышко касалось льдистых вершин на горизонте.

ПРО СОЛНЫШКО

Верхушка Колдуньи была уже без снега, кедрачиные кусты у подножья выперли из сугроба. Я выбрал удобное местечко, сбросил рюкзак, снял ружье, закурил.

Когда я вижу, как садится солнышко, мне всегда думается, что кончается чья-то жизнь... Да, жизнь человеческая, если приглядеться, проходит от появления человека на свет до ухода из него, как путь солнышка по небу.

Вот оно утром робко показалось из-за горизонта, слабыми лучиками освещает облака. Потом ярчеет и крепнет, набирает силы больше и больше. И наконец начинает разбрасывать свет и тепло во все стороны, и настает такой момент яркости и жара, такой момент могучести его, что смотреть невозможно.

За полдень силы меньшают у него, зато появляются спокойствие и достоинство. Солидность. И по мере приближения к горизонту этого достоинства прибавляется и прибавляется — ведь сделано такое большое дело, дана

жизнь и цветочкам, и бабочкам, и букашкам-таракашкам, и слонам с носорогами — всему на Земле.

И вот, мудро и тихо улыбаясь, оно касается горизонта... спряталось, ушло из земной жизни вкушать великую тайну исчезновения.

А когда его нет — смотришь на горизонт, а его уже нет, — становится не то чтобы печально, а как-то пустынно на душе, будто возвращаешься с погоста, проводив туда хорошего друга.

Вот и сейчас оно последним лучиком вспыхнет над льдистыми зубцами вершин, на прощанье улыбнется... и погаснет.

ТАКОВА ЖИЗНЬ

А есть еще и вот какие люди. Это мой друг по прежним плаваньям Игорь Павлихин.

Игорь вообще-то не очень большой любитель природы, не как Тяпкин с Вовнянкой, которые ни одного выходного не пропустят, чтобы не пробежаться на лыжах. Он если и делает вылазку, то на Сухой речке или Зимнике гольцов половить.

Игорем я всегда любуюсь, уж больно красив, черт: высокий, стройный, в меру широкоплеч и осанист. Лицо норвежского викинга, волосы желтые локонами, глаза светлые и твердые. Не только глаза у Игоря твердые, но и рука. На его сейнере, как ни на одном из сейнеров нашего колхоза, отменнейший порядок.

Так вот, приходил он недавно ко мне в избушку: перед выходом в море решил пробежаться по природе.

— Пишешь?

— Пишу, Игорек.

— И про кого же, если не секрет?

— Ну, какой может быть секрет? Про животных, как пропадает природа, изводится все живое в ней. В общем, наблюдения, факты, раздумья.

— Выводы?

— Выводы, Игорек, писатели не делают. Они ставят проблемы, раскрывают людям глаза, а уж выводы делают сами люди.

— Что же ты хочешь, чтобы люди отказались от охоты?

— А почему бы и нет? Хоть бы передохнуть дали, как говорит Степаныч.

— Слюни с сахаром — ваши стремления со Степанычем, — сказал Игорь. — Охоту никто не запретит, а твои новеллки никто не напечатает. Успокойся... И мамонты были.

— Именно. На китов промысел закрыт. Мы с тобою рыбаки и хорошо помним те времена, когда начали рыбачить после мореходки. Сейчас-то картина другая. Последние три года я работал на БМРТ, весь мировой океан перед моими глазами. И везде с рыбой картина печальная. Ведь как дикари на мамонта. Нашли — убивай.

— Хуже, — спокойно продолжал Игорь, — те, говорят, на развод оставляли, мы этого не делаем. Берем рыбу до тех пор, пока она берется. Да мы-то не так, у нас надзор, контроль: заехал в запретную зону с тралом — лишайся диплома, молодь поймал — сдавай пароход. А синду[1] хозяин еще похвалит, если он зачерпнет в заповеднике, и молодь он не выпустит, на муку пережжет, на жир перетопит...

— Что же тут правильного? Пшеницу или ячмень сначала сажают, потом косят. Рубим сук, на котором сидим.

— Ну и что? Такова жизнь.

— Мы, кажется, не понимаем друг друга.

— Отнюдь.

— На писательском съезде я слушал выступление Евгения Носова. Он рассказывал о судьбе речки Полной, на его родине.

Была река Полная, текла как хотела, разливалась и блуждала по полям и затонам. Были затопленные луга, всякие поймы, заросли рощ и лесов на берегах. Была в ней рыба, в затонах и поймах была дичь. Речку выпрямили, углубили. Не стало рыбы, не стало птицы, потому что луга и поймы осохли, колхозным уткам и гусям негде стало откармливаться. Осохли луга, усыхать стал и лес, на полях меньше стало родиться пшеницы и ржи. Больше того, сама речка стала усыхать: русло нарушили, взрезали углублениями — и вода стала уходить в землю.

— Все правильно, я сам из Энгельса, через год приезжаю туда с семьей в отпуск и каждый раз Волгу не уз-

---

[1] Синда — капитан (*яп.*).

наю. Был у нас остров Зеленый, я до него в детстве не мог доплыть. Сейчас остров соединился с берегом. Ну и что?

— Как что? — Мы смотрели друг на друга и не понимали один другого. И я не знал, что мне делать, какие еще примеры приводить. И терпения уже не было у меня.

— Такова жизнь, я же тебе сказал. И мамонты были...

ГУСЕНИЦА

Мне осталось одно — уйти. И я ушел. Под предлогом, что у меня разболелась голова, встал на лыжи и подался.

День горел во всю весеннюю силу, и в другой раз я бы радовался вместе с этим ясным днем. Но сейчас... Лыжи с шипеньем прореза́ли снег, он был жухлый, еще три — пять таких деньков — и солнышко ничего не оставит от сугробов. Да и сейчас уже кое-где кусты поднялись, зачернели верхушки сопок.

Остановился. Солнышко прогревает поясницу до самого нутра, захотелось от удовольствия поежиться и сказать: «Ах» — как в парилке, когда лежишь на верхней полке, а партнер сначала поколышет веничками под потолком, а потом приложит их тебе к пояснице.

«И мамонты были... Ну и что?» Выходит, самый расхороший человек, рассахарный, если он будет с ружьем идти по кустам, а ружье заряжено, и из куста выскочит косой... Ведь забудет этот человек про все. Да она, эта охота, и узаконена, документы дают на убийство — какие веселые компании на «жигуленках» из города приезжают! О наших же северянах и говорить нечего.

Я стоял, опершись подмышками о палки, и бесцельно смотрел перед собой. Руки отекли и тяжело свисали вдоль палок.

И если все так будет и дальше, с такой же радостью будут ловить, душить, стрелять все живое в природе, то к тому времени, когда мой Ваня подрастет и увидит мир и землю, ничего уже не останется. И ему и другим Ваням уже и расстраиваться будет не из-за чего.

Ружье фирмы «Ренуар», мечта о гараже, сапожки модели «казачок» из нерпы, лисья шапка, ковер, дубленка...

Концы палок так надавили под мышками, что по рукам побежали мурашки. Я свел концы палок, положил на них подбородок. Степаныч и такие, как Степаныч, да и я со своими статейками несерьезны в глазах Игорьков, а в глазах Росомах смешны.

Смотрю на ту сторону распадка: снег... снег... Километров на пять снег, до самого леса. Вдруг вижу — метрах в пяти от меня чернеет какая-то точка. И будто движется. Странно... Подхожу — а это гусеница! Вышагивает. Раз... раз... раз... Да так здорово это у нее получается!

Значит, солнышко пригрело и она проснулась. Вместе с бабочками и комарами. А где же она зимовала? Ага. Наверное, в коре вот этих берез. И сейчас шагает к солнышку, на ту сторону долины.

Сколько же ей, бедняжке, пришлось прошагать эти пять метров от ближайшей березы? Целый день, наверно, с самого утра старается: раз... раз...

А на ту сторону долины ей шагать... по сантиметру, пять тысяч метров — полмиллиона сантиметров! До второго пришествия, милая, ты будешь шагать. Где же ты возьмешь силенок, разве у тебя наберется их на полмиллиона шагов? И что ты будешь есть? Ну и глупая, глупее паровоза...

Стою над ней, опершись на палки, и смеюсь про себя. Эх, хе-хе, хе-хе.

А она, не обращая внимания на мой смех и мои размышления над ее обреченной судьбой, шагает и шагает. Да так уверенно. Ну и ну!

Стоп! Так через три дня растает...

ПРО КОМИССАРА И КАМЧАТСКУЮ РЫБУ

Хоть и наша камчатская рыба... Ну, я сначала про комиссара.

Преподаватель Литературного института Валерий Яковлевич Кирпотин как-то рассказывал о своем дру-

ге, комиссаре времен революции. Валерий Яковлевич в молодости сам был комиссаром, создавал Красную Армию.

Так вот, агитировали они солдат бывшей царской армии записываться в ряды Красной Армии. Какие времена и какая обстановка была в феврале восемнадцатого года, можно представить. Как только комиссар слез с телеги, служившей трибуной, взбирается на эту телегу солдатик. Обтрепанный, изможденный.

— Ну что она, твоя Красная Армия, про которую ты сейчас распинался? Что она нам? Уморились, вша заела, от голода пухнем. А дома у меня... сам-шест, четыре года детей не видел, хозяйство пропадает, да и живы ли? Агитируешь тут... Знаем мы эти посулы! Надоело. А что в ней? Кормить-то хоть будут? Ведь силов нету от голода. А одевать? А обувать? Ты гляди... — И солдат показывает полуразутую ногу. — А зарплата в ней хоть какая-нибудь будет? Видали мы, дорогой товарищ, всякие армии.

Тогда на телегу снова поднимается комиссар.

— А в Красной Армии будем голодные. Будем холодные в Красной Армии, разутые и раздетые будем. А зарплата — бандитская пуля в спину, вот такая будет зарплата в Красной Армии.

И все стали записываться...

О том, что рыбные запасы мирового океана, а следовательно, и наших территориальных вод истощаются — для рыбы границ нет, — знают все: и домашние хозяйки, и руководители рыбодобывающих предприятий. Председатели нашего колхоза — они почему-то меняются через три-четыре года — любят на лососе брать по полтора-два плана. Правильно, это же моральный ковер, председатель же герой в глазах начальства... В семьдесят девятом году за два месяца путины мы заработали по пять тысяч триста рублей — это же благодать для гаражистов. А делают как? Или организуют интернациональную бригаду и закидными неводами берут прямо из речки, это считай что с нерестилищ, или ставные невода в море еще продержат лишние десять дней. И нерестилища стали пустеть...

Николай Ефремович Гейченко с рыбоводом Иваном Ивановичем Мурашовым и капитаном флота Валентином Астафьевичем Маликовым написали статью в «Камчатскую правду» — председателя «Фома... сдул», рыбка стала восстанавливаться.

Дядя Ваня Малякин — мы так его на флоте звали — в пятьдесят девятом году, он тогда не был еще Героем Соцтруда, снялся с промысла и пришел в Петропавловск. Мы тогда нерестовую селедку в Анапке весной ловили. Пришел в порт, позвал все областное начальство и показывает трюм — тот весь залеплен икрой. Уже засохшей. И на дне трюма икра.

— Креста на вас нету...

Николай Санеев написал об этом. По всей Камчатке добычу нерестовой сельди закрыли...

МОИ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДУМЫ О ПРИРОДЕ И О ЖИЗНИ

...мне всегда видится мой дедушка, стоящий на коленях перед яблонькой.

Содержание

Николай Прокофьевич Рыжих

КРАСИВОЕ МОРЕ
Рассказы и повести

Редактор В. Башкирева
Художник В. Ситников
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор В. Флид
Корректор И. Попова

ИБ № 3891. Сдано в набор 11.04.84. Подписано к печати 06.08.84. А06875. Формат 84х108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага кн.-журн. № 2. Усл. краск.-отт. 21. Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 22,44. Тираж 100 000 экз. Заказ 1214. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Рыжих Н. П.

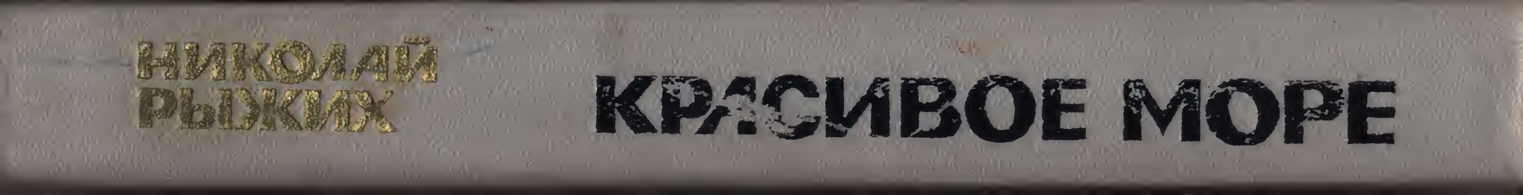
Р93 Красивое море: Рассказы и повести/Предисл. А. Кондратовича.— М.: Современник, 1984.— 397 с., ил.

В пер.: 1 р. 70 к.

Новая книга камчатского писателя Николая Рыжих совсем не случайно посвящена всем, кто живет на этой яркой, интересной, самобытной земле. Автор, более двадцати лет проработавший на рыболовецких судах, освоивший и многие сухопутные профессии, хорошо знает мир камчатского трудового люда и рассказывает о нем с любовью и гордостью. В повести «Красивое море», давшей название настоящему сборнику, а также в рассказе «Собачки, собачки...» Николай Рыжих обращается к новой для него теме — защите живой природы от бессмысленного зачастую истребления, открывает для читателя интереснейший мир — мир «братьев наших меньших».

Р $\frac{4702010200-254}{М106(03)-84}$ 136—84

ББК84Р7
Р2


НИКОЛАЙ
РЫЖИХ
КРАСИВОЕ МОРЕ